



АЗАР НАФИСИ

Читая «Лолиту» в Тегеране

«Я была очарована
и тронута мемуарами Нафиси»

Сьюзан Зонтаг

книга переведена на 32 языка

Азар Нафиси

Читая «Лолиту» в Тегеране

Издательство "Livebook/Гаятри"

2003

УДК 82-3
ББК 84

Нафиси А.

Читая «Лолиту» в Тегеране / А. Нафиси — Издательство
"Livebook/Гаятри" , 2003

ISBN 978-5-907428-53-9

Выдающийся документальный роман, заслуженно получивший мировую популярность. Книга о том, как политика вторгается в личную жизнь человека, и о жажде свободы, которую невозможно уничтожить. Правдивая история, наполненная поразительными деталями, – взгляд изнутри на существование в стране-изгое. Азар Нафиси, дочь бывшего мэра Тегерана, получившая образование в Америке, возвращается на родину, чтобы преподавать иранским студентам зарубежную литературу. Исламская революция рушит все планы, и занятия превращаются в тайные собрания. В то время как стражи порядка устраивают рейды по всей стране, фундаменталисты захватывают университеты, а цензура душит искусство, девушки в гостях у Нафиси безбоязненно снимают хиджабы и вдохновенно погружаются в миры Джейн Остин, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Владимира Набокова. «Зыбкая нереальность» происходящего превращается в феерический праздник любви к литературе.

УДК 82-3

ББК 84

ISBN 978-5-907428-53-9

© Нафиси А., 2003
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2003

Содержание

От автора	8
Часть I	9
1	9
2	12
3	14
4	17
5	21
6	24
7	26
8	28
9	30
10	35
11	37
12	39
13	40
14	43
15	46
16	51
17	52
18	54
19	55
20	60
21	62
22	65
Часть II	67
1	67
2	69
3	72
4	74
5	76
6	80
7	82
8	85
9	86
10	88
11	89
12	92
13	94
14	96
15	98
16	100
17	102
18	106
19	112
20	113
21	116

22	119
23	120
24	121
25	123
26	124
Часть III	126
1	126
2	127
3	129
4	132
5	134
6	137
7	139
8	141
9	144
10	146
11	148
12	150
13	151
14	152
15	155
16	157
17	159
18	161
19	164
20	166
21	167
22	168
23	170
24	173
25	175
26	177
27	180
28	184
29	185
30	187
31	189
32	190
33	192
34	195
35	196
Часть IV	200
1	200
2	205
3	207
4	209
5	211
6	212
7	215

8	219
9	223
10	226
11	228
12	231
13	233
14	235
15	237
16	240
17	243
18	244
19	245
20	247
21	250
22	254
23	255
24	257
25	259
26	260
Эпилог	261
Благодарности	263
Разговор с Азар Нафиси[111]	265
Вопросы для обсуждения	276
Список рекомендуемой литературы	278
Об авторе	279

Азар Нафиси

Читая «Лолиту» в Тегеране

*В память о моей матери Незхат Нафиси
Моему отцу Ахмаду Нафиси
И моей семье: Биджану, Негар и Даре Надери*

*Кому рассказать о том,
что на этой земле приключилось с нами
кому мы повсюду поставили
мириады огромных зеркал
в надежде, что они переполнятся
и всё сохранят навсегда¹.*

ЧЕСЛАВ МИЛОШ, «Анналена»

AZAR NAFISI
Reading Lolita In Tehran

Published by arrangement with Random House, a division of Penguin Random House LLC

В оформлении обложки использовано использовано фото Isabelle Eshraghi / Agence VU'

Copyright © 2003, Azar Nafisi All rights reserved
© Юлия Змеева, перевод на русский язык, 2022
© ООО «Издательство «Лайвбук», 2022

От автора

Черты героев и события в повествовании изменены главным образом для защиты людей не столько от ока цензуры, сколько от тех, кто читает подобные книги, чтобы выяснить, кто есть кто и что кому сделал, подпитываясь чужими тайнами и наполняя ими свою пустоту. Факты в этой книге правдивы настолько, насколько может быть правдива память, но я постаралась защитить друзей и учениц, дав им новые имена и замаскировав их, пожалуй, даже от них самих. Я изменила и перетасовала грани их жизней так, что их тайнам ничего не угрожает.

Часть I «Лолита»

1

Осенью 1995 года, оставив свой последний преподавательский пост, я решила себя побаловать и исполнить одну мечту. Я выбрала семь своих лучших и самых прилежных студенток и предложила им встречаться у меня дома утром по четвергам и говорить о литературе. Все они были женщинами – преподавать смешанной группе на дому было слишком рискованно, хотя обсуждали мы безобидные художественные произведения. Один студент оказался особенно настойчивым, и хотя мы не пустили его в женскую группу, он отстоял свое право заниматься. Нима читал заданный материал, приходил ко мне домой в другие дни, и мы обсуждали прочитанное.

Я часто в шутку напоминала ученицам о романе «Лучшие годы мисс Джин Броди» Мюриэл Спарк и спрашивала: кто из вас в итоге меня предаст?² По натуре я пессимистка и не сомневалась: хотя бы одна из них пойдет против меня. Нассрин однажды лукаво ответила: «Вы сами как-то сказали, что в конечном итоге каждый человек предает сам себя, становится для своего же Христа Иудой». Манна заметила, что я – не мисс Броди, а они... что ж, они такие, какие есть. Напомнила мне о предостережении, которое я любила повторять: никогда, ни при каких обстоятельствах не умаляйте литературное произведение, воображая, что оно является дубликатом реальной жизни; в литературе мы ищем не реальность, а внезапное осознание истины. И все же, случись мне не послушаться своего же совета и выбрать произведение, сильнее всего перекликающееся с нашей жизнью в Исламской Республике Иран, я бы выбрала не «Лучшие годы мисс Джин Броди» и даже не «1984», а набоковское «Приглашение на казнь» или – даже лучше – «Лолиту».

Через несколько лет после начала наших утренних семинаров в мой последний вечер в Тегеране избранные друзья и студентки пришли попрощаться и помочь мне собрать вещи. Когда мы убрали из дома всю его обстановку, когда вещи исчезли и краски померкли, уместившись в восемь серых чемоданов, подобно странствующим джиннам, спрятавшимся обратно в лампы, мы с моими студентками встали в гостиной на фоне голых белых стен и дважды сфотографировались.

Эти два снимка сейчас лежат передо мной. На первом изображены семь женщин, стоящие на фоне белой стены. По закону нашей страны они одеты в черные накидки и платки³, скрывающие все, кроме овалов лиц и кистей. На второй фотографии те же женщины в тех же позах на фоне той же стены. Но они сняли свои покровы. Фигуры не сливаются в одну, а отличаются друг от друга. Каждая выглядит иначе благодаря расцветке и крою одежды, цвету и длине волос; даже две девушки, оставшиеся в платках, не похожи друг на друга.

Крайняя справа на втором снимке – наша поэтесса Манна. На ней белая футболка и джинсы. Вдохновением для ее стихов служило все, чего большинство людей не замечали. Фотография не передает особую непроницаемость темных глаз Манны – свидетельство ее замкнутости и скрытности.

² Главная героиня романа Мюриэл Спарк преподает в группе из шести девочек, одна из которых в итоге ее предаст, уничтожив ее преподавательскую карьеру, причем она так и не узнает, какая именно.

³ Слово «хиджаб» обозначает и накидку, и платок (совокупное название всех элементов костюма).

Рядом стоит Махшид, чей длинный черный шарф контрастирует с тонкими чертами лица и едва уловимой улыбкой. Махшид обладала многими талантами, но больше всего в ней поражала утонченность; мы звали ее «миледи». Нассрин говорила, что не столько прозвище характеризует Махшид, сколько она привносит в него новые смыслы. Махшид очень чувствительна. Ясси как-то сравнила ее с фарфоровой статуэткой, которую может расколоть любое грубое прикосновение. Тем, кто плохо ее знает, она кажется хрупкой, но горе тому, кто ее обидит. Что до Ясси, по ее собственным словам, она была похожа на старый добрый пластик – не треснет, что бы с ней ни делали.

Ясси была у нас младшей. На снимке она в желтом, наклонилась вперед и заливисто хохочет. Мы в шутку называли ее нашей комедианткой. Она была застенчива, но иногда входила в раж и забывала о робости. Голос у нее был насмешливый и недоверчивый, причем высмеивала она не только окружающих, но и себя, все и всех подвергая сомнению.

Я в коричневом стою рядом с Ясси, обняв ее за плечи одной рукой. За мной – Азин, самая высокая моя студентка, с длинными золотистыми волосами и в розовой футболке. Как и все мы, она смеется. Улыбки Азин никогда не были похожи на улыбки, скорее на предвестники безудержного нервного веселья. Она так улыбалась, даже когда описывала очередные неприятности с мужем. Дерзкая, языкая, Азин наслаждалась шоковым эффектом, который производили ее поступки и слова, и часто спорила с Махшид и Манной. Мы называли ее неуправляемой.

По другую руку от меня стоит Митра, пожалуй, самая спокойная из учениц. Подобно пастельным оттенкам ее картин, она словно сливается с фоном и выглядит бледнее остальных. Ее красота могла бы показаться скучной, если бы не обворожительные ямочки на щеках, которыми она активно пользовалась, чтобы склонить на свою сторону наивных жертв своих манипуляций.

Саназ испытывала сильное давление семьи и общества и металась между стремлением к независимости и потребностью в одобрении. На снимке она держит Митру за руку. Мы все смеемся. За кадром – наш невидимый союзник, фотограф: Нима, муж Манны и единственный настоящий литературный критик, которого я могла бы воспитать, если бы ему хватило упорства заканчивать свои блестящие очерки, которые он начинал и бросал.

Была еще одна: Нассрин. Ее нет на снимках; она не осталась с нами до самого конца. Но мой рассказ был бы неполон без тех, кто не сумел или не захотел с нами остаться. Их отсутствие навязчиво, как острая боль, не имеющая физической причины. Для меня в этом весь Тегеран: те, кого там уже нет, для меня реальнее тех, кто все еще там.

В моих воспоминаниях Нассрин предстает слегка в расфокусе, размытой, далекой. Я просмотрела свои фотографии со студентами, сделанные за годы работы; на многих изображена Нассрин, но она всегда за чем-то или кем-то – ее загораживает то человек, то дерево. На одной фотографии я и восемь студенток стоим в маленьком саду перед зданием кафедры; это одна из прощальных фотографий, которых скопилось немало. На заднем плане – тенистая ива, мы смеемся, а в уголке из-за плеча самой высокой девочки выглядывает Нассрин, как озорной чертенок, проникший туда, куда его не звали. На другом снимке ее лица почти не видно в небольшом просвете между плечами двух других студенток. Здесь она выглядит рассеянной, хмурится, словно не догадывается, что ее снимают.

Как описать Нассрин? Однажды я сравнила ее с Чеширским Котом – она появлялась и исчезала всякий раз, когда моя научная карьера совершала очередной неожиданный поворот. Правда в том, что я не могу ее описать; она сама по себе. Нассрин – это Нассрин; вот и все, что можно о ней сказать.

Почти два года каждое утро в четверг в любую погоду девочки приходили ко мне домой, и почти каждый раз я вздрагивала, когда они снимали обязательные к ношению хиджабы и их одежда ослепляла меня многоцветьем. Заходя в мою гостиную, студентки снимали не только

накидки и платки. Каждая из них постепенно обретала форму и очертания, свое уникальное «я». Эта гостиная с окном, в котором виднелись мои любимые Эльбурские горы, стала нашим убежищем, нашей самодостаточной вселенной, высмеивающей реальность, полную покорных, укутанных черными платками лиц на улицах раскинувшегося внизу города.

Мы выбрали темой наших занятий взаимоотношения литературы и реальности. Мы читали классические персидские произведения – «Тысячу и одну ночь», сказки нашей землячки Шахерезады, – и классические произведения западной литературы – «Гордость и предубеждение», «Госпожу Бовари», «Дейзи Миллер»⁴, «Декабрь декана»⁵ и, конечно, «Лолиту». Пишу название каждого произведения, и ветром приносит воспоминания, тревожащие покой этого осеннего дня в другой гостиной, в другой стране.

Здесь и сейчас, в другом мире, о котором столько раз заходила речь в наших обсуждениях, я сижу и представляю, как мы с моими студентками – моими девочками, как я стала их называть, – читаем «Лолиту» в комнате в Тегеране, залитой обманчивым солнцем. Однако, пользуясь словами Гумберта, поэта и преступника из «Лолиты», я хочу, чтобы нас представили вы, читатели, ведь если вы этого не сделаете, мы не сможем существовать. Вопреки тирании времени и политики представьте нас такими, какими мы порой не осмеливались представить себя сами: в самые личные и сокровенные моменты, в самые необычайно обычные минуты жизни. Представьте, как мы слушаем музыку, влюбляемся, ходим по тенистым улицам и читаем «Лолиту» в Тегеране. Потом представьте нас снова и вообразите, что все это у нас отняли; нас загнали в подполье и забрали у нас все.

Если сегодня я пишу о Набокове, то лишь для того, чтобы порадоваться тому, как мы читали Набокова в Тегеране вопреки всему. Из всех его романов я выбрала тот, что всегда шел последним в моей программе, тот, с которым связано так много воспоминаний. Я хочу написать о «Лолите», но теперь невозможно писать об этом романе и не писать о Тегеране. Так пусть это будет историей «Лолиты» в Тегеране, рассказом о том, как благодаря «Лолите» Тегеран предстал перед нами другим, и о том, как Тегеран помог переосмыслить роман Набокова, после этого ставший уже другой «Лолитой» – *нашей* «Лолитой».

⁴ Роман Генри Джеймса (1878).

⁵ Роман Сола Беллоу (1982).

2

Итак, однажды в четверг в начале сентября мы собрались в моей гостиной на первый урок. В который раз представляю, как это было. Сначала звонят в дверь дома; после паузы дверь подъезда закрывается. Слышу шаги на винтовой лестнице; девочки проходят мимо квартиры моей матери. По пути к двери своей квартиры смотрю в окно в боковой стене и вижу кусочек неба. На пороге каждая из девочек снимает хиджаб, некоторые встряхивают головой из стороны в сторону. В дверях гостиной останавливаются. Только нет никакой гостиной – лишь дразнящая бездна памяти.

Гостиная больше других комнат в нашей квартире свидетельствовала о моей бродячей жизни без своего угла. Здесь соседствовала разнородная мебель из разных эпох и мест; отсутствие единого стиля объяснялось отчасти финансовой нуждой, отчасти моим эклектичным вкусом. Как ни странно, эти кажущиеся несочетаемыми элементы приводили к возникновению симметрии, которой не хватало другим, более продуманно обставленным комнатам в квартире.

Моя мать всякий раз бесилась при виде картин, прислоненных к стене, ваз с цветами на полу и окон без штор – я отказывалась занавешивать окна, пока мне наконец не напомнили, что мы живем в мусульманской стране и окна *должны* быть занавешены. Ты моя ли дочь вообще, сокрушалась она. Я разве не воспитывала в тебе аккуратность и любовь к порядку? Она говорила серьезно, но повторяла одну и ту же жалобу так много лет, что превратила ее в почти трогательный ритуал. Ази – это было мое уменьшительное имя, Ази, – ты теперь взрослая женщина, вот и веди себя соответственно. Но было в ее словах что-то, отчего я чувствовала себя маленькой, уязвимой и упрямой девочкой, и когда в воспоминаниях я слышу ее голос, то понимаю, что не оправдала ее ожиданий. Не стала леди, которой она видела меня в своих планах.

Эта комната, на которую я тогда не обращала особого внимания, позже стала драгоценным объектом моей памяти и потому обрела в моем сознании совершенно иной статус. Она была просторной, с минимумом мебели и декора. В одном углу размещался причудливый камин, построенный моим мужем Биджаном. У стены стоял двухместный диван, который я накрыла кружевным покрывалом, давным-давно подаренным мне матерью. К окну была повернута бледно-персиковая кушетка; рядом стояли два одинаковых кресла и большой квадратный кованный столик со стеклянной столешницей.

Я всегда садилась на стул спиной к окну, откуда открывался вид на широкий тупик – улицу Азар. Прямо напротив окна располагался бывший Американский госпиталь; когда-то это была маленькая эксклюзивная клиника, теперь она превратилась в шумное переполненное медучреждение для инвалидов и раненых ветеранов войны. По выходным – в Иране это четверг и пятница – на маленькой улице собирались толпы пациентов больницы, пришедших сюда, как на пикник, с детьми и бутербродами. Сильнее всего страдал от этого нашествия дворик нашего соседа, его радость и гордость, особенно летом, когда пациенты обрывали у него все розы. С улицы доносился детский крик, плач и смех, к которому примешивались голоса матерей – те кричали, окликали детей по имени и грозили наказаниями. Бывало, дети звонили нам в дверь и убегали, а через некоторое время повторяли эту рискованную забаву.

Мы жили на втором этаже – на первом жила моя мать, а третий занимал брат, чья квартира часто пустовала, так как он уехал в Англию. Из окон своей квартиры мы видели верхние ветви раскидистого дерева, а вдалеке, над крышами домов – горы Эльбурс. Улица, больница и ее посетители были скрыты из виду; мы знали об их существовании лишь благодаря доносившимся снизу бесплотным голосам.

Со своего стула я не могла видеть любимые горы, но напротив него, на дальней стене гостиной, висело старинное овальное зеркало, отцовский подарок, и в отражении я видела эти горы, чьи снежные шапки не таяли даже летом, и кроны деревьев, меняющие цвет. Этот

опосредованный вид усиливал ощущение, что шум доносится не с улицы, а откуда-то издалека, из места, чей настойчивый гул являлся нашей единственной связью с миром, существование которого мы отказывались признавать хотя бы на эти несколько часов.

Гостиная для всех нас стала местом перехода между мирами. Что это была за страна чудес! Сидя за большим кофейным столиком, уставленным букетами, мы ныряли в романы, которые читали, и выныривали обратно. Вспоминая об этом времени, я поражаюсь тому, сколько всего мы для себя открыли, даже об этом не догадываясь. Выражаясь словами Набокова, мы на своем опыте узнавали, как волшебная призма художественного слова превращает в бриллиант непримечательный камушек обычной жизни.

3

Шесть утра; первый день занятий. Я уже была на ногах. От волнения у меня пропал аппетит; я поставила кофейник и долго принимала душ, никуда не спеша. Вода ласково скользила по моей шее, спине и ногам; я стояла, ощущая и легкость, и твердую опору. Впервые за много лет меня охватило чувство радостного предвкушения, к которому не примешивались напряжение и страх – мне не придется проходить мучительные ритуалы, омрачавшие мои дни, когда я преподавала в университете, ритуалы, диктующие мне, как одеваться, как себя вести, вплоть до жестов, которые я должна была контролировать и не забывать об этом. К этому занятию я готовилась иначе.

Жизнь в Исламской Республике была капризной, как месяц апрель: солнце выглядывало ненадолго, чтобы вновь смениться дождями и грозами. Жизнь была непредсказуемой: режим имел циклический характер, то оттаивая в сторону некоторой толерантности, то закручивая гайки. Тогда, спустя период относительного спокойствия и так называемой «либерализации», вновь настало тяжелое время. Университеты подверглись атаке культурных пуристов, насаждавших более строгий кодекс правил; дошло до разделения на мужские и женские классы и наказания профессоров, что не желали подчиняться.

Университет имени Алламе Табатабаи⁶, где я преподавала с 1987 года, считался одним из самых либеральных иранских университетов. Рассказывали, что в Министерстве высшего образования кто-то даже спросил – вопрос был, разумеется, риторическим, – а не кажется ли нам, преподавательскому составу Университета Алламе, что мы в Швейцарии. Швейцария в Иране почему-то стала символом западной распушенности – если какая-либо программа или действие не вписывалось в исламский канон, о них отзывались укоризненно и насмешливо: мол, «Иран вам не Швейцария».

Самое сильное давление оказывали на студентов. Я ощущала беспомощность, выслушивая их бесконечные горестные жалобы. Студенток наказывали за то, что они бежали по лестнице, опаздывая на занятия, за смех в коридорах, за разговоры с противоположным полом. Однажды Саназ вбежала в класс в слезах ближе к концу занятия; рыдая, она объяснила, что опоздала, потому что охранницы у входа нашли в ее сумочке румяна, сделали ей выговор и пытались отправить домой.

Почему я так внезапно перестала преподавать? Я много раз себя об этом спрашивала. Было ли все дело в неуклонно падающем качестве образования в нашем университете? В растущем равнодушии оставшихся преподавателей и студентов? В ежедневной борьбе с деспотическими правилами и ограничениями?

Улыбаясь, я терла кожу грубой натуральной мочалкой и вспоминала реакцию администрации университета на мое письмо об увольнении. Они притесняли и ограничивали меня всевозможными способами, следили за моими контактами, контролировали мои действия и отказывали в продлении давно просроченного трудового договора, но когда я ушла, внезапно начали сокрушаться и отказались принять мое увольнение, чем привели меня в ярость. Студенты пригрозили, что будут бойкотировать занятия, и позже я с некоторым удовлетворением узнала, что они действительно бойкотировали заменившего меня преподавателя, хотя им пригрозили наказанием. Все думали, что я сломаюсь и рано или поздно вернусь.

Лишь через два года они наконец приняли мое заявление об уходе. Помню, друг сказал мне: ты не понимаешь ход их мыслей. Они не принимают твоё заявление, потому что считают, что ты не вправе уйти сама. Им кажется, лишь они могут решать, надолго ли ты останешься

⁶ Один из крупнейших иранских университетов со специализацией «общественные и гуманитарные науки», входит в десятку лучших в Иране.

и когда от тебя можно избавиться. Думаю, именно это их самодурство в итоге стало невыносимым.

И что ты будешь делать? – спрашивали друзья. – Сидеть дома? А я отвечала: что ж, я могла бы написать еще одну книгу. Но на самом деле определенных планов у меня не было. Недавно я опубликовала книгу о Набокове и все еще не отошла от этого труда; лишь смутные идеи дымом витали в голове, когда я задумывалась над формой своей следующей книги. Я могла бы некоторое время продолжать изучение классической персидской литературы; это занятие мне нравилось. Но внезапно на первый план выдвинулась идея, которую я вынашивала годами. Я долго мечтала собрать особый учебный кружок, где у меня была бы возможность свободно обсуждать все то, что мне не давали обсуждать на занятиях в Исламской Республике. Я хотела обучать группу избранных студенток, для которых изучение литературы было стойким увлечением, а не тех, кого выбрало правительство, и не тех, кто пошел изучать английскую литературу лишь потому, что их не брали в другие сферы, или потому, что им казалось, будто диплом специалиста по английской литературе – хороший карьерный шаг.

В Исламской Республике преподавание, как и остальные профессии, подчинялось политике и контролировалось сводом деспотических правил. Радость от преподавания всегда омрачалась необходимостью держать в голове ограничения, наложенные на нас режимом. Можно ли быть хорошим преподавателем, если университетскую администрацию больше заботит не качество твоей работы, а цвет губ или выбившаяся из-под платка прядь волос, являющаяся потенциально антиправительственным выступлением? Можно ли сосредоточиться на работе, когда кафедра занята лишь тем, как бы вырезать из рассказа Хемингуэя слово «вино», или решает исключить из программы Бронте, потому что та сквозь пальцы смотрела на адюльтер?

Все это напоминало мне мою подругу-художницу, которая в начале карьеры рисовала сцены из реальной жизни – пустые комнаты, заброшенные дома, старые фотографии женщин, никому больше не нужные. Но постепенно ее работы становились все более абстрактными, и на последней выставке уже представляли собой яркие пятна мятежных цветов. Две такие картины висели у меня в гостиной – капли голубой краски на темном фоне. Я спросила, как она ушла от современного реализма и пришла к абстракции. «Реальный мир стал таким невыносимым, таким безрадостным, что теперь я могу рисовать лишь краски моей мечты», – ответила она.

Краски моей мечты, повторяла я про себя, выходя из душа и ступая на холодный кафель. Какой красивый образ. Многим ли людям выпадает шанс рисовать краски своей мечты? Я надела просторный халат, мягко перейдя от убаюкивающих струй теплой воды к защитному кокону халата, обернутого вокруг тела. Босиком прошла на кухню, налила кофе в любимую кружку с узором из красных ягод клубники и села на кушетку в холле, ни о чем толком не думая.

Занятия с этой группой были красками моей мечты. Они подразумевали активный уход от реальности, ставшей враждебной. Мне очень хотелось удержать это редкое чувство оптимизма и ликования. На самом деле я не знала, что ждет меня в конце этого проекта. Ты хоть понимаешь, сказал мне друг, что ты все дальше уходишь в себя, и теперь, когда ты обрубилась связи с университетом, твой контакт с внешним миром будет ограничен одной этой комнатой? А дальше что? Жить мечтами может быть опасно, рассудила я, направляясь в спальню, чтобы переодеться; я знала это на примере безумных набоковских мечтателей – Кинбота⁷ и Гумберта.

Отбирая студенток, я не ориентировалась на их идеологическую и религиозную принадлежность. Позже я поняла, что одним из самых больших достижений этих собраний было то, что такая неоднородная группа с разными, порой конфликтующими позициями – личными, религиозными, общественными – осталась верна своим целям и идеалам.

⁷ Чарльз Кинбот – герой романа Набокова «Бледный огонь» (1962).

Я выбрала этих девочек отчасти потому, что в них странным образом сочетались хрупкость и мужество. Все они были, что называется, одиночками, не принадлежали к какой-либо группировке или секте. Я восхищалась их способностью выживать не вопреки, а порой благодаря своей обособленности. Манна предложила назвать наши собрания «своим пространством» по аналогии со «своей комнатой» Вирджинии Вулф – только это была общая комната.

Тем первым утром я дольше обычного выбирала, что надеть, примеряла разные наряды, пока наконец не взяла рубашку в красную полоску и черные вельветовые джинсы. Я аккуратно нанесла макияж, покрасила губы красной помадой. Застегивая маленькие золотые сережки, вдруг запаниковала. Что если ничего не получится? Что если никто не придет?

Нет, не надо, приказываю я себе! Забудь о страхах на грядущие пять-шесть часов. Пожалуйста, забудь, зываю я, надеваю туфли и иду на кухню.

4

Когда в дверь позвонили, я заваривала чай. Я так глубоко ушла в свои мысли, что первый звонок не услышала. Открываю дверь. На пороге Махшид. Я уж подумала, вас нет дома, говорит она и протягивает мне букет белых и желтых нарциссов. Она сняла черную накидку, а я сказала, что в доме нет мужчин и она может снять и платок. Махшид и Ясси носили хиджаб, но Ясси в последнее время стала завязывать платок более небрежно – свободным узлом под подбородком. Из-под платка выбивались темно-каштановые волосы, разделенные неровным прямым пробором. Волосы Махшид под платком, напротив, были старательно уложены и завиты. С короткой челкой она выглядела старомодно и больше походила на европейку, чем на иранку. На ней была белая рубашка и темно-голубой жакет с вышитой справа большой желтой бабочкой. Я указала на бабочку и спросила: это в честь Набокова?⁸

Я уже не помню, когда Махшид начала посещать мой курс в университете. Она как будто всегда была там. Отец ее, набожный мусульманин, был ярым сторонником революции. Платок она носила и до революции, а в литературном дневнике, который я задала вести, писала о том времени, когда ходила в престижный колледж для девочек, об одиноких утрах, когда чувствовала себя изгоем и невидимкой – как ни парадоксально, из-за своего наряда, который тогда выделял ее из толпы. После революции ее на пять лет посадили в тюрьму за связь с диссидентскими религиозными организациями и запретили продолжать обучение в течение двух лет после выхода из тюрьмы.

Я представила ее в дни до революции; солнечным утром она шагает в гору по улице, ведущей к колледжу. Идет одна, глядя себе под ноги. Погожий день не приносит ей никакого удовольствия; этого не было тогда, нет и сейчас. Я говорю «нет и сейчас», потому что революция, сделавшая ношение платка обязательным для всех, не избавила Махшид от одиночества. До революции она могла в некоторой степени гордиться своей изоляцией. В то время она носила платок как свидетельство своей веры. Решение ее было добровольным. Когда революция насадила платок всем женщинам, ее действия потеряли смысл.

Махшид благовоспитанна в истинном смысле этого слова, обладает своеобразной грацией и достоинством. Кожа у нее как лунный свет, глаза миндалевидные, а волосы – угольно-черные. Она одевается во все пастельное и говорит тихо. Религиозность должна была оградить ее от проблем, но не оградила. Представить ее в тюрьме я не могу.

За годы нашего с Махшид знакомства она редко упоминала свой тюремный опыт, наградивший ее хроническим заболеванием почек. Однажды в классе мы говорили о страхах и кошмарах, которые преследуют нас день ото дня, и она призналась, что иногда к ней возвращаются тюремные воспоминания, и она пока не нашла способ проговорить и выразить, что с ней там произошло. Однако, добавила она, в повседневной жизни ужасов не меньше, чем в тюрьме.

Я предложила Махшид выпить чаю. Неизменно вежливая, она ответила, что хочет подождать остальных, и извинилась, что пришла чуть раньше назначенного времени. Могу я чем-то помочь, спросила она? Тут нечем помогать, ответила я. Располагайся. Я пошла на кухню с цветами и искала вазу. Снова позвонили в дверь. Я открою, крикнула Махшид из гостиной. Я услышала смех; пришли Манна и Ясси.

Манна зашла на кухню с маленьким букетом роз. От Нимы, пояснила она. Он хочет, чтобы вам было совестно, что вы исключили его из группы. Говорит, что возьмет букет роз и во время занятий устроит под вашими окнами марш протеста. Она улыбалась; глаза ненадолго заискрились и снова погасли.

⁸ Бабочки – важный образ и символ в творчестве Набокова, например, они часто появляются в его произведениях как предвестники смерти.

Я разложила пирожные на большом подносе и спросила Манну, ассоциируются ли у нее отдельные слова из ее стихотворений с цветом. И пояснила: Набоков в автобиографии писал, что у него и его матери был свой цвет для каждой буквы алфавита⁹. Себя он называл «писателем-живописцем».

В Исламской Республике мое цветовое чутье огрубело, ответила Манна, теребя опавшие листья своих роз. Хочется носить кричащие тона: вызывающий розовый, помидорный красный. Душа жаждет цвета так сильно, что разглядеть цвета в тщательно отобранных словах стихотворений уже не получается. Манна принадлежала к людям, способным испытывать эйфорию, но не счастье. Иди сюда, хочу кое-что тебе показать, сказала я, ведя ее в нашу спальню. Когда я была еще совсем маленькой, папа рассказывал мне сказки на ночь, и для меня всегда было важно знать, какого цвета все те места и вещи, что он описывал. Я хотела знать, какого цвета было платье Шахерезады, покрывало на ее кровати, джинн и волшебная лампа, а однажды я спросила у отца, какого цвета рай. Он ответил, что рай может быть любого цвета, какого я захочу. Но меня такой ответ не устроил. Однажды к нам пришли гости; я сидела в столовой и ела суп, и взгляд вдруг упал на картину, которая висела на стене, сколько я себя помнила. В тот миг я поняла, какого цвета мой рай. Вот эта картина, сказала я и гордо указала на маленькую картину маслом в старой деревянной раме: пейзаж с зеленой травой, пышной глянцевитой листвой, двумя птицами, двумя темно-красными яблоками, золотистой грушей и краешком голубого неба.

Мой рай – цвета голубой воды в бассейне, воскликнула Манна, все еще не сводя глаз с картины. А потом повернулась ко мне и рассказала, что они жили в доме с большим садом, принадлежавшем ее бабушке и дедушке, – знаете эти старинные персидские сады с плодовыми деревьями, персиками, яблонями, черешнями, хурмой и ивами. Мои лучшие воспоминания о детстве, продолжала она, связаны с тем, как я плаваю в нашем большом бассейне неправильной формы. В школе я была чемпионкой по плаванию – отец очень этим гордился. Через год после революции он умер от сердечного приступа, потом правительство конфисковало наш дом и сад, и мы переехали в квартиру. Больше я никогда не плавала. Моя мечта осталась на дне этого бассейна. Мне снится один и тот же сон: как я ныряю туда, чтобы достать что-то из памяти своего отца, из своего детства. Все это она рассказывала, пока мы возвращались в гостиную; потом в дверь снова позвонили.

Пришли Азин и Митра. Азин снимала черную накидку, скроенную как кимоно – в то время накидки в японском стиле как раз вошли в моду. Под хиджабом на ней оказалась белая крестьянская блуза с открытыми плечами, без всякой претензии на скромность, и массивные золотые серьги. Губы были накрашены ярко-розовой помадой. Она принесла ветку мелких желтых орхидей и сказала, что это «от них с Митрой». Говорила она своеобразным тоном, который можно описать как кокетливо-недовольный.

Потом пришла Нассрин. Она принесла две коробки нуги – подарок из Исфахана. На ней была ее обычная униформа – темно-синяя накидка, темно-синий платок и черные туфли без каблуков. Когда я видела ее на занятиях в последний раз, она была в просторной черной чадре, открывающей лишь овал лица и две беспокойные кисти, которые в свободное от рисования и письма время постоянно двигались, словно пытались вырваться из оков плотной черной ткани. Потом она сменила чадру на длинные бесформенные накидки темно-синего, черного или темно-коричневого цветов с плотными платками тех же цветов, в которые пеленала свое лицо, убирая волосы. Лицо было маленькое и бледное, кожа такая прозрачная, что можно было посчитать все жилки; густые брови, длинные ресницы, живые глаза (карие), маленький прямой нос и сердитый рот – незаконченная миниатюра мастера, которого внезапно оторвали от

⁹ По-научному это называется графемно-цветовая синестезия: форма синестезии, при которой индивидуальное восприятие графем – цифр и букв – ассоциируется с ощущением цвета.

работы, и он ушел, оставив в центре небрежно намалеванного темного фона тщательно прорисованные черты.

Вдруг на улице взвизгнули шины и скрипнули тормоза. Я выглянула в окно: старый маленький «рено» кремового цвета остановился у тротуара. За рулем сидел юноша в модных очках и черной рубашке с дерзким профилем; он облокотился об открытое окно с таким видом, будто вел «порше». Он разговаривал с сидевшей рядом женщиной, глядя прямо перед собой. Лишь однажды он повернул голову вправо, и наверно лицо его в тот момент было сердитым; тогда же женщина вышла из машины, а он в сердцах захлопнул за ней дверцу. Она зашагала к двери нашего дома; он высунулся из окна и прокричал ей вслед несколько слов, но она не обернулась и не ответила. Старый «рено» принадлежал Саназ: она купила его на деньги, которые откладывала из зарплаты.

Я отвернулась от окна; увиденное заставило меня покраснеть. Это, должно быть, был ее несносный братец, подумала я. Через несколько секунд позвонили в дверь; я услышала на лестнице торопливые шаги Саназ и открыла ей дверь. Она выглядела испуганной, словно убегала от вора или преследователя. Но увидев меня, улыбнулась и, запыхавшись, произнесла: надеюсь, я не сильно опоздала?

В тот момент ее жизни над Саназ доминировали двое очень влиятельных мужчин. Первым был ее брат. Ему исполнилось девятнадцать лет, он еще не закончил школу и был родительским любимчиком – судьба наконец наградила их сыном после рождения двух дочерей, одна из которых умерла в возрасте трех лет. Он был избалован и помешан на Саназ. Он доказывал свою мужественность, повадившись шпионить за ней и подслушивать ее телефонные разговоры; он водил ее машину и следил за ее действиями. Родители пытались задобрить Саназ и умоляли ее как старшую сестру проявить терпение и понимание, взывая к ее материнским инстинктам, которые могли бы помочь юноше преодолеть этот трудный период.

Вторым мужчиной в жизни Саназ была ее детская любовь, парень, которого она знала с одиннадцати лет. Их родители были лучшими друзьями, и почти все время и отпуска семьи проводили вместе. Казалось, что Саназ и Али любили друг друга всегда. Родители благоволили этому союзу и твердили, что влюбленные созданы друг для друга. Шесть лет назад Али уехал в Англию, а его мать стала называть Саназ его невестой. Они переписывались, посылали друг другу фотографии, а недавно, когда к Саназ начали стучаться другие поклонники, зашел разговор о помолвке и встрече в Турции, куда иранцы могли въезжать без визы. Поездка должна была состояться со дня на день, и Саназ со страхом и трепетом ждала этого события.

Я никогда не видела Саназ без хиджаба и сейчас стояла как замороженная, глядя, как она снимает накидку и платок. Под накидкой на ней оказалась оранжевая футболка, заправленная в узкие джинсы, и коричневые сапоги, но что делало ее совершенно неузнаваемой, так это копна блестящих темно-каштановых волос, обрамлявших лицо. Она встряхнула своими великолепными волосами из стороны в сторону – позднее я поняла, что у нее такая привычка, она часто встряхивала головой и проводила рукой по волосам, словно убеждалась, что ее самое драгоценное сокровище все еще на месте. Ее черты смягчились, засияли – в черном платке, который она повязывала на людях, ее маленькое лицо казалось изнуренным, черты почти жесткими.

Запыхавшись и проведя рукой по волосам, она извинилась за небольшое опоздание. Брат настоял на том, чтобы отвезти меня, сказала она, но не захотел просыпаться вовремя. Он никогда не встает раньше десяти, но должен был проконтролировать, куда я направляюсь. Вдруг я на тайную встречу пошла или на свидание.

Я волновалась, не будет ли у вас проблем из-за этих уроков, сказала я, приглашая их занять места вокруг столика в гостиной. Надеюсь, ваши родители и мужья не против наших встреч.

Нассрин бродила по комнате и разглядывала картины, будто видела их впервые. Она небрежно бросила, что вскользь упомянула о занятиях отцу, чтобы увидеть его реакцию, и тот высказал яростное неодобрение.

Как же ты уговорила его разрешить тебе прийти, спросила я? Я соврала, ответила она. Соврала? Ну да, а как еще можно поступить с человеком настолько авторитарным, что не позволяет своей дочери в *таком-то* возрасте ходить на занятия литературой в женскую группу? Кроме того, разве не так нужно относиться к режиму? Разве мы говорим правду Стражам Революции? Мы им врем и прячем наши спутниковые тарелки. Мы говорим, что у нас дома нет запрещенных книг и алкоголя. Даже мой почтенный папаша им врет, если на карту поставлена безопасность семьи, дерзко отвечала Нассрин.

А что если он позвонит мне и решит тебя проверить, спросила я, отчасти желая ее подразнить. Нет, не позвонит, сказала она. У меня превосходное алиби. Я сказала, что мы с Махшид вызвались волонтерками и помогаем переводить исламские тексты на английский. И отец тебе поверил, спросила я? А с чего ему мне не верить, ответила она. Я раньше ему никогда не врала – по-крупному то есть – и я лишь сказала ему то, во что он хотел верить. К тому же он безоговорочно доверяет Махшид.

Так что же, если он мне позвонит, я должна ему соврать? Как хотите, отвечала Нассрин, ненадолго задумавшись и глядя на свои подвижные руки. А вы что же, считаете, надо сказать ему правду? Я услышала в ее голосе нотки отчаяния. У вас ведь не будет из-за меня неприятностей, спросила она?

Нассрин всегда вела себя так уверенно, что я порой забывала, насколько она на самом деле уязвима под личиной крутой девчонки. Я тебя не выдам, даже не думай, ласково ответила я. А ты, как сама сказала, уже взрослая девушка и знаешь, что делаешь.

Я устроилась на своем обычном месте напротив зеркала, где высились неподвижные горы. Странно смотреть в зеркало и видеть не себя, а далекий пейзаж. Махшид колебалась и села справа от меня. Манна заняла место на кушетке ближе к правому краю, Азин – к левому; они инстинктивно держались друг от друга подальше. Саназ и Митра сели на двухместный диван, склонили друг к другу головы и принялись шептаться и хихикать.

В этот момент вошли Ясси и Нассрин и огляделись в поисках свободного места. Азин похлопала по кушетке, где еще пустовало местечко, и поманила Ясси. Та засомневалась, а потом села между Азин и Манной. Развалилась и почти не оставила места двум соседкам, которые выпрямились и сели немного напряженно, каждая в своем углу. Без накидки Ясси выглядела полноватой, точно не избавилась еще от детского жирка. Нассрин пошла в столовую за стулом. Иди к нам, места хватит, сказала Манна. Нет, спасибо, ответила Нассрин; люблю сидеть на стульях с прямыми спинками. Вернувшись, она поставила стул между кушеткой и Махшид.

Они хранили верность этой рассадке до самого конца. Она стала символом их эмоциональных границ и личных отношений. Так началось наше первое занятие.

5

– *Эпсилямба!* – воскликнула Ясси, когда я вошла в столовую с подносом, накрытым к чаепитию. Ясси любила игру слов. Однажды она призналась, что питает к словам нездоровую одержимость. Стоит узнать новое слово, и я чувствую, что должна использовать его в речи, говорила она – подобно тому, как, купив вечернее платье, женщина так хочет покрасоваться в нем, что надевает его и в кино, и на обед.

Позвольте сделать паузу и отмотать пленку на начало событий, предшествующих возгласу Ясси. Первое занятие у меня дома. Все нервничают, у всех отсох язык. Мы привыкли встречаться в общественных местах, главным образом в классах и лекционных залах. У всех девочек были со мной разные отношения, но кроме Нассрин и Махшид, которые были близкими подругами, и Митры с Саназ, которых можно было назвать приятельницами, девочки не общались друг с другом, и более того – ни за что не стали бы дружить в иных обстоятельствах. Неожиданно очутившись рядом в столь интимной обстановке, они испытывали неловкость.

Я объяснила им цель наших занятий: мы будем читать литературные произведения, обсуждать их и писать критику. У каждой студентки будет личный дневник, в котором она будет записывать свою реакцию на прочитанное и рассуждать, имеется ли связь между этими произведениями и нашим обсуждением, личным опытом и опытом пребывания в обществе. Я объяснила студенткам, что отобрала для занятий именно их, потому что их интерес к изучению литературы кажется мне устойчивым. Я также заметила, что одним из критериев выбора книг являлась вера их авторов в критическую и почти волшебную силу литературы, и напонила о девятнадцатилетнем Набокове, который во время Октябрьской революции не позволял себе отвлекаться на звуки выстрелов. Он писал свои одинокие стихи и одновременно слышал выстрелы и видел кровавые стычки под окнами. Через семьдесят лет и мы увидим, будет ли наша невозмутимая вера вознаграждена преобразованием мрачной реальности, созданной другой революцией – нашей собственной.

На первом занятии мы обсуждали «Тысячу и одну ночь», знакомую всем с детства сказку об обманутом царе, который убивал своих девственников-жен, желая отомстить за измену царицы, и чья кровавая рука в конце концов была остановлена талантливейшей сказочницей Шахерезадой. Я сформулировала несколько общих вопросов для размышлений, и главный вопрос звучал так: как великие произведения, созданные человеческой фантазией, могут помочь нам в безвыходной ситуации, в которой оказались мы, женщины. Мы не искали готовых схем и легких решений; мы лишь надеялись проложить ниточку между нашей жизнью, представлявшей собой закрытое пространство, клетку, и романами, ставшими нашей отдушиной и свободным пространством. Помню, как зачитывала девочкам цитату из Набокова: «Читатели рождаются свободными и должны такими оставаться».

В рамочном сюжете «Тысяча и одной ночи» меня больше всего заинтересовали два типа изображаемых женщин – все они являлись жертвами несправедливости правителя. До того, как в сюжете возникла Шахерезада, героини делились на предательниц, которых затем убивают (царица), и тех, кого убивали до того, как у них появлялась возможность предать (девственников). В отличие от Шахерезады, у девственников в этой истории не было голоса, и литературные критики по большей части ничего о них не говорят. Однако молчание этих женщин существенно. Они отдают свою девственность и жизнь без сопротивления и протеста. Можно сказать, они даже не существуют; их смерть анонимна и не оставляет следа. Неверность царицы не лишает царя абсолютной власти; она просто выбивает его из равновесия. Оба типа героинь – царица и девственницы – молчаливо признают общественный авторитет царя и действуют в рамках установленных им правил, подчиняясь его нелогичным законам.

Шахрезада разбивает цикл насилия, устанавливая другие условия контракта. В отличие от царя, она строит свой мир не на физической силе, а на воображении и трезвом разуме. Это придает ей мужество рисковать жизнью; это и отличает ее от других героев сказки.

У нас было издание «Тысячи и одной ночи» в шести томах. К счастью, я купила эти книги до того, как их запретили и стали продавать только на черном рынке по баснословной цене. Я раздала их девочкам и попросила к следующему занятию классифицировать сказки на основе действующих в них женских типов.

Дав им это задание, я попросила каждую рассказать, почему она захотела приходить сюда каждое утро в четверг и обсуждать Набокова и Джейн Остин. Отвечали девочки коротко и вымученно. Чтобы разрядить обстановку, я предложила отвлечься на чай с профитролями.

Это подводит нас к тому моменту, когда я вхожу в столовую со старым неотполированным серебряным подносом, на котором стоит восемь стаканчиков с чаем. Заваривание и сервировка чая в Иране – эстетический ритуал, исполняемый несколько раз в день. Чай мы подаем в прозрачных стаканах, маленьких, красивой формы; самая популярная форма – тюльпано-видная: расширяющаяся сверху, узкая в середине и круглая и широкая у основания. Цвет и тонкий аромат чая свидетельствуют о мастерстве заварщицы.

Итак, я вхожу в гостиную и несу восемь стеклянных тюльпанов, в которых соблазнительно плещется медового цвета жидкость. В этот момент Ясси торжествующе выкрикивает: «Эпсилямба!» Слово летит в меня, как мяч, и я мысленно подпрыгиваю и ловлю его.

Эпсилямба – это слово возвращает меня в весну 1994 года, когда Нима и четыре моих девочки посещали занятия по роману двадцатого века – не ради оценки, а просто так. У группы, в которую они ходили, была любимая книга – «Приглашение на казнь» Набокова. В этом романе Набоков проводит различие между окружающими людьми и Цинциннатом Ц., одиноким и наделенным живым воображением героем. В обществе, где одинаковость является не только нормой, но и законом, Цинцинната Ц. отличает от других оригинальность. Даже в детстве, пишет Набоков, Цинциннат ценил свежесть и красоту языка, в то время как другие дети «понимали друг друга с полуслова, – ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на эпсилямбу¹⁰, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями».

Никто в классе не удосужился спросить, что значит это слово. Я имею в виду, никто из учеников текущей группы – ведь многие мои бывшие студенты продолжали посещать мои курсы уже после окончания университета. Занятия часто интересовали их больше, чем текущих студентов, приходивших ко мне ради оценок, и учились они усерднее. Так и вышло, что старшие студенты, слушавшие мои лекции не ради оценок, а для себя – Нассрин, Манна, Нима, Махшид и Ясси – однажды собрались в моем кабинете, чтобы обсудить эту тему и другие.

Я решила сыграть с учениками в игру, проверить их любознательность. Один из вопросов на экзамене в середине семестра звучал так: «Объясните значение слова *эпсилямба* в контексте „Приглашения на казнь“. Что оно означает и как соотносится с главной темой романа?» За исключением четырех-пяти студентов никто не знал ответ на этот вопрос, и я постоянно напоминала группе об этом весь остаток семестра.

Правда же в том, что Набоков придумал эпсилямбу, вероятно, сложив два слова – «эпсилон», двадцатую букву древнегреческого алфавита, и «лямбда», одиннадцатую. В первый день нашего тайного класса мы позволили себе поиграть и изобрести новые, собственные смыслы этого слова.

¹⁰ У Набокова в русском варианте романа (это цитата из него) – ижица. *Эпсилямба* (*upsilamba*) – это перевод слова *ижица* на английский, придуманный самим автором, несуществующая буква, составленная из названия двух букв древнегреческого алфавита – *эпсилон* и *лямбда*. (Что интересно, первая буква действительно напоминает птицу, а вторая – раздвоенный конец пращи.)

У меня эпсилямба ассоциировалась с невероятным восторгом прыжка, чувством зависания в воздухе. Ясси, которая беспричинно разволновалась, воскликнула, что эпсилямбой мог бы называться танец – «давай, детка, станцует эпсилямбу». Я предложила, чтобы каждая девочка к следующему занятию написала одно-два предложения, объясняющие смысл этого слова.

Манна написала, что при слове «эпсилямба» представляет маленькую серебристую рыбку, выпрыгивающую из подлунного озера. Нима в скобках подписал: вот вам моя эпсилямба, чтобы не забывали обо мне, хоть и исключили меня из своего класса! Для Азин эпсилямба была звуком, мелодией. У Махшид сложился такой образ: три девочки прыгают через скакалку и кричат «Эпсилямба!» при каждом прыжке. Для Саназ это слово оказалось тайным волшебным именем маленького мальчика из Африки. Митре оно почему-то напомнило блаженный вздох. Для Нассрин «эпсилямба» являлась шифром, открывающим дверь в потайную пещеру, полную сокровищ.

Эпсилямба положила начало нашей растущей коллекции тайных слов и фраз – коллекции, которая со временем ширилась, пока у нас не появился собственный тайный язык. Это слово стало символом, признаком смутной радости, мурашек, которые, по мнению Набокова, должны пробегать по спине читателей художественной литературы. Это ощущение отделяет «хороших» читателей от «обычных». Потом эпсилямба стала кодовым словом, открывающим тайную пещеру памяти.

6

В предисловии к английскому изданию «Приглашения на казнь» (1959) Набоков напоминает читателям, что его роман не относится к разряду *tout pour tous* – «всё для всех». «Это голос скрипки в пустоте», – пишет он. «Но... я знаю нескольких читателей, которые вскочат на ноги, схватив себя за волосы»¹¹, – продолжает он. И с этим не поспоришь. Оригинальная версия романа, рассказывает Набоков, публиковалась частями в 1935 году. Почти шестьдесят лет спустя в мире, которого Набоков не знал и, вероятно, не смог бы постичь никогда, в одинокой гостиной с окнами, выходящими на далекие заснеженные горы, я снова и снова наблюдала, как мои читательницы Набокова – а сам Набоков, пожалуй, и представить не мог, что его книги попадут в такие руки, – забывшись, в исступлении хватали себя за волосы.

«Приглашение на казнь» начинается с объявления: тщедушный главный герой романа Цинциннат Ц. приговаривается к смерти за «гносеологическую гнусность» – там, где от всех граждан требуют «прозрачности», он «непрозрачен». Основной характеристикой мира, где живет Цинциннат, является его нелогичность; у приговоренного есть лишь одна привилегия – он может узнать точное время своей казни, но палачи утаивают от Цинцинната и это. Таким образом, каждый день превращается для него в день казни. По мере развития сюжета читатель с растущим дискомфортом обнаруживает искусственность этого странного места. В окно светит ненастоящая луна; ненастоящий и паук в углу, который, по традиции, должен стать заключенному верным спутником. Директор тюрьмы, тюремщик и адвокат оказываются одним и тем же человеком, появляющимся в разных местах. Самый важный персонаж, палач, сперва предстает перед заключенным под другим именем – м-сье Пьер – и притворяется арестантом. Палач и осужденный должны научиться любить друг друга и сотрудничать в процессе казни, за которой следует шумное пиршество. В этом постановочном мире единственным окном Цинцинната в другую вселенную является его литературное творчество.

Мир романа состоит из пустых ритуалов. Все действия в нем лишены содержания и смысла, даже смерть становится спектаклем, на который добропорядочные граждане покупают билеты. Благодаря этим бессмысленным ритуалам и осуществляется жестокость. В другом романе Набокова, «Истинная жизнь Себастьяна Най-та», Себастьян находит в библиотеке покойного брата две совершенно разные картинки: на одной красивый кучерявый ребенок играет с собакой, на другой китайцу отрубает голову. Картинки напоминают о тесной связи повседневности и жестокости. У Набокова для этого есть особое русское слово: пошлость.

Пошлость, объясняет Набоков, это «не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность». В повседневной жизни примеров пошлости немало – от слащавых речей политиков и заявлений некоторых писателей до цветных цыплят. Что за цыплята, спросите вы? Их продают уличные торговцы – любой, кто жил в Тегеране в одно время со мной, поймет, о чем речь. Этих цыплят окунают в краску – кричаще-розовую, огненно-красную, бирюзовую – чтобы сделать их более привлекательными. Или пластиковые цветы – розовые с голубым искусственные гладиолусы, которыми украшают университет и в праздники, и в траур.

В «Приглашении на казнь» Набоков изображает не физическую боль и пытки тоталитарного режима, а воссоздает атмосферу кошмара наяву, который представляет собой жизнь в постоянном страхе. Цинциннат Ц. ослаблен, пассивен, он – герой, не подозревающий об этом и не признающий себя героем; он борется со своими инстинктами, а его записки помогают ему уйти от реальности. Он герой, потому что отказывается становиться похожим на остальных.

¹¹ Все цитаты Набокова здесь – не перевод с английского, а собственно цитаты Набокова.

В отличие от других антиутопий, силы зла в «Приглашении на казнь» не всемогущи; Набоков демонстрирует их уязвимость. Зло не всесильно, и его можно победить, но это не преуменьшает трагедию и ущерб. Роман написан от лица жертвы, человека, который видит нелепую искусственность своих преследователей и должен уйти в себя, чтобы выжить.

Жители Исламской Республики Иран осознавали трагизм, абсурд и жестокость своей ситуации. Чтобы выжить, нам приходилось смеяться над своим несчастьем. Мы также инстинктивно чувствовали пошлость не только в окружающих, но и в себе. Именно по этой причине искусство и литература стали такой важной частью нашей жизни: они являлись для нас не роскошью, а необходимостью. Набокову удалось запечатлеть саму текстуру существования в тоталитарном обществе, где человек одинок в иллюзорном мире ложных обещаний и не способен отличить спасителя от палача.

Хотя проза Набокова очень сложна, у нас с ним образовалась особая связь. И не только потому, что мы идентифицировали себя с темами его романов. В его книгах все устроено вокруг невидимых ловушек, внезапных «подножек», когда из-под ног читателя постоянно выдергивают ковер. Они полны недоверия к так называемой «повседневной реальности» и пронизаны ощущением ее хрупкости и изменчивости.

В жизни и прозе Набокова было что-то такое, в чем мы инстинктивно углядели родство и ухватились за него, — за эту перспективу безграничной свободы в отсутствие всякого выбора. Полагаю, именно это и сподвигло меня на создание моей домашней группы. Университет связывал меня с внешним миром, и теперь, обрубив эту нить и стоя на краю бездны, я могла позволить бездне себя поглотить, а могла взять в руки скрипку.

7

Два групповых снимка следует поставить рядом. Оба символизируют «зыбкую нереальность» нашего существования в Исламской Республике Иран («зыбкая нереальность» – так Набоков описывал свое состояние в изгнании). Одна фотография отрицает другую, и вместе с тем по отдельности обе кажутся неполными. На первом снимке, в черных платках и покрывалах, мы являемся воплощением чьей-то чужой мечты. На второй мы предстаем такими, какими видим себя в собственных мечтах. Ни там, ни там нам на самом деле не место.

Второй снимок изображает мир внутри моей гостиной. Но снаружи, под окном, обманчиво показывающем мне лишь горы и дерево у нашего дома, находится другой мир, где злые ведьмы и фурии ждут не дождутся возможности превратить нас в существ с первого снимка, укутанных в черное.

Жизнь в этом аду, полном парадоксов и самоотрицания, лучше всего объяснить с помощью поучительной истории, которая, как все подобные истории, настолько символична, что если и есть в ней капля вымысла, это уже неважно.

Верховный цензор иранского кинематографа, занимавший этот пост до 1994 года, был слеп. Точнее, почти слеп. До этого он служил театральным цензором. Мой друг-драматург рассказывал, как цензор сидел в театре в очках с толстыми стеклами, которые, казалось, скорее ухудшали, чем улучшали видимость. Сидевший рядом помощник комментировал происходящее на сцене, а цензор диктовал, какие части спектакля нужно вырезать.

В 1994 году цензор возглавил новый телеканал. Там он усовершенствовал свои методы и теперь требовал, чтобы сценаристы представляли ему сценарии на аудио-пленках; при этом запрещалось читать их выразительно или использовать какие-либо дополнительные методы «улучшения». Цензор выносил решение, прослушивая пленки. Но вот что любопытно: его приемник хоть и не был слеп – по крайней мере, физически – взял на вооружение ту же систему.

Наш мир под властью мулл формировался слепыми цензорами, взиравшими на него сквозь бесцветные линзы очков. В мире, где цензоры конкурировали с поэтами и наряду с последними перестраивали и переформировывали реальность, где нам приходилось одновременно искать свое место и служить порождениями чьего-то воображения, этому странному обесцвечиванию подвергалась не только наша реальность, но и наша литература.

Мы жили в культуре, где отрицалась ценность литературных произведений; те считались важными, лишь если прислуживали чему-то еще более важному – а именно идеологии. В этой стране любое действие, даже самое интимное, считалось политически окрашенным. Символами западного упадничества и империалистических тенденций считались цвет моего платка и цвет отцовского галстука. Отсутствие бороды, ритуал обмена рукопожатиями с людьми противоположного пола, хлопанье в ладоши и свист на многолюдных сборищах – все это считалось западным и, следовательно, упадническим элементом империалистического заговора по ниспровержению нашей культуры.

Несколько лет назад члены иранского парламента учредили следственную комиссию с целью оценить содержание программ национального телевидения. Комиссия выпустила длинный отчет, в котором осуждался показ «Билли Бадда»¹², поскольку фильм, по словам цензоров, пропагандировал гомосексуальность. Самое смешное, что иранские телевизионщики изначально выбрали этот фильм для показа именно потому, что в нем не было женщин. Под-

¹² Британский фильм 1962 года режиссера Питера Устинова по одноименной новелле Германа Мелвилла рассказывает историю моряка, которого обвиняют в планировании мятежа. Новелла Мелвилла действительно считается одним из примеров ЛГБТ-литературы.

вергся разносу и мультит «Вокруг света за 80 дней»: его главный герой лев был британцем, а действие фильма заканчивалось в Лондоне – оплоте империализма.

Вот в каком контексте проходили наши занятия; хотя бы на несколько часов в неделю мы пытались сбежать от ока слепого цензора. Именно там, в этой гостиной, к нам возвращалась вера, что и мы являемся живыми людьми, которые дышат и существуют; и каким бы репрессивным ни становилось наше государство, какими бы запуганными и задавленными мы себя ни чувствовали, мы пытались сбежать от этого и урвать свой собственный островок свободы, как Лолита. Как Лолита, мы при любой возможности бравировали неподчинением: позволяли пряди волос выбиться из-под платка, а небольшому цветному пятнышку – проникнуть в скучное однообразие наших одеяний. Мы отращивали длинные ногти, влюблялись и слушали запрещенную музыку.

Нашими жизнями правило абсурдное ощущение нереальности происходящего. Мы пытались жить на своих островках свободы, в кармашках, существующих между этой комнатой, ставшей нашим защитным коконом, и миром цензора, внешним миром, где обитали ведьмы и гоблины. Какой из этих миров был более реальным и к какому мы на самом деле принадлежали? Мы уже не знали ответа на этот вопрос. Наверно, у нас остался лишь один способ узнать правду – продолжать делать то, что мы делали. Пытаться образно описать эти два мира и в процессе придать форму своему видению и своей идентичности.

8

Как воссоздать этот другой мир за пределами гостинной? Мне ничего не остается, кроме как снова воззвать к вашему воображению. Представим одну из девочек, скажем, Саназ; вот она выходит из моего дома; проследуем за ней от дверей до пункта ее назначения. Она прощается, надевает черную накидку и платок поверх оранжевой футболки и джинсов, обворачивает платок кольцом вокруг шеи, пряча массивные золотые серьги. Убирает под платок растрепавшиеся пряди волос, кладет тетрадку в большую сумку, вешает сумку на плечо и выходит в подъезд. На лестничной клетке ненадолго останавливается и надевает тонкие черные кружевные перчатки, пряча покрашенные лаком ногти.

Вслед за Саназ мы спускаемся по лестнице, открываем дверь и выходим на улицу. Там вы можете заметить, что ее походка и жесты изменились. Сейчас ей лучше стать незаметной, тише воды, ниже травы. Она идет, не расправив плечи, а наклонив голову к земле и не глядя на прохожих. Шаг ее быстр и решителен. Улицы Тегерана и других иранских городов патрулирует народное ополчение; эти люди разъезжают в белых тойотах по четверо, иногда мужчины, иногда женщины, но непременно вооруженные; бывает, следом идет микроавтобус. «Кровь Бога» – так их зовут. Они патрулируют улицы с целью убедиться, что женщины – такие, как Саназ – правильно носят хиджаб, не покрашены, не ходят в общественных местах с мужчинами, если те не приходится им отцами, братьями или супругами. Саназ проходит мимо лозунгов на стенах, цитат Хомейни и движения, называющего себя «Партией Бога»¹³: «Мужчина в галстук – лакей США!»; «Чадра защищает женщину». Рядом с лозунгом углем нарисована женщина: невыразительное лицо обрамлено черной чадрой. «Сестра моя, следи за своей чадрой. Брат мой, следи за своими глазами».

Если Саназ сядет в автобус, мы увидим, что места для женщин и мужчин там разграничены. Она должна зайти в заднюю дверь и сесть на задние ряды, предназначенные для женщин. При этом в такси, которым разрешено перевозить пятерых пассажиров, мужчины и женщины набиваются, как кильки в бочку. То же касается маршруток – многие мои студентки жаловались на харассмент в маршрутке со стороны бородатых богобоязненных мужчин.

Вам, верно, интересно, о чем думает Саназ, шагая по улицам Тегерана? Как влияет на нее этот опыт? Скорее всего, она старается максимально отдалиться от происходящего вокруг. Возможно, она думает о брате или своем женихе, который сейчас далеко; представляет, как они встретятся в Турции. Сравнивает ли она себя с матерью, когда та была в том же возрасте? Злит ли, что женщины поколения ее матери могли свободно ходить по улицам, общаться с противоположным полом, служить в полиции, становиться летчицами, жить в стране, законодательство которой считалось одним из самых прогрессивных в отношении женщин? Чувствует ли она себя униженной новым законодательством, тем, что после революции возраст вступления в брак уменьшили с восемнадцати до девяти лет, а за супружескую измену и проституцию снова забивают камнями?

За два десятилетия тегеранские улицы превратились в зону боевых действий, где молодых женщин, не подчиняющихся правилам, затаскивают в патрульные машины и отвозят в тюрьму, подвергают порке, штрафуют, заставляют мыть туалеты и унижают. Однако, отбыв наказание, эти женщины возвращаются на улицы и делают все то же самое. Осознает ли Саназ свою силу? Осознает ли свою опасность для общества, ведь любой ее случайный жест может потревожить общественный порядок? Думает ли о том, как уязвимы Стражи Революции, которые уже более восемнадцати лет патрулируют улицы Тегерана и вынуждены терпеть молодых девушек вроде нее и женщин других поколений, что ходят по улицам, болтают и нарочно не

¹³ Так переводится с арабского «Хезболла».

поправляют выбившуюся из-под платка прядь волос просто чтобы напомнить окружающим, что они не обратились в новую веру.

Вместе с Саназ мы дошли до ее дома и там оставим ее на пороге. Возможно, за дверью ее ждет брат, а все ее мысли – о женихе.

У этих девочек – моих девочек – было две истории, реальная и сфабрикованная. Хотя все они вышли из разных слоев общества, правящий режим пытался уравнивать их личности и личные истории. Для режима они были мусульманскими женщинами, и им ни на миг не удавалось сбросить с себя этот ярлык.

Кем бы мы ни были, к какой бы вере ни принадлежали, добровольно ли носили хиджаб или вынужденно, соблюдали ли определенные религиозные нормы или нет – независимо от этого мы все являлись фрагментами чужой мечты. Нашей землей стал править суровый аятолла, самопровозглашенный царь-философ. Он воцарился здесь от имени прошлого – прошлого, которое, по его словам, у него украли. Теперь он желал воссоздать нас по образу и подобию этого иллюзорного прошлого. И он никогда бы не сделал с нами того, что сделал, если бы мы ему не позволили. Но утешало ли это нас теперь? Хотели ли мы об этом вспоминать?

9

Удивительно, но когда у человека забирают все возможности, малейший зазор таит в себе огромный потенциал свободы. Собираясь вместе, мы ощущали почти абсолютное освобождение. Это чувство витало в воздухе тем первым утром в четверг. Я подготовила план занятий и выбрала несколько книг, но была готова следовать настроениям группы и в соответствии с ними изменять план; я не собиралась наступать на горло их песне – пусть звенит посреди бездны, наполняя и меняя ее своим звучанием.

Я часто спрашиваю себя: я ли выбрала девочек для участия в этих занятиях или они выбрали меня? Приглашая их участвовать, я держала в голове некоторые критерии, но эта группа создавалась благодаря им; это они невидимой рукой подвели меня к тому, что я наблюдала сейчас в своей гостиной.

Взять самую младшую девочку, Ясси. На первом снимке та стоит с задумчивым лицом. Голова наклонена вбок, словно она не знает, какое выражение лица будет более подходящим к случаю. На ней тонкий бело-серый шарф, небрежно повязанный на горле – формальный признак принадлежности к строго религиозной семье. Ясси была первокурсницей, но в последний год моей работы в университете ходила на все занятия для выпускного курса. Она тушевалась перед старшекурсниками, считая, что те просто в силу своего старшинства не только обладают более обширными знаниями и лучше владеют английским, но и умнее в целом. Хотя она понимала самые сложные тексты лучше многих дипломников, усердно читала все заданное по программе и любила чтение сильнее большинства, она была уверена лишь в одном – в своей ужасной неуверенности.

Примерно через месяц после того, как я втайне решила уволиться из Алламе Табатабаи, мы с Ясси стояли у зеленых ворот перед входом в университет. Сейчас эти зеленые ворота – самое четкое мое воспоминание об университете. Много лет каждый будний день я проходила мимо них как минимум дважды, но все же не могу детально нарисовать их в своем воображении. В моих воспоминаниях чугунные ворота приобретают эластичность и становятся волшебной дверцей, существующей отдельно от стен, охраняющих университетскую территорию. И все же я помню их границы. У ворот открывалась только одна створка и вела на широкую улицу, которая, казалось, уходила прямо в горы. По другую сторону раскинулся небольшой сад, принадлежавший кафедре персидского языка и иностранных языков и литературы; сад, где вокруг маленького потрескавшегося декоративного фонтана со сломанной статуей в центре безводной чаши росли персидские розы и другие цветы-эндемики.

Памятью о зеленых воротах я обязана Ясси – она упоминает их в одном из своих стихотворений. Оно называется «Как мало все то, что я люблю». В этом стихотворении она описывает свои любимые предметы: оранжевый рюкзак, яркое пальто, велосипед, такой же, как у ее двоюродной сестры; а также рассказывает, как нравится ей входить в университет через зеленые ворота. Ворота появляются в этом стихотворении и в нескольких других и служат волшебной дверью в запретный мир обычных предметов, которых ее лишили в жизни.

На самом деле зеленые ворота были всегда закрыты для Ясси и для всех моих девочек. Рядом с ними в стене был устроен небольшой проем, занавешенный портьерой. Выглядел он настолько несуразно и чужеродно, что привлекал взгляды – разинутый рот в стене, вззирающий на прохожих с высокомерной наглостью незваного гостя. Через этот проем проходили все студентки, и мои девочки тоже, попадая оттуда в маленькую темную комнату, где велся досмотр. Позже, много позже после той нашей первой встречи, Ясси рассказывала, что с ней делали в этой комнате. «Сначала проверяли, правильно ли я одета – цвет пальто, длина формы, плотность шарфа, фасон обуви, содержимое сумки, следы даже легчайшего макияжа, размер колец и степень их броскости – все проверялось, прежде чем меня пускали на территорию универси-

тета – университета, где также учились мужчины. Для мужчин главные ворота – высоченные, широченные, украшенные эмблемами и флагами – всегда были великодушно распахнуты».

Маленький проем в стене служил источником бесконечных историй об унижениях, гнев и печали. Его задумывали, чтобы сделать девочек обычными и незаметными. Но вместо этого он акцентировал на них внимание и превращал их в объект, вызывающий любопытство.

Представьте Ясси, которая стоит со мной рядом у зеленых ворот; мы смеемся и шепчемся, как заговорщицы, стоя близко друг к другу. Она рассказывает об учителе исламской морали и перевода. Тюфяк, похожий на Тестовичка из рекламы смесей для выпечки, шепнула она. Через три месяца после смерти супруги он женился на ее младшей сестре, потому что у мужчины – тут Ясси понизила голос – «у мужчины есть потребности».

Потом она снова заговорила серьезным тоном и принялась описывать его недавнюю лекцию о различиях ислама и христианства. На миг она преобразилась в этого коротышку с мучнистым лицом, стоящего у доски с куском розового мела в одной руке и белого мела в другой. С одной стороны он большими белыми буквами написал: «МУСУЛЬМАНСКАЯ ДЕВУШКА» – и провел вертикальную линию по центру доски. С другой стороны большими розовыми буквами написал «ХРИСТИАНСКАЯ ДЕВУШКА». Затем спросил у группы, знают ли они, в чем разница между этими двумя. Наконец после неловкой паузы сам ответил на свой вопрос: одна из них девственница, сказал он, невинная и чистая, бережет себя для будущего мужа и только для него. Сила ее – в ее скромности. Другая – ну что о ней можно сказать, кроме того, что она не девственница. К удивлению Ясси, две девушки, сидевшие позади, – обе активные участницы Мусульманской студенческой ассоциации – захихикали и прошептали: *неудивительно, что все больше мусульманок сейчас обращаются в христианство*.

Мы стояли посреди широкой улицы, смеялись – редкий случай, когда осторожная улыбка Ясси – она улыбалась краешком губ – стерлась с лица, сменившись прятанным под ней безудержным весельем. На большинстве фотографий с ней этого смеха не видно; она стоит в отдалении от остальных, словно показывая, что как самая младшая в нашей группе знает свое место.

Подобные истории мои студентки вспоминали почти каждый день; мы смеялись над ними, а позже злились и расстраивались, хоть и бесконечно пересказывали их на вечеринках, за чашками кофе, в очереди за хлебом и в такси. Казалось, что сам факт пересказа этих историй давал нам над ними власть; наш уничижительный тон, наши жесты, даже наш истерический смех уменьшали этот тягостный груз.

В тот момент солнечной близости я предложила Ясси съесть по мороженому. Мы пошли в маленькое кафе, сели напротив друг друга с двумя кофе-глясе в высоких стаканах, и тут наше настроение переменялось. Мы если не помрачнели, то посерьезнели. Ясси происходила из семьи просвещенных мусульман, сильно пострадавших от революции. Им казалось, что Исламская Республика предаст ислам, а не отстаивает его каноны. В начале революции мать Ясси и ее старшая тетка вступили в прогрессивную группу мусульманских женщин; когда новое правительство обрушилось на своих бывших сторонников, женщины были вынуждены уйти в подполье. У этой тети было четыре дочери, все старше Ясси, и все они так или иначе поддерживали оппозиционную группу, ставшую популярной у молодых религиозных иранок. Всех, кроме одной, арестовали, пытали и посадили в тюрьму. Когда их выпустили, в течение года все они вышли замуж почти за кого попало, словно в спешке открещиваясь от своей прежней бунтарской сути. Ясси казалось, что хотя из тюрьмы они освободились, снаружи их ждали другие оковы – оковы традиционного брака.

А я считала настоящей бунтаркой саму Ясси. Она не вступала ни в одну политическую группу и организацию. Подростком она пошла наперекор семейным традициям и, несмотря на сильнейшее сопротивление родных, занялась музыкой. В ее семье было запрещено слушать любую музыку, кроме религиозной, даже по радио, но Ясси настаивала на своем. Она

была маленькой Золушкой и жила, укрывшись ото всех во дворце с неприступными стенами, а любила невидимого принца, который однажды должен был услышать ее музыку.

Ее бунтарство этим не ограничилось; она не вышла замуж за подходящего жениха в подходящее время и уехала из родного Шираза, чтобы учиться в тегеранском колледже. Теперь она жила на два дома: у старшей сестры и ее мужа и в доме дяди, склонного к религиозному фанатизму. Университет с его низким качеством обучения, шаткой моралью и идеологическими ограничениями оказался для нее разочарованием. В некоторой степени там она чувствовала себя даже более ограниченной, чем дома, где ей повезло расти в любящей и высокоинтеллектуальной среде. Утрата этой любви и теплоты стоила ей множества бессонных ночей. Она скупалась по родителям и семье и чувствовала вину за боль, которую им причинила. Позже я узнала, что из-за чувства вины у нее развились длительные парализующие мигрени.

Но что ей было делать? Она не верила в политику и не хотела замуж, но ей было любопытно, какая она – любовь. В тот день, сидя напротив меня и теребя ложку, она объяснила, почему все обычные поступки стали маленьким бунтом и актом политического неповиновения для нее и таких же, как она, молодых людей. Всю жизнь ее от всего берегли. Никогда не выпускали из виду; не было у нее никогда своего личного уголка, где можно было размышлять, мечтать, чувствовать, писать. Ей не разрешали встречаться с молодыми людьми один на один. Ее семья не только указывала, как ей вести с мужчинами, – родные, похоже, думали, что могут за нее решать, что чувствовать по отношению к мужчинам. Что кажется естественным такой, как вы, призналась она, мне представляется незнакомым и странным.

Смогла бы она когда-нибудь жить, как я, – жить сама по себе, подолгу гулять, держась за руки с любимым человеком, может, даже завести маленькую собачку? Она не знала. Хиджаб больше ничего для нее не значил, но без него она почувствовала бы себя потерянной. Она всегда носила хиджаб. Хотела ли она его носить? Она не знала. Я помню жест, который она сделала, произнеся эти слова – взмах рукой у лица, будто она отгоняла невидимую муху. Она сказала, что не может представить Ясси без хиджаба. Как она будет выглядеть? Изменится ли ее походка, ее жесты? Как посмотрят на нее окружающие? Станет ли она умнее или глупее? Она была одержима этими вопросами, как своими любимыми романами Остин, Набокова и Флобера.

Она снова повторила, что никогда не выйдет замуж – ни за что! Достойная ей пара всегда существовала только в книгах, и она проведет остаток жизни с мистером Дарси. Но даже в литературе попадалось мало достойных мужчин. Однако что в этом плохого? Она хотела уехать в Америку – как ее дяди, как я. Ее матери и теткам уехать не разрешили, но дядям выпала такая возможность. Сумеет ли она однажды преодолеть все препятствия и уехать в Америку? И надо ли ей это делать? Она хотела, чтобы я дала ей совет. Они все этого хотели. Но что я могла ей предложить – ей, которая жаждала от жизни гораздо большего, чем было ей дано?

В этой реальности я не могла дать ей ничего, поэтому рассказала о «другом мире» Набокова. Я спросила, заметила ли она, что в большинстве его романов – «Приглашение на казнь», «Под знаком незаконнорожденных», «Ада», «Пнин» – всегда присутствовала тень другого мира, того, куда попасть можно лишь с помощью вымысла. Этот мир не дает героям и героиням Набокова впасть в полное отчаяние и становится их прибежищем в жизни, где жестокость является чем-то будничным.

Взять, к примеру, «Лолиту». «Лолита» – история двенадцатилетней девочки, которой некуда деться. Гумберт попытался превратить ее в свою фантазию, в свою умершую любовь, и тем уничтожил. Отчаянная правда «Лолиты» не в изнасиловании двенадцатилетней грязным стариком, вовсе нет; а в *конфискации жизни одного человека другим*. Мы не знаем, кем стала бы Лолита, если бы Гумберт не поглотил ее. И вместе с тем роман, законченная работа, полон надежды и даже красоты; он написан не только в защиту красоты, но в защиту жизни – обычной повседневной жизни и всех нормальных радостей, которых Лолита, как Ясси, была лишена.

Разгорячившись и вдруг испытав прилив вдохновения, я добавила, что Набоков, по сути, отомстил всем, кто лишил нас иной реальности, кроме как существующей в их голове; он отомстил и аятолле Хомейни, и последнему жениху Ясси, и тюфяку-учителю с мучнистым лицом. Они пытались слепить из нас то, что видели в своих мечтах и желаниях, но в Гумберте Набоков разоблачил всех солипсистов, присвоивших себе чужие жизни. Она, Ясси, обладала большим потенциалом; она могла стать кем угодно – хорошей женой, учительницей, поэтессой. Сейчас важно было понять, кем она хотела быть.

Я рассказала ей об одном из своих любимых рассказов Набокова – «Комната волшебника»¹⁴. Сначала он хотел назвать его «Человек из подполья». В рассказе говорится об одаренном писателе и критике, в жизни которого было две великие страсти – литература и кино. После революции все, что он любил, запретили, загнали в подполье. Он решает прекратить писать и зарабатывать на жизнь, пока коммунисты у власти. Почти не выходит из своей маленькой квартиры. Временами оказывается на грани голодной смерти; он и умер бы, если бы не преданные друзья, ученики и немного денег, оставшихся от родителей.

Я описала его квартиру во всех подробностях. Она была пустой и ужасала своей белизной: белыми были стены, кафель, даже шкафы на кухне. Гостиную украшала лишь большая картина на пустой стене напротив входной двери. На ней были деревья, нарисованные густыми выпуклыми мазками разных оттенков зеленого: зелень поверх зелени. Источника света на картине не было, но деревья светились будто бы внутренним сиянием, исходящим не от солнца, а от них самих.

Из мебели в комнате волшебника имелся один коричневый диван, маленький столик и два одинаковых стула. Кресло-качалка стояло, словно брошенное, между гостиной и столовой. Перед ним лежал маленький ковер, подарок уже забытой потерянной возлюбленной. В этой комнате, на этом диване человек из подполья принимал своих гостей, проходивших тщательный отбор. Среди них были знаменитые кинорежиссеры, сценаристы, художники, писатели, критики, бывшие ученики и друзья. Они приходили спросить совета по поводу своих фильмов, книг и возлюбленных; хотели знать, как можно обойти правила, как обмануть цензора или продолжить тайную любовную связь. Так он становился режиссером их профессиональной и личной жизни. Часами он мог объяснять структуру идеи или монтировать фильм в монтажной. Кому-то советовал, как помириться с любимыми. Другим говорил, что если те хотят лучше писать, нужно влюбиться. Он читал почти всю литературу, которую публиковали в Советском Союзе, и каким-то образом был в курсе последних лучших фильмов и книг, выходивших за границей.

Многие желали быть частью его тайного королевства, но он выбирал лишь нескольких, тех, кто проходил его секретную проверку. Он сам формировал свой круг, принимая и отвергая людей по своим причинам. Взамен помощи он просил друзей никогда не признавать его участие и не упоминать его имени вслух. Он вычеркнул многих из своей жизни, потому что те нарушили это требование. Помню одну фразу, которую он часто повторял: «Хочу, чтобы меня забыли; не хочу быть членом этого клуба».

Ясси смотрела на меня такими глазами, что это побудило меня развивать и придумывать историю дальше. Она напомнила мне меня, какой я, наверное, была в самом детстве, когда отец по вечерам и рано утром перед уходом на работу садился на край моей кровати и рассказывал сказки. Когда он злился на меня за что-нибудь, хотел, чтобы я что-то сделала или желал меня успокоить, он брал самые скучные подробности повседневной жизни и превращал их в сказку, полную внезапностей и поворотов, от которых у меня перехватывало дыхание.

¹⁴ Этого рассказа не существует. Нафиси чуть позже скажет об этом; под видом героя выдуманного ей самой рассказа Набокова она описывает своего друга, реально существующего иранского литературного критика, о котором пишет и в других своих мемуарах; неизменно она скрывает его настоящее имя, называя его «волшебником».

В тот день я не сказала Ясси, что волшебника из рассказа Набокова, человека, который представлял для государства такую же опасность, как вооруженный мятежник, на самом деле не существовало – точнее, не существовало на бумаге. Это был реальный человек, который жил меньше чем в пятнадцати минутах от того места, где мы с ней сейчас сидели и рассеянно помешивали кофе в высоких стаканах длинными ложечками.

Тогда-то я и предложила Ясси участвовать в моих занятиях.

10

Я попросила вас представить нас, вообразить, как мы читаем «Лолиту» в Тегеране – роман о человеке, который, стремясь обладать двенадцатилетней девочкой и заполучить ее, косвенно становится причиной смерти ее матери, Шарлотты; таким образом девочка попадает в его ловушку и остается там на следующие два года, превращаясь в его любовницу. Удивлены ли вы таким выбором? Почему «Лолита»? Почему «Лолита» в Тегеране?

Хочу снова подчеркнуть, что мы не были Лолитами, а аятолла не был Гумбертом; наша республика не была тем, что Гумберт называл своим «княжеством у моря»¹⁵. «Лолита» не являлась критикой Исламской Республики, но любому тоталитарному режиму этот роман стоял поперек горла.

Давайте вспомним момент, когда Гумберт приезжает забрать Лолиту из летнего лагеря после смерти ее матери, о которой девочка пока не догадывается. Эта сцена – прелюдия к последующему двухлетнему плену, во время которого Лолита, не до конца понимающая, что происходит, переезжает из мотеля в мотель со своим стражем-любовником:

«Хочу на минуту продлить эту сцену со всеми её мелочами и роковыми подробностями. Карга, выписывающая расписку, скребущая голову, выдвигающая ящик стола, сыплющая сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом аккуратно раскладывающая поверх монет несколько ассигнаций с бодрым возгласом: „и вот ещё десять!“; фотографии девчоночек; ещё живая цветистая бабочка, надёжно приколотая к стенке (отдел природоведения); обрамлённый диплом диетолога; мои дрожащие руки; отзыв, приготовленный усердной начальницей о поведении Долли Гейз за июль („весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей“); шум деревьев и пение птиц, и моё колотящееся сердце... Я стоял спиной к открытой двери и вдруг почувствовал прилив крови к голове, услышав за собой её дыхание и голос».

Хотя в «Лолите» есть более впечатляющие сцены, чем эта, она демонстрирует мастерство Набокова и, на мой взгляд, является ядром романа. Набоков называл себя «писателем-живописцем», и эта сцена – лучшее подтверждение его словам. В этом описании кроется напряжение между всем, что было до этого момента (Шарлотта узнает о предательстве Гумберта; у них случается ссора, в результате Шарлотта погибает от несчастного случая), и предчувствием еще более ужасного, что должно случиться потом. Противопоставляя, казалось бы, незначительные предметы (обрамленный диплом, фотографии «девчоночек»), протокольную характеристику девочки («весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей») и личные чувства и эмоции («моя нетерпеливая ладонь»; «мои дрожащие руки»; «мое колотящееся сердце»), Набоков предвосхищает ужасные деяния Гумберта и украденное будущее Лолиты.

Обычные предметы в этой сцене, которая, на первый взгляд, является простым описанием, дестабилизируются эмоциями, вскрывающими грязный секрет Гумберта. Отныне его нетерпением и дрожью будут окрашены все нюансы этого нарратива; он станет навязывать свои эмоции ландшафту, времени, событиям, даже самым несущественным и незначительным. Удалось ли вам, как моим девочкам, почувствовать, что зло, которым пронизаны все действия и эмоции Гумберта, является тем более ужасающим, потому что он ведет себя как нормальный муж, нормальный отчим, нормальный человек?

И эта бабочка – бабочка или мотылек? Неспособность Гумберта отличить одно от другого, его нежелание разбираться в этих тонкостях намекает на моральную беспечность и в других вопросах. Слепое равнодушие перекликается с черствостью Гумберта по отношению к мертвому сыну Шарлотты и к еженощным всхлипам Лолиты. Те, кто говорит, что Лолита – маленькая соблазнительница и заслуживает того, что получила, должны помнить о том, как

¹⁵ Отсылка к стихотворению Эдгара По «Аннабель Ли».

каждую ночь она рыдала в объятиях своего насильника и тюремщика, потому что, как напоминает нам Гумберт со смесью восторга и жалости, «ей было совершенно некуда идти».

Обо всем этом я думала, когда при встрече мы стали обсуждать, как Гумберт конфисковал жизнь Лолиты. Первое, что поразило нас в этом романе, – это было на первой же странице – Лолиту преподносили нам как существо, созданное Гумбертом. Мы видим ее лишь урывками. «То существо, которым я столь неистово наслаждался, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой – быть может, более действительной, чем настоящая... лишенной воли и самознания – и даже всякой собственной жизни», – сообщает нам Гумберт. Гумберт втыкает в Лолиту первую булавку, давая ей имя – имя, становящееся отзвуком его желаний. Там, на самой первой странице, он перечисляет различные ее прозвища, имена для разных случаев – Ло, Лола, а в его объятиях – всегда Лолита. Нам также сообщают ее «настоящее» имя – Долорес, что по-испански означает «боль».

Чтобы дать Лолите новую личность, Гумберт должен сперва забрать у нее ее реальную историю, заменив ее своей собственной. Он превращает Лолиту в реинкарнацию своей потерянной безответной юной любви – Аннабеллы Ли. Мы узнаем Лолиту не напрямую, а через Гумберта, и не через ее прошлое, а через призму прошлого или воображаемого прошлого рассказчика/насильника. Гумберт, ряд литературных критиков и даже один из моих студентов – Нима – называли этот процесс гумбертовской солипсизацией Лолиты.

Но ведь у нее было прошлое. Несмотря на попытки Гумберта сделать Лолиту сиротой и украсть у нее ее личную историю, мы видим ее прошлое урывками. Благодаря литературному мастерству Набокова эти редкие проблески воспринимаются особенно болезненно на контрасте со всепоглощающей одержимостью Гумберта его собственным прошлым. Прошлое Лолиты трагично – умер ее отец, умер двухлетний брат. Теперь умерла и мать. Как и в случае моих студенток, прошлое Лолиты наступает ее не ощущением потери, а, скорее, чувством нехватки, и, как и мои девочки, она становится фрагментом чужой мечты.

В какой-то момент правда о прошлом Ирана становится для тех, кто ее присвоил, такой же призрачной, как и правда Лолиты для Гумберта. Она становится нематериальной, как правда Лолиты, ее собственные желания и жизнь; все это нужно обесцветить пред лицом одержимости Гумберта, его стремления сделать непослушную двенадцатилетнюю девочку своей любовницей.

Думая о Лолите, я вспоминаю припигуленную к стене полуживую бабочку. Бабочка – неочевидный символ, но содержит намек на действия Гумберта – тот припикивает Лолиту так же, как припикивали бабочку; хочет, чтобы она – существо, которое живет и дышит, – стала неподвижной, отказалась от своей жизни, став мертвой натурой, ибо он взамен предлагает ей именно это. В сознании читателей Набокова образ Лолиты навек неразрывно связан с образом ее тюремщика. Сама по себе Лолита бессмысленна; она оживает лишь за решеткой своей камеры.

Вот как я воспринимала «Лолиту». Когда мы обсуждали ее на занятиях, наши обсуждения всегда были окрашены личными горестями и радостями моих учениц. Как следы от слез размывают строки письма, эти вылазки в скрытое и личное окрашивали все наши обсуждения Набокова. Я стала все чаще думать об этой бабочке, о том, почему тема извращенной близости жертвы и тюремщика оказалась нам так близка.

11

В ходе наших занятий я делала заметки в толстых ежедневниках. Их страницы были почти чистыми, кроме четвергов; бывало, что записи перетекали на пятницы, субботы и воскресенья. Когда я уезжала из Ирана, я не взяла с собой эти ежедневники, они были слишком тяжелыми, но я вырвала исписанные страницы, и сейчас эти мятые листы из забытых дневников с надорванным краем лежат передо мной. Кое-где уже невозможно разобрать мои каракули и что я имела в виду, но конспекты за первые несколько месяцев аккуратные и четкие. В основном там описаны открытия, которые я сделала в ходе наших дискуссий.

В первые несколько недель мы читали и обсуждали заданные книги упорядоченно, почти как на занятиях в университете. Я подготовила список вопросов, взяв за основу те, что прислала мне подруга, изучавшая права женщин; я хотела разговаривать девочек. Те послушно отвечали. Как вы охарактеризуете свою мать? Назовите шесть человек, которыми вы восхищаетесь, и шесть, к которым испытываете сильную неприязнь. Опишите себя двумя словами. Их ответы на эти скучные вопросы были скучными; они писали то, что я ждала от них услышать. Помню, что Манна пыталась отвечать нестандартно. На вопрос «опишите свое представление о себе» она написала: «Я пока не готова ответить на этот вопрос». Они все не были готовы. Пока.

С самого начала в качестве эксперимента я делала заметки. Еще в ноябре, спустя всего месяц после начала наших занятий, я написала: «Митра: некоторые женщины говорят, что иметь детей – их предназначение, и звучит это так, будто они обречены». Я добавила: «Неприятие мужчин у некоторых девочек еще сильнее моего. Они все стремятся к независимости. Им кажется, что найти равного себе мужчину невозможно. Они считают себя взрослыми и зрелыми, в отличие от окружающих мужчин, которые не ставят себе цель думать». 23 ноября: «Манна: я сама себя пугаю, все мои поступки и мысли не похожи на поступки и мысли окружающих. Окружающие тоже меня пугают. Но больше я боюсь себя». На протяжении всего нашего общения с первого дня до последнего я замечала, что у девочек отсутствовало четкое восприятие себя; они могли видеть себя и составлять представление о себе лишь чужими глазами – как ни парадоксально, глазами людей, которых они презирали. *Любовь к себе; уверенность в себе*, подчеркнула я в своих заметках.

Они открывались и оживлялись, лишь когда мы обсуждали книги. Романы становились побегом от реальности; мы могли восхищаться их красотой и совершенством, оставив в стороне истории о деканах, университете и уличных стражах морали. Мы читали эти книги непредвзято, не питая ожиданий и не связывая их с нашими личными историями; как Алиса, мы просто бежали за Белым Кроликом и прыгали в его нору. Эта невинность восприятия дала плоды – без нее мы не осознали бы степени своего онемения. Парадокс, но именно романы, с помощью которых мы спасались от реальности, в итоге заставили нас усомниться в ней и начать анализировать ее, хотя прежде мы были беспомощны и не могли подобрать слов для ее описания.

В отличие от поколения писателей и интеллектуалов, к которому принадлежала и с которым теперь водила знакомство я, новое поколение – поколение моих девочек – не интересовалось идеологией и не имело политической позиции. Ими двигало чистое любопытство, реальная нехватка произведений великих писателей, попавших под запрет и ставших недоступными из-за режима и поддерживавших Революцию интеллектуалов и вынужденных прозябать в тени. В отличие от периода накануне революции, ныне кумирами молодежи стали «нереволюционные писатели», носители канона – Джеймс, Набоков, Вулф, Беллоу, Остин и Джойс. Они были посланниками запретного мира, который мы идеализировали и восхваляли сильнее, чем он того заслуживал.

В некотором роде тяга к красоте и инстинктивное стремление бороться с «неправильной формой вещей» – выражаясь словами Вадима, рассказчика последнего романа Набокова «Смотри на арлекинов!», – присутствовали у представителей разных идеологических полюсов того, что принято называть «культурой». Эта сфера была одной из немногих, где идеология играла относительно небольшую роль.

Мне бы хотелось верить, что это стремление к прекрасному что-то значило, что в тегеранском воздухе ощущалось дыхание если не весны, то обещания, что весна скоро наступит. Я цепляюсь за эту веру, за смутное ощущение сдерживаемого, но не проходящего волнения; оно напоминает мне о необходимости читать книги, подобные «Лолите», читать их в Тегеране. Я по-прежнему улавливаю это ощущение в письмах бывших студентов: невзирая на страх и тревогу о будущем, где их, возможно, ждет безработица и отсутствие безопасности, несмотря на беспокойство о хрупком и предательском настоящем, они пишут о поисках красоты.

12

Итак, сумели ли вы нас представить? Пасмурным ноябрьским днем мы сидим вокруг столика с коваными ножками и стеклянной столешницей; в зеркале столовой отражаются окутанные дымкой желтые и красные листья. У меня и, может быть, еще у двух девочек на коленях книги. У остальных – толстые пачки листов, распечатанных на ксероксе. Так просто «Лолиту» не достать – такие книги в книжных магазинах теперь не продают. Сначала цензоры запретили большинство книг, потом правительство запретило продажу; большинство магазинов литературы на иностранных языках закрылось, а тем, что остались, пришлось торговать дореволюционным ассортиментом. Иногда западные книги находились у букинистов, изредка – на ежегодной международной книжной ярмарке в Тегеране. Книги, подобные «Лолите», было очень сложно раздобыть, особенно издание с аннотацией, за которым охотились все мои девочки. Для тех, кто остался без книги, мы сделали копии – триста страниц. Через час у нас будет перерыв на чаепитие с пирожными. Не помню, чья сегодня очередь приносить пирожные; мы меняемся, каждую неделю кто-то приносит сладкое.

13

«Гадкое дитя», «маленькое чудовище», «похотливая», «низкая», «мерзкое отродье» – вот лишь некоторые «комплименты», которыми награждали Лолиту ее критики. В сравнении с этими нападками те уничижительные слова, которыми отзывается о Лолите и ее матери Гумберт, представляются почти лаской. Есть и те – в том числе ни больше ни меньше Лайонел Триллин¹⁶ – кто и вовсе рассматривает эту историю как роман о великой любви; есть и другие, осуждающие «Лолиту», – им кажется, что Набоков превратил историю изнасилования двенадцатилетней девочки в изысканный эстетический опыт.

На наших занятиях мы не соглашались ни с одной из этих интерпретаций. Мы единогласно (и я горжусь этим единогласием) соглашались с Верой Набоковой, вставая на сторону Лолиты. «„Лолита“ обсуждается прессой во всевозможных ракурсах, кроме одного: с точки зрения красоты и пафоса книги», – писала Вера в дневнике¹⁷. «Критики предпочитают искать нравственные символы, утверждение, осуждение или объяснение ситуации с Г. Г. ... Но хотелось бы, чтоб кто-нибудь оценил, с какой нежностью описана вся беспомощность этого ребенка, оценил ее трогательную зависимость от кошмарного Г. Г., а также ее отчаянную отвагу, нашедшую такое яркое отражение в жалком, хотя в основе своей чистом и здоровом браке, обратил бы внимание на ее письмо, на ее собаку. Вспомним ужасное выражение на ее лице, когда Г. Г. обманывает ее, лишая обещанного ничтожного удовольствия. Все критики проходят мимо того факта, что Лолита, „это кошмарное маленькое отродье“, по сути своей истинно положительна – в противном случае она никогда бы не поднялась после того, как ее так жестоко сломали, и не обрела бы нормальной жизни с беднягой Диком, которая ей оказалась больше по душе, чем та, другая».

Рассказ Гумберта – исповедь и в обычном смысле этого слова, и в буквальном: он действительно пишет свое признание в тюрьме в ожидании суда за убийство драматурга Клэра Куилти, с которым Лолита пыталась сбежать, чтобы скрыться от него, и который бросил ее, когда она отказалась участвовать в его жестоких сексуальных играх. Гумберт предстает перед нами и рассказчиком, и соблазнителем, причем соблазняет не только Лолиту, но и нас, читателей, на протяжении всей книги обращаясь к нам как «уважаемые присяжные женского и мужского рода» (а порой и «крылатые господа присяжные»). По мере развития сюжета нам открывается другое преступление, более серьезное, чем убийство Куилти: заманивание Лолиты в ловушку и насилие над ней (обратите внимание, что хотя сцены с Лолитой написаны с нежностью и страстью, убийство Куилти изображено как фарс). Проза Гумберта, временами бесстыдно цветистая, ставит целью соблазнить читателя, особенно высокоинтеллектуального, которого, безусловно, должны пленить эти чудеса мыслительной гимнастики. Лолита принадлежит к категории жертв, которых некому защитить; им не дается даже шанс рассказать свою историю. Таким образом, она становится жертвой вдвойне: у нее забирают не только жизнь, но и ее собственное повествование. Мы говорили себе, что участвуем в этих занятиях, чтобы не стать жертвами второго преступления.

Лолита и ее мать обречены еще до нашей первой с ними встречи: «гейзовский дом» – так его называет Гумберт – «скорее серый, чем белый – тот род жилья, в котором знаешь, что найдешь вместо души клистирную кишку, натягиваемую на ванный кран». Когда мы оказываемся в прихожей (украшенной дверными колокольчиками и «банальным баловнем изысканной части буржуазного класса» – «Арлезианкой» Ван Гога), наша улыбка успевает превратиться в

¹⁶ Лайонел Триллин (1905–1975) – американский литературный критик, писатель, преподаватель, один из наиболее влиятельных интеллектуалов в США 1940–70-х годов.

¹⁷ Прямая цитата Веры Набоковой.

высокомерную усмешку. Мы поднимаем взгляд на лестницу и слышим «контральтовый» голос миссис Гейз, прежде чем появляется сама Шарлотта, которую Гумберт описывает как «слабый раствор Марлены Дитрих». Каждым предложением, каждым словом Гумберт уничтожает Шарлотту, рисуя ее портрет: «она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут».

У бедной женщины даже не было шанса; при дальнейшем знакомстве она не становится более привлекательной, читателя лишь продолжают заваливать описаниями ее пошлости, ее сентиментальной ревнивой страсти к Гумберту и дурного обращения с дочерью. Филигранный слог Гумберта («можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости») направляет внимание читателя на банальности и мелкую жестокость американского консьюмеризма, вызывая чувства эмпатии и пособничества. Читателя призывают осмыслить безжалостное соблазнение одинокой вдовы и последующую женитьбу Гумберта на ней с целью соблазнить ее дочь как явление, которое вполне можно понять.

Мастерство Набокова проявляется в его способности вызвать у нас сочувствие к жертвам Гумберта – по крайней мере, к двум его женам, Валерии и Шарлотте, – хотя мы им не симпатизируем. Мы осуждаем жестокость Гумберта к этим женщинам, но соглашаемся с ним, когда он характеризует их как банальных. Так Набоков преподает нам первый урок демократии: любой человек, каким бы презренным он нам ни казался, имеет право жить, быть свободным и стремиться к счастью. В романах «Приглашение на казнь» и «Под знаком незаконнорожденных» злодеями Набокова выступают пошлые и жестокие тоталитарные правители, пытающиеся завладеть пытливыми умами и контролировать их; в «Лолите» сам злодей обладает пытливым умом. Какой-нибудь м-сье Пьер никогда не собьет с толку читателя, но как оценивать м-сье Гумберта?

Готовя читателя к рассказу о своем самом гнусном преступлении – первой попыткой овладеть Лолитой – Гумберт пускает в ход все свое мастерство и вероломство. Он готовит нас к главной сцене соблазнения с той же безукоризненной последовательностью, с которой готовится накачать Лолиту снотворным и воспользоваться ее обмякшим телом. Он пытается перетянуть нас на свою сторону, помещая читателя и себя в одну категорию – яростных критиков культуры потребления. Лолиту он описывает как пошлую совратительницу и пишет о свойственной ей «жутковатой вульгарности»: «Она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа».

Подобно лучшим адвокатам защиты, ослепляющим своей риторикой и взывающим к нашим высоким нравственным чувствам, Гумберт пытается оправдаться, очерняя своих жертв, – метод, который нам, жительницам Исламской Республики Иран, был хорошо знаком. («Мы не против кинематографа, – говорил аятолла Хомейни, когда его приспешники поджигали кинотеатры, – мы против проституции!») Обращаясь к «девственно-холодным господам присяжным», Гумберт сообщает: «Я сейчас вам скажу что-то очень странное: это она меня совратила». «Ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировавшейся, девочке, которую в конце развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде герл-скаутских костров и тому подобное. Для нее чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым».

До сих пор нам казалось, что Гумберту-преступнику с помощью Гумберта-поэта удалось соблазнить Лолиту и читателя. На самом деле, на обоих фронтах он терпит неудачу. Ему так и не удается добиться от Лолиты согласия, и отныне каждое их соитие становится не чем иным, как жестоким и изощренным изнасилованием; она всячески избегает его. У него также не получается полностью переманить на свою сторону читателя, по крайней мере, некоторых

читателей. Ирония в том, что именно его поэтическое мастерство и затейливый стиль прозы выдают его с головой.

Вы видите, что проза Набокова содержит ловушки для неискушенного читателя; достоверность всех утверждений Гумберта одновременно ставится под сомнение и компрометируется скрытой правдой, сквозящей в его описаниях. Из них проступает другая Лолита, чья личность не ограничивается карикатурным изображением вульгарной и черствой совратительницы – хотя ей она тоже является. Травмированная одинокая девочка, которую лишили детства; она сирота, ей некуда бежать. Лишь изредка в размышлениях Гумберта нам приоткрывается характер Лолиты, ее уязвимость и одиночество. Так, Гумберт признается, что случись ему писать фреску на стене «Привала Зачарованных Охотников» – мотеля, где он впервые ее изнасиловал, – он написал бы озеро и «живую беседку в ослепительном цвету». «Был бы огненный самоцвет, растворяющийся в кольцеобразной зыби, одно последнее содрогание, один последний мазок краски, язвящая краснота, зудящая розовость, вздох, отворачивающееся дитя». (Дитя, прошу, запомните, уважаемые присяжные женского и мужского пола; хотя это дитя, живи она в Исламской Республике, давно бы считалась созревшей для замужества с мужчинами намного старше Гумберта.)

По мере развития сюжета ширится список жалоб Гумберта. Он называет Лолиту своей «мерзкой, обожаемой потаскушкой» и пишет о ее «неприличных молодых ногах», но вскоре мы узнаем, что на самом деле означают жалобы Гумберта: она сидит у него на коленях и ковыряет в носу, поглощенная «легким чтением в приложении к газете, столь же равнодушная к проявлению моего блаженства, как если бы это был случайный предмет, на который она села – башмак, например, или кукла, или рукоятка ракеты». Само собой, все убийцы и угнетатели могут предъявить своим жертвам длинный список жалоб; большинство, однако, не так красноречивы, как Гумберт Гумберт.

Он не всегда остается нежным любовником: малейшая попытка Лолиты добиться независимости вызывает его яростный гнев: «Я наотмашь дал ей здоровенную плеху, смачно пришедшую на ее теплую твердую маленькую скулу. А затем – раскаяние, пронзительная усада искупительных рыданий, пресмыкание любви, безнадежность чувственного примирения... В бархатной темноте ночи, в мотеле „Мирана“ (Мирана!), я целовал желтоватые подошвы ее длиннопалых ножек, – я дошел до последних унижений и жертв... Но это все было ни к чему. Мы оба были обречены. И вскоре мне пришлось перейти в новый круг адских пыток».

Нет ничего более трогательного, чем полная беспомощность Лолиты. В первое утро после их болезненного (для Лю, хотя она храбрилась) и экстатического (для Гумберта) соития она требует дать ей денег, чтобы позвонить матери. «Почему я не могу позвонить маме, если хочу?» «Потому что твоя мать умерла», – отвечает Гумберт. В тот вечер в отеле они берут разные номера, но Гумберт вспоминает, что «посреди ночи она, рыдая, перешла ко мне и мы тихонько с ней помирились. Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти».

В этом-то, разумеется, все дело: ей было некуда пойти, и в течение последующих двух лет в грязных мотелях и на уединенных дорогах, у себя дома и даже в школе он принуждал ее давать ему согласие. Он не дает ей общаться с детьми ее возраста, следит за ней, чтобы она не заводила мальчиков, запугиванием заставляет хранить тайну, обещает деньги за секс, а получив свое, аннулирует сделку.

Прежде чем читатель вынесет свое суждение о Гумберте или нашем слепом цензоре, должна напомнить, что в определенный момент Гумберт обращается к читателям «читатель! Брудер!» – и это отсылка к известной строке Бодлера из предисловия к «Цветам зла»: «Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник – ты знал чудовище утонченное это?!»

14

Митра тянется за пирожным и говорит, что уже некоторое время ей не дает покоя одна мысль. Почему истории вроде «Лолиты» и «Госпожи Бовари» – такие грустные, такие трагичные – приносят столько счастья? Не грех ли испытывать удовольствие, читая повествование о столь ужасных вещах? Почувствовали бы мы то же самое, если бы прочли об этом в газетах или если бы это случилось с нами? Случись нам написать про свою жизнь здесь, в Исламской Республике Иран, смогли бы мы сделать наших читателей счастливыми?

В тот вечер, как и много раз до этого и много раз после, я уснула, размышляя о сегодняшнем занятии. Мне казалось, я не дала Митре достойного ответа; я была вынуждена позвонить своему волшебнику и поговорить с ним о нашей дискуссии. Это была редкая ночь, когда бессонница одолевала не из-за кошмаров и тревоги, а из-за радостного будоражающего волнения. Обычно ночью я лежу и жду неожиданной катастрофы, которая вот-вот обрушится на наш дом, или телефонного звонка с дурными новостями о ком-то из друзей или родных. Полагаю, мне кажется, что пока я буду оставаться в сознании, ничего плохого не случится; все плохое может прийти ко мне лишь во сне.

Я могу проследить свои ночные тревоги вплоть до того момента, когда на втором курсе – я тогда училась в ужасной частной школе в Швейцарии – меня вызвали с урока истории, который вел суровый американец, прямиком в кабинет директора. Там мне сообщили: по радио объявили, что моего отца, самого молодого мэра в истории Тегерана, посадили в тюрьму. Всего тремя неделями ранее его большую цветную фотографию опубликовали в «Пари-Матч»; он стоял рядом с генералом де Голлем. Рядом не было шаха или другого высокопоставленного лица – только папа и генерал. Как и все в моей семье, отец был культурным снобом и занялся политикой, презирая политиков и демонстрируя неподчинение на каждом шагу. Он дерзил начальству и сразу завоевал популярность у журналистов; общался он охотно и был с ними в хороших отношениях. Он писал стихи, хотя его истинным призванием, конечно же, была проза. Потом я узнала, что генерал де Голль проникся к нему симпатией после приветственной речи отца, которую тот произнес по-французски, с аллюзиями на великих французских писателей вроде Шатобриана и Виктора Гюго. Де Голль наградил его орденом Почетного легиона. Не сказать, чтобы это понравилось представителям иранской элиты; та и прежде недолюбливала отца за его строптивость, а теперь еще и начала завидовать оказанному ему вниманию.

Плохую новость несколько компенсировало то, что мне больше не пришлось учиться в Швейцарии. На Рождество я вернулась домой; в аэропорт меня провожал специальный эскорт. Я полностью осознала, что отец в тюрьме, лишь приземлившись в аэропорту Тегерана и обнаружив, что он меня не встречает. Четыре года они держали его во «временной» тюрьме – в тюремной библиотеке, примыкающей к моргу; все это время нам сообщали, что его то казнят, то освободят – иногда говорили это почти одновременно. В конце концов с него сняли все обвинения, кроме одного: неповиновение начальству. Я запомнила эти слова навсегда – неповиновение начальству: потом они стали для меня образом жизни. Много позже, когда я прочла у Набокова, что «любопытство – это высшая форма неповиновения», я снова вспомнила вердикт, вынесенный отцу.

Я так и не оправилась от потрясения того момента, когда меня забрали из безопасной среды – класса сурового мистера Холмса, кажется, так его звали, – и сообщили, что мой отец, мэр, сидит в тюрьме. Впоследствии Исламская Революция лишила меня остатков чувства безопасности, которое мне худо-бедно удалось восстановить после того, как папа вышел на свободу.

Через несколько месяцев после начала занятий мы с девочками выяснили, что почти каждой из нас снился кошмар о том, что мы забыли надеть хиджаб или не надели его нарочно.

В этих снах героиня всегда убегала, спасалась от кого-то. В одном – наверно, это был мой сон – она хотела убежать, но не могла; ноги приросли к земле прямо на пороге. Не могла она и обернуться, открыть дверь и спрятаться в доме. Нассрин была единственной, кто, по ее словам, никогда не испытывал этого страха. «Я всегда боялась, что мне придется солгать. *Всего превыше верен будь себе*¹⁸ – помните? Я раньше в это верила», – она пожалала плечами. «Но я исправилась», – добавила она, подумав.

Позже Нима рассказал, что сын его друзей, десятилетний мальчик, в ужасе разбудил своих родителей и признался, что ему приснился «незаконный сон». Во сне он увидел себя на берегу моря; рядом сидели целующиеся парочки, а он не знал, что делать. Он все повторял, что его сны незаконны.

В «Приглашении на казнь» на стене тюремной камеры Цинцинната Ц., напоминающей третьесортную гостиницу, написан ряд правил для заключенных, например: «Кротость узника есть украшение темницы». Правило номер шесть, являющееся ядром этого романа, гласит: «Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник».

Днем было лучше. Днем я чувствовала себя храброй. Отвечала Стражам Революции, спорила с ними; не боялась проследовать за ними в Революционный комитет. Некогда было задумываться о мертвых родственниках и друзьях, о том, как нам самим едва удалось спастись, по чистому везению. Но ночью, вернувшись домой, я за все расплачивалась. Что будет теперь? Кого убьют? Когда они придут? Страх стал моим вечным спутником; я не осознавала его постоянно, но страдала бессонницей, бродила по дому, читала и засыпала, не сняв очки, часто с книгой в руках. Страх влечет за собой ложь и оправдания; какими бы убедительными ни были последние, они подрывают самооценку, как верно заметила Нассрин.

Вот что меня спасло: моя семья и узкий круг друзей, идеи, мысли, книги, которые мы обсуждали с моим волшебником из подполья, гуляя вечерами. Он постоянно тревожился – если нас остановит патруль, что мы скажем в свое оправдание? Мы не были женаты, не были братом и сестрой. Он тревожился за меня и мою семью, и всякий раз его тревога придавала мне смелости; я позволяла платку соскользнуть с головы, громко смеялась. Я ничем не могла «им» навредить, но могла злиться на своего друга или мужа – на всех мужчин, которые осторожничали и тревожились за меня «ради моего же блага».

После нашего первого обсуждения «Лолиты» я отправилась спать в возбуждении, размышляя над вопросом Митры. Отчего чтение «Лолиты» или «Госпожи Бовари» приносит нам такую радость? Кто в этом виноват – сами романы или мы? А Флобер с Набоковым – неужели они бесчувственные животные? К следующему четвергу я сформулировала свои мысли; мне не терпелось поделиться ими с классом.

Набоков писал, что все великие романы – на самом деле сказки. И я с ним согласна, сказала я девочкам. Во-первых, позвольте напомнить, что в сказках есть страшные ведьмы, пожирающие детей, и злые мачехи, отравляющие своих прекрасных падчериц; есть там и слабовольные отцы, бросающие родных отпрысков в лесу. Однако источником волшебства всегда является сила добра, сила, приказывающая нам не поддаваться ограничениям и запретам судьбы, или «Макфейта»¹⁹, как ее называет Набоков.

В каждой сказке есть возможность выйти за существующие ограничения. Сказка в некотором смысле предлагает читателю свободу, которой не может быть в реальном мире. В вели-

¹⁸ Цитата из речи Полония, наставляющего Лаэрта: «Гамлет» Шекспира в пер. Пастернака.

¹⁹ Макфейт – вымышленное имя McFate, от слова «fate», в переводе означающего «судьба».

ких художественных произведениях, какую бы мрачную реальность они ни отображали, всегда присутствует жизнеутверждающий пафос на фоне скоротечности жизни; по сути, неповиновение судьбе. Этот пафос возможен благодаря тому, что автор берет контроль над реальностью в свои руки и излагает ее по-своему, таким образом создавая новый мир. Каждое великое произведение искусства, как бы помпезно это ни звучало, прославляет жизнь и является актом неповиновения, бунтом против предательств, ужасов и вероломства бытия. Совершенство и красота формы бунтуют против уродства и неприглядности изображаемой реальности. Вот почему нам так нравится «Госпожа Бовари», вот почему мы плачем за Эмму и жадно глотаем строки «Лолиты», хотя сердце наше обливается кровью за эту маленькую, вульгарную, поэтическую и непокорную героиню, лишенную детства.

15

Манна и Ясси пришли чуть раньше назначенного времени. Мы разговорились о прозвищах, которые придумались для участниц нашего литературного кружка. Я сказала девочкам, что называю Нассрин своим Чеширским Котом, потому что та появляется и исчезает в самое непредсказуемое время. Когда Нассрин пришла вместе с Махшид, мы рассказали ей о нашем разговоре. Манна сказала: «Если бы мне велели придумать для Нассрин определение, я бы назвала ее ходячим парадоксом». Отчего-то Нассрин это разозлило; она повернулась к Манне и почти обвиняющим тоном произнесла: «Ты – поэтесса, Митра – художница, а я, значит, ходячий парадокс?»

Однако в полушутливом определении Манны была доля правды. Солнце и тучи, управлявшие бесконечными скачками настроения Нассрин и ее темпераментом, были слишком тесно связаны, слишком неразделимы. Казалось, она жила ради того, чтобы ляпнуть что-то обескураживающее в самый неподходящий момент. Все мои девочки время от времени меня удивляли, но Нассрин чаще других.

Однажды Нассрин задержалась после занятия – помочь мне разобрать и рассортировать по папкам лекционные конспекты. Мы говорили о том о сем – об учебе в университете, лицемерии чиновников и активистов различных мусульманских ассоциаций. И вдруг, спокойно раскладывая листки бумаги по голубым скоросшивателям и подписывая даты и темы на папках, она как ни в чем ни бывало сказала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего дяди, младшего среди своих братьев, очень набожного человека; это произошло, когда ей едва исполнилось одиннадцать. Нассрин вспоминала, как он вслух говорил, что хочет сохранить целомудрие и чистоту для будущей жены, поэтому и отказывался дружить с женщинами. *Целомудрие и чистоту*, издевательским тоном повторила она. Три дня в неделю в течение года он помогал Нассрин делать уроки – арабский, а иногда и математику. Во время этих уроков они сидели рядом за ее столом, и его руки шарили по ее ногам и всему телу, пока он повторял арабские времена.

Этот день надолго мне запомнился по многим причинам. На занятии мы обсуждали понятие злодея в романе. Я отметила, что Гумберт – злодей, потому что не испытывает никакого любопытства по отношению к другим людям, даже к Лолите, которую любит больше всего. Как большинство диктаторов, Гумберт интересуется лишь собственным восприятием окружающих. Он сконструировал Лолиту по своему хотению и не желает ни на шаг отступать от этого образа. Я напомнила девочкам, как Гумберт говорил, что хочет остановить время и навсегда сохранить Лолиту на «очарованном острове времени» – задача, посильная лишь Богу и поэтам.

Я попыталась объяснить, почему «Лолита» – более сложный роман по сравнению с предыдущими книгами Набокова, которые мы читали на уроках. На первый взгляд, «Лолита» более реалистична, но в ней присутствуют те же ловушки и неожиданные повороты, как и в других набоковских трудах. Я показала девочкам маленькую фотографию картины Джошуа Рейнольдса «Эпоха невинности», которую случайно нашла в старой курсовой работе. Мы обсуждали сцену, где Гумберт приходит к Лолите в школу и обнаруживает ее в классе. Над доской висит репродукция картины Рейнольдса – девочка в белом платье с каштановыми кудрями. Перед Лолитой сидит еще одна «нимфетка» – красивая блондинка с «очень голой, фарфорово-белой шеей» и «чудными бледно-золотыми волосами». Гумберт садится «прямо позади этой шеи и этого локона», расстегивает пальто и за взятку вынуждает Лолиту просунуть ее «мелом и чернилами испачканную, с красными костяшками» руку под парту и удовлетворить то, что на обычном языке зовется похотью.

Давайте ненадолго заострим внимание на этом будничном описании рук школьницы. Его невинность не соответствует действию, к которому принуждают Лолиту. Этих слов – «мелом

и чернилами испачканная, с красными костяшками» – довольно, чтобы читатель ощутил ком в горле. Следует пауза... или, может, мне показалось, что за обсуждением этой сцены последовала длинная пауза?

– Но сильнее всего нас тревожит не полная беспомощность Лолиты, а то, что Гумберт лишает ее детства, – сказала я. Саназ взяла свою ксерокопию романа и начала читать:

– «И меня тогда поразило», – прочла она, – «пока я, как автомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю о происходившем у любимой моей в головке и что, может быть, где-то, за невыносимыми подростковыми штампами, в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, – дымчатая обворожительная область, доступ к которой запрещен мне, оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья».

Я попыталась не обращать внимания на многозначительные взгляды, которыми обменялись девочки.

– Мне тяжело читать отрывки, где говорится о чувствах Лолиты, – произнесла наконец Махшид. – Она лишь хочет быть обычной девочкой. Помните сцену, когда отец Авис приходит за ней, и Лолита замечает, как толстая маленькая девочка ластится к отцу? Ей хочется лишь одного – жить нормальной жизнью.

– Интересно, – сказала Нассрин, – что Набоков, так осуждавший пошлость, заставляет нас сожалеть об утрате самой банальной формы жизни.

– Думаете, Гумберт меняется, когда видит ее в конце? – прервала ее Нассрин. – Несчастную, беременную и бедную?

Время перерыва подошло и прошло, но мы были слишком поглощены обсуждением и не замечали. Манна, которая казалась сосредоточенной на чтении отрывка, вдруг подняла голову.

– Странно, – сказала она, – некоторые критики относятся к этому тексту так же, как Гумберт относился к Лолите: видят в нем только себя и то, что им хочется увидеть. – Она повернулась ко мне и продолжала: – Разве цензоры и некоторые из наших самых ангажированных критиков не поступают так же? Кромсают книги и воссоздают их по своему образу и подобию. То, что аятолла Хомейни пытался сделать с нашими жизнями, превратив нас, как вы сказали, во фрагменты своего воображения, он сделал и с нашей литературой. Посмотрите, что случилось с Салманом Рушди.

Саназ, игравшая с локоном своих длинных волос, накручивая его на палец, встрепенулась и ответила:

– То, как Рушди изобразил нашу религию, многим показалось гротескным и непочтительным. И люди не возражают против него как литератора, лишь против оскорблений.

– А можно ли вообще написать роман, никого не оскорбив, – заметила Нассрин, – хороший роман, я имею в виду? К тому же, в контракте с читателем прописано, что речь не о реальном мире, а о вымышленном. Должно же быть хоть одно место в этой треклятой жизни, – сердито добавила она, – где нам позволены любые оскорбительные высказывания!

Саназ несколько опешила, услышав горячий ответ Нассрин. На протяжении всего обсуждения Нассрин гневно расчерчивала свой блокнот прямыми линиями; сообщив нам, что думает, она вернулась к своему занятию.

– Проблема с цензорами в том, что они неподатливы, – мы все повернулись к Ясси. Та пожала плечами, словно желая сказать – что такого, мне нравится это слово. – Помните, как из советского фильма «Гамлет» на нашем телевидении вырезали Офелию?

– Хороший получился бы газетный заголовок, – заметила я. – «Траур по Офелии». – С тех пор, как в 1991 году я стала ездить за границу на семинары и конференции – главным образом в США и Англию – обсуждая любую тему, я автоматически придумывала заголовки для презентаций или научных работ.

– А их невозможно не оскорбить, – заметила Манна. – Всегда есть к чему придраться – не к политике, так к нравам. – Глядя на ее короткую стильную стрижку, голубую спортивную

кофту и джинсы, я подумала, как несуразно она выглядит в бесформенных складках покрывала.

Внезапно заговорила Махшид, до сих пор сидевшая тихо.

– Я одного не понимаю, – сказала она. – Мы все говорим, что Гумберт неправ – и я с этим согласна, – но при этом совсем не обсуждаем моральные аспекты. Ведь есть действительно оскорбительные моменты. – Она замолчала, поразившись собственной горячности. – Вот мои родители – они очень религиозные люди, разве это преступление? – Она взглянула мне в глаза. – И разве нет у них права ожидать, что я буду похожа на них? Почему я должна осуждать Гумберта, но не осуждать героиню «Умышленной задержки»²⁰; почему должна соглашаться, что нет ничего плохого в супружеской измене? Это серьезные вопросы, и когда мы начинаем примерять их на себя, они становятся особенно сложными, – выпалила она и потупила взгляд, словно надеясь найти ответ в узорах ковра.

– Мне кажется, – ответила Азин, – что лучше уж изменять мужу, чем быть лицемеркой. – Азин в тот день очень нервничала. Она взяла с собой трехлетнюю дочь (детский сад был закрыт, и за девочкой некому было присматривать), и мы с трудом уговорили ее оторваться от матери и посмотреть мультики в холле с Тахере-ханум, нашей домработницей.

Махшид повернулась к Азин и с тихим презрением произнесла:

– Никто и не говорил, что надо выбирать между изменой и лицемерием. Я вот что хочу понять – существует ли мораль в принципе? Нормально ли считать, что все средства хороши и никто не испытывает ответственность по отношению к окружающим, а заботиться нужно лишь об удовлетворении собственных потребностей?

– Все герои великих романов задаются этим вопросом, – заметила Манна. – Госпожа Бовари, Анна Каренина, героини Джеймса – все они раздумывают, как поступить – правильно или как хочется.

– А что если правильно поступаешь именно тогда, когда делаешь, как хочется, а не слушая указ общества или власть имущих? – спросила Нассрин, на этот раз даже не удосужившись оторваться от своих каракуль. В тот день в атмосфере чувствовалось что-то, не относящееся напрямую к книгам, которые мы читали. Наш разговор зашел в более личное, интимное русло, и девочки вдруг обнаружили, что у них не получается решить собственные нравственные дилеммы так же легко, как они решали дилеммы Эммы Бовари и Лолиты.

Азин наклонилась вперед; длинные золотые сережки играли в прятки с мелкими кудрями.

– Мы должны быть честны с собой, – сказала она. – Это первое условие. Мы – женщины; есть ли у нас такое же, как у мужчин, право получать удовольствие от секса? Сколько из вас ответит – да, такое право есть; мы так же, как мужчины, имеем право наслаждаться сексом, а если мужья нас не удовлетворяют, мы имеем право искать удовлетворение на стороне? – Она пыталась говорить об этом, как будто это самое обычное дело, но все равно всех нас удивила.

Азин была самой высокой в группе девушкой, белокурой, с молочно-белой кожей. У нее была привычка прикусывать угол нижней губы; она же часто пускалась в тирады о любви, сексе и мужчинах. Как ребенок, бросающий в бассейн большой камень, она делала это не только ради брызг, но и стремясь забрызгать всех окружающих взрослых. Азин была замужем три раза; последним ее мужем был привлекательный богатый торговец из семьи традиционных провинциальных *базаари* – рыночных продавцов. Я встречала ее мужа на многих своих конференциях и мероприятиях, куда обычно ходили мои девочки. Он очень гордился женой, а ко мне всегда относился с подчеркнутым уважением. При каждой нашей встрече он следил, чтобы я ни в чем не нуждалась; если на кафедре не было стакана с водой, немедленно шел исправлять эту ошибку; когда нужны были лишние стулья, принимался гонять сотрудников. Казалось, на

²⁰ Роман Мюриэл Спарк (Loitering with Intent).

наших мероприятиях именно он играет роль радушного хозяина, предоставившего нам свой дом и время, потому что больше ему было дать нечего.

Я не сомневалась, что Азин бросила камень в огород Махшид, намереваясь косвенно задеть и Манну. Их столкновения объяснялись не только их разным происхождением. Эмоциональные всплески Азин, кажущаяся откровенность, с которой она рассказывала о своей личной жизни и желаниях, внушали сдержанным Манне и Махшид сильную неловкость. Они ее не одобряли, и Азин это чувствовала. Ее попытки подружиться отвергали как лицемерие.

Махшид, как обычно, отреагировала молчанием. Она закрылась в себе, отказавшись заполнить пустоту, возникшую после вопроса Азин, который так и остался без ответа. Ее молчание оказалось заразительным, и наконец его нарушила Ясси, коротко хихикнув. Я же решила, что самое время сделать перерыв, и пошла на кухню за чаем.

А вернувшись, услышала, что Ясси смеется. Пытаясь разрядить обстановку, она сказала:

– Как мог Бог оказаться столь жестоким – он дал мусульманской женщине такие пышные тела, но забыл наделить ее сексуальной привлекательностью, – она повернулась к Махшид и с притворным ужасом уставилась на нее.

Махшид потупилась, а потом робко и горделиво подняла голову; ее прищуренные глаза расширились, и она снисходительно улыбнулась. – Женщине не нужна сексуальная привлекательность, – сообщила она Ясси.

Но Ясси не собиралась сдаваться. – Засмейся, ну пожалуйста, засмейся, – взмолилась она. – Доктор Нафиси, прошу, велите ей рассмеяться. – Робкий смех Махшид потонул в безудержном хохоте остальных.

Последовала пауза и тишина; я поставила поднос на столик. Вдруг Нассрин произнесла:

– Я знаю, что это значит – застрять между традицией и переменами. Я мечусь между ними всю свою жизнь.

Она села на подлокотник кресла Махшид, а та тем временем пыталась пить чай, удерживая чашку от столкновения с Нассрин, экспрессивно махавшей руками во все стороны; пару раз ее руки чуть не опрокинули чашку.

– Мне это известно не понаслышке, – продолжала Нассрин. – Моя мать из богатой, светской современной семьи. Единственная дочь; у нее два брата, оба стали дипломатами. Дед был очень либеральным человеком, хотел, чтобы она закончила образование и поступила в колледж. Отправил ее учиться в американскую школу.

– В американскую школу? – ахнула Саназ, нежно теребя свои локоны.

– Да, сейчас большинство девочек даже старшие классы не заканчивают, не говоря уж об американской школе, но мама владела английским и французским. – Нассрин, кажется, очень гордилась этим и была довольна. – И что потом? Потом она влюбилась в отца, своего репетитора. В математике и естествознании она была полный ноль. Забавно, – сказала Нассрин и снова взмахнула левой рукой в опасной близости от чашки Махшид. – Они решили, раз отец из религиозной семьи, юная девушка с ним будет в безопасности; да и кто бы мог подумать, что современная молодая женщина вроде моей матери заинтересуется таким суровым юношей, который редко улыбался, никогда не смотрел ей в глаза, а его сестры и матери все носили чадру? Но она влюбилась в него, возможно, потому, что он так сильно от нее отличался; а может, ей казалось, что носить чадру и заботиться о нем более романтично, чем учиться в колледже на женщину-врача или кого-нибудь еще.

– Она утверждала, что никогда не жалела о замужестве, но вечно вспоминала свою американскую школу и старых школьных подруг, которых после замужества больше никогда не видела. И она научила меня английскому. Когда я была маленькой, она учила меня алфавиту, покупала книги на английском. Благодаря ей язык всегда давался мне легко. У моей сестры – она намного старше меня, на девять лет – тоже никогда проблем с английским не было. Странное поведение для мусульманки – ей бы лучше учить нас арабскому, но она так его и не

выучила. Моя сестра вышла замуж за современного – в кавычках – парня, – Нассрин изобразила пальцами кавычки, – и уехала в Англию. Видимся с ними, только когда они приезжают домой в отпуск.

Перерыв подошел к концу, но история Нассрин нас затянула, и даже между Азин с Махшид, казалось, установилось временное перемирие. Когда Махшид потянулась за профитролем, Азин с дружелюбной улыбкой поднесла ей блюдо, напросившись на вежливое «спасибо».

– Мать хранила верность отцу. Ради него она изменила всю свою жизнь и ни разу не пожаловалась, – продолжала Нассрин. – Он пошел лишь на одну уступку – разрешил ей готовить нам странную еду, «французские деликатесы» – так он их называл, все деликатесы для него были французскими. Хотя нас растили согласно отцовским диктатам, семья матери и ее прошлое всегда присутствовали где-то на периферии, намекая, что жить можно иначе. И дело не только в том, что моя мать так и не смогла найти общий язык с семьей отца – те считали ее заносчивой и «не их круга». Моя мать очень одинока. Иногда мне даже хочется, чтобы она нашла себе любовника или нечто в этом роде.

Махшид испуганно взглянула на нее; Нассрин встала и рассмеялась. – Нечто в этом роде, – повторила она.

История Нассрин и конфронтация Азин и Махшид так сильно переменили наше настроение, что мы уже не смогли вернуться к обсуждению «Лолиты». Вместо этого мы стали говорить о том о сем, в основном сплетничали об учебе в университете, и в конце концов разошлись по домам.

Когда девочки ушли, они оставили после себя ауру нерешенных проблем и дилемм. Я вдруг поняла, что выбилась из сил. И прибегла к единственному известному мне способу решения проблем: пошла к холодильнику, зачерпнула ложку кофейного мороженого, плеснула сверху холодного кофе, стала искать грецкие орехи, но обнаружила, что они кончились; нашла миндаль, разгрызла зубами, измельчила и посыпала им свой кулинарный шедевр.

Я знала, что Азин ведет себя так возмутительно, потому что это самозащита; так она надеется пробиться сквозь защитные стены Махшид и Манны. Махшид казалось, что Азин пренебрежительно относится к ее традиционному происхождению, ее плотным темным платкам, манерам «синего чулка»; она не догадывалась, что и ее презрительное молчание может бить по живому. Маленькая и изящная, со своими камнями – она на самом деле носила брошки с камнями, – маленькими сережками, бледно-голубыми блузками, застегнутыми на пуговицы до самого подбородка, и холодными улыбками – о, Махшид была грозной соперницей. Догадывались ли они с Манной, как воздействует на Азин их упрямое молчание, их ледяное и безупречное неодобрение? Как все это делает ее беззащитной?

Во время одной из их стычек в перерыве между занятиями я услышала, как Махшид говорит Азин: «Да, у тебя есть и сексуальный опыт, и поклонники. В отличие от меня, ты не старая дева. Да, я старая дева – нет у меня богатого мужа, я не вожу машину – но ты все равно не имеешь права не уважать меня». Азин спросила: «Но что я такого неуважительного сделала?» В ответ Махшид лишь отвернулась и оставила ее, наградив улыбкой холодной, как вчерашний ужин. Сколько я ни пыталась их разговорить и вовлечь в дискуссию – и в классе, и наедине с каждой, – их отношения не улучшились. Они шли на уступки лишь в одном – на уроках соглашались оставить друг друга в покое. Как сказала бы Ясси, они были неподатливы.

16

Так вот, значит, как все началось? Не в тот ли день, когда мы сидели за столом в его столовой, жадно вгрызаясь в бутерброды с сыром и запрещенной ветчиной и называя их *крок-месье*? В какой-то момент мы, должно быть, переглянулись и увидели в наших глазах одинаковое выражение – голодное неразбавленное удовольствие; потому что в ту же минуту мы одновременно рассмеялись. Я отсалютовала ему стаканом воды и произнесла: кто бы мог подумать, что столь простая трапеза покажется нам королевским пиром! А он ответил: за это нужно поблагодарить Исламскую Республику: мы заново открываем для себя все, что прежде принимали как должное, и даже жаждем этого; можно написать целую диссертацию о том, как это приятно – есть бутерброд с ветчиной. А я сказала: о, сколько всего, за что нам стоит быть признательными! И в тот достопамятный день мы начали оглашать долгий перечень наших благодарностей Исламской Республике: без нее мы бы не открыли заново, как это весело – ходить на вечеринки, есть мороженое на улице, влюбляться, держаться за руки, красить губы помадой, смеяться на публике и читать «Лолиту» в Тегеране.

Иногда мы встречались на углу широкого тенистого бульвара, тянущегося в сторону гор, и там гуляли по вечерам. Я размышляла, что бы решили в Революционном комитете, если бы узнали об этих прогулках. Заподозрили бы нас в политическом сговоре или приняли бы за простых любовников? Они никогда бы не догадались об истинной цели наших встреч, и это отчего-то меня воодушевляло. Как интересно жить, когда любое простое действие требует от тебя сложной подготовки на уровне опасной секретной миссии. При встрече мы всегда чем-то обменивались – книгами, статьями, кассетами, коробками шоколадных конфет, которые ему присылали из Швейцарии, – шоколадные конфеты стоили дорого, особенно швейцарские. Он приносил мне видеокассеты с редкими фильмами, и мы с детьми – а потом и с моими студентками – их смотрели. «Вечер в опере», «Касабланка», «Пират», «Джонни-гитара».

Мой волшебник говорил, что может многое сказать о людях по фотографиям, особенно по форме носа. После некоторых колебаний я принесла ему фотографии девочек и с волнением стала ждать, что он скажет. Он держал снимок в руке, осматривал его с разных ракурсов и коротко комментировал.

Мне хотелось, чтобы он прочел их сочинения и взглянул на их рисунки, прямо там, без промедлений; хотела знать, что он о них подумает. Это хорошие девочки, сказал он, глядя на меня с ироничной улыбкой отца, балующего своих деток. Хорошие? Хорошие девочки? Мне хотелось услышать, что они гениальны, хотя «хороший» – тоже, пожалуй, лестная характеристика. У двух девочек из группы, сказал он, может быть будущее в литературе. Привести их к тебе? Хочешь с ними встретиться? Нет, ответил он; он пытался избавиться от людей, а не увеличивать число знакомых.

17

Герой «Приглашения на казнь» Цинциннат Ц. говорит о «редком сорте времени», в котором он живет – «пауза, перебой, – когда сердце, как пух... И еще я бы написал о постоянном трепете... и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, – с чем, я еще не скажу...» Освобождение Цинцинната из тюрьмы зависит от того, удастся ли ему обнаружить эту невидимую пуповину, соединяющую его с другим миром; сможет ли он наконец сбежать из искусственного, фальшивого мира своих палачей. В предисловии к роману «Под знаком незаконнорожденных» Набоков описывает аналогичную связь с другим миром – лужу, которая появляется перед Кругом, его вымышленным героем, в разные моменты: «прореха в его мире, ведущая в мир иной, полный нежности, красок и красоты».

Однажды утром, когда у нас был перерыв и мы пили кофе с пирожными, Митра начала рассказывать, что чувствует, поднимаясь по лестнице в мою квартиру утром по четвергам. Шаг за шагом, сказала она, она постепенно оставляет за собой реальный мир, покидает темную мрачную камеру, в которой живет, и на несколько часов выходит на волю, на солнышко. Когда все заканчивается, она снова возвращается в свою камеру. Тогда мне показалось, что такое восприятие скорее вредит нашим урокам, ведь они не могли гарантировать «волю и солнышко» за пределами этих стен – а выходит, должны были? Признание Митры вызвало дискуссию о том, как необходима нам эта передышка от реальной жизни, чтобы вернуться в нее отдохнувшими и готовыми с ней столкнуться. Но мне не давало покоя признание Митры – что ждет нас после этой передышки? Хотели мы этого или нет, наша жизнь за пределами этой гостиной требовала свое.

Именно благодаря сказочной атмосфере наших встреч, о которой говорила Митра, мы, восемь участниц этого клуба, смогли делиться сокровенным и поверять друг другу свою тайную жизнь. Благодаря этой ауре волшебного родства даже Махшид и Манна сумели найти способ мирно сосуществовать с Азин в течение нескольких утренних часов по четвергам. Благодаря ей мы смогли бросить вызов давящей реальности за пределами комнаты; мало того, мы смогли отомстить тем, кто контролировал наши жизни. Мы знали, что в эти драгоценные часы можем обсуждать наши горести и радости, наши личные заскоки и капризы; на это время мир останавливался, а мы отрекались от своих обязательств перед родителями, родственниками, друзьями и Исламской Республикой. Мы проговаривали все, что случилось с нами, своими словами, и в кои-то веки смотрели на себя своими глазами.

Обсуждение «Госпожи Бовари» затянулось гораздо дольше положенного времени, но в этот раз никто не хотел уходить. Описание обеденного стола, ветра в волосах Эммы, лица, которое она видела перед смертью, – мы часами обсуждали эти подробности. Сначала я обозначила часы занятий с девяти до двенадцати, но постепенно уроки все удлинялись, и мы стали расходиться ближе к вечеру. В тот день я предложила не прекращать дискуссию и пригласила всех остаться на обед. Так мы начали обедать вместе.

Помню, в холодильнике у нас были только яйца и помидоры, и мы состряпали омлет с томатами. Через две недели устроили пиршество – каждая приготовила что-то особенное: рис с бараниной, картофельный салат, *долмех*²¹, шафрановый рис и большой круглый торт. К нам присоединилась моя семья, и мы собрались за столом, смеялись и шутили. «Госпожа Бовари» сделала то, чего не смогли годы преподавания в университете: она сблизила нас.

За годы, что девочки приходили ко мне домой, они узнали мою семью, мою кухню, мою спальню, мою манеру одеваться, ходить и говорить. Я никогда не бывала у них дома, не встре-

²¹ Долма.

чалась с их травмированными матерями, застенчивыми сестрами, братьями, ступившими на скользкую дорожку. Мне так и не удалось поместить их личный нарратив в контекст, в определенное место. И все же я встречалась с ними в волшебном пространстве своей гостиной. Они приходили ко мне домой, ставили свою жизнь на паузу и приносили с собой свои секреты, боль и дары.

Постепенно моя жизнь и семья стали частью этого ландшафта. Они проникали в гостиную в перерывах и покидали ее с началом занятий. Иногда к нам подсаживалась Тахере-ханум, рассказывала истории о «своем районе», как она его называла. Однажды моя дочь Негар влетела в гостиную в слезах. Она была в истерике. Сквозь слезы она твердила, что не могла плакать *там*; не хотела плакать *перед ними*. Манна пошла на кухню, привела Тахере-ханум и принесла стакан воды. Я подошла к Негар, обняла ее и попыталась успокоить. Ласково сняла с нее платок и накидку; волосы под плотным платком взмокли от пота. Я расстегнула ее школьную форму и попросила рассказать, что случилось.

В тот день посреди урока естествознания в класс вошли директор и учитель морали и велели девочкам положить руки на парты. Весь класс затем без объяснений вывели, а портфели обыскали на предмет оружия и контрабанды: искали кассеты, книги, самодельные плетеные браслеты. Девочкам устроили личный досмотр, осмотрели ногти. Одна ученица в прошлом году вернулась с семьей из США; ее отвели в кабинет директора, у нее оказались слишком длинные ногти. Там директор самолично подстриг девочке эти ногти коротко, до крови. Когда их отпустили, Негар увидела одноклассницу на школьном дворе; та ждала, пока ей можно будет уйти домой, пряча в кулаке провинившийся палец. Рядом стоял учитель морали и не разрешал к ней приближаться. Невозможность подойти и утешить подругу потрясла Негар не меньше самого травмирующего обыска. Она все повторяла: мам, она просто не знает наших правил и запретов; она только что вернулась из Америки – как, по-твоему, она себя чувствует, когда нам приказывают топтать американский флаг и кричать «смерть Америке»? Ненавижу себя, ненавижу, твердила она, а я качала ее в объятиях и вытирала смесь пота и слез с ее мягких щек.

Разумеется, о занятиях тут же забыли. Все попытались отвлечь Негар, стали шутить и рассказывать свои истории – о том, как Нассрин однажды послали в дисциплинарный комитет проверить, не покрашены ли у нее ресницы. Они были длинные, и ее заподозрили в использовании туши. Но это еще ничего, сказала Манна; послушайте, что случилось с подругами моей сестры в Политехническом университете Амира Кабира. В обеденный перерыв три девочки вышли во двор и ели яблоки. Охранники отругали их: мол, они слишком соблазнительно откусывали! Скоро Негар уже смеялась вместе со всеми и наконец ушла обедать с Тахере-ханум.

18

Представьте: вы шагаете по тенистой тропе. Начало весны, около шести вечера – время перед заходом солнца. Солнце клонится к горизонту, а вы идете одна; вас овеивает предвечерняя прохлада. Вдруг на правую руку падает крупная капля. Неужто дождь? Вы смотрите вверх. Небо все еще обманчиво солнечное, лишь редкие облака виднеются тут и там. Через несколько секунд с неба снова капает. А потом, хотя солнце светит ярко, на вас обрушивается поток воды, как в ванной. Так ко мне приходят воспоминания, резко и неожиданно; промокшая насквозь, я вдруг остаюсь одна на солнечной тропинке с памятью о закончившемся ливне.

Я говорила, что мы собирались в этой гостиной, чтобы защититься от внешней реальности. Я также говорила, что эта реальность навязывала нам себя, как капризный ребенок, не дающий своим измученным родителям ни минуты покоя. Самые интимные сферы нашего бытия находились под влиянием этой реальности и формировались в соответствии с ней; это неожиданно сделало нас сообщниками. Наши отношения стали во многих аспектах личными. Наша тайна не только расцвечивала новыми красками самые обычные действия, но вся повседневная жизнь порой становилась похожей на вымысел или роман. Нам пришлось открыть друг другу такие части себя, о существовании которых мы и сами не подозревали. Я постоянно чувствовала себя так, будто мне приходилось раздеваться перед незнакомыми людьми.

19

Несколько недель назад, проезжая по Мемориальному бульвару Джорджа Вашингтона, мы с моими детьми разговорились об Иране. С внезапной тревогой я заметила отстраненный тон, которым они говорили о своей родине. Они все повторяли: «они», «они там». Где «там»? Там, где вы с дедом хоронили свою мертвую канарейку под розовым кустом? Там, где бабушка приносила вам шоколадные конфеты, которые у нас дома были под запретом? Мои дети многого не помнили. Некоторые воспоминания вызвали у них печаль и ностальгию; от других они просто отмахивались. Имена моих родителей, тети и дяди Биджана, наших близких друзей – для них они звучали, как колдовские мантры, радостно обретающие форму и тут же растворяющиеся без следа.

Почему мы начали вспоминать? Может, потому что слушали диск «Дорз» – музыку, к которой так привыкли в Иране? Они купили его мне на День матери, и мы слушали его в машине. В динамиках мурлыкал соблазнительно-безразличный голос Джима Моррисона: «Мне бы еще один поцелуй...» Его голос тек, как патока, извивался, закручивался в спирали, а мы разговаривали и смеялись. «Она красотка двадцатого века», – пел Моррисон... Некоторые воспоминания казались детям скучными, а о чем-то они вспоминали с радостью – например, как смеялись над своей матерью, когда та танцевала по всей квартире, двигаясь из холла в гостиную, и пела «Давай же, детка, зажги мой огонь». Мы так много уже забыли, говорят дети; столько лиц вспоминаются как в тумане. Я спрашиваю: а это помните? А это? И чаще всего они не помнят. Джим Моррисон запел песню Брехта²². «Проводи меня в ближайший виски-бар», – затянул он, и мы присоединились: «Не спрашивай зачем». Даже когда мы жили в Иране, мои дети, как большинство детей из их среды, не любили персидскую музыку. Для них персидской музыкой были агитационные песни и военные марши; для удовольствия они слушали совсем другое. Я с потрясением осознала, что в их детских воспоминаниях об Иране остались песни «Дорз» и Майкла Джексона и фильмы братьев Маркс.

Одно воспоминание заставляет их оживиться. Они на удивление отчетливо помнят, что случилось, и помогают воссоздать детали, которые я забыла. Память возвращается, в голове всплывают образы, дети галдят наперебой, и голос Джима Моррисона отступает на второй план. Да, Ясси была там в тот день, верно? Они помнят всех моих студенток, но Ясси лучше остальных, потому что в какой-то момент она стала почти что частью нашей семьи. Все они стали: Азин, Нима, Манна, Махшид и Нассрин часто приходили в гости. Баловали детей, приносили им подарки, хоть я этого и не одобряла. Мои домашние воспринимали девочек как очередной из моих заскоков, с терпением и любопытством.

Это случилось летом 1996 года, когда дети вернулись домой из школы. Мы слонялись по дому, приготовили поздний завтрак. Накануне Ясси осталась у нас ночевать. В последнее время она часто оставалась, и мы начали воспринимать это как само собой разумеющееся. Спала она в свободной комнате рядом с гостиной; я хотела обустроить там кабинет, но комната оказалась слишком шумная, и я переместилась вниз, в помещение в подвале с окнами, выходившими в садик.

Теперь несостоявшийся кабинет использовали как попало: здесь стоял стол и очень старый ноутбук, валялись книги и моя зимняя одежда; здесь же для Ясси устроили временное спальное место и поставили лампу. Иногда мы часами сидели в этой комнате с выключенным светом – у Ясси были мигрени. Но тем утром она вся сияла. Такой я ее помню: она стоит или сидит на кухне или в холле. Я вижу, как она пародирует какого-нибудь смешного профессора и от хохота сгибается пополам.

²² Alabama Song; написана Бертольтом Брехтом и Куртом Вайлем в 1929 году.

Тем летом Ясси часто ходила за мной по дому и рассказывала истории. Нашим местом была кухня или холл; я очень радовалась, что, в отличие от взрослых, Ясси любила мою еду, совсем как мои дети. Она любила и мои так называемые «блинчики», и французские тосты, и мои яичницы с помидорами и овощами. Ни разу она не улыбнулась снисходительно, как мои взрослые друзья, словно говоря: когда ты наконец научишься стряпать? Пока я готовила или резала овощи, она порхала рядом и рассказывала – в основном байки о своих занятиях в университете. Негар, которой тогда было одиннадцать, садилась с нами, и мы втроем говорили часами.

В тот день Ясси заговорила на излюбленную тему: о своих дядюшках. Их у нее было пятеро и три тетки. Одного казнила Исламская Республика; остальные жили в США или Европе. Тетки Ясси были что называется «солью земли», на них весь дом держался. Они работали дома и вне дома. Их выдали замуж по договоренности в очень юном возрасте за мужчин намного старше, и за исключением одной сестры – матери Ясси – всем приходилось мириться с избалованными, капризными мужьями, которых тетки превосходили и в интеллектуальном отношении, и во многих других.

С мужчинами – ее дядюшками – Ясси связывала свои надежды на лучшее будущее. Как Питер Пэн, они иногда прилетали из Нетландии. Их приезд в ее родной город всегда сопровождался бесконечными сборищами и праздниками. Их рассказы завораживали. Они видели то, что не видел никто другой, делали то, что никто больше не делал. Они наклонялись к ней, играли с ней и спрашивали: чем занималась, малышка?

Утро было тихое и спокойное. Я сидела, свернувшись калачиком в кресле в гостиной, в своем длинном домашнем платье; Ясси рассказывала о стихотворении, которое прислал ей дядя. Тахере-ханум возилась на кухне. Через открытую дверь столовой до нас доносились разные шумы: звук льющейся из крана воды, тихое бряцанье кастрюль и сковородок, обрывок фразы, адресованной детям, которые сидели в холле рядом с кухней и то ссорились, то смеялись. Я помню желтые и белые нарциссы; вся гостиная была заставлена вазами с нарциссами. Я поставила вазы не на столы, а на пол рядом с картиной, изображавшей желтые цветы в двух синих вазах – та тоже стояла на полу.

Мы ждали фирменного турецкого кофе моей матери. Мама варила отменный кофе по-турецки – густой, сладкий с горчинкой. Под предлогом кофе она периодически являлась к нам без приглашения. В течение дня она открывала смежную дверцу, разделявшую наши квартиры, и звала нас. «Тахере, Тахере!» – кричала она, и даже если мы с Тахере отвечали хором, продолжала кричать. Лишь убедившись, что мы не хотим кофе, она пропадала и иногда не тревожила нас целый час.

Сколько себя помню, для матери кофе был способом коммуникации. Ей было любопытно, чем мы там занимаемся по четвергам, но гордость не позволяла просто ввалиться к нам, поэтому она проникала в наше святилище под предлогом кофе. Однажды утром она «случайно» поднялась наверх и позвала меня из кухни. «Твои гости хотят кофе?» – спросила она и взглянула на моих любопытных улыбающихся девочек через открытую дверь. Так по четвергам у нас появился еще один ритуал: кофейный час с моей мамой. Вскоре у нее образовались любимцы среди моих студенток; она пыталась наладить с ними отдельные отношения.

Сколько себя помню, мама всегда приглашала на кофе чужих людей. Однажды нам пришлось дать от ворот поворот качку пугающей наружности лет тридцати пяти, который по ошибке позвонил к нам в квартиру и попросил увидеть даму, пригласившую его «зайти на кофе», если он будет «в районе». Мамиными завсегдатаями были и охранники из госпиталя напротив. В первые несколько раз они стояли с почтительным видом, держа кофейные чашечки в руках; затем, по ее настоянию, стали смущенно садиться на краешек стула и пересказывать сплетни о том, что происходило у соседей и в госпитале. Так мы узнавали обо всем случившемся за день.

Мы с Ясси ждали кофе, наслаждаясь бездельем, когда в дверь позвонили. Звонок прозвучал громче обычного, потому что на улице было тихо. Сейчас я снова слышу его в своей памяти; слышу, как Тахере-ханум шаркает в тапках к двери. Ее шаги удаляются; она спускается по лестнице и открывает дверь подъезда. Слышу два голоса: ее и мужской; она обменивается с кем-то парой слов.

Она вернулась ошарашенная. Приходили два офицера в штатском, объяснила она, из Революционного комитета. Хотели обыскать квартиру жильца мистера Полковника. «Мистер Полковник» был нашим новым соседом; мать моя упорно его игнорировала из-за внешности и манер нувориша. Он уничтожил красивый заросший сад рядом с нашим домом и построил на его месте уродливое серое трехэтажное здание. Сам поселился на втором этаже, дочь его – на третьем, а первый он сдавал. Тахере-ханум объяснила, что «они» хотели арестовать жильца мистера Полковника, но в дом их не пустили. Поэтому они хотели проникнуть к Полковнику через наш двор – перелезть через стену и вломиться в дом соседа. Мы, очевидно (или неочевидно), не собирались им этого разрешать. Как мудро рассудила Тахере-ханум, что это за сотрудник Революционного комитета, если у него нет даже ордера на обыск и ему приходится вламываться в чужие дома через соседские дворы? Комитет каждый день врывается в дома приличных людей без всяких ордеров, так почему они оказались столь беспомощными, когда дело дошло до настоящего преступника? У нас с соседом имелись разногласия, но мы не собирались сдавать его комитету.

Пока Тахере-ханум рассказывала нам все это, на улице разразился переполох. До нас донеслись нетерпеливые мужские голоса; затем кто-то побежал и завелся мотор. Не успели мы закончить с нашей критикой комитета, как в дверь снова позвонили. На этот раз более настойчиво. Тахере-ханум вернулась через несколько минут в сопровождении двух юношей, одетых по последней моде Стражей Революции в униформу цвета хаки. Они объяснили, что им уже не нужно карабкаться на нашу стену, чтобы прыгнуть в соседский двор; преступник сам забрался на нее, прыгнул в наш двор и теперь прячется там вооруженный. Стражи хотели воспользоваться нашим балконом и балконом третьего этажа, чтобы отвлечь нарушителя, открыв по нему огонь; в то время их коллеги зайдут с другой стороны и поймают его. Наше разрешение не требовалось, но стражи с уважением относились к «женам и матерям наших граждан» и все равно его спросили. Намеками и жестами они дали понять, что преступник, за которым они охотятся, очень опасен – он оказался вооруженным наркодилером, за которым уже числилось несколько преступлений.

К двум стражам присоединились еще трое и двинулись наверх. Позднее я поняла, что в тот момент подумала о том же, о чем Тахере-ханум. Там, наверху, в углу большой террасы мы спрятали нашу большую и запрещенную спутниковую тарелку. Позже мы все удивлялись, что в тот момент нас больше всего заботили не наши жизни и не присутствие в нашем доме пятерых мужчин с пистолетами, которые планировали устроить перестрелку с соседом, вооруженным и прячущимся где-то в саду. Как и все нормальные иранцы, мы были не совсем чисты перед законом и нам было что скрывать: мы боялись за нашу антенну. Наверх отправили Тахере-ханум – та была более хладнокровной, чем я, и лучше умела разговаривать с властями. Ясси поручили присматривать за двумя моими ошарашенными детьми, а я сопровождала двух стражей на балкон, примыкавший к спальне; внизу, под балконом, раскинулся сад. Помню, посреди этого переполоха я подумала: теперь Ясси будет что рассказать дядюшкам. Спорим, даже у них не найдется истории лучше этой.

Даже после того, как мы с детьми попытались вспомнить этот день в подробностях, я все равно путаюсь в показаниях. В моей памяти я находилась везде одновременно. Как джинн из мультика «Аладдин», я то стояла на балконе под перекрестным огнем и слушала, как стражи выкрикивали угрозы в адрес преступника, припоминая ему все грехи и намекая, что у него есть «высокопоставленные друзья» – видимо, поэтому у них не было официального ордера, – то

уже через секунду оказывалась наверху, где Тахере-ханум уверяла меня, что стражи слишком заняты и не обратили внимания на нашу спутниковую тарелку. Позже она сказала мне, что стражи пытались использовать ее как живой щит, рассудив, что в них преступник стрелять будет, а в нее – точно нет.

Между выстрелами мои новые знакомые, комментирующие эти странные события, признались, что если данное предприятие увенчается успехом, нашего соседа, скорее всего, все равно отпустят его высокопоставленные покровители. Страж Революции настойчиво предостерегал меня насчет злобной натуры этого преступника, который сидел в укрытии в дальнем конце нашего сада, спрятавшись в щедрой тени моей любимой ивы. С комичным отчаянием стражи стали жаловаться на безнадёжность своей миссии – нам, которые считали обе стороны в этой перестрелке в равной степени преступниками и нарушителями нашей частной собственности и желали избавиться от них как можно скорее.

Игра вскоре переместилась во двор другого нашего соседа; двое его перепуганных детей и няня сбежали на улицу. Выстрелом соседу выбило окно. Преступник на некоторое время укрылся в небольшом сарае в глубине их сада у плавательного бассейна, но теперь стражи окружили его с нескольких сторон. Оружие он выбросил в бассейн – зачем не знаю, – и сцена преследования переместилась на улицу. Мы привели к нам двух сыновей соседа. Мои и соседские дети и мы с Ясси высунулись в окно, глядя, как комитетские затаскивают свою добычу на заднее сиденье белой патрульной «тойоты»; мужчина все время не переставал голосить, звал жену и сына и предупреждал жену, чтобы та ни при каких обстоятельствах не открывала дверь дома.

В конце концов мы все-таки выпили кофе: все участники действия – Ясси, Тахере-ханум, дети и я, а также охранники из госпиталя собрались в гостиной моей матери и рассказали свои версии истории. Охранники дали нам кое-какую инсайдерскую информацию о жильце мистера Полковника. Ему было тридцать с небольшим. Своей надменностью и грубостью он заслужил ненависть и страх больничных работников. Оказалось, последние шесть недель наша улица находилась под наблюдением сотрудников Революционного комитета – тех самых, что сегодня наконец совершили арест.

Мы все согласились, что здесь имели место внутренние междоусобные разборки, и преступник, скорее всего, работал на кого-то в высших эшелонах. Это объясняло, откуда у такого молодого человека деньги на старинные автомобили, что стояли у него в гараже, опиум и аренду дома в нашем районе с его заоблачными ценами. Охранникам госпиталя сообщили, что жилец нашего соседа принадлежал к террористической группировке, ответственной за убийства в Париже на протяжении последних десяти лет. По прогнозу нашего самопровозглашенного следственного комитета, скоро его должны были освободить. Мы не ошиблись: его не просто освободили, но и вскоре после нашего возвращения он появился у нас на пороге и попытался убедить Тахере-ханум подать жалобу против сотрудников Революционного комитета, вломившихся в наш дом, чтобы его арестовать. Но мы жаловаться не стали.

Вечером мы с мужем пили чай дома у соседа, где организовалась очередная встреча; дети, заинтригованные событиями дня, решили исследовать все места, где происходила перестрелка. В сарае они нашли черную кожаную куртку арестованного, и в ней – маленький кассетный магнитофон. Мы были законопослушными гражданами и, прослушав невнятный разговор о каких-то грузовиках, отдали магнитофон и куртку комитету, несмотря на горячие протесты наших детей.

Эту историю потом пересказывали много раз, в том числе и в следующий четверг, когда Тахере-ханум и мои дети, к тому моменту утратившие свое робкое любопытство, а с ним и необходимое чувство приличия, которое прежде не позволяло им заходить в гостиную во время наших занятий, разыграли сцену погони перед заинтересованной и улыбающейся аудиторией. Интересно, что «они» – люди из Революционного комитета – в этой сценке выглядели

совершенно беспомощными, неумелыми и непрофессиональными. Ясси заметила, что в боях все совсем иначе. Нас отнюдь не утешало, что наши жизни были в руках этих неуклюжих идиотов. Несмотря на все шутки и силу, которую мы ощутили тогда, дом после этого стал немного менее безопасным местом и еще долго мы вздрагивали при звуках дверного звонка.

Более того, этот звонок стал предостережением о вторжении другого мира, которое мы пытались обратить в шутку. Через несколько месяцев в дверь снова позвонили, и в наш дом нагрянули двое других сотрудников Революционного комитета. Они пришли обыскать наш дом и забрать спутниковую тарелку. На этот раз никто уже не геройствовал: когда они ушли, дом погрузился почти что в траур. Моя дочь в ответ на мои обвинения в избалованности с горьким презрением заметила, что мне не понять ее беду. Разве меня в ее возрасте наказывали за цветные шнурки, за то, что бегала в школьном дворе и облизывала мороженое на улице?

В следующий четверг мы подробно обсудили это в группе. Мы снова перескакивали с обсуждения книг на нашу жизнь: стоит ли удивляться, что мы все оценили «Приглашение на казнь»? Мы все были жертвами произвола тоталитарного режима, который постоянно вмешивался в самые интимные сферы нашей жизни и насаждал нам свой безжалостный вымысел. Было ли это правление на самом деле правлением ислама? Какие воспоминания мы создаем для наших детей? Такое постоянное вторжение и хроническая нехватка доброты пугали меня сильнее всего.

20

За несколько месяцев до этого Манна и Нима явились ко мне за советом. Они откладывали деньги и теперь раздумывали, потратить ли их на «жизненно необходимые» вещи, как они их называли, или на спутниковую тарелку. Денег у них было мало; небольшую сумму, что имелаась, они заработали репетиторством. Как и многие другие молодые пары, после четырех лет брака они все еще не могли позволить себе отдельную квартиру. Они жили с мамой и младшей сестрой Манны. Я не помню, что посоветовала им в тот день, но знаю, что вскоре после этого они купили спутниковую тарелку. Они пришли от нее в полный восторг, и с тех пор каждый день рассказывали про новый фильм – классику американского кинематографа – который посмотрели накануне.

Спутниковые тарелки пользовались в Иране огромной популярностью. Их мечтали установить не только люди вроде меня, принадлежавшие к так называемой «интеллигенции». Тахере-ханум рассказывала, что в менее зажиточных и более религиозных кварталах Тегерана семьи, у которых были тарелки, «сдавали» соседям время перед телевизором. Я вспомнила, как во время поездки в США в 1996 году видела Дэвида Хассельхофа, звезду «Спасателей Малибу»; тот хвастался, что его сериал – самый популярный в Иране.

Строго говоря, Манна и Нима никогда не были моими студентами. Они учились на последнем курсе факультета английской литературы в Тегеранском университете, готовились получать магистерскую степень. Они читали мои статьи, слышали о моих занятиях от друзей и однажды просто пришли на мою лекцию. Потом спросили разрешения посещать мои классы просто для себя. После этого они не пропускали ни одного занятия, ходили на мои выступления и публичные лекции. Я видела их на этих мероприятиях: они обычно стояли у двери и всегда улыбались. Я чувствовала, что этими улыбками они побуждали меня все больше рассказывать о Набокове, Беллоу, Филдинге; они сообщали, как это жизненно важно – продолжать, чего бы это ни стоило мне или им.

Они познакомились в Ширазском университете и полюбили друг друга по большей части из-за общего интереса к литературе и изолированности от университетской жизни. Манна потом объяснила, что в основе их привязанности лежали прежде всего слова. В период ухаживания они писали друг другу письма и читали стихи. Они впали в зависимость от безопасного мира, сплетенного из слов, – их собственного тайного мира, где все враждебное и неконтролируемое становилось дружелюбным и понятным. Она писала диссертацию по Вирджинии Вулф и импрессионистам, он – по Генри Джеймсу.

Когда Манна радовалась, она делала это очень тихо; ее радость, казалось, происходила из неведомых глубин ее существа. Я все еще помню первый день, когда увидела их с Нимой в своем классе. Они напомнили мне моих двоих детей, когда те сговаривались, чтобы чем-то меня порадовать. Сначала Нима показался мне более разговорчивым из них двоих. Он всегда шел со мной рядом, а Манна – чуть позади. Нима говорил, рассказывал истории, а Манна заглядывала за его плечо, пытаясь уловить мою реакцию. Сама она редко подавала голос. Лишь через несколько месяцев, когда по моему настоянию она показала мне свои стихи, ей пришлось говорить со мной напрямую, а не через Ниму.

Я назвала их созвучными именами, хотя в реальности их звали иначе. Но я так привыкла видеть их вместе, привыкла к их постоянному выражению одинаковых мыслей и чувств, что для меня они были как брат с сестрой, только что обнаружившие в садике позади дома какое-то чудо, проход в волшебное царство. Я же была их феей-крестной, безумной колдуньей, которой они могли довериться.

Пока мы разбирали бумаги и обустроивали мой домашний кабинет, расставляя книги и раскладывая конспекты по папкам, они рассказывали байки и сплетни об Тегеранском универ-

ситете, где я служила несколько лет назад. Многие из тех, о ком они говорили, были мне знакомы, включая нашего любимого злодея профессора Икс. Тот питал к Ниме и Манне необъяснимую упорную ненависть. Он был одним из немногих профессоров, кто не уволился или не подвергся увольнению с тех пор, как я ушла из этого университета. Ему казалось, что Нима и Манна недостаточно его уважали. Он выработал эффективный способ решения всех сложных вопросов литературной критики: по всем спорным темам устраивал голосование. Голосовали, поднимая руки, поэтому все дебаты обычно решались в его пользу.

Но главным камнем преткновения стала курсовая Манны по Роберту Фросту. На следующем занятии он сообщил группе, в чем не согласен с ее работой, и попросил учеников проголосовать. Все, кроме Манны, Нимы и еще одного человека проголосовали в поддержку профессора. После голосования профессор повернулся к Ниме и спросил его, с чего он вдруг переобулся. Неужели жена промыла ему мозги? Чем сильнее он цеплялся к ним, чем чаще выставлял их идеи на голосование, тем упрямее они становились. Они приносили ему книги известных критиков, в которых содержалась поддержка их идей и осуждение его позиции. В очередном приступе ярости он запретил им посещать его занятия.

Один из студентов профессора Икс решил написать курсовую по «Лолите». Он не пользовался источниками и даже не читал Набокова, но его работа восхитила профессора, у которого был зуб на юных девочек, портящих жизнь интеллектуалам. Этот студент хотел написать, как Лолита соблазнила Гумберта, «поэта-интеллектуала», и разрушила его жизнь. С глубокой серьезностью профессор Икс спросил студента, знал ли он о сексуальных извращениях самого Набокова. Голосом, дрожащим от презрения, Нима передразнил профессора, скорбно качающего головой; он вещал о том, как в каждом втором романе какая-нибудь легкомысленная кокетка разрушает жизнь умного мужчины. Манна клялась, что, рассуждая на свою любимую тему, он бросал на нее ядовитые взгляды. Но несмотря на свою позицию насчет «легкомысленных кокеток» Набокова, когда пришло время профессору подыскивать себе новую жену, его основным условием стал возраст не старше двадцати трех лет. Его вторая жена, подобранная должным образом через сваху, была моложе его на несколько десятков лет.

21

Однажды утром в четверг было так жарко, что зной, казалось, проникал даже в прохладу нашего дома с кондиционером. Мы всемером разговаривали о том о сем перед началом занятий. Разговор зашел о Саназ. На прошлой неделе та пропустила урок, не позвонив и не объяснившись, и теперь мы не знали, придет ли она. Никто ничего о ней не слышал, даже Митра. Мы подозревали, что ее бедовый братец что-то задумал. Он давно стал постоянным предметом наших разговоров, одним из «злодеев» мужского пола, которых мы обсуждали каждую неделю.

– Нима говорит, что мы не понимаем, как трудно мужчинам в Иране, – с легким сарказмом проговорила Манна. – Мол, они тоже не знают, как себя вести. И иногда ведут себя, как грозные мачо, потому что чувствуют себя уязвимыми.

– Что ж, в какой-то мере это так, – ответила я. – Ведь для отношений нужны двое, а если сделать половину населения невидимками, вторая половина тоже неизбежно пострадает.

– Можете представить мужчину, который воспринимает прядь моих волос как сексуальную провокацию? – спросила Нассрин. – Или сходит с ума при виде большого пальца моей ноги... Подумать только! – воскликнула она. – Мой палец ноги – смертельное оружие!

– Женщины, покрывающие себя, содействуют режиму и поддерживают его, – непокорно произнесла Азин.

Махшид не сказала ни слова, внимательно разглядывая кованую ножку стола.

– А те, кто красит губы в огненно-красный цвет и флиртует с профессорами, – Манна пригвоздила Азин ледяным взглядом, – должно быть, делают это ради борьбы за благое дело? – Азин покраснела и ничего не ответила.

– Бороться с чрезмерным сексуальным аппетитом у мужчин можно, отрезав им гениталии, – невозмутимо предложила Нассрин. Она читала книгу Наваль аль-Садави²³ о жестокости по отношению к женщинам в некоторых мусульманских сообществах. Садави была врачом и подробно описывала кошмарные последствия калечащих операций на гениталиях, проведенных маленьким девочкам якобы с целью умерить их сексуальные аппетиты. – Я работала над текстом для моего переводческого проекта...

– Перводческого?

– А вы не помните? Я же сказала отцу, что перевожу мусульманские тексты на английский по просьбе Махшид.

– Но я думала, это всего лишь предлог, чтобы ты могла ходить на встречи, – сказала я.

– Так и было, но потом я решила заниматься этими переводами три часа в неделю, иногда и больше, в качестве расплаты за свою ложь. Так я договорилась с совестью, – с улыбкой произнесла она. – Так вот, хотите верьте, хотите нет, но сам аятолла не новичок в сексуальных вопросах, – продолжала Нассрин. – Я переводила его великий труд «Политические, философские, социальные и религиозные принципы аятоллы Хомейни», и у него там несколько интересных замечаний.

– Но его уже перевели, – заметила Манна. – Какой смысл делать это еще раз?

– Да, – отвечала Нассрин, – перевели некоторые части, но сочинение стало предметом шуток; наши посольства за границей выяснили, что люди читают книгу не ради нравственных наставлений, а чтобы посмеяться над ней. С тех пор эти переводы очень трудно раздобыть. И мой перевод очень тщательный, снабжен ссылками и перекрестными ссылками на труды других уважаемых людей. Так, к примеру, знаете ли вы, что секс с животными считается средством излечения от неумного сексуального аппетита? Существует также проблема секса с курами.

²³ Наваль аль-Садави (1931–2021) – египетская писательница-феминистка, автор множества книг о женщинах в исламе; особое внимание в своих книгах уделяла практике калечащих операций на женских половых органах.

Если человек занимался сексом с курицей, можно ли потом ее есть? Мало ли у кого возникнет такой вопрос? Наш лидер подсказывает ответ: нет, ни самому человеку, ни его ближайшим родственникам и людям из соседнего дома нельзя есть мясо этой курицы. Но если сосед живет, скажем, за два дома, уже можно. Видите, вместо того, чтобы читать Джейн Остин и Набокова, мой отец предпочитает, чтобы я тратила время на такие тексты, – с озорством проговорила она.

Услышав о подобном содержании работ аятоллы Хомейни от осведомленной Нассрин, мы не удивились. Она рассказывала о знаменитом трактате Хомейни, нашем местном эквиваленте диссертации – все, кто достигал статуса аятоллы, должны были написать такой трактат и в нем ответить на вопросы, которые могут задать им ученики, и предложить решение их проблем. Многие другие до Хомейни писали почти идентичные трактаты. Меня беспокоило другое: что люди, которые правили нами и в чьих руках находилась наша судьба и судьба нашей страны, воспринимали эти тексты на полном серьезе. Каждый день на национальном телевидении и радио эти охранители морали и культуры делали аналогичные заявления и обсуждали вопросы, подобные упомянутой Нассрин дилемме с курами, как будто это была самая серьезная тема для обдумывания и размышления.

В разгар этого глубокомысленного обсуждения, когда Азин хохотала, а Махшид мрачнела с каждой секундой, мы услышали скрип тормозов, и я догадалась, что это брат Саназ ее привез. Последовала пауза; хлопнула дверца машины, зазвонил звонок, и через несколько минут вошла Саназ, с порога бросившись извиняться. Она, казалось, так переживала из-за опоздания и пропущенного урока, что готова была расплакаться.

Я попыталась ее успокоить, а Ясси пошла на кухню сделать ей чай. Саназ держала в руках большую коробку с пирожными. Это зачем, Саназ? На прошлой неделе была моя очередь приносить пирожные, неуверенно произнесла она, вот я и принесла их сейчас. Я забрала у нее пирожные – у нее вспотели ладони – а она тем временем развернула накидку и сняла платок. Ее волосы были стянуты резинкой. Лицо было бледным и несчастным.

Наконец она села на свое обычное место рядом с Митрой; в руках она держала большой стакан воды со льдом, а на столике перед ней стояла чашка чая. Мы молча ждали, что она скажет. Азин попыталась пошутить, нарушив молчание – мы-то думали, ты поехала в Турцию на помолвку и забыла нас пригласить. Саназ робко улыбнулась и вместо ответа глотнула воды. Казалось, она одновременно хочет что-то сказать и не желает ничего говорить. Мы услышали слезы в ее голосе прежде, чем те заблестели в глазах.

Рассказанная ей история оказалась до боли знакомой. Две недели назад Саназ с пятью подругами поехали к Каспийскому морю на двухдневные каникулы. В первый день они решили навестить жениха подруги, который жил на вилле неподалеку. Саназ подчеркивала, что все они были прилично одеты, в платках и длинных накидках. Они сидели в саду: шесть девушек и один юноша. В доме не было алкогольных напитков, запрещенных кассет и дисков. Саназ словно намекала, что если бы все это было, они бы заслужили того обращения, которому подверглись в руках Стражей Революции.

Потом появились «они» – вооруженные стражи нравственности; они возникли неожиданно, перепрыгнув через низкие стены. Им якобы сообщили о происходящих в доме незаконных действиях; они потребовали провести обыск. Не найдя к чему придраться во внешности девушек, один из стражей сказал: *вот смотрю я на вас, с вашими западными манерами...* Что значит «с западными манерами», спросила Нассрин? Саназ взглянула на нее и улыбнулась. Уточню, когда в следующий раз встречу этого стража, сказала она. Правда в том, что при обыске не нашлось ни алкогольных напитков, ни кассет и дисков, но поскольку ордер на обыск у стражей имелся, они не желали уходить ни с чем. Их всех отвели в специальную тюрьму для нарушителей морали. Там, несмотря на протесты, их загнали в тесную темную камеру и оставили на ночь; кроме них, там было несколько проституток и наркоманка. Охранники заходили в камеру два-три раза за ночь, будили тех, кто уснул, и осыпали их проклятиями.

Там их держали сорок восемь часов. Несмотря на многократные просьбы, им не разрешили позвонить родителям. В назначенное время они могли выйти в туалет, но кроме этого покидали камеру лишь дважды: в первый раз их отвели в больницу, где женщина-гинеколог проверила их на девственность в присутствии студентов-медиков, наблюдавших за осмотром. Затем, не удовлетворившись ее вердиктом, стражи отвели девушек в частную клинику на повторную проверку.

На третий день консьерж виллы, которую снимали девочки, сообщил их встревоженным родителям из Тегерана, что их пропавшие дети, скорее всего, попали в автомобильную аварию и погибли. Родители тут же отправились в курортный городок искать дочерей и наконец нашли их. Девочкам устроили общий суд, заставили подписать документ с признанием в грехах, которых они не совершали, и вынесли наказание – двадцать пять ударов плетью.

У худенькой Саназ под накидкой была футболка; тюремщики пошутили, что раз на ней лишняя одежда, боли она не почувствует, и секли ее дольше положенного. Но физическая боль для нее была не так страшна, как унижительные проверки на девственность и ненависть к себе, которую она испытала, подписав вынужденное признание. В каком-то извращенном смысле физическое наказание стало для нее даже источником удовлетворения, компенсацией за то, что она подверглась остальным унижениям.

Когда их наконец освободили, а родители отвезли их домой, Саназ пришлось столкнуться с еще одним унижением: упреками брата. А что они хотели, заявил он? Как можно было отпустить шесть неуправляемых девчонок в поездку без мужского глаза? Почему никто никогда его не слушает – неужто потому, что он на несколько лет моложе его бестолковой сестрицы, которая давно уже должна быть замужем? Родители Саназ хоть и сочувствовали ей и тому, что ей пришлось пережить, вынуждены были согласиться, что, возможно, действительно не стоило отпускать ее в эту поездку – и дело не в том, что они ей не доверяли, просто условия в стране сейчас были неподходящие для таких вольностей. Мало того, что мне пришлось пережить унижение, подытожила Саназ; я теперь и виновата. Мне запретили пользоваться моей же машиной, а мой умный младший братик теперь повсюду меня сопровождает.

Я не могу забыть историю Саназ. Я постоянно возвращаюсь к ней, воссоздаю ее по кусочкам – до сих пор. Стена в саду, шесть девушек и юноша на веранде сидят и рассказывают анекдоты, смеются. А потом приходят «они». Я помню этот случай так же отчетливо, как многие другие инциденты из моей жизни в Иране; я помню даже события, о которых мне рассказывали или писали после моего отъезда. Странно, но они тоже стали моими воспоминаниями.

Возможно, лишь сейчас, находясь на расстоянии, когда я могу говорить о пережитом открыто и без страха, я могу начать осмысливать произошедшее и преодолевать свое ужасное чувство беспомощности. В Иране, сталкиваясь с повседневной жестокостью и унижением, мы испытывали странную отстраненность. Там мы говорили о случившемся так, будто все произошло не с нами; как пациенты с шизофренией, мы старались держаться подальше от своего второго «я», представлявшегося нам одновременно знакомым и чуждым.

22

В своих мемуарах «Память, говори» Набоков описывает акварельную картину, которая висела над его кроватью, когда он был маленьким. На этом пейзаже узкая тропинка уходила в чащу густых деревьев. Его мама читала ему сказку о мальчике, который однажды исчез, попав в картину, что висела над его кроватью; маленький Володя стал мечтать, чтобы с ним случилось то же самое, и молился об этом каждый вечер. Представляя нас в моей гостиной в Тегеране, вы должны понимать, что мы все стремились к тому же – к этому опасному исчезновению. Чем больше мы отгораживались от мира в нашем святилище, тем более чуждой казалась повседневная жизнь. Я ходила по улицам и спрашивала себя: неужели это мои люди, мой родной город? Неужели это я?

Ни Гумберту, ни слепому цензору никогда не удавалось по-настоящему обладать своими жертвами: те неизменно ускользали, как ускользают объекты фантазий, всегда одновременно находящиеся на расстоянии вытянутой руки и вне доступа. Даже сломленные жертвы не хотят подчиняться.

Об этом я думала однажды вечером в четверг после занятий, просматривая оставленные девочками литературные дневники с новыми сочинениями и стихами. В начале наших занятий я попросила описать, как они себя представляют. Тогда они не были готовы ответить на этот вопрос, но время от времени я его повторяла, спрашивала снова. Сейчас, сидя на диване и подобрав ноги, я читала их недавние ответы – десятки страниц.

Один из ответов сейчас лежит передо мной. Он принадлежит Саназ; она сдала его вскоре после тюремного заключения в приморском городке. Это простой черно-белый рисунок обнаженной девушки; ее белое тело заключено в черный пузырь. Она сидит, скрючившись почти в позе эмбриона и обнимая согнутое колено. Другую ногу девушка подвернула под себя. Длинные прямые волосы падают на спину, очерчивая ее контур, но лица не видно. Пузырь держит в воздухе огромная птица с длинными черными когтями. Но меня сильнее всего заинтересовали не эти образы с очевидным смыслом – девушка, пузырь – а небольшая деталь: девушка протягивает руку из пузыря и держится за коготь птицы. Ее обнаженная покорность зависит от этого когтя, и она к нему тянется.

Рисунок тут же заставил меня вспомнить слова Набокова из его знаменитого послесловия к «Лолите»; там он рассказывает, что «первая маленькая пульсация „Лолиты“» пробежала в нем в 1939 или начале 1940 года, когда он лежал в постели с тяжелым приступом межреберной невралгии. Он вспоминает «начальный озноб вдохновения», который «был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улеживания со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен».

Два образа – из романа и реальной жизни – вскрывают ужасную правду. Ее ужас простирается далеко за пределы самого факта совершенного в каждом случае насилия. Он простирается за пределы клетки, демонстрируя короткую дистанцию и близость жертвы к тюремщику. И в каждом случае наше внимание направлено в болезненную точку, где животное в неволе касается прутьев решетки, на невидимый контакт кожи и холодного металла.

Большинство девочек выражали свои чувства словами. Манна видела себя туманом, обволакивающим твердые предметы, принимающими их форму; самими предметами она не становилась никогда. Ясси описывала себя как «фрагмент». Нассрин, пытаясь описать себя, однажды привела определение слова «парадокс» из Оксфордского толкового словаря. Почти во всех описаниях, данных девочками, подразумевалось, что они рассматривали себя в контексте внешнего мира, мешающего составить четкое и отдельное представление о себе.

Манна однажды написала про розовые носки, за которые получила нагоняй от Мусульманской студенческой ассоциации. Когда она рассказала об этом своему любимому профессору, тот пошутил, что она уже обворожила своего мужчину – Ниму – и поймала его в ловушку; теперь ей ни к чему розовые носки.

Между этими студентками и всеми женщинами их поколения и женщинами моего поколения была одна фундаментальная разница. Мое поколение жаловалось на утрату, бездну, что разверзлась в нашей жизни, когда у нас украли прошлое, сделав нас изгнанницами в собственной стране. Но при этом у нас было прошлое, и мы могли сравнить его с настоящим; у нас остались воспоминания и образы того, что у нас забрали. А мои девочки – те постоянно говорили о поцелуях украдкой, фильмах, которые они никогда не видели, ветре, который никогда не чувствовали на своей коже. У поколения этих девочек не было прошлого. Их память представляла собой невысказанное желание, то, чего у них никогда не было. Именно эта нехватка, тоска по обычным аспектам жизни, которые мы, старшие, принимали как должное, придавали их словам прозрачность и сияние, роднившие их с поэзией.

Интересно, как отреагируют люди, сидящие рядом со мной в кафе в этой другой стране, не в Иране, если я повернусь к ним сейчас, в этот самый момент, и заговорю о жизни в Тегеране? Станут ли они осуждать пытки, казни и экстремальные проявления агрессии? Пожалуй, да. Но что они скажут о наших повседневных актах неповиновения – например, о желании носить розовые носки?

Я спрашивала своих студентов, помнят ли они сцену танца из «Приглашения на казнь» – где тюремщик приглашает Цинцинната на танец. Они начинают вальсировать и выходят в коридор. В углу натыкаются на охранника: «описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока». Это хождение кругами является основным движением в романе. Покуда Цинциннат принимает фальшивый мир, который навязывают ему тюремщики, он остается заключенным и движется по ими созданному кругу. Самое страшное преступление, совершенное тоталитарными умами, заключается в том, что те вынуждают своих граждан – и своих жертв в том числе – участвовать в собственной казни. Это ли не проявление абсолютной жестокости? Мои студентки видели это в трансляциях показательных судов по телевизору и воспроизводили каждый раз, выходя на улицы одетыми так, как им велели. Они не принадлежали к толпе, наблюдавшей за казнями, но и силы протестовать у них тоже не было.

Выйти из этого круга, прервать танец с тюремщиком можно было лишь одним путем – отыскав способ сохранить свою индивидуальность, уникальное свойство, не поддающееся описанию и отличающее одного человека от другого. Вот почему в их мире ритуалы – пустые ритуалы – имели столь центровое значение. Наши тюремщики не слишком отличались от палачей Цинцинната. Они вторгались в личные пространства и пытались формировать все наши поступки; они хотели заставить нас стать одними из них, и это тоже была форма казни.

В конце романа Цинцинната ведут на эшафот; он кладет голову на плаху, готовясь к казни, и повторяет волшебное заклинание: «сам, сам». Это постоянное напоминание о его самости, его попытке писать, выражать свои мысли и создавать язык, отличный от навязываемого им тюремщиками, – все это в последний момент спасает его; он берет ситуацию в свои руки и уходит на голоса, манящие его из другого мира, а помост и искусственный мир вокруг него рассыпаются и исчезают вместе с палачом.

Часть II Гэтсби

1

Молодая женщина стоит одна в толпе в Тегеранском аэропорту; на спине рюкзак, с плеча свисает большая сумка, впереди – внушительный чемодан, который она толкает перед собой мыском ботинка. Ее отец и муж – она замужем два года – где-то там, с остальными вещами. Она стоит в зоне таможенного контроля со слезами на глазах, в отчаянии высматривая хоть одно сочувственное лицо, кого-то, кого можно схватить за рукав и сказать: как же я рада, как счастлива наконец оказаться дома! Наконец-то я здесь и теперь уже навсегда. Но никто даже не улыбается. Стены аэропорта словно подменили, отовсюду с гигантских постеров с укором взирает аятолла. Атмосфере вторят лозунги, начертанные черными и кроваво-красными буквами: «Смерть Америке! Долой империализм и сионизм! Америка – наш враг номер один!»

Она пока не поняла, что родина, оставленная семнадцать лет назад – тогда ей было тринадцать – уже не является ей домом. Она стоит одна, эмоции раздирают ее и готовы прорваться наружу от малейшего толчка. Я стараюсь не смотреть в ее сторону, не задеть ее, пройти мимо незамеченной. Но никак не получается.

Этот аэропорт – аэропорт Тегерана – всегда пробуждает во мне все худшее. Когда я впервые отсюда улетаю, он был гостеприимным и волшебным местом. Здесь был прекрасный ресторан, где вечером в пятницу устраивали танцы, и кофейня с большими французскими окнами, выходящими на балкон. В детстве мы с братом стояли у этих окон как замороженные, ели мороженое и считали самолетики. Когда мы подлетали к Тегерану, это всегда напоминало момент озарения; раскинувшееся внизу одеяло мерцающих огней сообщало, что мы прибыли, что это Тегеран ждет нас внизу. Семнадцать лет я мечтала об этих огнях, таких манящих и соблазнительных. Я мечтала нырнуть в них с головой и больше никогда не уезжать.

Наконец мечта сбылась. Я вернулась домой, но атмосфера в аэропорту оказалась неприветливой. Она была мрачной и слегка угрожающей, как не улыбочивые портреты аятоллы Хомейни и его помазанника, аятоллы Монтазери. Будто злая ведьма на метле пронеслась над зданием аэропорта и одним взмахом забрала все рестораны, детей и женщин в разноцветной одежде, какими я их помнила. Это чувство подтвердилось, когда я заметила затравленную тревогу в глазах матери и друзей, приехавших в аэропорт поприветствовать нас дома.

Когда мы выходили из зоны таможни, нас остановил мрачный юноша; он пожелал меня обыскать. Но нас уже обыскивали, напомнила я. Нет, не чемоданы, коротко ответил он. Но почему? Я здесь живу, это мой дом, хотелось сказать мне; можно подумать, это уберегло бы меня от подозрений и пристальных взглядов. Он сказал, что будет искать алкогольные напитки. Меня отвели в угол. Мой муж Биджан беспокойно наблюдал за мной, не зная, чего больше бояться – угрюмого охранника или меня. На его лице появилась улыбка, которая вскоре станет мне очень хорошо знакома: циничная, покорная улыбка соучастника. Ты же не будешь спорить с бешеным псом, сказал мне кто-то потом.

Сперва они вывалили содержимое моей сумочки: помаду, ручки и карандаши, ежедневник, футляр для очков. Потом взяли за рюкзак и достали оттуда мой диплом, свидетельство о браке, книги – «Аду»²⁴, «Еврейскую бедноту»²⁵, «Великого Гэтсби». Охранник держал их

²⁴ «Ада» – роман Набокова.

²⁵ Полуавтобиографический роман Майкла Голда 1930 года, оригинальное название – *Jews without Money*. Считается

брезгливо, как чужое нижнее белье. Но конфисковывать не стал – тогда не стал. Их конфисковали несколько позже.

2

В первые годы за границей, когда я училась в школах в Англии и Швейцарии, и потом, когда жила в Америке, я пыталась формировать восприятие других стран сообразно своим понятиям об Иране. Я стремилась углысть в ландшафте сходство с персидскими пейзажами и даже на семестр перевелась в небольшой колледж в Нью-Мексико, потому что тамошние панорамы напоминали мне о доме. *Понимаете, Фрэнк и Нэнси, вот этот маленький ручеек в окружении деревьев, текущий по сухой потрескавшейся земле, – это так похоже на Иран. Здесь совсем как в Иране, совсем как дома.* Всем, кто соглашался меня слушать, я рассказывала, что Тегеране мне больше всего нравились его горы и сухой, но щедрый климат, деревья и цветы, которые росли и цвели на выжженной земле и, казалось, питались солнечным светом.

Когда отца посадили в тюрьму, я вернулась домой; мне разрешили остаться на год. Потом, накануне своего восемнадцатилетия, я, неуверенная в себе девчонка, вышла замуж, повинаясь минутному импульсу. Я вышла за человека, чьим главным достоинством было то, что он был на нас не похож. Его образ жизни в сравнении с нашим казался прагматичным и лишенным всяких сложностей. Он был очень уверен в себе. Книги он не любил («твоя проблема – твоя и твоих родных – в том, что вы живете в книгах, а не в реальном мире»); безумно меня ревновал (так, по его мнению, должен был вести себя мужчина, властвующий над своей судьбой и собственностью); стремился к успеху («когда у меня будет свой кабинет, мое кресло будет выше стульев посетителей, и тогда они всегда будут меня бояться») и обожал Фрэнка Синатру. В день, когда согласилась выйти за него, я уже знала, что мы разведемся. Но моя тяга к саморазрушению и стремление рисковать своей жизнью не знали границ.

Мы переехали в Норман, штат Оклахома, где он учился на инженера в Оклахомском университете. Через шесть месяцев я решила развестись с ним в день, когда отец выйдет из тюрьмы. Ждать пришлось три года. Он отказался давать мне развод («женщина входит в мужнин дом в белом платье и выходит в белом саване», говорил он). Но он недооценил меня. Ему нужна была жена, которая красиво одевается, делает маникюр, ходит к парикмахеру каждую неделю. Я не подчинялась ему, носила длинные юбки и рваные джинсы, отрастила волосы и сидела на лужайке в студенческом городке со своими друзьями-американцами, в то время как мимо проходили его друзья и украдкой посматривали в нашу сторону.

Отец поддержал мое желание развестись и пригрозил подать на алименты – по шариату это единственная защита, на которую могла рассчитывать женщина. Муж наконец согласился дать развод, когда я пообещала не подавать на алименты и разрешила ему оставить себе все деньги на совместном банковском счету, машину и ковры. Он вернулся в Иран, а я осталась в Нормане и стала там единственной зарубежной студенткой факультета английского языка. Других иранцев я сторонилась, особенно иранских мужчин, питавших многочисленные заблуждения о доступности молодой разведенной женщины.

Я помню Норман таким: красная земля и светлячки, песни и демонстрации на газоне в студенческом городке, чтение Мелвилла, По, Ленина и Мао Цзэдуна, Овидия и Шекспира теплыми весенними вечерами в компании любимого профессора, чьи политические взгляды склонялись к консервативным, и другого, с которым мы гуляли по вечерам и пели революционные песни. Вечером мы смотрели новые фильмы Бергмана, Феллини, Годара и Пазолини. Я вспоминаю эти дни, и в памяти смешиваются разрозненные образы и звуки: печальные застывшие кадры бергмановских женщин накладываются на звуковую дорожку с успокаивающим голосом моего Дэвида, профессора-радикала, поющего под гитару:

Ступает пастор величавый в сумраке ночном

*И учит уму-разуму народ.
Народ не внемлет, думает лишь только об одном:
Где хлеба взять и чем набить живот.
«Трудитесь, грешники, молитесь и когда-нибудь
На небесах вас ждет большой пирог.
Вина небесного в раю вы сможете хлебнуть...»
«Но нам сейчас бы пирога кусок!»²⁶*

По утрам мы устраивали демонстрации, оккупировали административное здание и пели песни на газоне перед корпусом, где размещалась кафедра английского языка – газон этот назывался «Южным Овалом». Бывало, что кто-то пробегал голышом по лужайке по направлению к красному кирпичному зданию библиотеки. То было время маршей против войны во Вьетнаме; я маршировала, а несчастные студенты, вступившие в программу подготовки офицерского резерва, пытались не обращать внимания на эти наши выступления. Потом я начала ходить на вечеринки с мужчиной, которого полюбила по-настоящему; от него я узнала о Набокове, он подарил мне его роман «Ада» и написал на форзаце: *Азар, мой Аде, от Теда*.

Моя семья всегда относилась к политике свысока, со своего рода бунтарским снисхождением. Родственники гордились тем, что еще восемьсот лет назад Нафиси были знамениты своим вкладом в литературу и науку – *четыренадцать поколений*, с гордостью подчеркивала моя мать. Мужчин из нашей семьи называли *хаким* – ученые, мыслители; позже, уже в нашем веке, женщины из рода Нафиси пошли учиться в университеты и преподавали в эпоху, когда мало кто из женщин отваживался выйти из дома. Когда отец стал мэром Тегерана, мы не радовались; семью, скорее, охватило чувство дискомфорта. Мои младшие дяди – в то время они учились в университете – отказались признавать отца как брата. Позже, в период отцовской опалы, родители сильнее гордились его тюремным сроком, чем сроком на посту мэра, и внушили нам ту же гордость.

С некоторой неохотой я вступила в Иранское студенческое движение. Арест отца и смутные националистические симпатии моей семьи пробудили во мне интерес к политике, но я всегда была скорее бунтаркой, чем политической активисткой, хотя в те дни особой разницы между этими двумя понятиями не существовало. Помимо всего прочего, меня привлекало, что мужчины из студенческого движения не пытались меня домогаться или соблазнять. Они собирали учебные группы, где мы обсуждали «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркса. В семидесятые в воздухе витали революционные настроения – не только среди иранцев, но и в Америке, и в Европе. Перед глазами стоял пример Кубы и, разумеется, Китая. Революционный крен и романтическая атмосфера оказались заразительными, а иранские студенты были на передовой борьбы. Они активно протестовали и даже были склонны к конфронтации; так, они оккупировали иранское консульство в Сан-Франциско и получили за это тюремный срок.

Иранское студенческое объединение в университете Оклахомы являлось подразделением Всемирной конфедерации иранских студентов. У организации были отделения и члены в большинстве крупных городов Европы и США. В Оклахоме ее силами на территории студгородка возникла Революционная студенческая бригада – воинственно настроенная студенческая ветвь Революционной коммунистической партии; она же способствовала созданию Антиимпериалистического комитета стран Третьего мира, состоявшего из радикально настроенных студентов разных национальностей. Конфедерация, построенная на принципах ленинского демократического централизма, стремилась держать под контролем образ жизни своих членов

²⁶ Строки из песни The Preacher and the Slave – «Проповедник и раб», автор Джо Хилл, 1911 год. Другое популярное название – «Небесный пирог».

и их общественную деятельность. Постепенно в группе стали доминировать марксисты и более агрессивно настроенные элементы; они оттеснили или изолировали студентов с более умеренными и националистическими взглядами. Членов конфедерации можно было узнать по спортивным курткам с портретом Че Гевары и походным ботинкам; женщины обычно стриглись коротко, редко пользовались косметикой и носили штаны со множеством карманов и пиджаки с воротниками-стойками, как у Мао Цзэдуна.

Так начался период, похожий на раздвоение личности: я пыталась примирить свои революционные чаяния с образом жизни, который мне очень нравился. Я так по-настоящему и не смогла стать частью движения. Во время долгих собраний, сопровождаемых горячими спорами конкурирующих фракций, я часто под разными предложениями выходила из комнаты и иногда запиралась в ванной, чтобы сбежать от всего этого. Вне собраний я носила длинные платья, волосы стричь не хотела. Не прекратила читать и любить «контрреволюционных» писателей – Т. С. Элиота, Остин, Плат, Набокова, Фицджеральда. Но, вдохновляясь фразами, прочитанными в стихах и романах, я выступала с пламенными речами на митингах и сплетала слова в революционную песнь. Гнетущая тоска по дому принимала форму восторженных речей, обращенных против тиранов моей родины и их американских покровителей, и хотя я никогда не чувствовала себя своей в этом движении и оно так и не стало для меня домом, в нем я нашла идеологический каркас, способный оправдать мою необузданную, бездумную горячность.

Осень 1977 года запомнилась двумя событиями: в сентябре я вышла замуж, а в ноябре шах совершил свой последний, самый драматичный официальный визит в Соединенные Штаты. С Биджаном Надери мы познакомились за два года до этого на собрании в Беркли. Он возглавлял студенческую группу, чьи идеи были мне наиболее близки. Но я полюбила его совсем не за это – не за революционную риторику, а за уверенность в себе и убеждения намного более твердые, чем истерические выкрики других студенческих лидеров. Он был верным и горячо преданным любому делу, за которое брался, будь оно связано с семьей, работой или движением, однако преданность никогда не лишала его способности вовремя разглядеть, во что превращается его движение. Это восхищало меня в нем, как и его последующий отказ соблюдать революционные мандаты.

На многочисленных демонстрациях, в которых я участвовала, выкрикивая лозунги против вмешательства США во внутреннюю политику Ирана, на митингах протеста, где мы спорили до поздней ночи, думая, что говорим об Иране, хотя на самом деле нас больше беспокоило случившееся в Китае, – на всех этих мероприятиях со мной всегда оставалась мысль о доме. Иран был моим домом, и я могла мгновенно вообразить его; весь мир предстал передо мной сквозь его туманную пелену.

В моем представлении о доме имелись несоответствия и сущностные парадоксы. Был привычный Иран – ностальгический, место, где остались родители, друзья и летние вечера у Каспийского моря. Но не менее реальным был другой, реконструированный Иран, тот, о котором мы говорили на собраниях, когда спорили, чего хотят иранские массы. По мере того, как в семидесятые движение стало более радикальным, массы стали требовать, чтобы мы не подавали алкоголь на праздниках, не танцевали и не ставили «упадническую» музыку: разрешались лишь народные и революционные песни. Они хотели, чтобы девочки стриглись коротко или носили хвостики. Хотели, чтобы мы избавились от буржуазной привычки к учебе.

3

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как мы приземлились в Тегеранском аэропорту. Я стояла перед кабинетом заведующего кафедрой английского языка в Тегеранском университете. У входа я чуть не сбила с ног кудрявого дружелюбного юношу в сером костюме. Позже я узнала, что его тоже только что приняли в штат; он, как и я, недавно вернулся из Америки и был полон энтузиазма и новых идей. Секретарша, производившая впечатление святой невинности, несмотря на свою пышнотелую красоту, улыбнулась мне и просеменила в кабинет заведующего. Через минуту она вернулась и кивком пригласила меня войти. Я вошла, споткнулась о маленький деревянный порожек между двумя дверьми, потеряла равновесие и чуть не шмякнулась об стол заведующего.

Он приветствовал меня растерянной улыбкой и предложил стул. В прошлый раз я была в этом кабинете две недели назад; тогда меня собеседовал другой завкафедрой, высокий приветливый мужчина. Он расспрашивал меня о разных моих родственниках, среди которых были известные писатели и ученые. Я радовалась, что он пытается наладить со мной контакт, но тревожилась, что всю оставшуюся жизнь придется жить в тени своих выдающихся родственников.

Новый завкафедрой, доктор А., вел себя совсем иначе. Он приветливо улыбался, но в улыбке отсутствовала теплота; скорее, она была оценивающей. Он пригласил меня на прием в своем доме в тот же вечер, но держался отстраненно. Мы говорили о литературе, а не о родственниках. Я пыталась объяснить, почему передумала насчет своей диссертации. Видите ли, сказала я, я думала провести сравнительное исследование пролетарской и непролетарской литературы двадцатых и тридцатых годов. Лучшим примером непролетарского автора двадцатых годов оказался Фицджеральд. Завкафедрой согласился, что это очевидный выбор. Но потом у меня возникла сложность с оппонентом Фицджеральда, я не знала, кого выбрать – Стейнбека, Фаррела, Дос Пассоса? Все эти писатели были несколько иного эшелона, чем Фицджеральд, по крайней мере, по части литературного мастерства. А в каких категориях еще сравнивать писателей? Однако потом мне попала в руки книга о настоящем пролетариате, дух которого прекрасно запечатлел Майк Голд. Кто-кто, спросите вы? Майк Голд, редактор популярного радикального литературного журнала «Новые массы». В свое время Голд был важной птицей, хоть в это трудно поверить сейчас. Он первым сформулировал концепцию пролетарского искусства в США. К его словам прислушивались даже писатели ранга Хемингуэя, а сам он называл Хемингуэя «белым воротничком», а Торнтон Уайлдера – «Эмили Пост²⁷ американской культуры».

В конце концов я решила не писать о Фицджеральде. Голд заинтересовал меня гораздо больше, и я задалась вопросом, почему он стал популярнее Фицджеральда – а он стал. В тридцатые годы писателей вроде Фицджеральда вытеснила новая порода авторов, и я хотела понять, почему это произошло. Вдобавок ко всему, я сама была революционеркой, и стало любопытно, какая страсть двигала Майками Голдами этого мира. Вам нужна была страсть, удивился заведующий, и вы бросили Фицджеральда ради этого парня? У нас выдалась интересная дискуссия, и я приняла его приглашение на прием тем вечером.

Прежний завкафедрой – высокий, приветливый, которого я встретила в первый визит, – теперь сидел в тюрьме. Никто не знал, когда его освободят и освободят ли. Многих профессоров из университета выгнали, другие ждали своей очереди. В первые дни революции, когда я, наивная и восторженная, что теперь кажется неуместным, учитывая обстоятельства, начала преподавательскую карьеру на кафедре английского языка факультета персидского языка и зарубежной филологии Тегеранского университета, это было обычным делом. Я была самой

²⁷ Автор знаменитого справочника по этикету.

молоденькой и неопытной преподавательницей. Если бы мне предложили аналогичную позицию в Оксфорде или Гарварде, я бы боялась меньше, но пост показался бы мне менее почетным.

Выражение лица доктора А., которое поприветствовало меня после того, как я споткнулась о порожек в дверях кабинета, за годы встречалось мне еще не раз на лицах самых разных людей. Его лицо выражало удивление и снисходительность. Какое смешное дитя, казалось, думал он; эту девочку нужно наставлять и иногда ставить на место. Позже он стал смотреть на меня иначе – сердито, словно я нарушила условия первоначального контракта и стала непослушным, неуправляемым ребенком, на которого не было управы.

4

Все мои воспоминания тех лет связаны с Тегеранским университетом. Он был пупом, недвижимым центром оси, к которой привязывались все политические и общественные события. В Америке, когда мы читали или слушали о беспорядках в Иране, казалось, все самые важные сцены разыгрывались именно в Тегеранском университете. Все политические группировки использовали его как арену для своих высказываний.

Поэтому неудивительно, что новое исламское правительство избрало университет местом проведения еженедельных пятничных молитв. Важность этого постановления стала особенно очевидна ввиду того, что всегда, даже после революции, студенты-мусульмане, особенно более фанатичного толка, являлись меньшинством, теснимым левыми и светскими студенческими группировками. Своими действиями исламская фракция объявила победу над другими политическими группами: подобно победоносной армии, она расположилась в самом священном месте оккупированной земли, в сердце покоренной территории. Раз в неделю кто-нибудь из самых известных представителей духовенства поднимался на кафедру и обращался к тысячам мусульман, собравшимся на территории университета – мужчины стояли с одной стороны, женщины с другой. Священник держал в руках автомат и читал недельную проповедь о самых насущных политических вопросах сегодняшнего дня. Но казалось, сама земля под ним противилась такому вторжению.

В те дни я чувствовала, что между разными политическими группировками идет дележ территории и эта борьба разворачивается главным образом в университете. Тогда я еще не знала, что меня ждет моя собственная битва. Оглядываясь на то время, я рада, что не осознавала тогда свою особенную уязвимость: я, со своей маленькой коллекцией книжечек, была посланницей несуществующей страны; я, со своими мечтами, явилась вернуть эту землю себе и назвать ее домом. Среди разговоров о предательстве и правительственных перестановках, о событиях, которые сейчас перемешались в моей памяти и потерялись во времени, я при любой возможности сидела с разбросанными вокруг книжками и конспектами и пыталась составить планы уроков. В первом семестре я вела семинар для очень большого потока студентов; он назывался «Литературные исследования», изучали мы «Приключения Гекльберри Финна» и проводили общий обзор художественной литературы двадцатого века.

Я пыталась отдавать справедливую дань политическим темам. Вместе с «Великим Гэтсби» и «Прощай, оружие» преподавала произведения Максима Горького и Майка Голда. Все дни я проводила в книжных магазинах, выстроившихся в ряд на улице напротив университета. На этой улице – сейчас она называется бульвар Революции – находились все главные книжные магазины и издательства Тегерана. Было так приятно переходить от одного к другому и наткаться на внезапные жемчужины, порекомендованные продавцом или кем-то из покупателей, или с удивлением обнаруживать, что кто-то знает малоизвестного английского писателя Генри Грина²⁸.

В разгар судорожных приготовлений к занятиям меня вызывали в университет по вопросам, не относящимся к семинарам и книгам. Почти каждую неделю, а бывало, и каждый день у нас проводились демонстрации или собрания, и нас тянуло к ним, как магнитом, хотели мы этого или нет.

Одно воспоминание подкрадывается беспричинно и предательски, дразняще витая в памяти. С чашкой кофе в одной руке и блокнотом и ручкой в другой я стояла, готовясь выйти

²⁸ Генри Грин (1905–1973) – интересная фигура в литературном мире: действительно малоизвестный британский писатель, автор десяти романов, которого современники, тем не менее, называли «лучшим английским романистом»; его ценили именно в литературной среде, считая гением литературной прозы. Писал о жизни рабочего класса, в том числе во время и после Второй мировой войны.

на балкон и там поработать над программой занятий. Зазвонил телефон. Я услышала взволнованный тревожный голос подруги. Она спрашивала, слышала ли я, что умер аятолла Талегани, очень популярный и противоречивый священнослужитель, один из ключевых фигур Исламской революции. Он был относительно молодым радикалом, и уже ходили слухи, что его убили. Организовали траурное шествие, начинавшееся от Тегеранского университета.

Не помню, сколько времени прошло от звонка до моего приезда ко входу в университет – наверно, около часа. На подъезде была пробка. Мы с Биджаном вышли из такси в районе университета и пошли пешком. По какой-то причине через некоторое время, словно подталкиваемые невидимой силой, мы перешли на бег. Огромная толпа скорбящих заблокировала улицы, ведущие к университету. Рассказывали, что между муджахидинами²⁹ – религиозными радикалами, объявившими себя духовными и политическими наследниками Талегани, – и сторонниками «партии Аллаха», Хезболлы, состоящей из фанатиков и членов «комитетов бдительности», вознамерившихся установить на Земле закон Божий, разразилась драка. Дрались за честь нести тело Талегани. Многие плакали, били себя в грудь и по голове и кричали: «Сегодня день скорби! Сегодня Талегани отправился в рай».

В течение последующих двух десятилетий подобные возгласы звучали еще не раз, свидетельствуя о том, что смерть следовала за отцами революции по пятам. На похоронах Талегани я впервые испытала отчаянное, оргиастическое удовольствие от данной разновидности публичной скорби: похоронные шествия были редкой возможностью открыто толкаться, касаться друг друга, делиться эмоциями, не сдерживаясь и не чувствуя вину. Воздух был пропитан диким, почти сексуальным возбуждением. Позже, увидев лозунг Хомейни, гласивший, что Исламская республика зиждется на похоронных церемониях, я готова была подтвердить, что это правда.

В тот день мне встретилось много людей, которые появлялись и исчезали, как персонажи мультфильма. Там ли я увидела Фариде? Она принадлежала к крайне радикальной левой группировке – нас познакомил брат, знакомый с ее товарищами, он думал, она поможет мне освоиться в Тегеране. Она мелькнула перед моими глазами на долю секунды, как всегда, занятая делом, готовая атаковать кого-то или что-то; я увидела ее и тут же потеряла из виду.

Я стояла в центре водоворота, стараясь высмотреть знакомое лицо. На демонстрациях я всегда теряла тех, кто со мной пришел, и вот сейчас потеряла мужа и стала его искать. Толпа напирала. Эхо голосов, казалось, лилось из всех динамиков. Плакаты с изображением Талегани, как грибы, вырастали повсюду: они были на стенах, дверях, в витринах книжных магазинов, даже на деревьях. Широкая улица перед университетом сужалась и расширялась, подстраиваясь под наши движения, и я долго шла, тупо раскачиваясь в ритме толпы. Потом остановилась у дерева, стала бить в него кулаками и плакать, плакать так горько, будто умер мой самый близкий человек и я осталась совсем одна в большом и страшном мире.

²⁹ От араб. «воин»; другое название моджахед.

5

В сентябре 1979 года, перед началом нового семестра я только и занималась тем, что охотилась на книги из своей программы. Однажды в книжном я листала имеющиеся издания «Великого Гэтсби» и «Прощай, оружие»; ко мне подошел хозяин. «Если вам нужны эти книги, советую купить их сейчас», – сказал он, печально качая головой. Я с сочувствием взглянула на него и самоуверенно произнесла: «Спрос на эти книги слишком велик. Едва ли они смогут что-то с этим поделать – вы так не думаете?»

Но он оказался прав. Через несколько месяцев романы Фицджеральда и Хемингуэя стало очень трудно найти. Правительство было не в силах изъять все книги из магазинов, но постепенно закрыло ряд самых крупных магазинов литературы на иностранных языках и запретило распространение зарубежных книг в Иране.

Вечером накануне первого занятия я очень нервничала, как ребенок в первый школьный день. Я с особым тщанием выбрала одежду и просмотрела свою скромную коллекцию книг. Большинство я оставила в Америке у своей золовки; там же осталось мое антикварное зеркало, отцовский подарок. Я думала, что заберу их потом, не подозревая, что вернусь в США только через одиннадцать лет; за это время золовка раздала почти все мои книги.

В тот первый день я пошла в университет, вооружившись старым томиком «Великого Гэтсби», служившим мне верой и правдой. Он уже поизносился: чем сильнее я дорожила книгой, тем более потрепанной и обветшалой та выглядела. «Приключения Гекльберри Финна» еще можно было найти в магазинах, и я в предвкушении купила новое издание. А подумав, приобрела еще и «Аду» – в программу та не входила, я взяла ее на всякий случай.

Тегеранский университет построили в 1930-е годы, в период правления Реза-шаха. В главных корпусах были очень высокие потолки, подпираемые массивными цементными колоннами. Зимой от колонн всегда немного веяло холодом, а летом – сыростью. Память придала им исполинские пропорции, хотя на самом деле они наверняка не были такими большими. Странная атмосфера у этих громадных зданий тридцатых годов: их создавали для толп, отдельный человек никогда не чувствовал себя там уютно.

По пути на кафедру английского языка я рассеянно отметила, что у основания широкой лестницы разместились несколько стендов. На длинных столах – их было больше десяти – была разложена литература различных революционных группировок. Вокруг столов кучковались студенты, разговаривали, иногда ссорились, готовые в любой момент броситься отстаивать свою территорию. Воздух пропитался ощущением угрозы, хотя никто тут не был никому врагом.

То были судьбоносные для иранской истории дни. Разыгрывалась многоуровневая битва за облик новой конституции и дух нового режима. Большинство граждан, в том числе высокопоставленные представители духовенства, выступали за светскую конституцию. Фракции светского и религиозного толка объединялись во влиятельные оппозиционные группировки, выступавшие против авторитарных тенденций правящей элиты. Сильнейшей оппозиционной группой была Республиканская партия мусульманского народа аятоллы Шариатмадари; она состояла из прогрессивных светских граждан, находившихся на передовой борьбы за неприкосновенность демократических прав, в том числе прав женщин и свободу прессы. В то время партия пользовалась огромной популярностью: в двенадцатую годовщину смерти героя-националиста Моссадега³⁰ в деревню Ахмад-Абад, где он был похоронен, съехалось около миллиона человек. Они выступали в поддержку законодательной ассамблеи. Закрытие самой

³⁰ В русском еще распространено написание Моссадык; Моссадег – фонетическая транскрипция.

популярной и прогрессивной газеты – «Аяндеган»³¹ – привело к ряду крупных демонстраций с применением насилия; демонстрантов атаковали «комитеты бдительности», выступающие при поддержке правительства. В те дни на наших улицах часто можно было увидеть головорезов на мотоциклах с черными флагами и растяжками; иногда процессию возглавлял кто-то из духовенства на бронированном «мерседес-бенце». Несмотря на эти тревожные звоночки, Коммунистическая партия Ирана – «Туде» – и марксистская Организация партизан-фидайинов – «Федаин э-Халк» – поддерживали радикальных реакционеров в борьбе с так называемыми «либералами» и продолжали давить на премьер-министра Базаргана, которого подозревали в проамериканских настроениях.

Оппозиция встретила жестокий насильственный отпор. «Мы, „носящие деревянные башмаки и тюрбаны“³², дали вам шанс», – предупредил Хомейни. «После каждой революции случаются публичные казни и сожжения тысяч коррумпированных элементов; на этом их история заканчивается. Им не разрешают публиковать газеты». Приводя в пример Октябрьскую революцию и напоминая, что пресса по-прежнему находится под контролем государства, он продолжал: «Мы запретим все партии, кроме одной или нескольких – тех, кто будет вести себя, как подобает... Люди ошибаются. Мы думали, что имеем дело с людьми. Теперь очевидно, что это не так. Мы имеем дело с дикими животными. Больше мы их терпеть не станем».

Пересказывая события этих лет, я поражаюсь, как сосредоточена тогда была на работе. О том, как примут меня студенты, я тревожилась не меньше, чем из-за политических волнений.

Мое первое занятие состоялось в длинной аудитории с окнами, тянувшимися вдоль одной стены. Когда я вошла, там яблоку было негде упасть, но заняв свое место за столом, я перестала нервничать. Студенты вели себя необычайно тихо. В руках я держала тяжелую стопку книг и ксерокопий для занятий – эклектичную смесь революционных писателей, чьи произведения были переведены на персидский, и «элитистов» – Фицджеральда, Фолкнера, Вулф.

Занятие прошло успешно, и дальше преподавать стало легко. Наивная идеалистка, я была полна энтузиазма и влюблена в книги. Студенты проявляли любопытство ко мне и доктору К., кудрявому молодому преподавателю, которого я встретила у кабинета доктора А. Для них мы были странным новым пополнением преподавательского состава в эпоху, когда большинство студентов из кожи вон лезли, чтобы изгнать своих профессоров – все они были «антиреволюционно настроенными», а это могло означать что угодно, от сотрудничества с прежним режимом до привычки сквернословить в аудитории.

В тот первый день я спросила студентов, каким целям, по их мнению, служит художественная литература и зачем вообще нужно читать. Станный способ начать обучение, но мне удалось привлечь их внимание. Я объяснила, что в этом семестре мы будем читать и обсуждать множество разных авторов, но у всех них есть одна общая черта – они ниспровергают устои. Некоторые – Горький или Голд – делают это открыто и вслух заявляют о своих политических целях; у других – Фицджеральда и Марка Твена – противоборство хоть и не лежит на поверхности, но присутствует, пожалуй, даже в большей степени. Я сказала, что мы еще не раз будем возвращаться к этому понятию – «ниспровержение устоев» – потому что мое понимание его отличалось от общепринятого определения. Я написала на доске одну из своих любимых цитат немецкого философа Теодора Адорно: «Высшая форма морали – даже в моменты полной уверенности в своей правоте не переставать сомневаться». Я объяснила, что большинство великих произведений, созданных человеческим воображением, призваны заставить читателя чувствовать себя чужим в его собственном доме. Хорошая литература всегда заставляет нас сомневаться во всем, что мы принимаем как должное. Она ставит под сомнение традиции и

³¹ «Люди будущего» (перс.).

³² Здесь Хомейни ссылается на некое презрительное наименование иранской бедноты со стороны оппозиции, так как именно бедные в Иране носили деревянные башмаки.

ожидания, когда те становятся слишком заостренными. Я попросила учеников читать произведения и думать о том, что именно их задевает, вызывает легкий дискомфорт, заставляет оглядеться вокруг и взглянуть на мир другими глазами, как Алиса в Стране чудес.

В то время главным отличием студентов друг от друга были их политические взгляды. То же касалось преподавателей. Постепенно я выучила их имена и научилась распознавать, кто с кем, кто против кого, кто принадлежит к какой группе. Сейчас их лица всплывают передо мной из бездны, и мне становится почти страшно; они как призраки мертвых, вернувшиеся к жизни, чтобы завершить незаконченную миссию.

Вот в среднем ряду сидит Бахри, тербит карандаш, опускает голову и что-то пишет. Записывает ли он за мной или только притворяется? Иногда он поднимает голову и смотрит на меня, словно пытаясь расшифровать головоломку; потом снова наклоняет голову и продолжает писать.

Во втором ряду у окна сидит юноша, чье лицо я хорошо помню. Он сложил руки на груди и слушает с непокорным видом, внемлет каждому слову, но не потому, что хочет или должен научиться, а потому что по своим причинам решил не пропускать ни слова из моих лекций. Я буду звать его Ниязи.

Студенты с самыми радикальными взглядами сидят в задних рядах; на их губах сардонические ухмылки. Одно лицо я помню особенно хорошо: лицо Махтаб. Она сидит неуклюже и зажато, смотрит прямо перед собой на доску, явно смущаясь тех, кто сидит справа и слева. Кожа у нее темная, а лицо простоватое; она не вполне еще избавилась от детского жирка, в глазах печаль и безнадежность. Позже я узнала, что она родом из Абадана, городка нефтяников на юге Ирана.

И, конечно, нельзя не вспомнить Заррин и ее подругу Виду. Они привлекли мое внимание в самый первый день, потому что разительно отличались от остальных; казалось, им совсем не место в этой аудитории или в этом университете, раз на то пошло. Они не попадали ни в одну категорию – в то время наши студенты четко на них делились. Левых можно было узнать по усам, прикрывающим верхнюю губу; это отличало их от мусульман, выбривавших между усами и верхней губой четкую линию. Некоторые мусульмане также отращивали бороды или хотя бы щетину. Студентки левого толка носили одежду цвета хаки или бутылочно-зеленого – просторные свободные блузы поверх широких штанов; мусульманские девушки ходили в платках или чадрах. Между этими двумя недвижимыми реками находились аполитичные студенты; их всех автоматически заносили в монархисты. Но даже истинные монархисты не выделялись так, как Заррин и Вида.

У Заррин была светлая тонкая кожа, глаза цвета жидкого меда и светло-каштановые волосы, которые она убирала за уши. Они с Видой сидели в первом ряду справа, у самой двери. Обе всегда улыбались. Было что-то неприличное в том, с каким идилическим и безмятежным видом они там сидели. Даже я, отрекшаяся от всех своих революционных чаяний, поражалась их спокойствию.

Вида выглядела серьезнее и больше напоминала типичную студентку, сосредоточенную на учебе; с Заррин всегда существовала опасность, что она утратит контроль и отклонится от намеченного курса. В отличие от многих других, они не принимались агрессивно отстаивать свою аполитичность и, казалось, не испытывали необходимости оправдываться. В те времена студенты отменяли занятия при любой возможности. Почти каждый день у них были дебаты, мероприятия, и посреди всей этой бурной деятельности Заррин и Вида не пропускали ни одной лекции – причем явно потому что не хотели пропускать, не из-за чувства долга. Они всегда выглядели свежо, опрятно и безукоризненно.

Помню, однажды мои студенты из крайне левой группировки отменили занятия в знак протеста против недавнего убийства трех революционеров. Я спускалась по лестнице, а они меня нагнали. На предыдущей лекции я заметила, что, возможно, некоторые книги из задан-

ных по программе будет трудно найти. Студенты рассказали, что в Тегеране есть книжный магазин, где остался самый большой запас английских книг и в том числе несколько экземпляров «Великого Гэтсби» и «Герцога»³³.

«Гэтсби» они уже прочитали. А другие книги Фицджеральда – похожи ли они на этот роман? Продолжая обсуждать Фицджеральда, мы спустились по широкой лестнице и прошли мимо столиков, где продавали политические брошюры. У стены, увешанной газетами, собралась довольно большая толпа. Мы вышли на горячий асфальт и сели на скамейку у ручья, бегущего по территории университета; мы болтали, как дети, угощающие друг друга ворованной вишней. Я чувствовала себя очень юной, мы разговаривали и смеялись. Потом разошлись каждый своей дорогой. Это был единственный случай нашего близкого общения.

³³ Один из самых известных романов Сола Беллоу (1964).

6

«Судить преступников нельзя. Суд над преступником – нарушение прав человека. Права человека требуют, чтобы преступников убивали сразу же, как только выяснится, что они преступники», – заявил аятолла Хомейни в ответ на протесты международных организаций по защите прав человека, осудивших последовавшую за революцией волну казней. «Они критикуют нас за то, что мы казним животных». Радостное чувство ликования и свободы, последовавшее за свержением шаха, вскоре уступило дурным предчувствиям и страхам; режим продолжал казнить и убивать «антиреволюционеров»; установилась новая система правопорядка из «комитетов бдительности» – самопальных группировок воинственно настроенных граждан, терроризирующих улицы.

Имя: Омид Гариб

Пол: мужской

Дата ареста: 9 июня 1980

Место ареста: Тегеран

Место заключения: тюрьма Каср, Тегеран

Обвинения: прозападные взгляды, прозападное воспитание; слишком долго учился в Европе; курит сигареты «Винстон»; демонстрирует крайне левые взгляды.

Приговор: три года тюремного заключения; смертная казнь.

Информация о суде: суд проходил за закрытыми дверями. Арестован после перехвата властями письма, отправленного другу во Францию. В 1980 году приговорен к трем годам тюремного заключения. 2 февраля 1982 года, в период отбывания Гарибом тюремного срока, родители узнали, что его казнили. Обстоятельства казни остаются невыясненными.

Дополнительная информация:

Дата казни: 31 января 1982

Место казни: Тегеран

Источник: бюллетень «Амнести интернэшнл» от июля 1982, том XII, номер 7.

В те дни все мы были прохожими на людных улицах метрополиса, шагали, зарывшись лицами в воротники, занятые своими личными проблемами. Я ощущала определенную дистанцию между собой и студентами. Когда в Штатах мы кричали «смерть тому-то и тому-то», это пожелание смерти казалось символическим, абстрактным, будто бы невозможность претворения в жизнь этих лозунгов побуждала нас еще сильнее на них настаивать. Но в Тегеране 1979-го эти лозунги осуществлялись со зловещей точностью. Я чувствовала себя беспомощной: мечты и лозунги оживали, и спасения от них не было.

К середине октября, почти через три недели после начала занятий, я начала привыкать к нерегулярному ритму своих университетских будней. Редко выдавался день, когда наш рутинный распорядок не прерывался чьей-нибудь смертью или заказным убийством. Митинги и демонстрации устраивались в университете постоянно по разным причинам; почти каждую неделю студенты бойкотировали или отменяли занятия под малейшим предлогом. Я знала лишь один способ сохранить гармонию и ритм в своей жизни – читать книги и планировать уроки по сбившейся программе; впрочем, несмотря на беспорядки, мои занятия проходили относительно регулярно, и большинство студентов на них присутствовали.

В один теплый октябрьский день я пыталась протиснуться сквозь толпу, образовавшуюся у входа в наш корпус. Толпу собрала вокруг себя известная профессорша левых взглядов с

кафедры истории. Повинуясь импульсу, я остановилась ее послушать. Не помню всего, о чем она говорила, но некоторые ее слова отложились на задворках ума и до сих пор надежно там хранятся. Она говорила, что ради независимости готова носить чадру. Она наденет чадру в знак противостояния американским империалистам; так она им покажет... Покажет *что*?

Я поспешно поднялась по лестнице в комнату для совещаний кафедры английского, где у меня была назначена встреча со студентом – с Бахри. Отношения у нас были сугубо официальные; я так привыкла называть его по фамилии и думать о нем как о Бахри, что даже забыла его имя. Как бы то ни было, сейчас это неважно. А важно, наверное, – потому что иносказательно это характеризовало его лучше – что у него было светлая кожа и темные волосы; казалось, что он упрямо молчит, даже когда разговаривал, и с губ его не сходила кривая усмешка. Эта усмешка окрашивала все его слова и создавала впечатление, будто то, о чем он умалчивает, все, что нагло скрывает от своих слушателей, решив не сообщать им об этом, ставит его в положение превосходства.

Бахри написал одну из лучших студенческих работ по «Гекльберри Финну», которую мне когда-либо доводилось читать, и с того самого дня и до конца моей работы в Тегеранском университете он словно всегда находился рядом или на шаг позади во время всех наших ожесточенных дискуссий. Он в буквальном смысле стал моей тенью, и я постоянно ощущала на себе груз его насмешливого молчания.

Он пришел сообщить, что ему нравились мои занятия и «они» одобряли мои методы преподавания. Правда, я задала слишком много читать по программе, и поначалу из-за этого студенты думали бойкотировать мои лекции, но потом проголосовали против бойкота. Бахри пришел попросить меня – а, возможно, и проинструктировать – включать в программу больше революционного материала, изучать больше произведений революционных авторов. Последовала оживленная дискуссия о значении слов *литература*, *радикальный*, *буржуазный* и *революционный*; помню, спорили мы крайне эмоционально и горячо, хоть и далеко не продвинулись в простом вопросе определений. На протяжении всего этого довольно бурного обсуждения мы стояли в торце длинного стола, по обе стороны которого тянулись ряды пустых стульев.

В конце нашего разговора я вошла в такой раж, что протянула ему руку в знак расположения и дружбы. Но он молча и демонстративно спрятал обе руки за спину, отрицая, казалось, саму возможность рукопожатия. Меня это поразило; я не привыкла к новым революционным порядкам и не поняла этот жест. Позже я рассказала о случившемся коллеге, и тот с насмешливой улыбкой напомнил, что ни один мусульманин никогда не будет и не должен прикасаться к *намахрамам* – женщинам, которые не приходятся ему женой, сестрой или матерью. «Вы правда этого не знали?» – спросил он, изумленно повернувшись ко мне.

Мой опыт жизни в Иране, особенно опыт преподавания, очень хорошо характеризуется ощущением этого несостоявшегося рукопожатия, той первой попытки сблизиться и нашим наивным и эмоциональным разговором. Я до сих пор вижу перед собой кривую усмешку Бахри, ясную, но непроницаемую, а комната, стены, стулья и длинный переговорный стол в этих воспоминаниях покрылись многими слоями того, что в художественной литературе обычно называется пылью.

7

Первые несколько недель занятий перемежались многочисленными собраниями. Собрания кафедры, собрания преподавательского состава, встречи со студентами; собрания в поддержку женщин, рабочих, активистов из курдского и туркменского движения меньшинств. В те дни я подружилась и нашла союзников в лице завкафедрой, моей прекрасной коллеги радикалки Фариде и других преподавателей с факультета психологии, немецкого языка и лингвистики. Мы ходили в наш любимый ресторан рядом с университетом, обедали, делились последними новостями, рассказывали анекдоты. Наша беспечность уже тогда казалась неуместной, но мы продолжали надеяться.

На этих обедах мы часто шутили над одним нашим коллегой; иногда и он сам включался в эти шутки. Он переживал, что потеряет работу: студенты-мусульмане пригрозили выгнать его за привычку сквернословить на лекциях. Правда в том, что этот человек очень любил жаловаться на жизнь. Он недавно развелся с женой, и теперь ему приходилось содержать ее, свой дом и бассейн. Об этом бассейне он нам все уши прожужжал. Он почему-то сравнивал себя с Гэтсби, причем весьма не к месту, и называл себя «маленьким великим Гэтсби». Как по мне так единственным сходством между этими двумя был бассейн. Все великие произведения художественной литературы он воспринимал через свое тщеславие. Потом я узнала, что его так и не уволили; в Тегеранском университете он пережил нас всех, развив со временем нетерпимость к способным студентам. Я узнала об этом годами позже, когда двое таких студентов – Нима и Манна – заплатились за несогласие с его взглядами. Насколько мне известно, он преподает до сих пор и год за годом проходит со студентами одну и ту же программу. Ничего не изменилось, за исключением того, что он женился снова и его новая жена гораздо моложе бывшей.

Помимо обедов мы ходили в Тегеранский киноклуб, который тогда еще не закрыли, и смотрели фильмы Мела Брукса и Антониони. Мы посещали выставки и верили, что сторонники Хомейни не добьются успеха, что война еще не окончена. Доктор А. повел нас на выставку архивных фотографий с протестов и демонстраций периода шахского правления. Он шел впереди, показывал различные фото с первого года протестов и говорил: «Сколько мулл вы видите в рядах демонстрантов? Сколько этих с...ных детей были тогда на улицах и выкрикивали лозунги в поддержку Исламской Республики?» Тем временем революционеры захватывали землю и заказывали убийства, порой привлекая для этого подрывников-камикадзе – совершенно новая методика. Секуляристов и либералов постепенно вытесняли, а риторика аятоллы Хомейни, нацеленная против «Великого Сатаны» и его внутренних агентов, с каждым днем обретала все большую популярность.

Поразительно, что человек ко всему привыкает. Казалось, я перестала замечать свойство повседневности лихорадочно и неожиданно меняться, как и отсутствие всякой стабильности. Спустя некоторое время даже революция стала рутинной: насилие, казни, публичные признания в преступлениях, которые обвиняемые не совершали, судьи, спокойно рассуждавшие о том, стоит ли ампутировать вору руку или ноги или казнить политзаключенных, потому что в данный момент камеры переполнены. Однажды я сидела и смотрела телевизор, замороженная диалогом между матерью и сыном. Сын принадлежал к одной из марксистских организаций. Мать говорила ему, что он заслуживает смерти, так как предал революцию и свою веру; он с ней соглашался. Они сидели на пустой сцене, где стояли только два стула; сидели напротив друг друга и разговаривали спокойно, словно обсуждая приготовления к скорой свадьбе сына. Но на самом деле они спокойно соглашались, что его преступления были чудовищными, а потому готовность принять смерть была единственным способом их искупить и спасти честь семьи.

По утрам, зажав под мышкой «Приключения Гекльберри Финна», я шла по широким зеленым улицам, ведущим к университету. С приближением к кампусу на стенах появлялись

лозунги и агрессивность их требований нарастала. Никто никогда не высказывался против убийств; требовали как раз обратного – больше крови. Я, как и другие, занималась своими делами. Лишь по вечерам мое растущее отчаяние, мои кошмары свободно изливались на страницы дневника.

Просматривая его сейчас – я писала в блокноте с черной пластиковой обложкой чернилами разных цветов – я вижу разочарование, которое никогда не пробивалось на поверхность моей жизни. В этом дневнике я фиксировала смерти, о которых мы редко говорили, хотя они занимали все эфирное время на телевидении и все полосы газет.

Однажды вечером дома я пошла на кухню за стаканом воды и увидела на телеэкране лицо бывшего главы кошмарного Министерства национальной безопасности и информации – лицо избитое, все в синяках. Этот генерал прославился своей жестокостью. Он был одним из группы чиновников, подставившей моего отца и посадившей его в тюрьму. Должно быть, по телевизору транслировали кадры его признания – министра давно не было в живых, его убили несколько месяцев назад. До сих пор помню, как часто мать проклинала этого генерала и его союзников-заговорщиков, когда отец сидел в тюрьме. И вот он сидел передо мной на телеэкране, в гражданском, и умолял своих судей о прощении, однако глубина их суровой безжалостности была ему неведома. В лице его не осталось ничего человеческого. Его словно вынудили отречься от своего прежнего «я», и в процессе он отрекся и от своего места в человеческом сообществе. Я отчего-то ощутила с ним связь, словно его полный отказ от достоинства унижал также и меня. Сколько раз я мечтала отомстить этому человеку? Неужели так и сбываются мечты?

После череды казней правительственные ежедневные газеты напечатали его фотографии и фото нескольких других чиновников. Их также опубликовали на страницах дешевой бульварной газетенки из желтоватой бумаги, которую продавали уличные торговцы вместе с другими брошюрками, рассказывающими о секретах здоровья и красоты. Я купила один из этих ядовитых листков – хотела запомнить все. Лица этих людей, несмотря на ужас, пережитый в последние минуты, в смерти были вынуждены стать спокойно-безразличными. Но сколько же беспомощности и отчаяния вызывали в нас, выживших, эти страшно спокойные лица.

В последующие месяцы и годы мы с Биджаном иногда вздрагивали от шока, случайно увидев по американскому телевидению показательные суды над нашими бывшими товарищами. Те охотно отрекались от прошлых действий, старых друзей, от своего старого «я» и признавались, что на самом деле являются врагами ислама. Мы смотрели на это молча. Биджан был спокойнее меня и редко проявлял какие-либо эмоции. Он сидел на диване, не сводя глаз с экрана; ни один его мускул не шевелился, а я постоянно ерзала, то вставала принести стакан воды, то пересаживалась. Я чувствовала, что мне нужно за что-то держаться, и крепче впиалась в подлокотники кресла. Поворачиваясь и глядя на Биджана, я видела на его лице безмятежность, и порой во мне поднимался вихрь негодования. Как он может быть таким сдержанным? Однажды я поднялась и села на пол у дивана. Кажется, никогда еще я не чувствовала себя настолько одинокой. Через несколько минут он положил мне руку на плечо.

Я обернулась и спросила: Биджан, мог ли ты предположить, что это с нами произойдет? Нет, ответил он, но я должен был догадаться, что все так и будет. После того, как все мы приложили руку к созданию этого хаоса, у Исламской Республики еще был шанс не случиться. И в каком-то смысле он был прав. Между отъездом шаха 16 января 1979 года и возвращением Хомейни в Иран 1 февраля было очень маленькое окошко, когда премьер-министром стал лидер националистов доктор Шапур Бахтияр. Из всех оппозиционных лидеров того времени Бахтияр был, пожалуй, самым демократически настроенным и дальновидным; но те не встали на его сторону, а выступили против него и объединились с Хомейни. Бахтияр первым делом распустил тайную полицию Ирана и выпустил политзаключенных. Отвергнув Бахтияра и заменив правление династии Пехлеви гораздо более реакционным и деспотическим режи-

мом, иранский народ и интеллектуальные элиты, мягко говоря, серьезно ошиблись в суждениях. Помню, в то время Биджан один поддерживал Бахтияра, а другие, включая меня саму, лишь требовали разрушения всего прежнего, не слишком задумываясь о последствиях.

Однажды, открыв утреннюю газету, я увидела фотографии Али, Фарамарза и других друзей из студенческого движения. Я сразу поняла, что их казнили. Снимки были не посмертные, как у тех генералов. Это были старые фотографии на паспорт и студенческий билет. На этих предательски невинных снимках мои друзья улыбались, застенчиво позируя перед камерой. Я вырвала страницы и несколько месяцев прятала их в шкафу; набивала ими обувь, но доставала почти каждый день, чтобы снова взглянуть на эти лица, которые в последний раз видела в другой стране, теперь являвшейся мне только во снах.

8

После нашей встречи Бахри, который поначалу вел себя сдержанно и не хотел высказываться в классе, начал отвечать на занятиях, причем довольно рассудительно. Говорил он медленно, будто обдумывая сказанное и одновременно выражая мысль, и делал паузы между словами и предложениями. Иногда он напоминал мне ребенка, только что научившегося ходить; он прощупывал почву и обнаруживал в себе скрытый потенциал. В то же время он начал все больше интересоваться политикой. Он стал активистом Мусульманской студенческой ассоциации – группы, которую поддерживало правительство; я все чаще встречала его в коридорах, где он с кем-то увлеченно спорил. Его жесты стали нетерпеливыми, глаза пылали целеустремленностью и решимостью.

Узнав его ближе, я заметила, что он не так высокомерен, как мне казалось. А может, я просто привыкла к этому специфическому высокомерию – надменности робкого и сдержанного от природы юноши, нашедшего для себя абсолютистское убежище – ислам. Заносчивым его делало упорство и убежденность новообращенного. Он мог вести себя очень мягко, а во время разговора никогда не смотрел собеседнику в глаза – не только потому что мусульманину нельзя смотреть женщине в глаза, но и в силу своей застенчивости. Эта смесь надменности и робости пробуждала во мне любопытство.

Беседа, мы всегда будто оставались наедине. Мы почти никогда не соглашались друг с другом и чувствовали необходимость спорить о наших различиях и убеждать друг друга в правильности наших позиций. Когда у меня заканчивались веские аргументы, он чувствовал себя сильнее; потом медленно и незаметно мы менялись ролями. Он не был агитатором, не произносил красивые пылкие речи, но упорно, с терпением и преданностью делу шел вверх. Когда меня уволили из университета, он стал главой Мусульманской студенческой ассоциации.

Когда студенты-радикалы начали отменять занятия, он оказался в числе немногих, кто продолжал ходить на лекции, хоть и с очевидным неодобрением. На этих «отмененных» парах мы обычно обсуждали различные события, происходившие в университете, или политические события дня. Бахри осторожно пытался разъяснить мне суть политического ислама, а я возражала ему, ведь я отвергала ислам как политическую силу. Я рассказала ему о своей бабке; та была самой набожной мусульманкой из всех, кого я знала, – даже вы не настолько набожны, Бахри, сказала я, – и все равно не лезла в политику. Ей не нравилось, что чадра, являвшаяся для нее символом священных отношений с Богом, стала инструментом власти и превратила женщин, носящих ее, в политические знаки и символы. Я спросила: кому вы больше преданы, Бахри, – исламу или государству?

Бахри мне по-прежнему нравился, однако я взяла в привычку винить его во всем, что шло не так, и вешать на него ответственность. Хемингуэя он не понимал, к Фицджеральду испытывал двойственные чувства, Твена любил и считал, что и у нас должен быть похожий национальный писатель. Я любила Твена и восхищалась им, но считала, что все писатели «национальные», и вообще, нет такого понятия – национальный писатель.

9

Не помню, что я делала и где была в то воскресенье, когда услышала, что неорганизованная студенческая группировка захватила американское посольство. Странно, но единственное, что я помню о том дне – что было солнечно и тепло; смысл новостей дошел до меня лишь на следующий день, когда сын Хомейни Ахмад сказал, что его отец поддерживает студентов, и сделал дерзкое заявление. «Если они не выдадут нам преступников», – сказал он, имея в виду шаха и Бахтияра, – «мы сделаем то, что должны». Два дня спустя, 6 ноября, подал в отставку премьер-министр Базарган, и так подвергавшийся бесконечным нападкам бескомпромиссных религиозных лидеров и левых, называвших его либералом и прозападником.

Вскоре на стенах посольства появились новые лозунги: «Америка бессильна!», «Это не борьба США и Ирана – это борьба ислама и безбожия!», «Чем больше наших умрет, тем мы сильнее». На тротуаре воздвигли шатер, откуда раздавались пропагандистские речи против Америки, разоблачались преступления США по всему миру и заявлялось о необходимости экспорта революции. В университете царили настроения одновременно радостные и настороженные. Некоторые из моих студентов, в том числе Бахри и Ниязи, пропали и предположительно находились на передовой нового сражения. На смену обычным урокам пришли напряженные дискуссии и взволнованные шепотки.

Религиозные и левые организации, особенно «Муджахидин» и марксистская «Федаин», поддерживали захват заложников. Помню разгоряченный спор, когда один из моих студентов – другие высмеивали его как либерала – повторял: какой смысл брать их в заложники? Разве мы их уже не выгнали? Другой студент нелогично рассудил в ответ: нет, еще не выгнали; американское влияние повсюду. Мы не освободимся от них, пока не закроют «Голос Америки».

К тому времени никто уже не называл американское посольство американским посольством – оно стало «логовом шпионажа». Когда таксисты спрашивали, куда ехать, мы отвечали: в логово шпионажа, пожалуйста³⁴. Людей из провинций и деревень привозили целыми автобусами; часто они даже не знали, где находится Америка, иногда считали, что их в Америку и везут. Им давали деньги и еду, чтобы они сидели перед логовом шпионажа, веселились и устраивали пикники с семьями, а время от времени вставляли, изображая демонстрацию, выкрикивали «Смерть Америке» и сжигали американский флаг.

Вот трое мужчин сидят полукругом и оживленно переговариваются; чуть поодаль сидят две женщины в черных чадрах, рядом возятся трое-четверо маленьких детей. Женщины делают бутерброды и относят их мужчинам. Что это – фестиваль? Пикник? Исламский «Вудсток»? Подойдите к этой компании чуть ближе и услышите их разговоры. Судя по говору, они из провинции Исфахан. Один, мол, слышал, что американцы тысячами обращаются в мусульманство, а Джимми Картер напуган до смерти. Правильно, пусть боится, отвечает второй и откусывает бутерброд. Слышал, американские полицейские конфискуют портреты имама Хомейни. Правда соседствует с диким вымыслом; ходят слухи, что прежние западные союзники дурно обращаются с шахом и грядет исламская революция в Америке. Сдаст ли Америка шаха?

Чуть в стороне высказывания резче и короче. «Но это не демократический централизм... религиозная тирания... давние союзники...» Чаше других звучит слово «либералы». Четверо-пятеро студентов с книгами и брошюрами под мышками глубоко ушли в обсуждение. Узнаю одного из своих учеников с крайне левыми взглядами; тот замечает меня, улыбается, подходит. Здравствуйтесь, профессор, говорит он; вижу, вы к нам присоединились. К кому это «к нам», спрашиваю я? К массам, к народу, на полном серьезе отвечает он. Но это же не вы

³⁴ До сих пор на месте бывшего американского посольства находится Музей американского шпионажа.

организовали эту демонстрацию, пытаюсь возразить я. Нет, вы ошибаетесь, отвечает он. Мы должны находиться здесь каждый день, чтобы огонь не погасал, чтобы либералы не заключили сделку.

Нас прерывает голос в динамиках. «Нам не нужен ни Восток, ни Запад; нам нужна Исламская Республика!» «Америка бессильна!» «Мы будем бороться, погибнем, но не уступим!»

Во мне все всегда противилось этой атмосфере праздника, дерзкому ликованию, охватившему толпы у посольства. Всего через две улицы отсюда реальность была совсем другой. Порой мне казалось, что правительство живет в своей собственной отдельной вселенной: устраивает грандиозное цирковое представление, масштабный спектакль, в том время как люди вокруг продолжают жить обычной жизнью.

Факт в том, что Америку, хорошо знакомую мне страну, где я прожила много лет, внезапно превратили в Страну, Которой Не Может Быть. Америка моего прошлого уже меркла, заменяясь громкими новыми определениями. Именно тогда Иран захватила легенда об Америке; даже те, кто желал ей смерти, были ею одержимы. Америка разом стала и логовом Сатаны, и потерянным раем. Именно тогда в иранцах разбудили тайный интерес к Америке, который со временем превратил захватчиков в заложники.

10

В моем ежедневнике за 1980 год есть короткая заметка: «„Гэтсби“ от Джеффа». Джефф был американским репортером из Нью-Йорка; с ним мы несколько месяцев гуляли по улицам Тегерана. Тогда я не понимала, почему впала в такую зависимость от этих прогулок. Некоторые в период стресса успокаиваются алкоголем; я успокаивалась Джеффом. У меня возникла отчаянная необходимость описать то, свидетелем чего я стала, человеку из другого мира – мира, который я оставила позади, как мне тогда казалось, навеки. Я стала писать письма друзьям из Америки, подробно, в мельчайших деталях описывая жизнь в Иране, но большинство этих писем так никогда и не отправила.

Джефф явно страдал от одиночества и, несмотря на его любовь к своей работе – граничащую с одержимостью – и высокое признание его журналистского труда, ему нужно было говорить с кем-то на родном языке и делиться воспоминаниями. К своему удивлению, я поняла, что у меня такая же проблема. Я недавно вернулась домой, где наконец могла пользоваться родным языком, но мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь по-английски; причем желательно, чтобы этот человек говорил с нью-йоркским акцентом, был умен, любил «Великого Гэтсби» и мороженое «Хааген-Дас» и бывал в Нижнем Ист-Сайде, том самом, о котором писал Майк Голд.

Мне стали сниться кошмары; иногда я просыпалась и кричала, главным образом потому, что мне казалось, будто я больше никогда не смогу покинуть Иран. Этот страх не был необоснованным: я уже пыталась улететь два раза, но меня задержали в аэропорту и один раз даже отвели в штаб-квартиру Революционного трибунала. В итоге я уехала из Ирана лишь через одиннадцать лет: даже будучи уверенной, что мне разрешат, я не могла заставить себя пойти в паспортный стол и оформить загранпаспорт. Я ощущала себя бессильной, парализованной.

11

«Искусство перестало быть снобистским и малодушным. Теперь оно становится инструкцией по использованию трактора для простого крестьянина, словами солдатских песен, рисунком на ткани платья работницы фабрики и сценарием бурлеска для заводского театра. Искусство теперь решает сотни практических задач. Оно стало полезным, как хлеб».

Эта довольно длинная цитата взята из очерка Майка Голда «Навстречу пролетарскому искусству», написанного в 1929 году и опубликованного в радикальном журнале «Новые массы». В свое время очерк привлек немало внимания и привел к рождению нового термина в американской литературе: *пролетарский писатель*. Сам факт, что очерк оказался таким значимым и именитые авторы приняли его всерьез, свидетельствовал о том, что времена менялись. «Великий Гэтсби» был опубликован в 1925 году; «Ночь нежна» – в 1934. В промежутке между выходом этих двух великих романов в США и Европе случилось множество событий, в силу которых влияние Голда временно возросло, а Фицджеральда – ослабло до такой степени, что тот стал почти несущественной фигурой на общественной и литературной арене. То были времена Великой депрессии, растущей фашистской угрозы и усиливающегося влияния советского марксизма.

Прежде чем перейти к изучению «Великого Гэтсби», мы в классе обсудили рассказы Максима Горького и Майка Голда. Горький в то время был очень популярен – многие его рассказы и роман «Мать» вышли в переводе на персидский, их активно читали революционеры, молодые и старые. «Великий Гэтсби» на фоне Горького казался каким-то баловством, странным выбором для университета, где почти все студенты горели революционным пылом. Однако теперь, с высоты лет, я понимаю, что поступила правильно, включив эту книгу в программу. Лишь позже я осознала, что ценности, лежащие в основе этого произведения, являются прямой противоположностью революционным ценностям. И, как ни парадоксально, с прошествием времени восторжествовали именно ценности из «Гэтсби», но тогда мы еще не понимали, как далеко зашли в предательстве своей мечты.

Мы начали читать «Гэтсби» в ноябре, но закончили его изучение лишь в январе, так как нам постоянно приходилось прерываться. Я рисковала, включая в программу эту книгу в такое время, когда некоторые книги запрещали как «вредоносные для морали». Большинство революционных группировок соглашались с правительством по вопросу индивидуальных свобод, презрительно называя их «буржуазными» и «упадническими». Благодаря этой поддержке новой правящей элите было намного легче принимать самые реакционные законы; дошло до того, что они запретили ряд жестов и проявлений эмоций, в том числе любви. Еще до принятия новой конституции и избрания парламента новый режим аннулировал закон о минимальном возрасте для вступления в брак. Запретили балет и танцы; балеринам предложили стать актрисами или певицами. Впрочем, потом женщинам запретили и петь, потому что женский голос, как и волосы, приравнивался к сексуальной провокации и потому его надлежало прятать.

Однако, я выбрала «Гэтсби» не из-за политического климата того времени, а потому что это действительно великий роман. Меня пригласили вести курс литературы двадцатого века, а у «Великого Гэтсби» были все причины быть включенным в этот курс. Кроме того, этот роман дал бы моим студентам возможность одним глазком заглянуть в другой мир, который теперь от нас ускользал, утопая в громогласном порицании. Смогут ли мои студенты посочувствовать роковой влюбленности Гэтсби в прекрасную и неверную Дейзи Фэй так же, как ему сочувствовал Ник? Я читала и перечитывала «Гэтсби» с ненасытным любопытством. Не могла

дождаться, когда смогу обсудить эту книгу с группой, но меня сдерживало странное ощущение: мне не хотелось делиться ей ни с кем.

«Гэтсби» вызвал у моих учеников легкое недоумение. История идеалиста, горячо влюбленного в красивую богатую девушку, которая его предала, не могла удовлетворить тех, чьи жертвы определялись словами «массы», «революция» и «ислам». Страсть и предательство были для них эмоциями политическими, а любовь означала нечто совсем иное, чем душевные терзания Джея Гэтсби и миссис Том Бьюкенен. Супружеская измена в Тегеране считалась одним из множества преступлений, и кара за нее была соответствующая – публичное избивание камнями.

Я объяснила, что «Великий Гэтсби» считается классикой американского романа, во многих смыслах его образцом. Другими претендентами на звание образцового американского романа были «Приключения Гекльберри Финна», «Моби Дик», «Алая буква». Некоторые считали, что тема романа – американская мечта – позволяет отнести его к классике. У нас в «старых» странах было прошлое – мы были одержимы прошлым. Что до американцев, у них была мечта; они ностальгировали по светлому будущему.

Я сказала, что этот роман хоть и посвящен Гэтсби и американской мечте, автор стремился, чтобы он прозвучал общечеловечески, вне времени и места. Я зачитала студентам любимый отрывок Фицджеральда из предисловия к повести Джозефа Конрада «Негр с „Нарцисса“». Конрад писал, что художник «взывает к нашей способности радоваться и удивляться, к ощущению, что окружающий мир является для нас непознанной загадкой; к нашему милосердию, к красоте и боли... к подспудному, но несокрушимому убеждению в единстве, связывающем одиночество бесчисленных сердец; к единству чаяний, радости, печали, стремлений, иллюзий, надежд и страхов, которое привязывает друг к другу людей и все человечество: мертвых к живым, а живых к еще не рожденным».

Я пыталась объяснить им, что Майк Голд и Фрэнсис Скотт Фицджеральд писали об одном: о мечтах, а если конкретнее – об американской мечте. Мечты Голда реализовались только сейчас в нашей далекой стране, которая теперь носила новое непривычное название – Исламская Республика Иран. «Старые идеалы должны умереть», – писал Голд. «Бросим все, что мы есть, в котел Революции. Из смерти нашей восстанет слава». Фразы вроде этой сейчас встречались сплошь и рядом на страницах иранских газет. Правда, Голд жаждал марксистской революции, а наша была исламской, но их многое объединяло – обе были идеологическими и тоталитарными. И как выяснилось, превратив ислам в инструмент подавления, Исламская Революция причинила исламу больше ущерба, чем удалось бы любому ее врагу.

Не ищите основную тему романа, предостерегла я студентов; не думайте, что та существует отдельно от сюжета. Идея или несколько идей, скрытые за сюжетом, должны сами проявиться во время чтения; они не «прикрепляются» к роману сбоку. Давайте выберем эпизод и проиллюстрируем эту мысль. Откройте страницу сто двадцать пять. Гэтсби впервые приходит в дом к Дейзи и Тому Бьюкененам. Бахри, не могли бы вы прочесть первые строки, начиная с «кто хочет...»?

– Кто хочет поехать в город? – настойчиво спросила Дейзи. Взгляд Гэтсби обратился на нее. – Ах, – воскликнула она, – вы так роскошно выглядите.

Их взгляды встретились, и они долго смотрели друг на друга, словно кроме них вокруг никого не было. Потом она с трудом отвела взгляд и посмотрела на стол.

– Вы всегда так роскошно выглядите, – повторила она.

Она призналась ему в любви, и Том Бьюкенен это понял. Он был ошеломлен. Слегка раскрыв рот, он взглянул на Гэтсби, а потом снова посмотрел на Дейзи, словно только что узнал в ней давнюю знакомую.

С одной стороны, Дейзи просто говорит Гэтсби, что тот роскошно выглядит; Фицджеральд сообщает нам, что она все еще любит его, но не хочет говорить это прямо. Он хочет, чтобы мы почувствовали, что находимся там, вместе с ними в этой комнате. Давайте посмотрим, что он сделал, чтобы придать этому эпизоду текстуру реального опыта. Сначала он создает напряжение между Гэтсби и Дейзи, затем вносит в него дополнительное усложнение – Том внезапно осознает природу их отношений. Этот момент – повисшее в воздухе осознание – действует на читателя гораздо сильнее, чем если бы Ник просто сообщил, что Дейзи пыталась признаться Гэтсби в любви.

– Верно, – замечает Фарзан, – потому что любит он деньги, а не Дейзи. Она всего лишь символ.

Нет, она Дейзи, и он любит ее. Деньги тоже присутствуют в этой картине, но деньги – не все; они даже не имеют значения. Фицджеральд ничего не говорит нам напрямую: он вводит нас в комнату, воссоздает запахи и звуки того жаркого летнего дня много десятилетий назад, и мы, читатели, вместе с Томом перестаем дышать, осознав, *что* только что случилось между Гэтсби и Дейзи.

– Но что за толк от любви в мире, в котором мы живем? – раздался голос с задней парты.

– А какой мир, по-вашему, подходит для любви? – спросила я.

Вверх взметнулась рука Ниязи.

– Сейчас не время для любви, – ответил он. – Сейчас мы преданы высшей и более священной любви.

Заррин обернулась и сардонически произнесла:

– А зачем еще сражаться в революции?

Ниязи густо покраснел, опустил голову и, немного выждав, взял ручку и принялся что-то лихорадочно записывать.

Только сейчас, описывая случившееся, я понимаю, как странно все это выглядело: я стою в классе и рассказываю об американской мечте, в то время как снаружи под окном из динамиков льются песни с припевом «*Марг бар Амрика!*» – «Смерть Америке!»

Роман – не аллегория, сказала я в самом конце пары. Это опыт чувственного восприятия иного мира. Если вы не сможете войти в этот мир, если не перестанете дышать вместе с героями и не ощутите причастность к их судьбе, вы не испытаете эмпатию, а эмпатия – главное в романе. Так и надо его читать: *вдыхая происходящее*. Поэтому – начинайте дышать. Хочу, чтобы вы запомнили. Это все; урок окончен.

12

В течение того года, примерно между осенью 1979-го и летом 1980-го случилось много событий, изменивших ход революции и наших жизней. Мы разыгрывали и проигрывали битвы. Одной из самых значимых для нас стала битва за женские права: с самого начала правительство объявило женщинам войну, и тогда-то и начались важнейшие для нас сражения.

Однажды – кажется, это было в начале ноября – после того, как в аудиторию зашел последний опоздавший, я объяснила студентам, что они много раз отменяли занятия по личным причинам и я принципиально этого не одобряю, но сегодня вынуждена пойти наперекор своим принципам и сама отменить урок. Я объявила, что иду на акцию протеста и буду выступать против попыток правительства навязать женщинам чадру и ограничить нас в правах. Я пропустила крупные демонстрации, осуждающие правительственную политику против женщин, и решила больше этого не делать.

Сознательно я этого не замечала, но моя жизнь раскололась надвое. На людях я вовлеклась в борьбу за то, что казалось мне защитой моей личности. Эта борьба очень отличалась от моей политической деятельности в студенческие годы – тогда я действовала от лица непонятных мне абстрактных «угнетенных масс». Теперь это стало личным. В то же время внутри меня разворачивался более приватный бунт, проявляясь определенным образом – например, в запойном чтении или одержимом, как у Мозеса Герцога³⁵, написании писем друзьям в Штаты, которые я никогда не отправляла.

С самого начала революции женщинам многократно пытались навязать хиджаб, но ничего не выходило; попытки провалились из-за непрерывного агрессивного сопротивления, организованного главным образом иранскими женщинами. Хиджаб для режима обрел во многих отношениях символический смысл. Введение обязательного ношения хиджаба означало бы полную победу исламского аспекта революции, которая в те первые годы еще не укрепилась окончательно. Указ Реза-шаха об отмене ношения хиджаба в 1936-м стал противоречивым символом модернизации, веским свидетельством ослабления власти духовенства. Сейчас правящему духовенству было важно вновь заявить о своем могуществе. Теперь, с высоты опыта, я могу это объяснить; тогда это было совсем не очевидно.

Услышав мое заявление, Бахри напрягся всем телом. Заррин как обычно улыбалась, а Вида что-то заговорщически шептала ей на ухо. Я не стала обращать внимания на их реакции: я очень злилась, и эта злость была мне в новинку.

Когда все разошлись, Бахри задержался и некоторое время стоял рядом с окружившей меня группой студентов, но не приближался. Я сложила книги и конспекты в сумку – все, кроме своего экземпляра «Гэтсби», который рассеянно держала в руке.

Мне не хотелось вступать в дебаты с Махтаб и ее товарищами, чья марксистская организация негласно встала на сторону правительства и осуждала протестующих, считая, что те отклонились от курса, вносят разлад и, по сути, служат империалистам. Почему-то вышло так, что сейчас я спорила не с Бахри, а с ними, хотя они вроде были более прогрессивными. По их словам, я разменивалась по пустякам; сперва нужно расправиться с империалистами и их лакеями, а сосредотачиваться на женских правах сейчас – не что иное как индивидуализм, буржуазность, подыгрывание врагу. Но каких империалистов и их лакеев они имели в виду? Не тех ли, кого ежевечерне показывали по телевизору; не этих ли людей с разбитыми лицами в синяках, что признавались в своих преступлениях? Или проституток, которых недавно забили

³⁵ Главный герой романа Сола Беллоу «Герцог» писал письма всем на свете, знакомым и незнакомым людям, живым и мертвым, президентам и философам; среди его адресатов были президент Эйзенхауэр, Ницше, Спиноза, президент Панамы, Бог, а также он сам.

камнями до смерти; или бывшую директрису моей школы по фамилии Парса, которую, как проституток, обвинили в «мирском разврате», «сексуальных преступлениях» и «нарушениях приличий и морали» лишь за то, что она служила образованию? За какие такие мнимые преступления ее посадили в мешок и забили камнями или застрелили? Об этих ли лакеях вы говорите; не для того ли, чтобы стереть этих людей с лица Земли, мы должны подчиниться и не протестовать? Я знакома с вашей аргументацией, сказала я; ведь недавно я сама проповедовала те же идеалы.

Споря со своими крайне левыми студентами, я испытала странное чувство, что говорю с более юной версией себя, и меня испугал блеск в глазах этого знакомого и незнакомого существа. Мои студенты вели себя более уважительно и менее агрессивно, чем я, когда отстаивала свою позицию, — они как-никак говорили с профессором, с преподавательницей, которой даже сочувствовали, с человеком, который плыл с ними в одной лодке и которого еще можно было спасти.

Когда я пишу о них сейчас, а опыт пережитого смахивает с событий прозрачную пелену, лицо Махтаб медленно тает, и на его месте проступает лицо другой девушки, такой же молодой, — девушки из Нормана, штат Оклахома.

13

В мою бытность в Оклахоме члены одной из конкурирующих фракций студенческого движения – крайне радикальной группы в составе Конфедерации иранских студентов – устроили в Оклахома-сити конференцию. Я ее пропустила – была на другом собрании в Техасе. Вернувшись, я заметила необычайное возбуждение как среди «чужих», так и среди «наших». Оказалось, одного из членов фракции, бывшего чемпиона по бегу, заподозрили в работе на Иранскую тайную полицию – САВАК³⁶. Некоторые особо рьяные решили «выбить» из него правду. Его заманили в номер отеля «Холидей Инн» и попытались вытянуть признание под пытками, в частности, прижигая его пальцы сигаретами. Когда они вышли из комнаты и находились на парковке, жертва сбежала.

На следующий день в разгар конференции двери распахнулись; ворвались агенты ФБР с собаками и «шпион», которому велели указать на напавших на него студентов. Одна из наших подруг, прежде укорявшая меня за мою «антиреволюционную» манеру одеваться, срывающимся от возбуждения голосом поведала мне, что случилось, горделиво нахваливая «силу масс». Под «массами» она имела в виду участников конференции, которые расступились и образовали проход для агентов, их собак и несчастного «шпиона». Когда тот прошествовал мимо, они сквозь зубы шипели проклятия на персидском. Когда же он наконец подошел к одному из лидеров фракции, самому популярному – грозного вида коротышке, который, как и многие его товарищи по фракции, бросил колледж и стал революционером на полный рабочий день; он еще носил кепку и плащ, подражая Ленину, – «шпион» сорвался, заплакал и стал вопрошать по-персидски, почему тот так жестоко с ним обошелся. Самопровозглашенный Ленин Иранской революции торжествующе взглянул на него: мол, только попробуй разболтать все ФБР. В итоге «шпион» так и не смог выдать своих мучителей и ушел с агентами, еще раз доказав справедливость угнетенных масс.

На следующий день в «Оклахома Дейли» вышел короткий репортаж о случившемся. Но меня испугал не он, а реакция на него большинства студентов. В кофейнях, в студенческом профсоюзе, даже на солнечных улицах Нормана – везде, где встречались политически активные иранские студенты, разворачивались горячие дискуссии. Многие одобрительно цитировали товарища Сталина, фонтанировали цитатами из модной тогда книги «История Всесоюзной коммунистической партии. Краткий курс»³⁷ и подобных книг, твердя о необходимости раз и навсегда уничтожить всех троцкистов, белую гвардию, паразитов и ядовитых крыс, вознамерившихся погубить революцию.

Сидя в штаб-квартире студенческого профсоюза и попивая кофе или кока-колу, наши товарищи вмешивались в обсуждение за соседними столами, распалялись и оправдывали право масс пытаться и физически уничтожать угнетателей. Я до сих пор помню одного из этих студентов, полноватого юношу с мягким мальчишеским лицом и круглым животиком, проступавшими под темно-синим шерстяным свитером. Он упорно не желал садиться и стоял, нависнув над нашим столом и потрясая стаканом с грозившей расплескаться кока-колой; он доказывал, что есть два вида пыток и два вида убийства – те, что совершаются врагом, и те, что совершаются друзьями народа. Врагов убивать можно, говорил он.

Я могла бы сказать Бахри, который остался в моей памяти навек склонившимся надо мной в пылу разгоряченного спора: послушай, будь осторожен в своих желаниях. Будь осторожен в своих мечтах – однажды те могут сбыться. Я могла бы посоветовать ему учиться у Гэтсби

³⁶ Тайная полиция шахского Ирана; аббревиатура от персидского «Sazman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar» (Служба безопасности и информации страны).

³⁷ Учебник по истории коммунистической партии, опубликованный в 1938 году; написан при личном участии Сталина.

– у Гэтсби, страдающего от одиночества и изоляции; тот тоже пытался вернуть свое прошлое и придать фантазии плотские очертания, но его мечте суждено было остаться мечтой. Его убили, и он остался лежать на дне бассейна таким одиноким в смерти, каким был в жизни. Я знаю, Бахри, что вы вряд ли прочли эту книгу до конца – были слишком заняты политической деятельностью – но позвольте раскрыть вам концовку, думаю, вам нелишне будет знать. Гэтсби убивают. Убивают за преступление, которое совершила Дейзи, – сидя за рулем желтой машины Гэтсби, она сбила любовницу Тома. Том указал горяющему вдовцу на Гэтсби, и тот убил его, когда он плавал в бассейне и ждал звонка от Дейзи. Предвидели ли мои бывшие товарищи, что однажды их станут судить в Революционном трибунале, пытать и в итоге казнят как шпионов и предателей? Могли ли они об этом знать, Бахри? Говорю вам со всей уверенностью – нет, не могли. Даже в самых смелых фантазиях такое было невозможно представить.

14

Я рассталась с Махтаб и ее друзьями, но с воспоминаниями о них было не так легко расстаться: всю дорогу до митинга они преследовали меня, как назойливые попрошайки. Протестующие поделились на две отчетливые враждебные группировки; каждая взидала на другую подозрительно. Первая группа, поменьше, состояла главным образом из госслужащих и домохозяек. На митинг их привел инстинкт: они чувствовали, что на карту поставлены их интересы. К демонстрациям они явно не привыкли – стояли с обиженным и неуверенным видом, сбившись в одну кучу. Были там и интеллектуалы вроде меня, которых уже не удивить демонстрациями, и обычные горлопаны, выкрикивавшие непристойности и размахивающие лозунгами. Двое из последних фотографировали толпу, угрожающе прыгая из стороны в сторону. Мы закрывали лица и кричали на них в ответ.

Вскоре добровольцев из «комитетов бдительности» стало заметно больше. Они собрались маленькими группками и двинулись нам навстречу. Полицейские несколько раз выстрелили в воздух, а к нам приблизились мужчины, вооруженные ножами, дубинками и камнями. Вместо того, чтобы защищать женщин, полицейские стали разгонять нас; кого-то толкали прикладами и приказывали «сестрам» не поднимать шум и идти домой. Воздух пропитался отчаянной злостью и загустел от издевательских насмешек. Но митинг продолжился, несмотря на провокации.

Через несколько дней в Политехническом университете состоялся еще один протест. К моменту моего прихода в актовом зале собралась огромная толпа; все смеялись и разговаривали. Одна из выступающих – высокая, статная женщина в плотной юбке в пол и с длинными волосами, стянутыми в низкий узел за ушами – подошла к кафедре. В этот момент выключили электричество. По рядам прокатился недовольный гул, но никто не пошевелился. Женщина напряженно застыла на трибуне с непокорным видом, держа перед собой листочек с текстом; две другие демонстрантки поднесли ей свечу и фонарик. Мы видели лишь ее лицо, существовавшее как бы отдельно от тела, и белый лист бумаги в руках, подсвечиваемый фонариком из-за спины. Ее певучий голос и этот свет – вот все, что осталось в моей памяти. Мы не слушали слова; мы пришли поддержать ее и стать свидетелями выступления, сохранить образ ее лица в отблесках пламени свечи.

Впоследствии мы с этой женщиной встречались неоднократно, в основном на публичных мероприятиях. В последний раз я видела ее осенью 1999 года в Нью-Йорке; она возглавляла крупное издательство иранской феминистской литературы, и ее пригласили выступить в Колумбийском университете. После лекции мы вспоминали о прошлом за чашкой кофе. Я не видела ее с книжной ярмарки в Тегеране в 1993: тогда она пригласила меня выступить с лекцией о современном романе. Я выступала на втором этаже открытого кафе в главном корпусе здания, где проводилась ярмарка. Я говорила, все сильнее увлекаясь темой; у меня все время соскальзывал платок. Людей становилось все больше и больше, и наконец уже не осталось ни сидячих, ни стоячих мест. Когда я закончила, эту женщину вызвала охрана, и она получила выговор за мой непристойный вид и подстрекательскую речь. Никого не интересовало, что я говорила о книгах, художественном вымысле. После этого ей запретили выступать с лекциями.

Теперь мы вспоминали об этом с улыбкой, сидя в темном углу рестораника и чувствуя себя в безопасности в безразличной суете теплого нью-йоркского вечера. На миг мне показалось, что она ничуть не изменилась с того выступления на митинге много лет назад: на ней была такая же длинная плотная юбка, волосы собраны в такой же узел. Изменилась только ее улыбка: теперь в ней сквозило отчаяние. Через несколько месяцев ее арестовали с еще несколькими видными активистами, журналистами, писателями и лидерами студенческого движения. Аресты проводились в рамках новой волны репрессий: тогда закрыли более двадцати пяти изда-

тельств и газет и отправили в тюрьму многих инакомыслящих. Я узнала эту новость, сидя в своем кабинете в Вашингтоне, и меня охватило чувство, которое я не испытывала уже давно: полная беспомощность и невыразимый гнев с примешивающимся к ним смутным, но настойчивым чувством вины.

15

Примерно в то же время, в середине осени, у нас с Бахри снова состоялся разговор. Он сказал: что ж, профессор, они, вероятно, это заслужили; студенты рвут и мечут. Речь шла о трех преподавателях с кафедры, которым грозило увольнение; одного преследовали исключительно за то, что он армянин. Другим оказался тот самый мой коллега, что называл себя «маленьким великим Гэтсби»; обоих обвиняли в сквернословии на занятиях. Третьего преподавателя сочли агентом ЦРУ. Доктор А., по-прежнему занимавший пост заведующего кафедрой, отказывался их увольнять.

Сам доктор А. тоже стремительно терял расположение студентов. В первые дни революции студенты Тегеранского университета устроили процесс и судили его за то, что он защищал тюремного охранника. Через восемнадцать лет после этого события я прочла о нем в памятной статье, написанной его бывшей студенткой, известной переводчицей. Она описывала, как однажды смотрела трансляцию суда над агентом тайной полиции, когда ее внимание привлек знакомый голос – голос доктора А. Тот выступал свидетелем в пользу своего бывшего студента, которого считал добрым человеком, который часто помогал своим менее удачливым одноклассникам. Выступая перед Революционным трибуналом, доктор А. сказал: «Я считаю своим человеческим долгом сообщить вам об этом аспекте личности обвиняемого». В первые дни революции, когда все делилось на черное и белое, поступить так было немыслимо и очень рискованно.

Подсудимый, студент вечернего отделения, работал охранником в тюрьме; его обвиняли в избиении и пытках политзаключенных. По слухам, он легко отделался именно благодаря показаниям доктора А. в его пользу – ему дали всего два года. Никто из моих друзей и знакомых не знал, что было с ним дальше.

В своей заметке студентка доктора А. жалеет, что участвовала в суде над ним и не высказала протест. Она приходит к выводу, что поступок доктора А. свидетельствовал о его моральных принципах, которые он прививал студентам на уроках литературы. «Такой поступок, – объясняет она, – может совершить лишь человек, глубоко увлеченный литературой и понимающий, что личность каждого человека многогранна... Судьи должны учитывать все аспекты человеческой личности. Способность поставить себя на место другого человека, понять его во всей его сложности и противоречивости и воздержаться от излишней безжалостности может развить только литература. Вне литературной сферы человек раскрывается только с одной стороны. Но понимая многомерность человеческой личности, мы не сможем так легко ее уничтожить... Если бы мы усвоили урок доктора А., наше общество было бы намного благополучнее».

Угрозы увольнения были следствием чисток, продолжавшихся весь год. На самом деле они не прекратились до сих пор. После встречи с доктором А. и двумя другими коллегами, посвященной обсуждению этого вопроса, я в сердцах маршировала по коридору и наткнулась на Бахри. Тот стоял в конце длинного коридора и беседовал с президентом Исламской ассоциации преподавателей. Они стояли близко друг к другу, как мужчины, увлеченные разговором об очень серьезных вещах, проблемах жизни и смерти. Я окликнула Бахри, и тот подошел ко мне с уважением; даже если его и рассердило, что я помешала их разговору, он не подал виду. Я расспросила о судах над преподавателями и нелегальных увольнениях.

Тогда выражение его лица сменилось тревогой, к которой примешивалась решимость. Я должна понять, что порядки изменились, объяснил он. Что это значит, спросила я – изменились порядки? Значит, моральные качества стали важны для студентов, и с преподавателями могут спросить. То есть, по-вашему, правомерно устраивать суд над таким ответственным и преданным своей работе учителем, как доктор А.?

Бахри ответил, что сам не участвовал в этом процессе. Однако ясно, что взгляды доктора А. слишком западные. Он заигрывает со студентами и ведет себя развязно.

Так, значит, теперь следует понимать слово «западный»? Неужели у нас теперь как в Советском Союзе или Китае? И доктора А. следует судить за «заигрывания»? Нет, но он должен кое-что понять, ответил Бахри. Нельзя поддерживать шпионов, лакеев, тех, кто несет ответственность за смерти тысяч людей. Бахри добавил, что, по его мнению, есть люди поважнее доктора А., которых стоит отдать под суд в первую очередь, – шпионы ЦРУ, как наш профессор З., который спокойно ходит на занятия и делает что хочет.

Я ответила, что нет доказательств причастности этого джентльмена к ЦРУ, да и было бы глупо со стороны ЦРУ вербовать на работу такого человека. Но даже те, кого Бахри называл функционерами старого режима, не заслуживали подобного обращения, и неважно, были они виновны или нет. Я не понимала, почему исламское правительство так радуется смерти этих людей, почему вывешивает на всеобщее обозрение их посмертные фотографии после того, как их пытали и казнили. Зачем они показывают нам эти снимки? Зачем наши студенты каждый день выкрикивают лозунги, требуя новых смертных приговоров?

Сначала Бахри не ответил. Он замер, склонил голову и сплел пальцы рук перед собой в замок. Потом заговорил медленно, с напряженной ясностью. Они должны заплатить эту цену, сказал он. Их судят за прошлые деяния. Иранский народ не потерпит их преступлений. А как же новые преступления, спросила я, когда он вымолвил последнее слово. Их нужно молча терпеть? Сегодня все стали врагами Бога – бывшие министры и учителя, проститутки, революционеры с крайне левыми взглядами – каждый день их убивают. Чем эти люди заслужили такое обращение?

Тут его лицо ожесточилось, а глаза загорелись упрямством. Он повторил, что за старые преступления нужно платить. Это не игра, сказал он; это революция. Я спросила, будут ли меня судить за мое прошлое. Но в чем-то он был прав: нам всем придется рано или поздно платить по счетам. В игре жизни не было невиновных, в этом я не сомневалась. Платить придется всем, но не за преступления, в которых нас обвиняли. Нам придется выплачивать другие долги. Тогда я еще не знала, что моя выплата уже началась и то, что сейчас происходило, было частью этой сделки. Лишь много позже все встало на свои места.

16

Было поздно; я сидела в библиотеке. В последнее время я проводила там много времени, так как отыскать «империалистические» романы в книжных магазинах становилось все более сложной задачей. Я вышла из библиотеки с книгами под мышкой и заметила его у двери. Он сложил ладони перед грудью в жесте почтения мне, своему учителю, но в напряженной гримасе я углядела чувство упоения властью. Ниязи запомнился мне тем, что всегда ходил в белой рубашке, застегнутой под горло на все пуговицы. Рубашку он никогда не заправлял. Он был крепкого телосложения, глаза голубые, светло-каштановые волосы подстрижены очень коротко, шея толстая, розоватая. Ее будто вылепили из мягкой глины и потом поставили сверху на воротник рубашки. Он всегда был очень вежлив.

– Мэм, можно вас на секундочку? – Дело было в середине семестра, но мне так и не выделили свой кабинет, поэтому мы остановились в коридоре, и я его выслушала. Он жаловался на Гэтсби. Сказал, что рассказывает мне об этом «для моего же блага». Для моего же блага? Что за странная фраза. Он сказал, что мне, должно быть, известно, как сильно он меня уважает, иначе мы бы сейчас не говорили. Итак, у него была жалоба. На кого, и при чем тут я, спросила я? На Гэтсби. Я в шутку спросила, подал ли он жалобу на мистера Гэтсби в официальные инстанции. И напомнила, что подобные действия в любом случае бесполезны, так как Гэтсби мертв уже давно.

Но Ниязи не шутил. Нет, профессор, сказал он, мои претензии не к самому мистеру Гэтсби, а к роману. Этот роман аморален. Он учит молодежь плохому, отравляет умы – неужели я этого не понимаю? Я не понимала. Я напомнила, что «Великий Гэтсби» – литературный вымысел, а не руководство к действию. Но неужели я не вижу, не унимался Ниязи, что эти романы и их герои становятся нашими образцами для подражания в реальной жизни? Может, мистер Гэтсби и является подходящим образцом для американцев, но не для нашей революционной молодежи! Я слушала его, и мне почему-то понравилась мысль, что этот юноша считает теоретически возможным для себя поддаться искушению и захотеть стать похожим на Гэтсби.

Ниязи не видел разницы между романом Фицджеральда и фактической реальностью своей жизни. «Великий Гэтсби» в его глазах символизировал все американское, а Америка для нас была ядом; чистым ядом! Иранских студентов нужно учить противостоять американской аморальности, сказал он. Он выглядел совершенно серьезным; его привели ко мне добрые намерения.

Тут мне захотелось пошутить. Раз уж мы живем в эпоху публичных процессов, сказала я, давайте устроим суд над «Великим Гэтсби»: Ниязи будет обвинителем и напишет эссе с аргументами против обвиняемого. Между прочим, сказала я, когда романы Фицджеральда только вышли в США, многие восприняли их так же, как сейчас Ниязи. Может, другими словами, но люди тогда говорили примерно то же самое. Так что не стоит считать себя одиноким в своих взглядах.

На следующий день я представила этот план группе. Настоящий суд устраивать не будем, конечно же, но у нас может быть прокурор, адвокат защиты и подсудимый; остальные будут присяжными. Прокурором я назначила Ниязи; также нужен был судья, подсудимый и адвокат защиты.

После долгих споров – никто не хотел играть эти роли – мы наконец уговорили одного из студентов с крайне левыми взглядами быть судьей. Но тут запротестовали Ниязи и его друзья: мол, этот студент предвзято настроен к обвинению. Пораздумав еще, мы выбрали судьей Фарзана, застенчивого, прилежного юношу, довольно высокопарного, но, к счастью, скромного. Адвокатом защиты никто становиться не хотел. Кое-кто заметил, что раз я выбрала книгу, я и должна ее защищать. Я возразила, что в таком случае буду не адвокатом, а подсудимым, и

пообещала тесно сотрудничать со своим адвокатом и выступить в свою защиту. Наконец на роль адвоката вызвалась Заррин – они с Видой шепотом посоветовались и после того, как та пару раз убедительно толкнула ее локтем, Заррин согласилась. Она уточнила, кого я изображаю: Фицджеральда или саму книгу. Мы решили, что я буду книгой, ведь Фицджеральд мог и не обладать теми качествами, которые мы обнаруживаем в романе. Решили, что любой студент из группы в ходе суда может в любой момент прервать защиту или обвинение собственными замечаниями и вопросами.

Я чувствовала, что зря согласилась играть роль подсудимой, ведь это ставило обвинителя в неловкое положение. Если бы кто-то из студентов согласился на эту роль, было бы намного интереснее. Но никто не захотел выступить от имени «Гэтсби». И Ниязи – в нем чувствовалась такая упрямая самоуверенность, такое отсутствие гибкости, что мне в конце концов стало не жалко запугивать его своим авторитетом.

Через несколько дней ко мне пришел Бахри. Мы не говорили с глазу на глаз довольно долго. Он был слегка взбешен. Я с удовольствием отметила, что впервые за все время нашего знакомства он был возбужден и, кажется, забыл о своей четкой, спокойной манере изъясняться. Неужели так необходимо устраивать суд над книгой, спросил он? Я опешила. А что вы хотели, спросила я – чтобы я вычеркнула книгу из программы, не сказав ни слова в ее оправдание? Да и время для судов самое подходящее. Или я неправа?

17

Всю неделю перед судом, что бы я ни делала – разговаривала ли с друзьями и семьей, готовилась ли к занятиям – мой ум всегда был наполовину занят придумыванием аргументов для суда. Ведь мне предстояло защищать не просто «Великого Гэтсби», а сам способ восприятия романа и оценивания литературы – как, впрочем, и реальности. Биджан, которого все происходящее порядком забавляло, однажды сказал, что я изучаю «Гэтсби» с тем же тщанием, с каким адвокат штудировал юридические справочники. Я повернулась к нему и ответила: ты же не принимаешь это всерьез? Разумеется, я принимаю это всерьез, ответил он. Ты поставила себя в уязвимое положение по отношению к студентам. Ты позволила им – нет, даже не позволила; ты *вынудила* их усомниться в правильности твоих суждений как преподавателя. Поэтому ты должна это дело выиграть. Для младшего преподавателя в первый семестр работы это очень важно. Но если тебе нужно сочувствие, от меня ты его не дождешься. Тебе же все это нравится, признай, – нравится драма, волнение. Скоро ты будешь пытаться убедить меня, что судьбы революции зависят от этого суда.

Но так и есть, неужели ты не видишь, спросила я? Биджан пожал плечами и ответил: мне можешь не рассказывать. Иди и поделись своими мыслями с аятоллой Хомейни.

В день суда я вышла пораньше и перед занятиями прошлась по тенистым бульварам. У входа в корпус, где находился факультет персидского языка и иностранных языков и литературы я увидела Махтаб; та стояла у двери с другой девочкой. В тот день на ее губах играла особая улыбка: так улыбаются лодыри, получившие пятерку. Профессор, обратилась она ко мне, а что вы скажете, если Нассрин сегодня посидит у нас на занятии? Я перевела взгляд с Махтаб на ее юную подругу – на вид той было тринадцать, максимум четырнадцать лет. Она была очень хороша собой, хотя старательно пыталась это скрыть. Красивая внешность не вязалась с серьезным выражением лица, нейтральным и совершенно непроницаемым. Лишь ее тело что-то выражало: она переносила вес то на одну ногу, то на другую; правая кисть сжимала и разжимала толстый ремень тяжелой наплечной сумки.

Махтаб, которая вела себя более оживленно, чем обычно, сказала, что Нассрин знает английский лучше многих студентов университета, и когда она рассказала ей о суде над «Гэтсби», ей стало так интересно, что она прочла роман целиком. Я повернулась к Нассрин и спросила: и как тебе «Гэтсби»? Та помолчала и тихо произнесла: не могу сказать. Что значит не можешь сказать: ты не знаешь, понравилась ли книга, или не можешь сказать *мне*, спросила я? А Нассрин ответила: не знаю, но, может быть, просто не могу сказать вам.

Так все и началось. После суда Нассрин попросила разрешения продолжать ходить на мои занятия, когда сможет. Махтаб рассказала, что Нассрин – ее соседка, состоит в мусульманской организации, но девочка очень интересная, и Махтаб ее «обрабатывает» – левые говорили так о людях, которых пытались завербовать на свою сторону.

Я сказала Нассрин, что та может ходить ко мне на занятия при одном условии: в конце семестра она напишет пятнадцатистраничную курсовую по «Великому Гэтсби». Нассрин, как всегда, помолчала, задумалась, будто ей не хватало слов. Она всегда отвечала неохотно и вымученно; говоря с ней, собеседник почти чувствовал себя виноватым, что вынуждает ее отвечать. Итак, Нассрин задумалась и ответила: вы преувеличиваете мои способности. Не надо быть способной, чтобы написать курсовую, ответила я. К тому же, я уверена, что способностей у тебя достаточно – ведь свое свободное время ты проводишь здесь. Мне не нужен ученый труд; просто опиши свои впечатления. Расскажи своими словами, как поняла «Великого Гэтсби». Нассрин стояла, уставившись на мыски своих туфель; потом пробормотала, что постарается.

С тех пор, приходя в класс, я всегда искала глазами Нассрин, которая обычно следовала за Махтаб по пятам и садилась с ней рядом. Все занятие она конспектировала и приходила

даже тогда, когда Махтаб пропускала лекцию. Потом однажды она перестала приходить и явилась лишь на последнюю лекцию; я увидела ее в уголке, где она сидела и просматривала свои конспекты.

Согласившись принять на занятия новенькую, я оставила Махтаб и Нассрин и пошла дальше. Мне нужно было зайти на кафедру и забрать книгу, которую оставил для меня доктор А. Когда позже я вошла в аудиторию, я сразу же почувствовала напряженную тишину, воцарившуюся с моим появлением. В классе яблоку было негде упасть; отсутствовали лишь двое из списка и Бахри, которому прийти помешало неодобрение моих действий или революционные дела. Заррин смеялась и обменивалась конспектами с Видой; Ниязи стоял в углу и беседовал с двумя другими мусульманскими активистами, которые, увидев меня, вернулись на свои места. Махтаб сидела рядом со своей новой подопечной и что-то заговорщически шептала ей на ухо.

Я дала задание на следующую неделю и объявила суд открытым. Сначала вызвала Фарзана, судью, и попросила его сесть в мое кресло за преподавательский стол. С плохо скрываемым самодовольством Фарзан продефилировал по аудитории. Рядом с судьей поставили стул для свидетелей. Я села рядом с Заррин в левой части класса, у большого окна, а Ниязи с друзьями заняли места справа, у стены. Судья призвал к порядку. Так началось слушание по делу «Исламская Республика Иран против „Великого Гэтсби“».

Ниязи попросили изложить суть обвинения. Он не встал, а выдвинул стул в центр класса и принялся монотонно читать по бумажке. Судья Фарзан смущенно ерзал, сидя за моим столом, и, казалось, был заворочен Ниязи. Время от времени он яростно таращил глаза и моргал.

Несколько месяцев назад я решила разобрать старые папки и наткнулась на текст выступления Ниязи, написанный его безукоризненным почерком. Оно начиналось со слов «во имя Аллаха» – позднее эта фраза стала обязательной в шапках официальных писем и во всех публичных речах. Ниязи брал листы по одному, не пальцами, а зажимая в кулаке, словно боялся, что они выскользнут из рук.

– Ислам – единственная мировая религия, в которой литературе приписана особая священная роль – она ведет человека к праведной жизни, – нараспев зачитывал он. – Это становится очевидным, лишь стоит задуматься, что Коран – Слово Божье – является чудом, сотворенным Пророком. Орудия Словом, можно исцелять, а можно уничтожать. Можно наставлять на путь истинный, а можно совращать. Вот почему Слово может принадлежать Сатане, а может Богу.

– Имам Хомейни поручил нашим поэтам и писателям великую миссию, – торжественно бубнил Ниязи, откладывая один лист и доставая следующий. – Он поручил нам священную миссию, гораздо более возвышенную, чем западным писателям-материалистам. Если наш имам – пастырь, что гонит свою паству на луга, то писатели – не что иное, как преданные пастушьи собаки, ведущие овец в соответствии с приказом пастуха.

В задних рядах засмеялись. Я оглянулась и увидела Заррин и Виду; те перешептывались. Нассрин внимательно смотрела на Ниязи, рассеянно пожевывая карандаш. Фарзан отмахивался от невидимой мухи, а в перерывах между этим делом таращил глаза и моргал, изображая интерес. Я снова повернулась к Ниязи; тот говорил:

– Спросите себя, что вы выберете – охрану священной духовной миссии или материалистическое вознаграждение в виде денег и общественного положения, которые развратили... – тут он, не отрывая глаз от бумаги, выдержал паузу, словно вытягивая бессодержательные слова на поверхность листа, – ...развратили, – повторил он, – западных писателей и лишили их произведения духовности и смысла. Вот почему наш имам говорит – перо могущественнее меча.

На задних рядах еще сильнее зашептались и захихикали. Никудышный судья Фарзан не обращал внимания на нарушителей, но один из друзей Ниязи воскликнул:

– Ваша честь, не могли бы Вы приказать джентльменам и леди с задних рядов относиться к суду и прокурору с почтением?

– Приказываю, – спохватился Фарзан.

– В этой битве с Великим Сатаной наши поэты и писатели играют ту же роль, что наши преданные солдаты, – продолжал Ниязи, – и в раю их ждет та же награда. Перед нами, студентами, будущими хранителями культуры, стоит трудная задача. Сегодня мы водрузили победоносный флаг ислама в логове шпионов на нашей собственной земле. Наша миссия, как заявил имам, – очистить страну от упаднической западной культуры и...

Тут Заррин не выдержала и встала.

– Возражаю, ваша честь, – воскликнула она.

Фарзан взглянул на нее с некоторым удивлением. – В чем суть вашего возражения?

– Этот процесс посвящен «Великому Гэтсби», – ответила Заррин. – Прокурор уже отнял пятнадцать минут нашего драгоценного времени, но не сказал ни слова об ответчике. Куда он клонит?

Несколько секунд Фарзан и Ниязи непонимающе смотрели на нее. Затем, не глядя на Заррин, Ниязи произнес: – Это исламский суд, а не «Перри Мейсон»³⁸! Я могу излагать суть обвинения, как захочу; сейчас я растолковываю контекст. Я хочу сказать, что не могу принять «Гэтсби», будучи мусульманином.

Фарзан, пытаясь играть свою роль, провозгласил:

– Что ж, тогда продолжайте.

Возражение Заррин расстроило Ниязи, и, немного помолчав, тот оторвался от своих конспектов и раздосадовано произнес:

– Ты права, оно того не стоит.

Несколько секунд мы размышляли, что именно того не стоит, а потом он продолжил:

– Мне не нужно читать по бумажке и не нужно говорить об исламе. Доказательств и так достаточно – они на каждой странице. Каждая страница этой книги, – он перешел на крик, – доказывает ее вину! – Он повернулся к Заррин, и одного взгляда на безразличное выражение ее лица было достаточно, чтобы он вспыхнул. – С самого начала революции мы твердим, что Запад – наш враг, Великий Сатана, и не из-за его военной мощи, не из-за его экономической мощи, а из-за... из-за... – он снова выдержал паузу, – ...из-за его зловещей атаки на нашу культуру, на самые ее основы! Наш имам называет это культурной агрессией. Я бы назвал это изнасилованием нашей культуры, – Ниязи употребил выражение, которое в Исламской Республике впоследствии стали употреблять сплошь и рядом, критикуя Запад. – Хотите увидеть пример культурного изнасилования? Не нужно ходить далеко – все есть в этой книге. – Он взял экземпляр «Великого Гэтсби», лежавший под его конспектами, и потряс им в нашу сторону.

Заррин снова встала.

– Ваша честь, – произнесла она с едва скрываемым презрением, – все это безосновательные заявления, ложь...

Ниязи не дал судье ответить. Почти вскочив со стула, он воскликнул:

– Ты дашь мне закончить? У тебя еще будет возможность высказаться! Я скажу, почему, я скажу, почему... – Тут он повернулся ко мне и более спокойно произнес: – Мэм, прошу прощения за резкость.

Мне к тому времени все это уже начало нравиться, и я ответила:

– Прошу, продолжайте, и помните, что я здесь в роли книги. Я выскажусь в конце.

– В период правления безнравственного режима Пехлеви, супружеская измена, может, и была общепринятой нормой... – продолжил Ниязи.

Заррин не унималась.

³⁸ Американский сериал в жанре судебной драмы (1959–1966) по циклу детективных повестей Эрла Стэнли Гарднера. Главный герой – адвокат Перри Мейсон, защитник несправедливо обвиненных в различных преступлениях; действие по большей части происходит в суде.

– Возражаю! – выкрикнула она. – Утверждение не основано на фактах.

– Ладно, – согласился Ниязи, – но ценности в этот период были такими, что за измену не наказывали. Эта книга пропагандирует нелегальные связи между мужчиной и женщиной. Сначала мы видим Тома и его любовницу, сцену в ее квартире, – даже рассказчик, Ник, оказывается втянутым в их дела. Он не одобряет их обман, но не имеет ничего против собственно их сношений и того, что любовница сидит у Тома на коленях, и... и... эти вечеринки у Гэтсби – вы же помните, леди и джентльмены, что Гэтсби – главный герой книги? И кто он такой? Шарлатан, совратитель чужих жен, лжец... и этого человека Ник восхваляет, этого человека он жалеет – этого разрушителя семей! – Ниязи распалился, описывая этих сношающихся развратников, лжецов и совратителей чужих жен, которые свободно разгуливали в блистательном мире Фицджеральда, не страшась гнева и кары Ниязи. – Единственный человек, достойный сочувствия во всей этой истории – обманутый муж, мистер Уилсон, – заключил Ниязи. – Когда он убивает Гэтсби, его руку направляет Бог. Мистер Уилсон – единственная жертва. Он единственный символ угнетенных в этой... в этой... стране Великого Сатаны!

Проблема Ниязи заключалась в том, что даже когда он распалялся и не читал по бумажке, он все так же монотонно бубнил. Хотя теперь он делал это громче и почти вскочив с места.

– В этой книге хорошо только одно, – сказал он, размахивая провинившимся романом перед нами, – она разоблачает безнравственность и упадок американского общества. Но мы недаром боролись, чтобы избавиться от этого мусора; пора такие книги запретить! – Он упорно называл Гэтсби «этим мистером Гэтсби» и никак не мог заставить себя назвать Дейзи по имени – отзывался о ней как об «этой женщине». По мнению Ниязи, в романе не было ни одной добродетельной женщины. – Какой пример мы показываем нашим невинным скромным сестрам, – обратился он к товарищам, которым некуда было от него деться, – вручая им такую книгу?

Он продолжал и все больше входил в раж, но со стула так и не встал. – Гэтсби непорядочен, – воскликнул он; голос его сорвался на визг. – Он зарабатывает нелегальными методами и пытается купить любовь замужней женщины. Роман якобы об американской мечте, но что это за мечта? Неужели автор хочет предложить нам всем стать нарушителями супружеских обетов и бандитами? Америка погрязла в пороках и упадке, потому что это и есть их мечта! Они идут на дно! Это предсмертные судороги мертвой культуры! – торжествуя заключил он, доказав, что не одна Заррин смотрела «Перри Мейсона».

– Возможно, нашему достопочтенному прокурору не стоит быть столь суровым, – сказала Вида, когда стало ясно, что Ниязи наконец исчерпал аргументы. – Ведь Гэтсби умирает, то есть, можно сказать, получает по заслугам.

Но Ниязи это не удовлетворило.

– По-твоему, только Гэтсби заслуживает смерти? – с очевидным презрением произнес он. – Нет! Все американское общество заслуживает той же судьбы! Что это за мечта – украсть жену у другого, пропагандировать секс, обманывать, заниматься мошенничеством... а потом еще этот парень, рассказчик, Ник – он себя считает высоконравственным!

Ниязи еще немного продолжал в том же ключе, а потом вдруг прекратил, словно собственные слова встали ему поперек горла. Но даже тогда он остался сидеть на своем стуле. И никому из нас не пришло в голову попросить его вернуться на место, когда суд продолжился.

18

Следующей вызвали Заррин для изложения аргументов защиты. Она встала лицом к классу – элегантная, действительно похожая на профессионального адвоката в темно-синей плиссированной юбке и шерстяном жакете с золотыми пуговицами, из рукавов которого выглядывали белые манжеты. Ее волосы были стянуты лентой в низкий хвост, а в ушах поблескивало единственное украшение – золотые сережки. Она медленно ходила кругами вокруг Ниязи, время от времени неожиданно разворачиваясь, чтобы подчеркнуть свою мысль. В руках у нее были записи, но обращаясь к классу, она редко с ними сверялась.

Произнося свою речь, она шагала по комнате; хвостик подпрыгивал в такт шагам, волосы мягко скользили по ее шее, а поворачиваясь, она оказывалась лицом к лицу с Ниязи, который застыл на стуле неподвижно, как камень. Начала она, процитировав отрывок из одного из рассказов Фицджеральда; я его помнила.

– Наш любезный обвинитель допустил оплошность, перепутав суд с парком развлечений, – промолвила Заррин. – Он перестал отличать реальность от вымысла. – Она улыбнулась и сочувственно повернулась к «нашему обвинителю», который так и сидел, приклеившись к своему стулу. – Он не оставляет между двумя мирами места, ни малейшего промежутка. Он продемонстрировал собственную слабость – неспособность читать роман непредвзято. Ему знакома лишь предвзятость, грубое, упрощенное восприятие добра и зла, возведенных в абсолют. – Услышав эти слова, Ниязи поднял голову и густо покраснел, но ничего не ответил. – Но можно ли назвать роман хорошим, – продолжала Заррин, обращаясь к классу, – лишь потому, что его героиня добродетельна? И можно ли назвать его плохим лишь потому, что его герои отходят от норм нравственности, которые прокурор Ниязи хочет навязать не только нам, но и вымышленным героям художественного произведения?

Фарзан внезапно вскочил со своего места.

– Мэм, – обратился он ко мне, – если я судья, значит ли это, что мне нельзя высказываться?

– Разумеется, не значит; говорите, – ответила я, и он разразился длинной спутанной тирадой о «Долине пепла»³⁹ и упаднической роскоши вечеринок Гэтсби. Он заключил, что основным промахом Фицджеральда стала его неспособность побороть свою алчность: он писал дешевые рассказы за деньги и увязывался за богачами.

– Знаете, – сказал он наконец, устав от своих же рассуждений, – Фицджеральд говорил, что богатые отличаются от обычных людей.

Ниязи горячо закивал в знак согласия. – Да! – вмешался он с видом напыщенного самодовольства, явно радуясь эффекту, произведенному его собственным выступлением. – И наша революция противостоит материализму, который проповедует Фицджеральд. Нам не нужен западный материализм и американские товары! – Он выдержал паузу, отдышался, но еще не закончил. – Мы могли бы воспользоваться их техническими разработками, это да, но их мораль должны отвергнуть!

Заррин смотрела на них, собранная и невозмутимая. Она выждала несколько секунд после тирады Ниязи и спокойно произнесла:

– Кажется, теперь у нас два прокурора. Теперь позвольте я продолжу? – Она наградила Фарзана пренебрежительным взглядом. – Хотелось бы напомнить обвинителю и присяжным цитату, которую нам привели на первом обсуждении романа – это цитата из «Жака-фаталиста и его Хозяина» Дидро: «Я считаю, что свобода художественной манеры [автора] почти гаран-

³⁹ В «Великом Гэтсби» – промзона в Квинсе, названная так из-за дыма фабричных труб, золы и мусора. В Долине пепла живет Джордж Уилсон и его жена Мертл.

тирует непорочность его нравов». Мы также говорили, что у книг нет морали в привычном смысле этого слова. Можно сказать, что у романа есть мораль, если он заставляет нас выйти из ступора и бросить вызов абсолютам, в которые мы верим. Если это правда, «Гэтсби» достиг ошеломляющего успеха. Впервые в нашем классе книга вызвала столько споров.

– Сегодня мы судим «Великого Гэтсби», потому что он будоражит наши души – по крайней мере, души некоторых из нас, – добавила она, и по рядам прокатился смешок. – Не впервые роман – аполитичный, заметьте, – попадает на скамью подсудимых. – Она развернулась, и хвостик взметнулся за ней. – Вспомните знаменитые процессы над «Госпожой Бовари», «Улиссом», «Любовником леди Чаттерлей», «Лолитой». Роман побеждал всегда. Но позвольте рассмотреть вопрос, который, кажется, не дает покоя судье и обвинителю: денежные соблазны и роль богатства в этом произведении.

– Не буду спорить, Гэтсби действительно признает, что деньги являются одной из главных причин, по которым его тянет к Дейзи. Он сам обращает внимание Ника на ее чудесный голос, в котором «слышен звон монет». Но роман этот не о любви молодого бедного мошенника к деньгам. – Она выдержала паузу для пущего эффекта. – И тот, кто утверждает обратное, просто невнимательно читал. – С этими словами она почти незаметно повернулась к сидевшему слева от нее неподвижному прокурору, а затем подошла к своему столу и взяла собственный экземпляр «Великого Гэтсби». Продемонстрировав книгу классу, она обратилась к Фарзану, повернувшись спиной к Ниязи. – Нет, ваша честь, это роман не о том, что «богатые отличаются от нас с вами», хотя это правда; бедные тоже отличаются, и мы с вами тоже отличаемся друг от друга. Это роман о богатстве, но отнюдь не о вульгарном материализме, о котором вы с Ниязи твердите.

– Покажи им! – раздался голос с заднего ряда. Я обернулась. Задние ряды хихикали, шептались. Заррин замерла и улыбнулась. Судья довольно обескураженно воскликнул:

– Молчать! Кто это сказал? – но даже он не ожидал услышать признание.

– Ниязи, наш глубокоуважаемый прокурор, – насмешливо произнесла Заррин, – кажется, в свидетелях не нуждается. Он сам себе свидетель и обвинитель, но мы – мы призовем в свидетели саму книгу. Позвольте вызвать для дачи свидетельских показаний некоторых героев. Вызываю главного свидетеля защиты.

– Ниязи вызвался судить героев Фицджеральда, но у Фицджеральда был другой план. Он сам назначил судью. Может, стоит прислушаться к нему? Кто из героев годится на роль судьи? – промолвила Заррин, поворачиваясь к классу. – Конечно же, Ник; помните, как он описывает себя – «Каждый человек подозревает у себя наличие хотя бы одной важнейшей добродетели; есть она и у меня – из всех, кого я знал, честных единицы, и я один из них». Если в романе и есть судья, это Ник. В некотором смысле это самый бесцветный персонаж, потому что он играет роль зеркала.

– Другие персонажи, таким образом, оцениваются по степени их честности. Самыми нечестными оказываются представители обеспеченных классов. Образец А: Джордан Бейкер, особа, к которой Ник питает романтические чувства. Она солгала про матч, солгала и про машину, которую одолжила и бросила под дождем с опущенным верхом. «Она безнадежная обманщица», – сообщает нам Ник. «Она терпеть не может проигрывать, и учитывая это нежелание, полагаю, с самого раннего возраста она начала прибегать к различным ухищрениям, позволяющим ей сохранить на устах эту холодную дерзкую улыбку, обращенную к миру, и при этом удовлетворять требования своего изящного упрямого тела».

– А вот образец Б: Том Бьюкенен. Его нечестность более очевидна: он изменяет жене, а позже замечает следы ее преступления и не чувствует угрызений совести. Случай Дейзи сложнее, ведь ее неискренность, как и все в ней, создает вокруг нее своего рода чары: она вынуждает окружающих чувствовать себя сообщниками своей лжи, потому что эта ложь их соблазняет. И, разумеется, нельзя забывать о Майере Вулфшеме, нечистом на руку компаньоне Гэтсби. Это

он подстроил результаты Кубка мира по бейсболу⁴⁰. «Я никогда не думал, что один человек может начать игру с верой пятидесяти миллионов людей с простодушием грабителя, взрывающего сейф». Таким образом, вопрос честности и нечестности, истинной природы людей и личности, которую они показывают миру, – сквозная тема, влияющая на все основные события романа. И кто в романе самые нечестные люди? – спросила она, повернувшись к присяжным. – Естественно, богачи, – ответила она сама на свой же вопрос и резко повернулась к Ниязи. – Те самые, кого, по мнению нашего прокурора, Фицджеральд одобряет.

– Но это еще не все. С богачами мы еще не закончили. – Заррин взяла книгу и открыла ее на странице с закладкой. – С позволения мистера Каррауэя, – сказала она, – хочу процитировать, что он говорит о богачах. – Она зачитала цитату. – «Они были беспечными людьми, Том и Дейзи, – разбивали предметы и людей, а потом возвращались к своим деньгам и своей абсолютной беспечности или к чему-то еще, что удерживало их вместе, пока другие вынуждены были прибирать учиненный ими беспорядок...»

– Сами видите, – сказала Заррин, снова поворачиваясь к Фарзану, – как оценивает богатых людей персонаж романа, наиболее достойный доверия. Богатые в этой книге – а их представляют главным образом Том и Дейзи и в меньшей степени – Джордан Бейкер, – изображаются людьми беспечными. Ведь именно Дейзи сбивает Миртл и не возражает, когда Гэтсби берет вину на себя; она даже не присылает цветы на его похороны. – Заррин замолчала и обошла стул, делая вид, что не замечает ни судью, ни прокурора, ни присяжных.

– Слово «беспечный» – ключ к пониманию этого романа, – продолжала она. – Помните, когда Ник распекает Джордан за беспечную езду, а та как ни в чем не бывало отвечает – ну и что, что я беспечна; другие водители внимательны, на них я и полагаюсь? Беспечный – первое слово, что приходит в голову, когда мы описываем богачей из этого романа. Мечта, которую они воплощают, ядовита, она уничтожает любого, кто пытается к ней приблизиться. Поэтому, глубокоуважаемый Ниязи, этот роман осуждает обеспеченные высшие классы не меньше, чем любая революционная книга из тех, что мы читали. – Она вдруг повернулась ко мне и с улыбкой произнесла: – Не уверена, как я должна обращаться к книге. Согласны ли вы, что защита обеспеченных классов в ваши цели не входит?

Я вздрогнула, когда Заррин вдруг обратилась ко мне, но мысленно поблагодарила ее за возможность сосредоточиться на аргументе, который лежал в основе всех моих рассуждений о литературе.

– Если критика беспечности – изъясн, – сказала я, ощущая некоторую неуверенность, – то я в хорошей компании. Эту беспечность, отсутствие эмпатии, мы видим в отрицательных героях Джейн Остин: леди Кэтрин, миссис Норрис, мистере Коллинзе и Крофордах⁴¹. Та же тема всплывает в рассказах Генри Джеймса и в набоковских героях-монстрах: Гумберте, Кинботе, Ване и Аде Вин. Воображение в этих романах приравнивается к эмпатии: мы не можем испытать все, что пришлось пережить другим, но можем понять даже самых чудовищных персонажей из мира литературы. Хороший роман показывает человека во всей его сложности и создает пространство, в котором каждый из героев имеет возможность высказаться; поэтому роман называют демократическим жанром – не в том смысле, что он пропагандирует демократию, а в том, что он демократичен по своей сути. Как и во многих других великих романах, центральной темой «Великого Гэтсби» является эмпатия. Нет худшего греха, чем слепота к чужим проблемам и страданиям. Кто их не видит, отрицает их существование. – Все это я выпалила на одном дыхании, сама удивившись своей горячности.

⁴⁰ Реальная история: в 1919 году игорный синдикат подкупил восьмерых игроков «Чикаго Ред Сокс», чтобы те «слили» матч против «Цинциннати Редз». Майер Вулфшем, разумеется, вымышленный персонаж, но вдохновлен организатором этой аферы Арнольдом Ротштейном.

⁴¹ Леди Кэтрин и мистер Коллинз – персонажи романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение»; миссис Норрис и Крофорды – персонажи романа «Мэнсфилд-парк».

– Да, – сказала Заррин, прерывая меня. – И разве не очевидно, что эта слепота или беспечность по отношению к окружающим напоминает о существовании другой разновидности беспечных людей? – Она коротко взглянула на Ниязи и продолжала: – Я имею в виду тех, кто делит мир на черное и белое, упиваясь праведностью своего вымысла. И даже если в реальной жизни Фицджеральд был одержим богачами и их богатством, глубокоуважаемый судья Фарзан, – с теплотой в голосе обратилась она к Фарзану, – то в своих произведениях он разоблачает разлагающее и деградирующее влияние богатства на изначально порядочных людей, таких, как Гэтсби, или на творческие, живые умы, такие, как Дик Дайвер из романа «Ночь нежна». Не понимая этого, Ниязи упускает из виду главное в «Великом Гэтсби».

Ниязи, который уже довольно давно внимательно изучал пол, вдруг вскочил и воскликнул:

– Возражаю!

– Против чего именно вы возражаете? – с насмешливой любезностью спросила Заррин.

– Одной только беспечности недостаточно! – прокричал Ниязи. – Это не делает роман более нравственным. Я тебе говорю про грех супружеской измены, ложь и обман, а ты мне про беспечность?

Заррин помолчала, а потом снова повернулась ко мне. – Я хотела бы пригласить для дачи показаний подзащитного. – Она повернулась к Ниязи и с лукавым блеском в глазах спросила: – Хотите допросить подзащитного? – Ниязи пробормотал непокорное «нет». – Хорошо. Мэм, займите место для дачи показаний. – Я встала, и растерянно огляделась. Стула для дачи показаний не было. Фарзан в кои-то веки спохватился вовремя, вскочил и предложил мне свой. – Вы слышали замечания прокурора, – сказала Заррин, обращаясь ко мне. – Можете что-то сказать в свою защиту?

Мне было неловко, я даже, пожалуй, оробела и не хотела говорить. Заррин и так прекрасно справлялась, мне казалось, что в моих речах не было нужды. Однако студенты ждали, и идти на попятную было поздно.

Я скованно опустилась на стул, который подвинул мне Фарзан. Готовясь к процессу, я обнаружила, что несмотря на все старания, мне не удавалось облечь в слова те мысли и эмоции, которые заставляли меня так восторгаться «Великим Гэтсби». Я вспоминала объяснение романа, данное самим Фицджеральдом: «Вот почему этот роман так тяжело читать, – писал он, – из-за утраты иллюзий, придающих миру такую яркость, что уже неважно, где правда, а где ложь, лишь бы эта правда или ложь отливали этим чудесным сиянием». Мне хотелось объяснить им, что роман не о супружеской измене, а об утрате мечты. Мне почему-то было очень важно, чтобы мои студенты приняли «Гэтсби» таким, какой он есть, восхитились бы им и полюбили его из-за потрясающей и горькой красоты. Но этот класс требовал от меня более конкретных и практических доводов.

– Мы читаем «Гэтсби» не для того, чтобы узнать, хорошо это или плохо – супружеская измена. Мы читаем этот роман, чтобы понять, насколько сложны такие понятия, как измена, верность, брак. Великий роман обостряет чувства и восприимчивость к нюансам жизни и человеческой личности и препятствует фарисейству, рассматривающему мораль в виде незыблемых формулировок добра и зла...

– Но мэм, – прервал меня Ниязи, – нет никаких нюансов в том, что у человека связь с чужой женой. Почему бы Гэтсби не обзавестись собственной супругой? – угрюмо добавил он.

– А почему бы тебе не написать собственный роман? – раздался тихий насмешливый голос со среднего ряда. Ниязи оторопел. С этой минуты я уже не могла вставить ни слова. Они все как будто одновременно ощутили необходимость поучаствовать в обсуждении.

По моей просьбе Фарзан объявил десятиминутный перерыв. Я вышла из класса и двинулась на улицу; моему примеру последовали несколько студентов, которым тоже нужно было

подышать воздухом. В коридоре стояли увлеченные беседой Махтаб и Нассрин. Я подошла к ним и спросила, что они думают о суде.

Нассрин взбесило, что Ниязи считал, будто у него монополия на мораль. Сама она не одобряла Гэтсби, но тот, по крайней мере, был готов умереть за любовь. Мы втроем пошли по коридору. Большинство студентов окружили Заррин и Ниязи; те ожесточенно спорили. Заррин обвиняла Ниязи – тот, мол, обозвал ее проституткой. Ниязи чуть не посинел от ярости и негодования и, в свою очередь, называл ее лгуньей и дурочкой.

– А как еще воспринимать твои лозунги, где черным по белому написано – женщины, что отказываются носить хиджаб – проститутки и приспешницы Сатаны? Это, по-твоему, мораль? – кричала она. – А как же христианки, которым по вере не положено носить хиджаб? Они, по-твоему, все развращенные потаскушки? Все до единой?

– Но мы живем в мусульманской стране, – яростно кричал Ниязи, – таков закон, и все, кто его...

– Закон? – прервала его Вида. – Вы пришли и переписали законы. И это закон? В нацистской Германии тоже был закон, обязывавший евреев носить желтую звезду! По-твоему, все евреи должны были носить ее, потому что иначе они нарушили бы проклятый закон?

– Ох, – презрительно отмахнулась Заррин, – даже не пытайся говорить с ним на эту тему. Он их всех назовет сионистами и скажет, что получили по заслугам. – Ниязи, кажется, уже готов был вскочить и вклепить ей пощечину.

– Думаю, пора мне вмешаться, – шепнула я Нассрин, которая стояла рядом и заворуженно наблюдала за происходящим. Я призвала класс к порядку и велела всем вернуться на места. Когда крики стихли, а взаимные обвинения более-менее поутихли, я предложила начать открытое обсуждение. Мы не станем голосовать за вердикт, но выслушаем присяжных. Вердиктом станут их мнения.

Несколько левых активистов высказались в защиту романа. Мне казалось, они сделали это отчасти потому, что мусульманские активисты были настроены категорически против. По сути, их защита не сильно отличалась от обвинения Ниязи. Они утверждали, что литературу наподобие «Великого Гэтсби» читать необходимо, потому что мы должны иметь представление о безнравственности американской культуры. Нужно читать больше революционного материала, но и такие книги тоже нужны – чтобы понять врага.

Один ученик процитировал знаменитое высказывание товарища Ленина о том, что, слушая «Лунную сонату», он «добрее». Хочется гладить людей по спинкам, хотя надо бы забивать их дубинками – что-то в этом роде⁴². Одним словом, основной претензией моих студентов-радикалов к «Великому Гэтсби» было то, что роман отвлекает их от революционного долга.

Несмотря на разгоряченные споры – а может, как раз из-за них – многие студенты отмалчивались, хотя довольно большая группа окружила Заррин и Виду, бормоча слова поддержки и похвалы. Потом я узнала, что большинство студентов поддерживали Заррин, но лишь немногие оказались готовы рискнуть и заявить о своих взглядах вслух; как мне потом сказали, им не хватало уверенности, чтобы изложить свою позицию так же «красноречиво», как защита и обвинение. Некоторые в личной беседе признались, что считают книгу хорошей. Почему же тогда они не высказались в ее защиту? Потому что другие излагали свои позиции так уверенно, с таким пылом, а они не могли даже сформулировать, почему книга им понравилась – просто понравилась, и все.

Перед самым звонком Заррин, молчавшая с перерыва, внезапно встала. Она явно волновалась, хоть и говорила тихо. Она сказала, что иногда не понимает, зачем некоторые ее одно-

⁴² А дословно это звучало так: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми» (из очерка «Владимир Ильич Ленин» М. Горького).

курсники выбрали литературный факультет. Что значит для них эта профессия? Что до книги, ей нечего больше сказать в ее защиту. Сам роман – главный аргумент в его защиту. А нам, пожалуй, есть чему поучиться у Фицджеральда. Прочитав «Великого Гэтсби», Заррин не пришла к выводу, что супружеская измена – это хорошо и всем нужно стать мошенниками. Разве все прочитавшие Стейнбека разом забастовали и двинулись на запад? А прочитавшие Мелвилла – все ли они отправились на китобойный промысел? Все-таки люди не настолько просты. А революционеры – неужто они лишены личных переживаний, эмоций? Неужто никогда не влюбляются, не любят красоту? Это потрясающая книга, тихо сказала она. Она учит ценить мечты и относиться к ним с осторожностью; учит искать честность там, где ее не ждешь найти. К тому же, Заррин получила удовольствие от чтения, а это тоже аргумент в защиту книги, неужели вы не видите?

В этом «неужели вы не видите» я услышала искреннюю тревогу, превосходящую ее презрение и ненависть к Ниязи. Она хотела, чтобы и он увидел, непременно увидел. Она замолчала и оглядела класс и своих товарищей. Те еще долго ничего не говорили. Даже Ниязи не нашелся с ответом.

В тот день я ушла с занятий довольной. Когда раздался звонок, многие его даже не заметили. Мы не вынесли официальный приговор, но вовлеченность моих студентов стала лучшим вердиктом, по крайней мере, для меня. Когда мы расстались у входа в класс, они все еще спорили, и спор этот был не о заложниках и недавних демонстрациях, не о Раджави⁴³ и Хомейни, а о Гэтсби и его утраченной мечте.

⁴³ Раджави, Мирьям и Масуд – лидеры леворадикального анти-фундаменталистского сопротивления в Иране.

19

Наши обсуждения «Гэтсби» одно время казались такими же напряженными и важными, как и идеологические конфликты, бушующие по всей стране. А на самом деле, на политической и идеологической арене разыгрывались дебаты на ту же тему, ну разве что с некоторыми отличиями. Революционеры поджигали издательства и книжные магазины, распространявшие безнравственную художественную литературу. Одну писательницу посадили в тюрьму и обвинили в «пропаганде проституции». За решетку отправлялись репортеры, закрывались газеты и журналы, запрещали и цензурировали наших лучших поэтов-классиков – Руми и Омара Хайяма.

Как и другие идеологические режимы, исламские революционеры, по-видимому, верили, что писатели стоят на страже нравственности. Это сбивало писателям прицел; в этой священной роли они, как ни парадоксально, оказывались связанными по рукам и ногам. За новый высокий статус приходилось расплачиваться эстетическим бессилием.

Лично для меня суд над «Гэтсби» стал возможностью озвучить свои собственные чувства и желания. Еще никогда, даже в период революционной деятельности, я не ощущала такого пыла по поводу своей работы и литературы. Мне хотелось применить это рвение с пользой, и на следующий день я попросила Заррин остаться после занятий. Я сказала, что очень признательна ей за защиту. Боюсь, меня никто не услышал, несколько разочарованно произнесла она. Не будь так уверена, ответила я.

Два дня спустя, проходя мимо меня в коридоре, коллега заметил: на днях слышал из твоей аудитории крики. Представь мое удивление, когда я прислушался и обнаружил, что вы там обсуждали не Ленина и имама, а Фицджеральда и ислам. Кстати, тебе стоит поблагодарить своего юного протеже. Кого ты имеешь в виду, смеясь, спросила я? Бахри – он, кажется, стал твоим рыцарем в сияющих доспехах. Слышал, ему удалось усмирить разгневанных и каким-то образом убедить Мусульманскую студенческую ассоциацию, что ты затеяла суд над Америкой.

В то время в университете происходили стремительные перемены, радикалы и мусульмане все чаще устраивали стычки, их конфликт стал более явным. «Как вышло, что вы своим бездействием позволили шайке коммунистов захватить университет? – упрекал Хомейни группу мусульманских студентов. – Вас что же, меньше числом? Бросайте им вызов, спорьте с ними, вступайте в противостояние и заявляйте о себе!» Далее он рассказал историю, своего рода притчу – он это любил. Хомейни спросил одного из лидеров политического духовенства, Модаресса⁴⁴, как поступить с чиновником из его города, который решил назвать двух своих собак Шейхом и Сейедом⁴⁵ – явное оскорбление духовенства. По словам Хомейни, Модаресс ответил: «Убей его». Хомейни заключил, цитируя Модаресса: «Бейте первыми, а другие пусть жалуются. Не будьте жертвами и не ропщите».

⁴⁴ Это не Сейед Хасан Модаресс (1870–1937) – один из лидеров исламской революционной оппозиции при Реза-шахе, убитый в тюрьме в 1937 году, а, видимо, его однофамилец.

⁴⁵ Шейх – почетное наименование богослова в исламе; Сейед может быть отсылкой к Сейеду Хасану Модарессу, а может быть и именем других видных исламских деятелей, в том числе нынешнего аятоллы, соратника Хомейни Сейеда Али Хаменеи.

20

Через несколько дней после суда над «Гэтсби» я поспешно собрала свои конспекты и книги и вышла из аудитории, занятая своими мыслями. Аура суда все еще витала над классом. Некоторые студенты останавливали меня в коридорах, хотели поговорить о «Гэтсби» и изложить свои взгляды. Два-три человека даже написали по роману сочинения, хотя я их об этом не просила. Выйдя на ласковый свет предзакатного солнца, я остановилась на ступенях, услышав ожесточенную дискуссию между группой студентов-мусульман и их оппонентами – марксистами и секуляристами. Они кричали и жестикулировали. Я заметила Нассрин, стоящую чуть поодаль от толпы; она прислушивалась к спору.

Вскоре ко мне присоединились Заррин, Вида и их подруга из другой группы. Мы празднично стояли в стороне и наблюдали за происходящим, иногда отпускали презрительные комментарии, и тут из дверей вышел Бахри с решительной и хмурой миной. Увидев меня, он на миг остановился на широкой лестнице. Проследил за моим взглядом, направленным в гущу спора. Потом повернулся ко мне с улыбкой и произнес: «Обычное дело. Развлекаются». С этими словами он ушел, а я осталась стоять с Заррин и ее подругами в некоторой растерянности.

Толпа рассеялась; Нассрин осталась одна, выглядела она неуверенно, и я поманила ее, чтобы присоединялась к нам. Она застенчиво подошла к нашей группе. День стоял теплый; деревья и их тени, казалось, кокетливо танцевали друг с другом. Мои студенты разговорили меня, стали спрашивать о том, как я сама была студенткой. Я рассказала им, что такое протест в представлении американских студентов: когда длинноволосые парни бегают по кампусу нагишом.

Они рассмеялись, потом снова замолчали, вспомнив, где находятся. Я же продолжила и сказала, что лучшие воспоминания о том времени связаны у меня с моими профессорами. Любимых профессоров у меня было четверо, заметила я, смеясь, – доктор Йох, консерватор, революционер доктор Гросс и два либерала – доктор Вейл и доктор Элконин. Кто-то сказал – «о, профессор» – они называли меня «профессором», тогда это казалось еще более странным, чем сейчас – «вам бы понравился профессор Р.; до недавнего времени он преподавал у нас на кафедре».

Кое-кто из студентов о нем не слышал, некоторые его знали, а одна студентка пару раз бывала у него на занятиях. Он преподавал на факультете изящных искусств, был известным и противоречивым театральным и кинокритиком, писал рассказы. Таких, как он, называли тренд-сеттерами – в двадцать один год он стал литературным редактором журнала, а в скором времени у него и группы его друзей появилось в литературной среде много почитателей и врагов. Сейчас ему было около сорока, и он объявил, что выходит на пенсию. Ходили слухи, что он писал роман.

Одна студентка назвала его вздорным и непредсказуемым. Подруга Заррин поправила ее: не вздорный он, просто не такой, как все. Другая ее подруга повернулась ко мне и поделилась своим наблюдением: «Знаете, профессор, он из тех людей, о ком ходят легенды. Из тех, что не оставляют равнодушным никого».

Одна из легенд о профессоре звучала так: он не устанавливал временной лимит для своих занятий; урок мог начаться в три часа дня и продолжаться пять-шесть часов. Студентам приходилось оставаться до конца. Вскоре о профессоре заговорили, особенно те, кто интересовался кино. Многие студенты из других университетов тайком прогуливали занятия и посещали его классы, хотя за это полагалось наказание. Вход в Тегеранский университет осуществлялся по студенческим билетам, но студенты стали воспринимать проникновение на территорию как личный вызов. Самые упорные и непокорные перепрыгивали через заборы, чтобы избежать

столкновения с охраной на входе. Лекции профессора всегда собирали толпы; студентам иногда приходилось стоять в коридоре часами, прежде чем удавалось попасть в аудиторию.

Профессор преподавал театроведение и киноведение; читал лекции о древнегреческом театре, Шекспире, Ибсене и Стоппарде, Лореле и Харди⁴⁶ и братьях Маркс. Он обожал Винсента Миннелли, Джона Форда и Говарда Хоукса⁴⁷. Эти рассказы о нем отложились у меня тогда на подсознательном уровне. Много лет спустя, когда он подарил мне на день рождения кассеты с фильмами – «Пират», «Джонни-гитара», «Вечер в опере», я вспомнила тот день и разговор на ступенях в университете.

Вида спросила, слышала ли я, какой финт он выкинул перед тем, как его выгнали из университета. Нет, он уволился, его не успели выгнать, поправила ее другая студентка. Я ничего не слышала о его уходе, в том числе об этом, как она выразилась, «финте». Но узнав, что случилось, я впоследствии готова была пересказывать эту историю всем, кто соглашался слушать. А когда намного позже познакомилась с профессором лично – он и был моим волшебником, – то заставила его рассказать ее мне и потом неоднократно просила повторить еще раз.

Однажды радикально настроенные студенты и преподаватели театрального отделения факультета изящных искусств собрались, чтобы изменить программу занятий. Им казалось, что некоторые курсы слишком буржуазны и больше не нужны; они хотели добавить в программу новые, более революционные курсы. На собрании, где было много народу, разразились горячие дебаты; студенты требовали, чтобы Эсхила, Шекспира и Расина заменили Брехтом и Горьким и даже Марксом и Энгельсом – мол, революционная теория важнее пьес. Все преподаватели сидели на платформе в зале, кроме одного – того самого профессора, который стоял в глубине зала у двери.

Чтобы решение не выглядело совсем уж недемократическим, организаторы собрания спросили, есть ли кто-то, кто не одобряет новое предложение. «Я не согласен», – послышался голос из глубины зала. Повисла тишина. Голос затем объяснил, что, по его мнению, никто – то есть абсолютно никто, ни один революционный лидер или политический деятель, – не может быть важнее Расина. И он, будучи преподавателем драматургии, умеет преподавать Расина. Если они не хотят знать о Расине – их дело. Когда они решат, что университет снова должен стать нормальным учебным заведением, и вернут Расина в программу, он с радостью вернется и снова будет преподавать. Не веря ушам своим, собравшиеся резко обернулись на голос. Тот, как выяснилось, принадлежал непокорному волшебнику. Кто-то начал нападать на него, разносить его «формалистские» и «упаднические» взгляды. Твердить, что его идеи устарели и пора уже идти в ногу со временем. Одна девушка встала и попыталась утихомирить возмущенную толпу. Она сказала, что профессор всегда учитывает интересы студентов и ему нужно позволить высказаться.

Позднее, когда я пересказала ему эту историю так, как ее рассказали мне, он меня поправил: он начал говорить, стоя в глубине зала, но потом его попросили подняться на кафедру. Он шел к кафедре в тишине, словно его уже судили.

Когда он снова заговорил, то сказал, что в одном фильме Лорела и Харди ценности больше, чем во всех революционных трактатах, в том числе в трудах Маркса и Ленина. То, что они называли «революционным пылом», пылом не являлось, не являлось даже безумием – это была грубая эмоция, недостойная настоящей литературы. Если они изменяют программу, заявил он, он откажется преподавать. Он сдержал слово и так и не вернулся в университет, хотя участвовал в пикетах против закрытия университетов. Он хотел, чтобы его студенты знали – в тот день он ушел не потому, что боялся репрессий правительства.

⁴⁶ Стэн Лорел и Оливер Харди – легенды немого кино, одна из самых популярных комедийных пар в истории кино.

⁴⁷ Винсент Миннелли – американский режиссер театра и кино; Джон Форд – американский кинорежиссер, мастер вестерна, четырехкратный обладатель «Оскара» за режиссуру; Говард Хоукс – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, одна из главных фигур эпохи «золотого Голливуда»; один из самых известных его фильмов – «Лицо со шрамом» (1932).

Мне сказали, что он фактически изолировался от мира в своей квартире и теперь встречается лишь с избранным кругом друзей и учеников. «С вами он был бы рад познакомиться, профессор», – пылко заметила одна моя студентка. Я не разделяла ее уверенности.

21

В январе состоялось наше последнее занятие по «Великому Гэтсби». Улицы завалило рыхлым снегом. Я хотела обсудить с учениками два образа. Свою старую потрепанную книжку с неразборчивыми пометками на полях и в конце я оставила в Иране. Когда я уезжала, все мои драгоценные книги пришлось оставить там. Сейчас у меня новая книга, издание 1993 года, с незнакомой обложкой; не знаю, как к ней относиться.

Мне бы хотелось начать с цитаты из Фицджеральда, имеющей ключевое значение для понимания не только «Великого Гэтсби», но всего литературного наследия писателя, сказала я. Мы говорили о содержании этого романа и упомянули несколько тем, но есть в романе сквозная нить, которая, на мой взгляд, определяет его суть, и это проблема утраты – утраты иллюзий. Ник не одобряет всех людей, с которыми так или иначе связан Гэтсби, но его неодобрение не распространяется на самого Гэтсби. Почему? Потому что Гэтсби обладает тем, что Фицджеральд в своем рассказе «Избавление» называет «честностью воображения».

В этот момент вверх взметнулась рука Ниязи.

– Но ведь Гэтсби еще более нечестен, чем все остальные, – воскликнул он. – Он зарабатывает незаконной деятельностью и водится с преступниками.

С одной стороны, вы правы, ответила я. В Гэтсби все ненастоящее, даже его имя. У остальных героев романа более устойчивая позиция и идентичность. Что до идентичности Гэтсби, та постоянно формируется и изменяется окружающими. На его вечеринках гости заговорщицким шепотом обсуждают и его персону, и его великие и ужасные деяния. Том решает выяснить, кто он такой на самом деле, и самому Нику тоже становится любопытно, кто же он – загадочный Джей Гэтсби. Но Гэтсби вызывает у всех любопытство вперемешку с благоговением. В реальности он – шарлатан. Но правда в том, что Гэтсби – романтический и трагический мечтатель; он становится героем, потому что верит в собственную романтическую иллюзию.

Гэтсби не может выносить убогости своей жизни. Он обладает «удивительным даром надеяться, готовностью совершать романтические поступки» и «повышенной чувствительностью к жизненным обещаниям». Он не может изменить мир, поэтому меняет себя в соответствии с мечтой. Вот как это объясняет Ник: «Джей Гэтсби из Уэст-Эгга на Лонг-Айленде возник из собственной платонической идеи о себе. Он был сыном Божиим – фраза, которую следует воспринимать буквально, если она вообще что-то значит, – и занимался делом своего Отца, служа громадной, вульгарной, мишурной красоте. Он изобрел такого Джея Гэтсби, какого мог бы изобрести семнадцатилетний юноша, и остался верен этой идее до самого конца».

Гэтсби был предан своему придуманному «я», и это «я» воплотилось в Дейзи. Он остался верен обещаниям этого «я», зеленому свету на той стороне бухты, а не убогой мечте о богатстве и процветании. Таким образом родилась «колоссальная иллюзия», ради которой он пожертвовал жизнью. Фицджеральд пишет: «Никакой огонь и холод не разрушит то, что человек готов хранить в своем призрачном сердце».

Его преданность Дейзи связана с его преданностью этой воображаемой идее о себе. «Он много говорил о прошлом, и я понял, что он хочет что-то вернуть, возможно, некую идею о себе, вложенную в любовь к Дейзи. Его жизнь с тех пор утратила порядок и согласованность, но если бы он смог хоть раз вернуться к началу и медленно воссоздать, как все было, он бы нашел ту самую идею...»

Однако мечта вечна и простирается за пределы «я» и личной жизни Гэтсби. В более широком смысле мечта существует в городе, в самом Нью-Йорке; в «Восточном Яйце» – гавани, которая некогда была мечтой сотен тысяч эмигрантов, а теперь стала меккой для американцев со Среднего Запада, приезжающих сюда в поисках новой жизни и развлечений. Хотя

город пробуждает волшебные мечты и дарит смутные надежды, в реальности он является пристанищем примитивных интрижек и отношений, как у Тома и Миртл. Город, как Дейзи, несет в себе обещание, мираж, но в приближении этот мираж оказывается убогим и развращенным. Город – связующее звено между мечтой Гэтсби и американской мечтой. Мечтает Гэтсби не о деньгах, а о том, кем он может стать. Его мечта характеризует Америку не как страну материализма, а как страну идеализма, превратившую деньги в способ осуществления мечты. И в этом как раз нет ничего материального, или же материальное переплетено с мечтой так тесно, что становится трудно отличить одно от другого. В конце концов в романе сливаются самые высокие идеалы и самая низменная реальность. Не могли бы вы открыть последнюю страницу? Там, как вы помните, Ник описывает прощание с домом Гэтсби. Бахри, я вижу, сегодня вы почтили нас своим присутствием. Будьте добры, прочитайте отрывок – третья строчка в абзаце, начиная с «большинство домов на берегу...»

«И когда луна поднялась высоко, дома, казавшиеся здесь лишними, растворились во мраке, пока наконец старый остров не предстал передо мной таким, каким однажды расцвел он пред глазами голландских моряков – свежим зеленым берегом нового мира. Его исчезнувшие деревья, срубленные ради постройки дома Гэтсби, некогда шептались о последней и величайшей человеческой мечте, и на краткий волшебный миг человек, должно быть, затаил дыхание в присутствии этого континента, вынужденный созерцать его красу, хотя созерцание это не являлось для него чем-то понятным и даже желательным. Однако именно здесь в последний раз в истории он столкнулся лицом к лицу с чем-то, что пробудило в нем способность удивляться».

Продолжать, спросил Бахри? Да, прошу; дочитайте до конца следующего абзаца.

«Сидя там и размышляя о старом неведомом мире, я подумал об удивлении, что испытал Гэтсби, впервые увидев зеленый огонек на другом берегу бухты, где жила Дейзи. Он прошел долгий путь, прежде чем очутиться на этой лужайке, залитой синим сумраком, и его мечта была так близко, что, казалось, не ухватиться за нее было невозможно. Он не знал, что уже упустил ее; она осталась где-то там, в громадной неизвестности за городской чертой, где под ночным небом раскинулись поля его страны».

Он мог быть нечестным в жизни, мог лгать на свой счет, но он не мог предать свое воображение. Гэтсби в конечном итоге предает «честность его воображения»; он умирает, так как в реальном мире такому человеку не выжить.

Мы, читатели, как и Ник, одобряем и не одобряем Гэтсби. Мы можем с уверенностью сказать, что в нем вызывает наше неодобрение и с гораздо меньшей уверенностью – что нас в нем восхищает, ведь, как и Ник, мы запутались в романтических силках его мечты. В его истории слышатся отголоски историй первопроходцев, прибывших к берегам Америки в поисках нового края, нового будущего и своей собственной мечты, изначально омраченной насилием, с помощью которого она претворялась в жизнь.

Не надо было Гэтсби стремиться обладать мечтой, пояснила я. Даже Дейзи это знала; она любила его, насколько в принципе способна была любить, но не могла пойти наперекор своей природе и не предать его.

Однажды осенью они останавливаются на улице, в месте, где «тротуар белеет в лунном свете... Краем глаза Гэтсби увидел, что тротуар поднимается вверх уступами и образует лестницу, ведущую в потайной уголок над деревьями – он мог бы забраться туда, если бы был один, и очутившись там, испил бы сок жизни, глотнул бы чуда несравненное млеко. Сердце его забилось быстрее, когда Дейзи повернула к нему свое бледное лицо. Он знал, что если поцелует эту девушку и навек привяжет свои невысказанные мечты к ее бренному дыханию, его разум навсегда утратит легкость, свойственную разуму Бога».

А теперь откройте, пожалуйста, страницу восемь и прочитайте начиная со слов «нет – для Гэтсби»...

«Нет – для Гэтсби в конце концов все обернулось хорошо; но то, что терзало его, та грязная пыль, что осталась витать над обломками его мечты, временно лишило меня интереса к бессмысленным печалям и недолговечным восторгам рода человеческого».

Для Гэтсби обладание богатством является лишь способом достижения цели; богатство приближает его к обладанию мечтой. Мечта лишает его способности отличать воображение от реальности – его волшебная страна построена из «грязной пыли». Грезы его на время становятся «отдушиной для его воображения, обнадеживающим намеком на призрачность реальности, верой, что скала этого мира надежно покоится на крыле сказочной феи».

Теперь давайте повторим все, что мы обсудили. Да, в романе рассказывается про отношения конкретных людей из плоти и крови, про любовь мужчины к женщине, которая эту любовь предала. Но он также повествует о богатстве, его великой притягательности и разрушительной силе, о беспечности, которую богатство за собой влечет, и да, об американской мечте – мечте о власти и достатке, о манящем огоньке дома Дейзи и американского порта, куда прибывают эмигранты. Он также повествует об утрате, о бренности мечты, которая, становясь реальностью, немедля умирает. Чистота мечты не омрачена, лишь когда она еще не материальна и человек тоскует по ней.

Нас, иранцев, с Фицджеральдом объединяло то, что мы стали одержимы этой мечтой, захватившей нашу реальность; мечта эта была ужасной и прекрасной, чудовищной в своем воплощении, так как оправдывала и прощала любое насилие. Вот что у нас было общего, хотя тогда мы этого не понимали.

Мечты, Ниязи, – безупречный идеал, они представляют собой нечто завершенное. Разве можно навязывать их постоянно меняющемуся, несовершенному, незавершенному миру? Тогда мы все станем Гумбертом, разрушившим объект своих мечтаний, – или Гэтсби, разрушившим себя.

В тот день я вышла из класса, не сказав студентам о том, что только что начала понимать сама: насколько же сильно наша судьба начинает походить на судьбу Гэтсби. Тот хотел осуществить свою мечту, повторив прошлое, и в конце концов узнал, что прошлое умерло, настоящее – фальшивка, а будущего нет. Не напоминает ли это нашу революцию, которая свершилась во имя нашего общего прошлого и разрушила наши жизни во имя мечты?

22

После занятия я чувствовала себя вымотанной. Попыталась уйти побыстрее, притворилась, что меня ждут срочные дела. На самом деле делать мне было нечего. Я надела пальто, шляпу и перчатки и ушла. Идти было тоже некуда. В тот день шел сильный снег, а потом выглянуло солнце и засверкало на чистых белоснежных сугробах. У меня была подруга старше меня, подруга детства, которую я очень любила – мы дружили, когда я была совсем маленькой, еще до того, как меня отправили учиться в Англию. Мы с ней иногда подолгу гуляли по снегу. Шли мимо нашей любимой кондитерской, где готовили самые вкусные профитролы с настоящими сливками. Покупали их и выходили на заснеженную улицу; укрытые сверкающими на солнце сугробами, мы ели профитролы, болтали о какой-то ерунде и гуляли, гуляли, гуляли.

Я вышла из университета и пошла вдоль книжных магазинов. Уличные продавцы кассет включили музыку на полную громкость и перепрыгивали с ноги на ногу, чтобы согреться; они надвинули шерстяные шапочки себе на лоб, изо рта у них вырывался пар и, казалось, плясал под музыку, поднимаясь вверх и растворяясь в голубом небе. Чуть дальше книжные магазины заканчивались, уступая другим; еще там был кинотеатр, куда мы ходили в детстве, но сейчас его закрыли. Сколько кинотеатров сожгли в дни торжества революции! Я шагала дальше и наконец дошла до площади Фирдоуси⁴⁸, названной в честь нашего великого эпического поэта; там я остановилась. Не здесь ли мы с моей подругой стояли и смеялись в тот день, когда слизывали сливки с профитролей?

Шло время, и снег с каждым годом становился все грязнее, как воздух в Тегеране; моя подруга была в изгнании, а я вернулась домой. До тех пор «дом» был для меня чем-то призрачным, ускользающим; он показывался мне манящими вспышками, знакомый, но обезличенный, как старые семейные фотографии. Однако все эти чувства принадлежали прошлому. Дом постоянно менялся на моих глазах.

В тот день у меня возникло ощущение, будто я что-то теряю, оплакиваю смерть чего-то пока что не умершего. Словно все личное вытоптали, подобно хрупким полевым цветам, которые выдирают, чтобы посадить на их месте роскошный сад, где все будет расти культурно и организовано. Студенткой в Штатах я никогда не ощущала этой утраты. В те годы моя тоска по дому сопровождалась уверенностью, что этот дом – мой и я могу в любой момент вернуться. Лишь оказавшись там, я осознала истинный смысл слова «изгнание». Шагая по горячо любимым улицам, которые вспоминала с трепетом, я чувствовала, как под ногами гибнут хрупкие цветы моих воспоминаний.

⁴⁸ Фирдоуси (935–1020) – классик персидской литературы, автор эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей»).

23

Весенний семестр начался тревожно. Уже в начале в программе остались лишь редкие классы. В прошлом году у правительства были другие заботы – оно подавляло оппозицию, закрывало прогрессивные газеты и журналы, наказывало бывших государственных функционеров и вело войну против меньшинств, особенно курдов. Теперь оно обратило свой взгляд на университеты, эти колыбели инакомыслия, где мусульманские революционеры полной властью не обладали. Университеты выступали против подавления прогрессивных сил, тем самым заняв место запрещенных газет. Почти каждый день в каком-нибудь университете – а в Тегеранском университете особенно – проходила акция протеста, выступление или демонстрация.

Однажды утром я вошла в наш корпус и сразу почувствовала: что-то не так. На стену напротив входа кто-то повесил увеличенную фотографию Хашеми Рафсанджани⁴⁹, который тогда был спикером парламента. Рядом с ней висела листовка, сообщавшая студентам о «заговоре» с целью закрытия университетов. Под фотографией и предупреждением полукругом расположилась большая группа студентов; большой полукруг разбился на несколько маленьких. Я подошла; студенты, среди которых я узнала своих, расступились и пропустили меня вперед, в центр полукруга, где я обнаружила Ниязи, разгоряченно спорившего с одним из лидеров левой студенческой организации.

Ниязи яростно отрицал намерение правительства закрыть университеты. Его оппонент приводил в пример речь Рафсанджани в Мешхедском университете⁵⁰, где тот вещал о необходимости очистить образовательную систему и спровоцировать культурную революцию в университетах. Они продолжали спорить, повторяя одни и те же доводы; гул толпы их подзадоривал. Я не осталась до конца; было ясно, что конца не предвидится. В тот период в университетах преобладали левые и секуляристы; мы и представить не могли, какие изменения грядут. Нам казалось невообразимым, что университеты закроют, как прежде казалось невообразимым, что женщины согласятся обрядиться в чадру.

Однако уже совсем скоро правительство заявило о своем намерении приостановить занятия и сформировать комитет для проведения культурной революции. Комитет наделили полномочиями преобразовать университеты таким образом, чтобы они устраивали лидеров Исламской революции. Члены комитета не совсем ясно представляли, чего они хотят, зато очень ясно представляли, чего *не* хотят. Им дали полномочия увольнять неугодных преподавателей, сотрудников и студентов, формировать новый свод правил и новую программу. То была первая организованная попытка очистить Иран от всего, что называли «упаднической западной культурой». Большинство студентов и преподавателей противились этой диктатуре, и Тегеранский университет в который раз стал полем битвы.

С каждым днем посещение занятий становилось все более невозможной задачей. Мы лихорадочно метались от одного митинга к другому, словно надеясь остановить комитетчиков одной лишь своей суетой. На демонстрации ходили все – и студенты, и преподаватели. Между различными студенческими организациями существовало много разногласий.

Студенты маршировали и устраивали сидячие забастовки. Я сама ходила на эти митинги, хотя тогда уже не чувствовала приверженности повестке какой-либо организации. Если бы к власти пришли левые, они бы делали то же самое. Но это не имело значения; главным сейчас было спасти университет, к уничтожению которого, как и к уничтожению Ирана, мы все приложили руку.

⁴⁹ Иранский политик, который в том числе был президентом Ирана с 1989 по 1997 годы.

⁵⁰ Второй по численности населения город Ирана после Тегерана.

24

Так начался новый цикл кровавых демонстраций. Мы выходили маршировать, обычно перед зданием Тегеранского университета, и к шествию постепенно присоединялось все больше народу. Мы шагали в сторону бедных кварталов, а потом – обычно это происходило на определенном пересечении улиц или там, где начинался узкий переулок – появлялись «они» и нападали на нас с ножами и дубинками. Демонстранты разбежались и чуть дальше тихо собирались снова. Мы шли по петляющим улицам и извилистым грунтовыми переулками, и вдруг «они» приходили снова и нападали на другом перекрестке, сверкая лезвиями; мы снова бежали и в нескольких кварталах снова сталкивались с «ними».

Один день запомнился мне особенно хорошо. Мы с Биджаном рано ушли домой; он ехал на работу и высадил меня около университета. В нескольких кварталах я заметила толпу, состоящую в основном из молодых людей; они несли лозунги и направлялись к университету. Среди них была Нассрин; я не видела ее уже несколько недель. Она держала в руках листовки и шагала в переднем ряду. На углу она и еще одна девушка отделились от группы и свернули на другую улицу. Я вдруг вспомнила, что Нассрин так и не сдала мне обещанную курсовую по «Великому Гэтсби»; она исчезла из моей жизни так же внезапно, как и появилась. Я все гадала, увижу ли ее снова.

Я поравнялась с группой скандирующих студентов, возникших словно ниоткуда. Вдруг засвистели пули; откуда они летели, непонятно. Пули были настоящие. Еще секунду назад мы стояли у широких кованых ворот университета, а потом я уже бежала в сторону книжных магазинов, большинство которых из-за беспорядков закрылись. Я укрылась под навесом открытого магазина. Рядом продавец кассет оставил включенным магнитофон; скорбный голос певца оплакивал обманутую любовь.

Весь день превратился в один нескончаемый кошмар. Я утратила ощущение времени и места, то и дело вливаясь то в одну, то в другую группу, которые тут же рассеивались, перемещаясь с улицы на улицу. К вечеру собралась одна большая демонстрация. Вскоре она переросла в самое кровавое столкновение между студентами и правительством за всю историю университетских бунтов. Вдобавок к бандитам и народному ополчению правительство привезло несколько автобусов с рабочими с различных фабрик; их вооружили дубинками и ножами и организовали встречную демонстрацию, пустив их на толпу студентов. Рабочих выбрали, потому что левые идеализировали пролетариев, считая их своими союзниками.

Когда начали стрелять, мы все разбежались в разные стороны. Помню, там я случайно встретила свою бывшую одноклассницу – мы дружили в шестом классе. Посреди выстрелов и лозунгов мы обнялись и стали рассказывать друг другу о том, что случилось за те почти двадцать лет, что прошли с момента нашей последней встречи. Она сказала, что все идут в сторону больницы рядом с Тегеранским университетом, где якобы лежат тела убитых и раненых студентов.

Я потеряла ее в толпе и очутилась одна на территории большой больницы; раньше это была больница имени Пехлеви, названная в честь последнего шаха, но теперь ее переименовали в больницу имама Хомейни. Поговаривали, что полицейские и гвардия украли тела убитых студентов, чтобы вести об их смерти не просочились в массы. Студенты задумали штурмовать больницу, чтобы тела не увезли.

Я подошла к главному корпусу, и сейчас в своей памяти я иду и иду навстречу этому зданию, но никогда не подхожу достаточно близко; иду в трансе, а люди бегут мне навстречу и в обратную сторону. У всех какая-то цель, все знают, куда идут – все, кроме меня, я шагаю одна. Вдруг я вижу в толпе бегущих мне навстречу знакомое лицо. Махтаб.

В тот момент, когда я смотрела на нее, она казалась мне заблудившимся испуганным зверьком, парализованным и застывшим. Вероятно, от шока она шла по прямой почти механически, не сворачивая ни налево, ни направо и удерживая почти идеальное равновесие. Представьте, как Махтаб подходит ко мне. Две девушки преграждают мне путь, а потом возникает она; на ней джинсы и свободная бежевая рубашка; она встает передо мной, и наши взгляды встречаются. Она готова была пройти мимо, но на краткий миг остановилась. Мы стояли, на миг оставшись вдвоем посреди наших чудовищных поисков. Она сообщила, что «они» похитили тела из моргов больницы. Никто не знал, куда их увезли. Сказав это, она исчезла, и в следующий раз я увидела ее только через семь лет.

Стоя в одиночестве на территории больницы в окружении бегущих куда-то людей, я испытала странное чувство: сердце мое словно вырвали из тела, и оно с глухим стуком приземлилось в пустоте, в громадной бездне, о существовании которой я не подозревала. Я устала и была напугана. Боялась я не пуль; пули были слишком близко. Я чувствовала, как от меня удаляется будущее, и страшилась, что его не станет.

25

Студенты несли вахту на территории университета, чтобы тот не закрылся. Они стояли там до тех пор, пока не разразилось не что иное, как кровавая бойня, хотя вооружены были лишь силы правительства; студентов эвакуировали с территории, а университет захватили Стражи Революции, ополчение и полиция.

В одну из этих вечерних вахт я увидела Бахри. Вечер пропитался тревогой и атмосферой ложной близости, которая всегда присутствует на таких мероприятиях. Мы сидели на земле очень близко друг к другу, рассказывали анекдоты и истории, делились информацией, иногда спорили приятными теплыми вечерами. Сейчас он стоял один в темном углу, прислонившись к дереву. И что вы обо всем этом думаете, спросила я? Он сразу же улыбнулся и сказал – нет, мэм, скажите лучше вы – что *вы* обо всем этом думаете? Бахри, медленно отвечала я, мое мнение с каждым часом становится все менее и менее важным. Настолько неважным, что пойду-ка я лучше домой, возьму книгу и постараюсь уснуть.

Я знала, что удивила его, но еще больше удивила себя. Я вдруг почувствовала, что это не моя борьба. Для большинства присутствующих восторг сражения был главной причиной, по которой они находились здесь, но я его не разделяла, а если и испытывала, то по другому поводу. Мне было все равно, кто закроет университет – мои студенты левого толка или исламисты. Важно было, чтобы его не закрыли, чтобы он продолжил функционировать как университет и не стал полем битвы различных политических группировок. Однако чтобы наконец усвоить это и сформулировать понимание, мне понадобилось очень много времени – еще семнадцать лет.

Вскоре правительству все-таки удалось закрыть университеты. Среди преподавательского состава, студентов и сотрудников прошли чистки. Некоторых студентов убили или посадили в тюрьму; другие просто исчезли. Тегеранский университет стал местом, где поселилось разочарование, глубокая печаль и боль. А я больше не бежала в класс с наивным предвкушением, с радостью, как тогда, на заре революции – эти дни навсегда остались в прошлом.

26

Случилось так, что однажды, весной 1981 года – до сих пор чувствую солнце и утренний ветерок на щеках – я стала ненужной. Прошло чуть больше года со дня моего возвращения в страну, к себе домой, и я обнаружила, что указ, которым слово «Иран» трансформировали в «Исламскую Республику Иран», трансформировал и меня, сделав меня и все, чем я была, ненужным. И тот факт, что я делила эту участь со многими другими людьми, ничуть меня не утешал.

На самом деле, я стала ненужной еще раньше. После так называемой культурной революции, которая привела к закрытию университетов, я, по сути, лишилась работы. Мы по-прежнему ходили в университет, но делать было нечего. Я вела дневник и читала Агату Кристи. Бродила по улицам со своим другом, американским репортером, беседовала с ним о Нижнем Ист-Сайде Майка Голда и «Восточном Яйце» Фицджеральда. Вместо занятий нас созывали на бесконечные собрания. Администрация хотела, чтобы мы прекратили работать и в то же время притворились, что ничего не изменилось. Хотя университеты были закрыты, преподавателей обязали ходить на работу и представлять проекты Комитету культурной революции.

То были праздные дни, и лишь одно в них оставалось неизменным – крепкая дружба, сложившаяся между нами и нашими коллегами с других факультетов. Я была самой молоденькой преподавательницей с наименьшим стажем; мне было чему поучиться у остальных. Те рассказывали о днях, предшествовавших революции, о восторге и надежде; рассказывали о коллегах, которые так и не вернулись на работу.

Новый, недавно назначенный Комитет по внедрению культурной революции созвал сотрудников факультета права и политологии и факультета персидского языка и иностранных языков и литературы в актовом зале юридической школы. Несмотря на официальные и неофициальные предписания, обязывающие преподавательниц и сотрудниц университета покрывать голову, до того самого дня большинство женщин в нашем университете этого не делали. Это было первое собрание на моей памяти, когда все женщины были в платках. Все, кроме трех: Фариде, Лале и меня. Мы были независимыми, нас считали эксцентричными, поэтому мы пошли на собрание без платков.

Трое членов Комитета культурной революции довольно смущенно восседали на очень высокой сцене. На их лицах сменяли друг друга выражения надменности, нервозности и неповиновения. В Тегеранском университете это собрание стало последним, на котором преподавательский состав открыто критиковал правительство и его политику в отношении высшего образования. Большинство преподавателей за свою дерзость потом были вознаграждены увольнением.

Мы с Фариде и Лале сели вместе у всех на виду, как озорные дети. Мы шептались, переговаривались, тянули руки, чтобы выступить. Фариде предъявила комитету – мол, тот использовал территорию университета, чтобы пытаться и запугивать студентов. Я сказала Революционному комитету, что требование носить хиджаб «за зарплату» в несколько тысяч туманов в месяц является ложной мотивацией и компрометирует мою искренность как женщины и преподавателя. Проблема была не столько в хиджабе, сколько в свободе выбора. Моя бабушка три месяца отказывалась выходить из дома, когда ее заставили снять хиджаб. Я планировала быть такой же непоколебимой в своем отказе его носить. Правда, тогда я еще не подозревала, что вскоре мне придется выбирать между ношением хиджаба и тюрьмой, поркой или даже казнью, если откажусь повиноваться.

На том собрании одна из моих более прагматичных коллег, женщина «современная», которая решила-таки носить хиджаб и преподавала еще семнадцать лет после моего увольнения, с ноткой сарказма в голосе обратилась ко мне: «Вы боретесь в войне, которая уже проиг-

рана. Зачем терять работу из-за такой мелочи? Через пару недель без хиджаба вас не пустят и в бакалейную лавку».

Ответ на это возражение был прост и заключался в том, что университет – не бакалейная лавка. Но коллега моя оказалась права. Скоро нас заставили носить хиджаб везде. А стражи морали, вооруженные, на «тойотах», патрулировали улицы и следили, чтобы мы не нарушали правила. Однако тем солнечным днем, когда мы с коллегами озвучили свой протест, нам еще казалось, что все это не предопределено. Столько преподавателей выступили против – мы думали, у нас еще был шанс выиграть.

Я ушла с того собрания с чувством ликования. Мне казалось, мы победили комитет: его члены возражали неубедительно, их ответы постепенно становились все более бессвязными и агрессивными. На выходе из актового зала меня ждал Бахри с другом. С другими моими коллегами он говорить не стал, а обратился прямо ко мне. Не понимаю, как вы могли так поступить, сказал он. Разве мы не друзья? Да, мы друзья, ответила я, но тут нет ничего личного и он тут ни при чем. Но вы разве не понимаете, что бессознательно помогаете врагу, империалистам, расстроено спросил он? Неужели мы просим слишком многого, неужели ради спасения революции сложно пойти всего на пару уступок? Я могла бы спросить его, чья это революция, но не стала. Мы с Фариде и Лале летали на крыльях эйфории и шли обедать и праздновать.

Через несколько месяцев учредили комитеты, те провели чистки и выгнали лучших преподавателей и студентов. Доктор А. уволился и уехал в Соединенные Штаты. Фариде уволили; потом она перебралась в Европу. Улыбчивого молодого профессора, с которым мы встретились в мой первый рабочий день у кабинета доктора А., тоже уволили, хоть и не сразу – я встретила его через одиннадцать лет на конференции в Остине, Техас. Из моей старой компании осталась лишь Лале да я, но вскоре выгнали и нас. Ношение хиджаба стало обязательным, а суды над студентами и преподавателями – массовыми. Я сходила еще на одну демонстрацию, созванную партией «Муджахидин»; впрочем, ее поддерживали все оппозиционные силы, кроме коммунистической партии «Туде» и марксистов «Федаин». К тому времени первый президент Республики ушел в подполье; вскоре он бежал из страны. Более полумиллиона людей пришли на демонстрацию, которой суждено было стать одним из самых кровавых сражений революции. Более тысячи людей тогда арестовали, многих, в том числе подростков, казнили на месте. Через восемь дней, 28 июня, в штаб-квартире Исламской революционной партии взорвалась бомба; погибли восемь членов организации, в том числе кое-кто из верхушки. Правительство принялось мстить: арестовывали и казнили почти случайных людей.

Как ни странно, когда администрация университета взялась за меня, на мою защиту встали не светские мои коллеги, а Бахри и его друзья, мои бывшие студенты, которые в том семестре почти все получили «неуд.» за прогулы. Они стояли за меня и пытались отсрочить мое увольнение, насколько возможно.

Чувства, о которых я уже и думать забыла, вернулись девятнадцать лет спустя, когда исламский режим снова обрушился на студентов. На этот раз под удар попали те, кого исламисты сами же приняли в университеты, их собственные дети – дети революции. Мои студенты снова рыскали по больницам в поисках тел убитых, похищенных Стражами революции и комитетами бдительности; им пытались помешать выкрасть раненых. Я опять ходила с ними по улицам Тегерана, но уже в своем воображении, читая факсы и письма от бывших студентов в своем кабинете в Вашингтоне и пытаясь углядеть какой-то смысл за истерикой их слов.

Как бы мне хотелось знать, где сейчас Бахри, как бы хотелось спросить его – и что вы думаете по этому поводу, Бахри? Вы об этом мечтали? Такой была ваша мечта о революции? Кто заплатит за этих призраков моей памяти? Кто заплатит за фотографии убитых и казненных, что мы прятали в ботинках и шкафах, продолжая жить своей жизнью? Скажите, Бахри – или лучше «скажите, старина» – можно я буду называть вас стариной, как называл своих друзей Гэтсби, – что делать нам с этими мертвыми, чья кровь на наших руках?

Часть III Джеймс

1

Война началась однажды утром, неожиданно и внезапно. О ней объявили двадцать третьего сентября 1980 года, за день до открытия школ и университетов. Мы ехали в машине, возвращаясь в Тегеран с Каспийского моря; по радио передали, что иракцы напали. Все началось очень просто. Диктор объявил о случившемся очень спокойно, как объявляют о рождении или смерти, и мы приняли войну как бесповоротный факт, которому предстояло повлиять на все прочие соображения и постепенно просочиться во все четыре угла нашей жизни. Сколько событий сходятся в том неожиданном решающем моменте, когда, проснувшись утром, понимаешь, что жизнь твоя изменилась навсегда под действием сил, на которые ты никак не можешь повлиять?

Что запустило эту войну? Высокомерие новых деятелей Исламской революции, которые провоцировали «реакционные» и «еретические» ближневосточные режимы и подстрекали народ соседних стран на революционные бунты? А может, подчеркнутая неприязнь, которую питал новый режим к Саддаму Хуссейну, изгнавшему опального аятоллу Хомейни из Ирака, предварительно якобы заключив сделку с шахом? Быть может, дело было в давней вражде между Ираном и Ираком и в том, что иракцы мечтали о быстрой и легкой победе, наслушавшись обещаний о поддержке Запада, враждебного нынешнему иранскому революционному правительству.

По прошествии времени, когда исторические события выстраивают в единую цепь, анализируют и систематизируют в статьях и учебниках, их кажущаяся беспорядочность исчезает и восстанавливается логика и ясность, которой в непосредственный момент действия нет и в помине. Но тогда, в то теплое осеннее утро, для меня и миллионов простых иранцев война явилась полной неожиданностью: внезапная, нежеланная и абсолютно бессмысленная.

Той осенью я подолгу гуляла по широким тенистым аллеям у нашего дома. Вокруг благоухали сады и журчали ручьи, а я думала о своем неоднозначном отношении к войне, ибо к злости примешивалась любовь к своей стране и желание уберечь мой дом и родину. Одним сентябрьским вечером, в том сумеречном промежутке между временами года, когда в воздухе одновременно ощущаются лето и осень, меня отвлек от размышлений великолепный закат, вдруг открывшийся моему взору. Я застала игру меркнувшего света меж тонких ветвей плюща, обвившего стволы нескольких стоявших рядом деревьев. Я остановилась, любуясь прозрачными отблесками заката, пока меня не отвлекли двое шагавших навстречу прохожих. Я пошла дальше.

Ниже по улице, идущей под пологим уклоном, на стене справа большими черными буквами кто-то написал цитату аятоллы Хомейни: «Эта война – наше великое благословение!» Я разозлилась, увидев этот лозунг. Великое благословение для кого?

2

Война с Ираком началась в сентябре и закончилась лишь в конце июля 1988 года. Военный конфликт в той или иной степени повлиял на все события этих восьми лет и определил ход нашей жизни после его окончания. Мир видал войны и похуже, хотя в той войне погибли и получили ранения более миллиона человек. Сначала война вроде бы объединила терзаемую противоречиями страну: мы все были иранцами, на нашу родину напал враг. Но даже в этом многим из нас не разрешили участвовать. С точки зрения режима, враг не просто напал на Иран; он атаковал Исламскую Республику; он атаковал ислам.

Поляризация, созданная режимом, вносила путаницу во всей сферы жизни. Войска Аллаха сражались не только с посланником Сатаны – иракским лидером Саддамом Хусейном – но и с сатанинскими агентами внутри страны. С самого начала революции, на протяжении всей войны и даже после ее окончания исламский режим ни на минуту не забывал о священной битве с внутренними врагами. Любая форма критики теперь воспринималась как иракская пропаганда и угроза национальной безопасности. Группировки, принадлежащие к «нережимным» ветвям ислама, а также отдельных граждан «неправильных» взглядов к войне не допускали. Их могли казнить или отправить на фронт, но озвучивать свою общественную и политическую позицию они не имели права. В мире остались лишь две силы – армия Бога и армия Сатаны.

Ни одно мероприятие, ни одна общественная акция не обходилась без символической демонстрации лояльности. Новый режим ушел далеко за грань романтического символизма, характерного почти для всех политических режимов; он ушел в сферу чистого мифа, и последствия были катастрофическими. Исламская Республика была не просто создана по образу и подобию порядка, установленного пророком Мухаммедом в период его правления в Аравии; она была правлением пророка. Война между Ираном и Ираком проходила по тому же сценарию, что война третьего и самого воинственного имама Хусейна с неверными; иранцам предстояло отвоевать Кербелу, священный иракский город, где находилась гробница имама Хусейна. Иранские батальоны получили свои названия в честь пророка и двенадцати шиитских имамов⁵¹; они были армией Али, Хусейна и Махди, двенадцатого имама, чьего пришествия ждали шииты, а военные нападения на Ирак называли исключительно в честь знаменитых битв Мухаммеда. Аятолла Хомейни не был религиозным и политическим лидером; он сам был имамом.

В те дни я стала яростным и ненасытным коллекционером. Я собирала фотографии мучеников, юношей – некоторые были почти детьми; их публиковали в ежедневных газетах рядом с завещаниями, которые ребята составили перед отбытием на фронт. Я вырезала из газеты хвалебные слова аятоллы Хомейни о тринадцатилетнем парнишке, бросившемся на вражеский танк, и собирала рассказы молодых людей, которым перед отправкой на фронт вручали ключи от рая – настоящие ключи, их можно было повесить на шею. Им говорили, что, став мучениками, они отправятся прямо в рай. То, что началось как импульсивное желание собрать хронику событий в моем дневнике, постепенно превратилось в алчное лихорадочное накопительство; мне казалось, что своими действиями я смогу наложить проклятье на неподвластные мне силы и найду во всем происходящем какую-то логику и смысл.

Мы не сразу поняли, что такое война и что она на самом деле для нас значит, хотя по радио, телевизору и в газетах только и говорили, что о войне. Нам предлагали «заняться чем-то полезным» в периоды отключения электричества и передавали инструкции по системе оповещения: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога. Отправляйтесь в укрытие...» В укрытие?

⁵¹ В шиизме – политические и религиозные преемники пророка Мухаммеда.

В какое укрытие? За восемь лет войны правительство так и не разработало внятную систему безопасности и защиты своих граждан. «Укрытием» служили подвалы или полуподвальные этажи многоквартирных зданий, где люди порой оказывались под завалами. Но большинство из нас осознали свою уязвимость лишь потом, когда Тегеран стали бомбить, как другие города.

Наше двойственное отношение к войне во многом проистекало из двойственного отношения к режиму. В ходе первых авианалетов на Тегеран бомба попала в дом в зажиточном районе города. Ходили слухи, что в подвале дома укрывались партизаны, ведущие антиправительственную деятельность. Пытаясь успокоить испуганных граждан, спикер парламента Хашеми Рафсанджани на пятничной молитве заявил, что бомбардировки пока не причинили столице реального вреда, так как жертвами их стали «высокомерные богачи и подрывники», которых рано или поздно все равно казнили бы. Он также посоветовал женщинам ложиться спать прилично одетыми, чтобы при попадании бомбы в дом те не предстали бы перед незнакомыми мужчинами «в непристойном виде».

3

– Будем праздновать! – воскликнула моя подруга Лале и села за столик. Я дожидалась ее в нашем любимом ресторане. Со дня нашей встречи с Комитетом культурной революции прошло несколько недель, и мы уже поняли, что скоро нам придется подчиниться правилам или покинуть университет. Недавно был принят закон об обязательном ношении платка на рабочем месте, поэтому я не понимала причин ее ликования. Праздновать? Что за повод, спросила я?

– Сегодня, – Лале выдержала паузу и взволнованно перевела дыхание, – спустя девять лет преподавания – точнее, восемь с половиной, – меня официально уволили. Теперь я официально никому не нужна, выражаясь твоими словами, поэтому обед за мой счет. И поскольку выпить за мой новый статус нельзя, предлагаю объесться до смерти. – Она храбрилась, старалась шутить о ситуации, в результате которой осталась без работы, но факт оставался фактом: Лале вынужденно оставила любимую работу, дело, в котором была специалистом. Сейчас она пыталась казаться невозмутимой. В последнее время мне частенько приходилось встречать таких «невозмутимых».

В тот день Лале отправилась в университет обсудить свою ситуацию с главой кафедры психологии, где преподавала с тех пор, как несколько лет назад приехала из Германии. Само собой, она была без платка. Само собой! Охранник у входа окликнул ее из своей клетки. Сейчас будка охранника представляется мне именно так – клеткой из толстых прутьев, хотя, наверно, это была обычная караулка, возможно, металлическая. Или цементная, с одним окошком и дверью сбоку. Я могла бы снять трубку и позвонить Лале: два года назад та наконец переехала в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Я могла бы уточнить – в отличие от меня, у Лале очень хорошая память.

Видела нового охранника? – спросила она, подцепив вилкой вялый лист латука. Огромный такой увалень со скорбной миной. Весь такой круглый... Она старалась избегать слова «толстый». Нет, не имела такого удовольствия, отвечала я. Так вот, продолжала она, он шириной с Оливера Харди⁵². Нет, даже больше, добавила она, с яростной решимостью жуя салат. Но на этом сходство заканчивается. Харди веселый, а этот парень – просто пухлый: унылый толстяк с постным лицом, из тех, что даже еде не рады – ну, ты поняла.

А может, хватит уже про охранника с постным лицом, взмолилась я, и расскажешь наконец, что с тобой случилось? Лале накинулась с вилкой на убегающую от нее помидорку черри и заговорила лишь после того, как удалось ее поддеть. Он вышел из клетки, наконец произнесла она, и сказал: мэм, ваше удостоверение. Я достала удостоверение и помахала им у него перед носом, а сама двинулась прочь, но он окликнул меня снова. Мэм, вы же в курсе, что в таком виде в университет нельзя? Я в таком виде уже восемь лет хожу через эти самые ворота, ответила я. Нет, мэм, нужно быть с покрытой головой – новый приказ. Это уже моя проблема, не ваша, отвечала я. Но он никак не унимался. Мол, он имеет право задержать любую женщину, которая... Тут Лале его прервала. Я не любая женщина! воскликнула она, напустив на себя чрезвычайно авторитетный вид.

Вот приказ, возразил охранник, письменный, подписан самим президентом – в нем говорится, что ни одна девушка – то есть ни одна женщина, поправился он, – не должна находиться на территории университета в таком состоянии. В таком состоянии? Он так и сказал? спросила я. Ага, ответила Лале; так и сказал. Тогда Лале сделала шаг вперед; охранник преградил ей дорогу. Она шагнула вправо; он тоже шагнул вправо. Она остановилась; он тоже остановился. Несколько секунд они стояли и смотрели друг на друга, а потом он сказал: если вы зайдете в университет в таком состоянии, ответственность повесят на меня. В каком таком состоянии,

⁵² Оливер Харди – участник комедийного дуэта «Лорел и Харди», популярного в США в 1920–1940-е годы.

спросила Лале. Насколько я знаю, единственный человек, который несет за меня ответственность, — я сама, и не надо за меня отвечать. Уж не знаю, что за бес в меня вселился и почему я решила поспорить с этим человеком, сказала Лале — рука ее дрожала от волнения; и зачем говорила ему все то, чего он явно понять не мог. Несколько минут они просто там стояли и вдруг, повинуясь внезапному порыву, Лале бросила взгляд через плечо охранника, словно что-то увидела слева за его спиной, а когда тот обернулся, бросилась бежать. Seriously, так и убежала, спросила я? Ну да, убежала, ответила Лале.

В тот момент принесли наши мини-отбивные из телятины с картофельным пюре. Лале принялась прочесывать пюре вилкой, будто выискивая в нем зарытое сокровище. Я-то думала, он успокоится, наконец произнесла она. Ведь ему всего-то нужно было снять трубку и позвонить вышестоящему руководству. Но нет; он этого делать не собирался. Лале остановилась на секунду и оглянулась посмотреть, удалось ли ей оторваться; а охранник тем временем — клянусь, все так и было, сказала она, — подтянул ремень повыше и покачал бедрами из стороны в сторону... Он покачал бедрами, спросила я? Ага, честно, все так и было. Она покачала вилкой в горке картофельного пюре. А потом он бросился за ней в погоню.

Лале и толстый охранник бежали по широким тенистым университетским аллеям. Лале то и дело оглядывалась проверить, продолжает ли он за ней гнаться, а он, стоило ей остановиться, вместо того чтобы быстро нагнать ее, тоже резко останавливался, подтягивал ремень и разминал бедра, после чего снова пускался в погоню. Он напоминал гигантскую неуклюжую рыбу, выброшенную на берег.

Лале пробежала мимо трех удивленных студентов, спустилась по короткому лестничному пролету, ведущему на факультет персидского языка и иностранных языков и литературы, чуть не опрокинулась навзничь, когда ее каблук застрял в трещине, миновала широкий открытый двор перед зданием, вбежала в открытую дверь в прохладный темный холл и по широкой лестнице взлетела на второй этаж, где внезапно затормозила у входа на кафедру психологии и чуть не упала в объятия своего завкафедрой. Тот попытался скрыть свое смущение, воскликнув: в чем дело, профессор Нассри? Неужто беспорядки? Через несколько секунд у двери со скрипом притормозил послушный долгу охранник; по его щекам, как слезы отчаяния, струился пот, а в руках он сжимал фуражку. Он объяснил, в чем дело, и завкафедрой, не зная, смеяться ему или хмуриться, отпустил его восвояси, пообещав доложить соответствующим властям по форме. А через час Лале вышла из дверей кафедры, прошагала обратно к воротам и, даже не глядя в сторону охранника, покинула университет уже свободной женщиной.

Свободной женщиной, спросила я? Да, ответила Лале; ей дали выбор: или она немедленно начинает выполнять правила, или ее увольняют. Она предпочла не подчиниться, и теперь она — свободная женщина. И что ты будешь делать, спросила я, ведь я сама была точно в таком положении. Не знаю, ответила она и пожала плечами. Буду шить на заказ или печь торты.

Вот что меня в ней поражало: она была совсем не похожа на человека, который станет что-то печь, но вместе с тем превосходно шила и прекрасно готовила. Когда мы с ней только познакомились, она показалась мне полной противоположностью меня самой: аккуратная и довольно чопорная, что называется, вся такая правильная. Училась она в Германии, что усиливало эту иллюзию. Я подтрунивала над ней, говорила, что слово «безукоризненная» идеально ее характеризует. Когда мы познакомились поближе, я поняла, что вся эта правильность была лишь прикрытием; под ней скрывалась страстная натура, обуреваемая ненасытными желаниями.

Волосы у Лале были густые и непокорные — ни расчески, ни щетки, ни гели, ни даже химические завивки их не брали. Но ей удавалось их обуздать — по несколько часов она старательно их распрямляла и укладывала, и в результате приобретала вид суровой неприветливой матроны. Она раздраженно объяснила мне, что у нее нет выбора — или такие мучения с прической, или побриться наголо. Лишь ее большие черные глаза, искрящиеся лукавством,

намекали, что этот консервативный вид – лишь маска. Только потом, когда Лале с моей трехлетней дочкой полезли на дерево, я поняла, сколько усилий ей приходилось прилагать, чтобы контролировать свою дикую натуру.

В итоге ей действительно пришлось зарабатывать шитьем на заказ; она жила так почти два года. Специальностью Лале была детская психология, но лицензию психолога ей не дали; преподавать в платке она отказалась. Вот ей и пришлось сесть за швейную машинку, хотя она терпеть не могла это занятие, и одно время я и другие наши подруги носили шикарные ситцевые юбки с красивым цветочным рисунком ее авторства, а потом приятельница пригласила ее работать к себе в школу.

В тот день мы никак не могли насытиться: Лале заказала карамельный пудинг, а я – два шарика мороженого, ванильного и кофейного, с турецким кофе и крошеными грецкими орехами. Я полила мороженое кофе и рассеянно посыпала его ореховой крошкой. Мы обсуждали дела на нашей кафедре: Фариде выгнали, доктор А. уехал в Штаты. Более осторожные коллеги, которые еще не успели обжечься, говорили, что увольнение Фариде скорее объяснялось не действиями администрации, а ее строптивостью – упрямая она была, как мул, как живописно выразился один наш коллега.

4

Через несколько дней я пошла в Тегеранский университет на очередную встречу с Бахри. Он сам попросил меня об этом в надежде, что ему удастся убедить меня подчиниться новым правилам. Я приготовилась к марафонскому забегу по двору, но, к моему удивлению, угрюмый охранник не стал ко мне придирааться. Впрочем, в тот день у ворот стоял другой охранник, не тот, которого описывала Лале. Этот не был толстым или худым, он даже не попросил показать удостоверение личности и просто притворился, что меня не видел. Я догадывалась, что Бахри предупредил его и велел ко мне не лезть.

Зал для совещаний был в точности таким, каким я его помнила со дня, когда мы с Бахри впервые встретились здесь, чтобы обсудить роль литературы в революции – просторный, прохладный и пустой, весь пыльный, хотя за исключением длинного стола и двенадцати стульев, пыли тут садиться было некуда. Бахри с другом сидели по центру длинного стола лицом к двери. Когда я вошла, оба встали, подождали, пока я сяду, и только потом сели сами. Я заняла место прямо напротив них.

Бахри не стал ходить вокруг да около. Он упомянул выходку Лале и похвальное терпение, проявленное администрацией по поводу «подобного поведения». На протяжении всей нашей встречи Бахри не сводил глаз с черной перьевой ручки, которую вращал в пальцах, как некий непостижимый объект, чью тайну надеялся разгадать. Бахри и его друзья прекрасно знали, что до революции, навещаясь в бедные, более традиционные кварталы Тегерана, профессор Нассри надевала платок. Да, она делала это из уважения к вере живших там людей, холодно ответила я, а не потому что это было обязательно. За все время нашего разговора друг Бахри почти ни разу не раскрыл рта.

Бахри не понимал, почему мы поднимаем столько шума из-за какой-то тряпки. Мы что же, не видим, что есть проблемы поважнее, что судьба революции поставлена на карту? Что важнее – сражаться с сатанинским влиянием западных империалистов или упрямо держаться за личные предпочтения, создавая раскол в революционных рядах? Возможно, я не совсем точно цитирую его слова, но суть была такова. В те дни люди взаправду так говорили. Складывалось ощущение, что революционеры и интеллектуалы того времени читали сценарий, воображая себя героями исламской версии советского революционного романа.

Удивительно, что Бахри, защитник веры, отзывался о платке как о «какой-то тряпке». Мне пришлось напомнить ему, что к этой «тряпке» надо бы относиться с большим уважением и не навязывать ее тем, кто не хочет ее носить. Что подумают о нас наши студенты, увидев нас обрядившимися в платки, хотя мы клялись никогда этого не делать? Не скажут ли, что мы продали наши убеждения за несколько тысяч туманов в месяц? Как думаете, Бахри?

Но что он мог думать? Суровый аятолла, слепой и безумный король-философ, решил насадить свою мечту целой стране и целому народу и вылепить нас в соответствии со своим близоруким замыслом. Он сформулировал некий идеал меня, мусульманской женщины, учительницы, и хотел, чтобы я выглядела, вела себя и жила в соответствии с этим идеалом. Отказ принять этот идеал для нас с Лале не был актом политического неповиновения; для нас это был экзистенциальный бунт. Я могла бы объяснить Бахри, что отвергала не тряпку, а трансформацию, которой меня хотели подвергнуть; я не желала смотреть в зеркало и ненавидеть незнакомку, которой стала.

Но, кажется, именно в тот день я поняла, что обсуждать мои взгляды с Бахри бессмысленно. Как можно спорить с представителем Бога на земле? Бахри не сомневался, что он на стороне правды, – по крайней мере, тогда еще не сомневался, и это придавало ему сил; я же была для него отбившейся от стада грешницей. Я уже несколько месяцев подозревала, что этим

все кончится, но, думаю, именно в тот день, после встречи с Бахри и его другом, до меня наконец дошло, что я теперь не имею значения.

Я вышла из зала, не повторив свою прежнюю ошибку и не протянув ему руку. Бахри проводил меня до двери, как вежливый хозяин, провожающий почетного гостя; руки он крепко сцепил за спиной. Я все повторяла: не провожайте, в этом нет необходимости, и чуть не покатилась с лестницы, так мне хотелось скорее убраться оттуда. Почти спустившись на первый этаж, я оглянулась. Он все еще стоял наверху в своем потрепанном коричневом костюме и рубашке с воротником-стойкой, как у Мао, застегнутой на все пуговицы; руки сложены за спиной, растерянный взгляд устремлен мне в спину. Прощание возлюбленных, лукаво пошутила Лале, когда я пересказала ей эту историю за вазочкой мороженого в прохладной гостинной.

Расставшись с Бахри, я минут сорок пять гуляла по улицам и зашла в свой любимый книжный магазин, где продавались книги на английском. Зашла, повинувшись внезапному порыву, боясь, что в будущем такого шанса уже не представится. Я оказалась права: через несколько месяцев Стражи Революции ворвались в магазин и закрыли его. На дверь повесили большой железный засов и цепь – свидетельство, что лавочка прикрыта навсегда.

С ненасытной жадностью я начала выбирать книги. Меня интересовали издания в бумажных обложках: я взяла почти всего Джеймса и все шесть романов Остин, «Говардс-Энд» и «Комнату с видом». Потом выбрала еще несколько книг, которые не читала, в том числе четыре романа Генриха Бёлля, и кое-что, прочитанное совсем давно, – «Ярмарку тщеславия», «Приключения Родерика Рэндома»⁵³, «Подарок Гумбольдта»⁵⁴ и «Хендерсон – король дождя»⁵⁵. За ними последовал сборник стихотворений Рильке и «Память, говори» Набокова. Я даже думала взять экземпляр «Фанни Хилл»⁵⁶ без купюр, но не стала. Я направилась к стеллажу с детективами, взяла несколько романов Дороти Сэйерс, к своему восторгу, обнаружила на полках «Последнее дело Трента»⁵⁷, кинула к остальным два-три новых романа Агаты Кристи, несколько детективов Росса Макдональда, все имевшиеся в наличии романы Рэймонда Чандлера и две книги Дэшила Хэммета.

Мне не хватило денег. Я отобрала книги, которые могла себе позволить, и отказалась от весьма любезного предложения владельца магазина взять остальное в кредит. Убирая книги, которые я попросила отложить, в два больших бумажных пакета, он улыбался, будто все происходящее его очень забавляло, а потом сказал: да не волнуйтесь вы, никто их не купит. Теперь никто даже не знает таких авторов. И кто захочет читать эти книги сейчас, в наше время?

И верно, кто? Люди вроде меня теперь потеряли всякую важность, стали несущественными, как Фицджеральд для Майка Голда, Набоков для сталинского Советского Союза, Джеймс для фабианцев⁵⁸ или Остин для революционеров ее эпохи. В такси я достала те несколько книг, которые смогла купить, и стала рассматривать их обложки, погладила их гляцевую поверхность, столь приятную на ощупь. Я знала, что встреча с Бахри означала лишь одно: мое увольнение из университета – вопрос времени. Я решила не ходить туда больше, пока они сами меня не уволят. Так у меня образовалась масса свободного времени, и я смогла читать сколько угодно, без угрызений совести.

⁵³ Плутовской роман Тобайаса Джорджа Смоллетта (1748).

⁵⁴ Роман Сола Беллоу 1975 года.

⁵⁵ Роман Сола Беллоу 1959 года.

⁵⁶ «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» – роман Джона Клееланда 1749 года, запрещенный в течение 200 лет в США; одна из самых фривольных книг в истории английской литературы.

⁵⁷ Роман Бентли Эдмунда 1913 года считается одним из первых образцов классического детектива.

⁵⁸ Британское социалистическое движение, основанное в 1884 году.

5

Вскоре были приняты новые законы, вводящие определенную форму одежды для женщин в общественных местах. Нас вынудили носить чадру или шарф с длинной накидкой. Опыт показал, что эти правила можно было насадить только силой. Поскольку женщины в массе возражали против этого закона, правительство сначала выпустило указ об обязательном ношении платка на рабочем месте, а потом и в магазинах – обслуживать непокрытых женщин продавцам запретили. Нарушительницы платили штрафы, могли получить до семидесяти шести ударов плетью и отправиться в тюрьму. Позже правительство учредило знаменитые отряды блюстителей морали: мужчины и женщины группами по четыре прочесывали улицы на белых «тойотах» и следили за исполнением законов.

Пытаясь собрать единую картину из разрозненных и кажущихся бессвязными событий того периода, я понимаю, что усиливающееся ощущение падения в бездну, которое преследовало меня тогда, связано с двумя знаменательными событиями, которые случились одновременно: войной и потерей работы. Я не могла предположить, что моя иллюзия стабильности так сильно зависела от привычного ежедневного распорядка. Теперь, когда я не могла называть себя ни преподавательницей, ни писательницей, не могла носить привычную одежду и ходить по улицам своим обычным шагом, кричать, если хочется, или спонтанно похлопать коллегу мужского пола по спине – теперь, когда все это стало нелегальным, я чувствовала себя невесомой и ненастоящей. Я словно ступала по воздуху; мне казалось, что меня сочинили, а потом стерли одним быстрым движением ластика.

Новое чувство нереальности происходящего заставляло меня придумывать новые игры – я называла их играми на выживание. Я была одержима чадрой и купила себе очень широкую черную накидку, доходившую до щиколоток, с широкими и длинными, как у кимоно, рукавами. Я прятала руки в эти рукава и притворялась, что у меня нет рук. Потом я нафантазировала себе, что под этой накидкой исчезало все мое тело: руки, грудь, живот и ноги таяли и растворялись, и оставался лишь кусок материи в форме моего тела, который плыл по воздуху под действием невидимой силы.

Я помню, что впервые стала играть в эту игру, когда пошла в Министерство высшего образования с подружкой, которой нужно было заверить диплом. Нас обыскали с ног до головы; из множества сексуальных домогательств, которым мне пришлось подвергнуться в жизни, это было одним из худших. Охранница заставила меня поднять руки – выше! выше! велела она, – и начала обыскивать меня очень дотошно, прощупывая все части моего тела. Ее возмутило, что под накидкой у меня почти ничего не было. Я ответила, что ее не касается, что я ношу под накидкой. Тогда она взяла салфетку и приказала мне счистить с щек краску, которой я себя размалевала. Я ответила, что никакой краски на мне нет. Она взяла салфетку и сама стала тереть мои щеки; не достигнув желаемого результата – я действительно была не накрашена, я не врала – она стала тереть их сильнее, и мне уж показалось, что она сейчас сдерет с меня кожу.

Лицо мое горело, я чувствовала себя грязной; тело стало как замызганная взмокшая футболка, которую хотелось скорее кинуть в стирку. Тогда у меня и возникла идея этой игры: я решила притвориться, что у меня нет тела. Я представила, что грубые руки охранницы воздействуют на него, как рентген наоборот – только оболочка видна, все, что внутри, невидимо. Когда она закончила меня обыскивать, я стала легкой, как ветер, превратилась в бесплотное, бескостное существо. Секрет этого магического трюка заключался в том, чтобы стараться не прикасаться к твердым предметам, особенно к другим людям – моя бесплотность напрямую зависела от степени моей незаметности для окружающих. Разумеется, иногда я делала так, чтобы та или иная часть меня снова стала видимой – например, когда из неподчинения

обструкционистской фигуре власти позволяла прядям волос выбиться из-под платка или переставала прятать глаза и сверлила оппонента взглядом, провоцируя неловкость.

Иногда почти бессознательно я прятала ладони в широкие рукава и начинала ощупывать свои ноги или живот. Существуют ли они до сих пор? Существую ли я? Этот живот, эта нога, эти руки? К сожалению, Стражи Революции и блюстители морали воспринимали мир иначе. Они видели руки, лица и розовую помаду; видели выбившиеся из-под платка пряди волос и яркие носки, тогда как я видела лишь бестелесных созданий, беззвучно плывущих по улицам.

Тогда я стала повторять себе и твердить всем окружающим, что люди вроде меня стали лишними и больше не нужны. Не я одна страдала этой патологией; многие чувствовали, что в этом мире им больше нет места. Я написала своей американской подруге довольно эмоциональное письмо: «Ты спрашиваешь, что это значит – быть лишней. Представь, что наведываешься в свой старый дом, став блуждающим призраком, у которого осталось на земле незаконченное дело. Представь, что возвращаешься туда, и дом вроде бы знакомый, но деревянную дверь заменили на металлическую, стены покрасили в вульгарный розовый, а твое любимое кресло-качалку выкинули. В кабинете сделали гостиную, на месте твоих любимых книжных шкафов стоит новенький телевизор. Дом вроде бы твой, а вроде бы и нет. И ты в этом доме лишняя, для его стен и дверей ты – невидимка».

Чем занимаются лишние люди? Иногда пытаются сбежать – я имею в виду, физически перемещаются в другую локацию, – а если это невозможно, пытаются вернуть себе место в мире и снова стать участниками игры, уподобляясь своим завоевателям. Бывает, что они совершают мысленный побег и, как Клэр в «Американце»⁵⁹, превращают свой маленький уголок в святилище; самая важная часть их жизни проходит в подполье.

Усиливающееся чувство собственной ненужности и внутренняя пустота привели к тому, что я возненавидела мужа за его спокойствие и оптимизм; он, кажется, не понимал, что мне, женщине и профессору университета, приходилось переживать. И в то же время он один тогда был опорой для нас всех, лишь он дарил мне чувство безопасности. Когда все вокруг рушилось, он спокойно занимался своими делами и пытался обеспечить нам нормальную тихую жизнь. Будучи человеком очень закрытым, он всеми силами пытался оградить свою семью и близкий круг общения от посторонних и полностью сосредоточился на работе. Он был партнером в архитектурной и строительной компании. Своих партнеров – а они, как и муж, горели своим делом – он очень любил. Поскольку их работа напрямую не соотносилась с культурой и политикой, а фирма была частная, их оставили в относительном покое. Хорошие архитекторы и инженеры-строители не представляли угрозы для режима, и Биджан радовался крупным заказам: его фирме поручили обустройство парка в Исфахане, строительство завода в Боруджерде и университета в Казвине. Он мог творить и чувствовал себя нужным, а еще, в лучшем смысле этого слова, ощущал, что служит своей стране. Биджан считал, что мы должны служить своей стране независимо от того, кто ей правит. Моя же проблема заключалась в том, что сам смысл понятий *дом*, *служить*, *страна* для меня потерялся.

Я снова превратилась в ребенка, которым была когда-то; как в детстве, я брала случайную книгу с полки, забивалась в первый попавшийся угол и читала взахлеб. «Убийство в Восточном экспрессе», «Разум и чувствительность», «Мастер и Маргарита», «Герцог», «Дар», «Граф Монте-Кристо», «Команда Смайли»⁶⁰ – я читала все, что попадалось мне в отцовской библиотеке, у букинистов, на книжных полках друзей, до чьих библиотек еще не дорвались Стражи Революции. Я стала запойной чтицей, алкоголичкой, топящей в книгах свои невыразимые печали.

⁵⁹ Роман Генри Джеймса (1877).

⁶⁰ Шпионский роман Джона ле Карре.

Я обращалась к книгам, так как они были единственным известным мне убежищем, а чтобы выжить и защитить ту часть себя, которая теперь постоянно пряталась, я должна была найти такое убежище. Другим убежищем, которое помогло мне не сойти с ума и вернуть в свою жизнь ощущение значимости, стало более интимное и личное событие: 23 апреля 1982 года родилась моя племянница Санам; родилась прежде срока. Как только я ее увидела – такую маленькую, скрючившуюся в инкубаторе, который поддерживал в ней жизнь, – я ощутила к ней привязанность и теплоту и поняла, что она полюбит меня и общение с ней скажется на мне очень благотворно. Потом 26 января 1984 года родилась моя дочь Негар, а 15 сентября 1986 – мой сын Дара. Я специально указываю день, месяц и год их рождения – эти детали вспыхивают у меня перед глазами каждый раз, когда я думаю об их счастливом появлении на свет, и мне совершенно не стыдно сентиментальничать по этому поводу. К этому счастливому событию, как и ко всем счастливым событиям, примешивались всякие эмоции. Так, с рождением детей я стала больше тревожиться. До сих пор я боялась за безопасность родителей, мужа, брата и друзей, но страх за детей затмил все прочие страхи. Рождение дочери я восприняла как дар, который каким-то непостижимым образом помог мне не сойти с ума. Рождение сына вызвало схожие чувства. И все же мне казалось, что их детские воспоминания о доме, в отличие от моих собственных, не были полностью счастливыми, и это стало для меня постоянным источником сожаления и печали.

Моя дочь Негар краснеет каждый раз, когда я говорю, что ее фирменное упрямство и страстное желание отстаивать то, что, по ее мнению, является справедливостью, – следствие того, что во время беременности ее мать читала слишком много романов девятнадцатого века. У Негар есть привычка наклонять голову вправо и откидывать ее назад одним движением и слегка выпячивать губы в знак непокорности тому авторитету, с которым она борется в данный момент. Я ее смущаю, и она восклицает – ну зачем я несу такой несусветный бред? Ну почему бред, отвечаю я; ведь говорят же, что питание матери во время беременности, не говоря уж о ее настроении и эмоциях, сказывается на ребенке. Когда я была тобой беременна, я слишком много читала Джейн Остин, сестер Бронте, Джордж Элиот⁶¹ и Генри Джеймса. Думаешь, почему тебе так нравятся «Гордость и предубеждение» и «Грозовой перевал»? Хотя ты, со злорадством добавляю я, вылитая Дейзи Миллер⁶². Не знаю, что это за Дейзи или Мейзи или как ее там, отвечает Негар, выпячивая губы, но одно я знаю точно – Джеймс мне не понравится. А ведь она так похожа на Дейзи: та же смесь уязвимости и мужества, которым и объясняются эти ее акты неповиновения и привычка дерзко задирать голову, которую я впервые заметила в приемной у стоматолога, когда ей было четыре года.

Дара в шутку спрашивает – а как же я? Что ты читала, когда была беременна мной? Ты вырос совсем не таким, как я представляла, видимо, мне назло, отвечаю я. Стоит произнести это вслух, и я понимаю, что это правда. Еще до своего рождения Дара, казалось, взял на себя задачу доказать, что все мои кошмарные тревоги необоснованны. Когда я носила его, Тегеран постоянно бомбили, и я нервничала до истерики. Рассказывали, что женщины после бомбежек рожают инвалидов; что материнская тревога наносит плоду непоправимый вред. Мне казалось, что у моего ребенка уж точно будут все возможные отклонения – если мы не погибнем, конечно, и доживем до его рождения. Откуда мне было знать, что не я буду его защищать, а он явится в этот мир, чтобы защитить меня?

⁶¹ Не склоняется, так как это женщина (хотя это ее мужской псевдоним, но так принято).

⁶² Героиня одноименного романа Генри Джеймса.

6

Меня еще долго преследовало ощущение своей ненужности. Погрязнув в жалости к себе, я в то же время бессознательно перебирала в уме варианты. Смириться ли с тем, что сила, к которой я не питаю ни малейшего уважения, решила сделать меня невидимкой? Или притвориться, что подчинилась правилам, и тайком жульничать назло режиму? А может, уехать из страны, как сделали многие мои друзья добровольно или вынужденно? Уволиться ли молча, как мои самые достойные коллеги? Или есть еще опции?

В это время я вступила в небольшой кружок книголюбов; мы собирались, читали и изучали классическую персидскую литературу. Раз в неделю в воскресенье вечером мы приходили домой к одному из участников группы и часами штудировали тексты. Каждый вечер воскресенья проходил у кого-нибудь в гостях – в разных домах, у разных участников нашего кружка, и так несколько лет. Часто отключали электричество, и мы сидели при свечах. Даже когда личные и политические различия отдаляли нас друг от друга, магия литературы объединяла. Как заговорщики мы собирались вокруг стола в гостиной и читали стихи и прозу Руми, Хафиза, Саади, Хайяма, Низами, Фирдоуси, Аттара и Байхаки.

Мы по очереди зачитывали вслух отрывки; слова взлетали и опускались на нас мелким дождиком, радуя все органы чувств. Сколько соблазна и игривости было в словах этих поэтов; как радовал нас их филигранный слог, способный изумлять и вызывать восторг! Когда мы потеряли это свойство, эту игривость и изящество наших стихов? В какой момент это было утрачено? То, что осталось сейчас – слащавая риторика, грубые, лживые преувеличения – отдавало дешевой розовой водой.

Я вспомнила легенду о завоевании арабами Персии, которую слышала уже не раз от разных людей. Именно в результате арабского завоевания в Иран пришел ислам. Легенда гласила, что арабское вторжение увенчалось успехом, потому что сами персы, вероятно, устав от тирании, предали своего царя и открыли ворота врагу. Но после вторжения, когда сожгли их книги, уничтожили их храмы и искоренили язык, персы отомстили, воссоздав свою сожженную и разграбленную историю в мифах и языке. Наш великий эпический поэт Фирдоуси заново изложил украденные мифы о персидских царях и героях чистым, священным языком. Мой отец – он все детство читал мне Фирдоуси и Руми – иногда говорил, что поэзия – наш истинный дом и истинная история. Я вспомнила эту легенду, потому что в некотором смысле история повторилась: мы снова открыли ворота врагу, только уже не чужеземным захватчикам, а своим собственным, тем, кто пришел на нашу землю во имя нашего прошлого, но исказил его до неузнаваемости и украл у нас Фирдоуси и Хафиза.

Постепенно благодаря книжному кружку у меня появились небольшие проекты. Я взяла отбракованный материал из своей диссертации по Майку Голду и американским пролетарским писателям 1930-х годов и написала первую научную статью на персидском. Я убедила подругу из кружка перевести на фарси небольшую книгу Ричарда Райта «Американский голод» и составила к ней предисловие. В нем говорилось о пребывании Райта в коммунистической партии, его мытарствах и решении выйти из партии. Чуть позже я уговорила другую подругу перевести набоковские «Лекции по русской литературе». Я перевела стихи Лэнгстона Хьюза⁶³. Другой участник нашего кружка, известный иранский писатель, уговорил меня написать серию статей о современной персидской литературе для литературного журнала, где он был редактором, а

⁶³ Лэнгстон Хьюз (1901–1967) – американский поэт, прозаик, драматург, один из писателей «Гарлемского ренессанса» и первооткрыватель джазовой поэзии. Вырос в гетто и был смешанных кровей – бабушки его были негритянками, дедушки – белыми. Симпатизировал коммунистам.

потом позвал участвовать в еженедельных литературных дискуссиях с молодыми иранскими писателями.

Так началась моя писательская деятельность, которой я занималась почти два десятилетия и продолжаю заниматься сейчас. Я окружила себя защитным панцирем, задвинула мысли подальше и начала писать, главным образом литературную критику. Дневники я забросила в угол шкафа и думать о них забыла. Я никогда к ним не вернулась.

Мои статьи получили признание, но самой мне редко нравилось то, что я писала. Моя критика казалась мне слишком выхоленной, пафосной и научной. Я писала на темы, которые меня вдохновляли, но в мире литературной критики существовали условности и правила, и мне не хватало импульсивности и энтузиазма моих живых занятий. В аудитории мы со студентами вели увлекательный диалог; в критических статьях я стала скучной училкой. Мои статьи пользовались популярностью ровно по той причине, почему они мне не нравились: я завоевала уважение и восхищение благодаря своим сухим научным выкладкам.

7

Однажды я ни с того ни с сего сняла трубку и позвонила своему волшебнику без видимой и логичной причины. Да, я была недовольна своей ущербной интеллектуальной жизнью; да, я скучала по университету, не находила себе места и отчаялась, но все же для меня остается загадкой, почему именно в тот день, а не за день до него или после, я вдруг решила ему позвонить.

Его окружало много мифов: я слышала, что он принимал у себя лишь избранных, что если вечером в его окне, выходявшем на улицу, горел свет, значит, он готов был принимать посетителей, а если не горел, лучше было его не беспокоить. На меня эти истории не производили впечатления; мало того, именно из-за них я долго сомневалась, звонить ли ему или нет. Он окружил свои отношения с миром таким искусным вымыслом, что все его заявления по поводу ухода от мира на самом деле казались мне неутомимой жаждой общения. Мифы стали его коконом; в Иране люди часто плели себе коконы и сочиняли многоэтажную ложь, чтобы себя защитить. Чадра тоже была таким коконом и ложью.

Итак, сойдемся на том, что я позвонила ему импульсивно, без видимой причины. Однажды я сидела дома и весь день читала вместо того, чтобы работать. Иногда я поглядывала на часы и говорила себе: начну работать через полчаса, нет, через час; дочитаю до конца главы и сяду за работу. Но потом я шла к холодильнику, готовила себе бутерброд, съедала его и продолжала читать книгу. Кажется, в тот день я встала и набрала его номер как раз после того, как доела бутерброд.

После двух гудков я услышала его голос. Алло? Это Р.? Это вы? Это Азар. Молчание. Азар Нафиси. Ах да, да, это вы! Можно с вами увидеться? Ну разумеется. Когда вы хотите зайти? Когда удобно? Может, послезавтра в пять? Потом он рассказал, что у него была такая маленькая квартира, что он всегда снимал трубку максимум после двух гудков, а если на третьем никто не отвечал, значит, его не было дома или он не хотел говорить.

Хотя потом мы сильно сблизились, для меня наш дуэт навсегда остался таким, как в то первое утро. Я сидела напротив него на одиноком стуле; он расположился на жестком коричневом диване. Руки мы сложили на коленях; он – потому что так привык, я – потому что нервничала и бессознательно приняла позу школьной ученицы перед уважаемым учителем. Он поставил на стол между нами поднос с двумя темно-зелеными чашками чая и коробкой шоколадных конфет – идеальных, квадратных, в красной фольге с надписью черными буквами «Линдт», большая редкость в то время – их нельзя было купить даже в магазинах, где по заоблачным ценам продавался иностранный шоколад. Шоколадные конфеты были единственной роскошью, которую он себе позволял, и единственной роскошью, которая доставалась его гостям. Были дни, когда он жил почти впроголодь, но в полупустом холодильнике у него всегда был запас конфет; сам он их не ел, только угощал друзей и гостей. Забыла сказать, что в тот день было облачно, шел снег, и на мне был желтый свитер, серые брюки и черные сапоги, а на нем – коричневый свитер и джинсы. Впрочем, так ли это важно?

В отличие от меня, волшебник казался очень уверенным. Он вел себя так, будто я пришла к нему за помощью и нам предстояло составить сложный план спасения. В некотором роде так и было. Он говорил со мной как с давней подругой и, казалось, знал обо мне не только известные факты, но и мои секреты, неведомые никому. У меня возникло странное чувство близости с тем, с кем я была на «вы»; мы вроде были совсем не знакомы, а я поверяла ему свои тайны. С первой же встречи у меня возникло ощущение, что мы сговорились, как Том Сойер и Гек Финн, и сговор этот был не политический, а детский, придуманный, чтобы защититься от взрослого мира.

Он договаривал мои фразы, угадывал мои желания и требования, и к моменту моего ухода у нас созрел план. Вот почему он так всем нравился: любой, кто к нему приходил, к моменту ухода имел готовый план: как вести себя с любовником, как начать новый проект, как написать конспект лекции. Я не помню, что именно за план сложился у меня тогда, но волшебник наверняка помнит; он никогда ничего не забывает. Чай я не допила, конфету не съела, но домой ушла счастливая и довольная. Мы поговорили о моей нынешней жизни, о состоянии интеллектуальной среды в Иране, о Джеймсе и Руми, и все на одном дыхании. Мы забылись и пустились в долгое и бессмысленное обсуждение, побудившее его встать и наведаться в свою безупречно организованную библиотеку; я ушла от него со стопкой книг под мышкой.

Тот первый день определил наши отношения до самого моего отъезда из Ирана – по крайней мере, так мне кажется. Рядом с ним я так и осталась на позиции ребенка, потому что меня это устраивало; мало того, мне это было даже приятно, так как снимало с меня определенные обязательства. Он же создал себе образ наставника, человека, у которого всегда все под контролем, хотя на самом деле он, конечно же, не был настолько всевластным, каким я его воображала, а я не была беспомощной незнакомкой.

С тех пор я обычно бывала у него дважды в неделю: один раз в обеденное время и один раз ранним вечером. Потом мы стали еще и гулять по вечерам вокруг моего или его дома – делились новостями, обсуждали проекты, сплетничали. Иногда ходили в нашу любимую кофейню или ресторан с его близкой подругой. Кроме этой подруги, у нас было еще двое общих друзей – хозяева книжного магазина, где полюбили собираться писатели, интеллектуалы и молодежь. Иногда мы вместе обедали и ездили в горы. У меня дома он никогда не был, но часто посылал моим родным маленькие знаки внимания и коробки конфет, которые в итоге начали с ним ассоциироваться; дети даже стали ждать определенных дней недели, когда он присылал нам видеокассеты, книги и иногда мороженое.

Он называл меня «леди-профессор» – в Иране это звучало не так странно, как здесь, в США – женщин, преподававших в вузах, часто так называли. Потом он рассказывал, что друзья расспрашивали его о нашей первой встрече – мол, какая она, леди-профессор? – а он отвечал: нормальная. Ведет себя, как американка; такая американская Алиса в стране чудес. Было ли это комплиментом? Нет, полагаю; скорее, фактом. А я вам говорила, что его любимой актрисой была Джин Артур⁶⁴ и он любил Ренуара и Миннелли? А еще он мечтал писать романы.

⁶⁴ Джин Артур (1900–1991) – одна из самых популярных американских комедийных актрис 1930-х – 1940-х годов.

8

Поворотные моменты всегда кажутся такими внезапными и абсолютными; их словно ничто не предвещает. Но, разумеется, это не так. Поворотному моменту всегда предшествует некий медленный процесс. Вспоминая о прошлом, я не могу понять, что за процесс внезапно привел меня обратно в класс, заставив надеть хиджаб, который я поклялась никогда не надевать; это случилось почти против моей воли.

Планеты выстроились в ряд, когда много разных незначительных событий наложились друг на друга: мне неожиданно начали звонить из разных университетов, в том числе из Тегеранского, и приглашать на работу. Я отказывалась, а они говорили: может, попробуете провести всего пару лекций, посмотрите, как сейчас обстоят дела? Многие пытались убедить меня, что все изменилось, что такие специалисты, как я, сейчас очень востребованы, а атмосфера в университетах стала более «расслабленной». Я действительно провела пару курсов в Свободном исламском университете и бывшем Национальном университете, но возвращаться в штат не соглашалась.

К середине 1980-х в Иране постепенно возникла новая порода исламистов. Это были люди, которые почувствовали, что революция пошла не в том направлении, и решили, что пора вмешаться. Война с Ираком затянулась, это тоже влияло на общественное мнение. В начале революции эти люди – теперь им было от восемнадцати-девятнадцати до двадцати пяти лет – горячо ее поддерживали, а более юному поколению, едва достигшему совершеннолетия, начал открываться цинизм и коррупция правящих кругов. Что до правительства, опрометчиво выгнав всех в начале революции, оно столкнулось с нехваткой кадров: на всех студентов теперь не хватало преподавателей.

Правительственные чиновники и некоторые бывшие революционеры наконец поняли, что исламский режим не сможет сделать так, чтобы интеллектуалы просто исчезли. В подполье интеллигенция стала опаснее и, как ни странно, сильнее, а принадлежность к интеллектуальной среде приобрела романтический флер. Нас стало меньше, но из-за этого спрос на интеллектуалов вырос. Вот они и решили нас вернуть, отчасти чтобы убедиться, что нас по-прежнему можно контролировать, и начали вызванивать людей вроде меня, некогда заклеянных прозападными декадентами.

Посредницей между прогрессивным крылом исламских революционеров и опальной светской интеллигенцией стала госпожа Резван, амбициозная сотрудница кафедры английского языка Университета имени Алламе Табатабаи. Ее муж в начале революции принадлежал к исламистам-радикалам, и у нее имелись связи и среди прогрессивных революционеров, и среди секуляристов; она водилась и с инсайдерами, и с аутсайдерами и планировала извлечь из этих знакомств пользу для себя.

Эта Резван появилась ниоткуда и, казалось, поставила себе цель изменить мою жизнь одной своей решимостью. Я хорошо помню нашу первую встречу отчасти потому, что та состоялась в период ирано-иракской войны, который прозвали «войной городов». Обе стороны конфликта периодически подвергали жестоким и длительным бомбардировкам крупные города. В Иране «война городов» затронула Тегеран, Исфахан и Табриз, в Ираке – Багдад и Мосул. Спустя некоторое время бомбардировки прекращались, а потом возобновлялись, и длиться это могло вплоть до года.

Однажды утром зимой 1987 года мы с дочерью, которой тогда исполнилось три, и полугодовалым сыном сидели дома одни. Рано утром по Тегерану нанесли два ракетных удара, и я пыталась отвлечь детей, поставив им на маленьком магнитофоне их любимую песенку про петуха и лису. Я уговаривала дочку подпевать. Все как в сентиментальном кино: храбрая мать, храбрые дети под обстрелами. Правда, я совсем не чувствовала себя храброй; мое кажущееся

спокойствие на самом деле было следствием паралича от тревоги столь сильной, что та переросла в оцепенение. После ракетных ударов мы пошли на кухню, и я приготовила детям обед. Потом мы ушли в коридор – там было безопаснее, меньше окон. Я строила детям карточные домики, а они рушили их своими маленькими ручками.

И вот после обеда зазвонил телефон. Звонила подруга, которая в прошлом году училась у меня на выпускном курсе. Она звала меня в гости в среду вечером. Некая Резван, ее коллега, очень хотела со мной познакомиться. Она прочла все мои статьи и симпатизировала мне. Эта Резван – женщина уникальная, заключила подруга; если бы ее не было, ее следовало бы выдумать⁶⁵. Придешь?

Через несколько дней я отправилась к подруге. Электричество опять вырубилось во всем городе; когда я пришла, уже стемнело. Я вошла в просторный коридор и в густой тьме, нарушаемой лишь трепещущим пламенем керосиновой лампы, увидела невысокую полную женщину в синем платье. Я очень отчетливо помню ее внешность, как будто она сейчас стоит передо мной. Черты лица невзрачные, нос острый, шея короткая, а волосы темные и коротко острижены. Но эти внешние черты не передают характер этой женщины, которая навсегда осталась для меня госпожой Резван – даже после того, как мы сблизилась и побывали друг у друга дома, наши мужья познакомились, а дети почти подружились. Они не передают энергию, которая, казалось, томила в ее теле, как в клетке. Резван всегда пребывала в движении – то мерила шагами свой маленький кабинет, то мою гостиную, то спешила куда-то по университетским коридорам.

Она всегда была полна решимости: решимости не только действовать, но и заставлять окружающих – не всех подряд, а тщательно отобранных людей – выполнять для нее особые поручения, специально для них придуманные. Мне редко встречались люди, чья воля так подчиняла людей, оказывая на них почти физическое воздействие. Спустя много лет я помню не ее невзрачное лицо, а ее целеустремленность, волю и насмешливый тон.

Иногда она неожиданно заявлялась ко мне домой в такой тревоге, будто с ней случилось несчастье. Но она лишь приходила сообщить, что я должна присутствовать на том или ином собрании. Она всегда вела себя так, будто мое присутствие – дело жизни и смерти. За некоторые собрания я ей благодарна – например, она заставила меня встретиться с группой прогрессивных религиозных журналистов, теперь их принято называть модным словом «реформаторы»; впоследствии я стала сотрудничать с их журналами. Западная литература и философия вызывала у них живой интерес, и оказалось, наши взгляды во многом сходятся, как ни удивительно.

Какая честь познакомиться с вами, сказала она тем вечером, в день нашей первой встречи. Я хотела бы у вас поучиться. Она сказала это с совершенно серьезным выражением лица, без капли юмора и иронии. Я так растерялась, что тут же прониклась к ней неприязнью, оробела и не смогла ничего ответить.

Тем вечером говорила главным образом она. Она прочла мои статьи; друзья и студенты рассказывали ей обо мне. Нет, она не пыталась мне польстить; она действительно хотела у меня учиться. Я должна преподавать в их университете, единственном либеральном иранском университете, где до сих пор работают лучшие умы. Завкафедрой вам понравится, сказала она; он серьезный ученый, хоть и не имеет отношения к литературе. Литература в нашей стране находится в плачевном состоянии, а состояние английской – и вовсе безнадежное. Мы, люди неравнодушные, должны что-то менять; нужно забыть о разногласиях и объединиться.

После нашей первой встречи она продолжала давить на меня через разных посредников, чтобы я приняла ее предложение преподавать в Университете Алламе Табатабаи. Она названивала мне целыми днями, заклинала Богом, моими студентами, долгом перед родиной и лите-

⁶⁵ Отсылка к знаменитой цитате Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».

ратурой; мол, преподавать в этом университете – моя жизненная миссия. Наобещала мне с три короба – сказала, что поговорит и с президентом университета, и со всеми, с кем я попрошу.

Я ответила, что не хочу носить хиджаб в классе. А на улице я разве не ношу хиджаб, спросила она? В бакалейной лавке, на прогулке? Я снова напомнила, что университет – не бакалейная лавка; мне теперь приходилось постоянно об этом напоминать. А что для вас важнее, парировала она, – хиджаб или тысячи молодых людей, которые хотят учиться? Разве не хочу я иметь возможность свободно преподавать свой предмет? Разве не важна для меня свобода преподавательской деятельности, заговорщически спросила она? А я отвечала – но ведь сейчас запрещено обсуждать отношения между мужчиной и женщиной, употребление спиртных напитков, политику, религию – разве они все это не запретили? Как я буду обсуждать литературу? Для вас, сказала Резван, сделают исключение. И сейчас атмосфера гораздо свободнее. Все еще помнят вкус хорошей литературы; все еще хотят ее читать. Можете проходить с ними Джеймса, Филдинга – почему бы и нет?

9

Встреча с Резван выбила меня из колеи. Она словно была посредником, взывающим ко мне от имени неверного возлюбленного, которого я так и не простила; взамен на мою любовь мне обещали непоколебимую преданность. Биджан считал, что надо возвращаться; ему казалось, что преподавание – единственное, чем я на самом деле хочу заниматься, надо просто признать в этом самой себе. Я советовалась с друзьями, но те лишь запутывали меня еще сильнее, ставя передо мной тот же выбор: что лучше – учить молодежь, у которой иначе, возможно, не будет шанса получить нормальное образование, или категорически отказаться сотрудничать с режимом? Обе стороны при этом были непоколебимы в своей позиции: одни считали, что я буду предательницей, если брошу молодежь на произвол учителей, являющихся проводниками прогнившей идеологии; другие утверждали, что я предаю все свои идеалы, решив сотрудничать с режимом, разрушившим жизни многих наших коллег и студентов. И те и другие были правы.

Однажды утром в панике и смятении я позвонила волшебнику. Мы назначили очередное срочное собрание после обеда в нашей любимой кофейне. Кофейня была крошечная – до революции там находился бар, теперь его переделали в кафе. Хозяин был армянином, и я и сейчас хорошо помню название ресторана, написанное на стеклянной двери маленькими буквами, а рядом – табличку с крупными черными буквами: «РЕЛИГИОЗНОЕ МЕНЬШИНСТВО». Все рестораны, которыми владели немусульмане, должны были вешать эти таблички, чтобы предостеречь правоверных мусульман, которые считали всех немусульман нечистоплотными и никогда не согласились бы есть с ними из одной посуды.

Помещение кафе было узким и имело форму широкой кривой; с одной стороны барной стойки стояли семь или восемь высоких табуретов и столько же – с другой, вдоль зеркальной стены. Когда я вошла, волшебник уже сидел в конце стойки. Он встал, сделал едва заметный насмешливый реверанс, поклонился, произнес «я весь в вашем распоряжении, миледи» и отодвинул для меня табурет.

Мы сделали заказ, и я взволнованно произнесла: дело срочное. Так я и понял, ответил он. Меня пригласили снова преподавать. А разве раньше не приглашали, спросил он? Да, но в этот раз я всерьез думаю согласиться и не знаю, как поступить. Потом рассказ о моем срочном деле вдруг перешел в обсуждение книги, которую я тогда читала – «Сотрудник агентства „Континенталь“» Дэшила Хэммета. Стив Маркус написал потрясающий очерк о Хэммете, в котором цитировал строки из Ницше, показавшиеся мне весьма уместными в нашей ситуации. «Тот, кто сражается с чудовищами, – писал Ницше, – должен следить, чтобы самому не превратиться в чудовище. Когда долго смотришь в бездну, рано или поздно бездна посмотрит на тебя». У меня была удивительная способность отвлекаться от самого важного, и в итоге мы так увлеклись обсуждением, что я совершенно забыла о настоящей цели своего визита.

Вдруг он сказал – а вы не опоздаете? Небо за окном давно сменило цвет; дневной свет побледнел и померк, и я должна была понять, что уже поздно. Я позвонила Биджану и пристыженно сообщила, что задержусь. Когда я вернулась, волшебник расплачивался по счету. Но мы еще не закончили, слабо возразила я. Нужно обсудить главную проблему, то, за чем я пришла. А я-то думал, главная проблема – ваша заново вспыхнувшая страсть к мистеру Хэммету и компании. Вам повезло, что я оставил мирские заботы и не пытаюсь соблазнить вас. Всего-то нужно было позволить вам и дальше говорить о Хэммете, позорном неуважении иранцев к детективному жанру и прочих вопросах, которые, очевидно, очень вас волнуют. Нет, смущенно ответила я; я имела в виду возвращение в университет. Ах, это, отмахнулся он. Что ж, ответ очевиден: возвращайтесь.

Но я не собиралась легко сдаваться. Мне нравилась идея морального выбора, отстаивания своей позиции и всего такого прочего. И вот я продолжила спорить, этично ли возвра-

щаться на работу, хотя я клялась никогда не делать этого, если меня заставят носить платок. Волшебник вскинул бровь и снисходительно улыбнулся. Леди-профессор, наконец ответил он, поймите наконец, в какой стране вы живете. Вы сомневаетесь, этично ли подчиняться режиму, но на деле никто из нас не может выпить стакан воды, не заручившись одобрением моральных стражей Исламской Республики. Вы любите свою работу – так работайте в свое удовольствие, смиритесь с фактом. Для нас, интеллигенции, сделать это гораздо важнее, чем для рядовых граждан, – надо или честно исполнять все правила и называть это конструктивным диалогом, или полностью удалиться от жизни во имя борьбы с режимом. Многие люди прославились своей оппозиционной деятельностью, но даже им без режима не выжить. Вы же не хотите восстать против режима?

Нет, согласилась я, но не хочу и идти на сделки. А вы-то, как вы можете мне такое советовать? Взгляните на себя. А что со мной не так, спросил он? Вы сами разве не отказались преподавать, писать, заниматься любой деятельностью при этом режиме? Разве вы своими действиями не подаете пример, не призываете нас всех уйти в подполье? Нет, я такого не говорил, ответил он. Вы по-прежнему ошибаетесь, считая, что я показываю пример. Я ни для кого не образец. Меня, между прочим, можно назвать даже трусом. Я не вхожу в их круги, но плачу за это высокую цену. Я – не проигравший и не победивший. Меня просто не существует. Понимаете, я прячусь не только от Исламской Республики, но и от самой жизни. А вам этого делать нельзя. Вы и не хотите этого делать.

Я попыталась развернуть ситуацию и напомнить, что для своих друзей и даже для врагов он стал примером. Он со мной не согласился. Нет, сказал он, я так популярен, потому что даю людям то, что они должны найти в себе. Вы нуждаетесь во мне не потому, что я приказываю вам, что делать, а потому что я озвучиваю и оправдываю вашу собственную позицию. Вот почему я вам нравлюсь: я – человек без свойств. Это моя суть. А чего же вы сами хотите, спросила я? Я давно уже ничего не хочу, ответил он, но я могу сделать так, чтобы вы занимались тем, чем хотите. Правда, платить все-таки придется, добавил он. Помните цитату Ницше про бездну? Невозможно не ощутить на себе ее взгляд. Я знаю, что вам хочется и съесть пирожок, и чтобы он остался цел; я знаю о вашем желании остаться невинной, сохранить в себе Алису в стране чудес.

Вы же любите преподавание, продолжил он. Все ваше общение, в том числе и со мной, – лишь сублимация преподавательской деятельности. Вам нравится преподавать, так почему бы не пойти работать? Работайте, радуйтесь, проходите со студентами своего любимого Хэммета и эту вашу Остин. Но речь не о моем удовольствии, гневно парировала я. Да что вы говорите, передразнил меня он; женщина, которая беспрестанно твердит о своей любви к Набокову и Хэммету, теперь говорит, что не нужно заниматься любимым делом? Вот это как раз аморально. Выходит, вы тоже стали одной из них, уже более серьезным тоном добавил он; вы впитали идею этой культуры, что все, что дарит удовольствие, – порочно и безнравственно. Думаете, сидя дома без дела, вы становитесь более нравственной? Если вы хотите, чтобы я сказал вам, что преподавание – ваш долг, вы пришли не по адресу. Не буду я этого говорить. Я скажу – учите, потому что вам это нравится: будете меньше пилить мужа и детей, станете добрее и счастливее, да и студентам будет интересно; глядишь чему-нибудь научатся.

В такси по пути домой он повернулся ко мне и нарушил повисшее между нами молчание. Серьезно, сказал он, возвращайтесь и преподавайте. Это же не навсегда. Если захочется, сможете уйти. Заключайте любые сделки, если те не идут наперекор вашим самым фундаментальным ценностям. И не переживайте о том, что мы, ваши коллеги, будем судачить за вашей спиной. Мы же все равно будем судачить, что бы вы ни сделали. Вернетесь – скажут, она продалась, не вернетесь – скажут, испугалась трудностей. И я сделала, как он сказал, и все говорили у меня за спиной, что им вздумается.

10

Меньше недели прошло с момента нашего экстренного совещания с волшебником, и мне домой позвонила госпожа Резван. Она хотела, чтобы я встретилась с завкафедрой, «приятным человеком». Вот увидите, все изменилось, твердила она. Они стали более либеральными и осознали ценность хороших научных кадров. Резван забыла упомянуть о том, что «они» хотели невозможного: чтобы хорошие научные кадры проповедовали свои идеалы, подчиняясь «их» требованиям. Впрочем, насчет завкафедрой она оказалась права. Он действительно был перwokлассным лингвистом, выпускником одного из лучших американских университетов. Религиозный, но не слепой приверженец идеологии и не подхалим. В отличие от большинства университетских чиновников, его искренне интересовало качество образования.

После первой встречи с завкафедрой состоялась менее приятная встреча с набожным и куда более упертым деканом. После обычных любезностей тот сделал серьезную мину, словно заявляя – ну хватит уже о всякой ерунде вроде философии и литературы, пора переходить к делу. Для начала он выразил обеспокоенность моей «историей», особенно нежеланием носить хиджаб. Я сказала, что теперь ношение хиджаба – закон нашей страны, я не могу выйти на улицу с непокрытой головой и, следовательно, стану носить хиджаб. Но я не пойду на уступки в том, что касается программы моих занятий: буду преподавать, что считаю нужным и как считаю нужным. Он удивился, но решил уступить моим требованиям свободы, по крайней мере, на словах.

На протяжении всей нашей встречи, как и подобает истинному мусульманину, он не смотрел мне в глаза. Он сидел, опустив голову, как смущенный восемнадцатилетний парнишка. Разглядывал узор на ковре или стену напротив. Иногда возился со своей ручкой, внимательно ее разглядывал, что напомнило мне нашу последнюю встречу с Бахри. Я к тому времени начала хорошо разбираться в манерах поведения набожных мужчин. Все они избегали смотреть собеседнице в глаза, но делали это по-разному, тем самым выказывая свое отношение. Были те, кто уклонялся от взглядов агрессивно. Однажды высокопоставленный функционер одной организации, для которой я готовила отчет по просьбе коллеги, все полчаса, что я зачитывала свой отчет, многозначительно смотрел в другую сторону, а потом начал задавать вопросы и излагать свои комментарии, обращаясь к тому самому моему коллеге, который от стыда аж пропотел. Через некоторое время я решила отвечать, тоже обращаясь к своему коллеге, и притворилась, что чиновника в комнате нет, а потом сдуру отказалась от денег, которые мне заплатили за отчет.

Но этот декан отводил взгляд из истинной скромности и благочестия; не сказать, чтобы мне это нравилось, но и враждебности к нему я не испытывала. Если бы мы не жили в Исламской Республике, я бы, может, даже пошутила насчет этой неловкой ситуации, ведь все происходящее явно причиняло ему куда больше неудобства и мук, чем мне; также было ясно, что английская литература вызывает у него искренний интерес и он хочет обсудить со мной темы, в которых несведущ, и продемонстрировать свои знания трудов Платона и Аристотеля.

Когда я рассказала о нашем разговоре Резван, та, смеясь, ответила, что не я одна боялась быть «скомпрометированной». Университетские чиновники чрезвычайно беспокоились на мой счет. Пригласив меня в штат, они рисковали.

Скоро я уже готовилась к первому занятию. В первом семестре меня нагрузили тремя вводными курсами для первого и второго курса – среди них были «Роман: знакомство с жанром» и «Драматургия и критика» – и двумя курсами для выпускников – по литературе восемнадцатого века и литературной критике. Мои вводные курсы посещали максимум тридцать-сорок человек, а вот семинары для выпускников собирали не менее трех десятков учащихся. Я пожаловалась на нагрузку, и мне сообщили, что некоторые преподаватели работают по двадцать

часов в неделю. Качество преподавания для администрации не имело значения. Они считали, что мои ожидания нереалистичны, а я – идеалистка; я же считала их равнодушие преступным.

Вышло так, что ни я, ни они обещание не сдержали. Я носила платок как попало, и они постоянно цеплялись ко мне под этим предлогом. Ни на день они не оставили попыток вынудить меня преподавать более приемлемую программу и вести себя более прилично. Но все это было потом; поначалу между нами воцарилось длительное перемирие. Резван стала буфером между администрацией и мной, она пыталась пригладить все наши разногласия, как посредник в неудачном браке. Подобно всем посредникам, она не забывала и о своей выгоде – убеждая людей вроде меня активно участвовать в университетской жизни, она усиливала свое влияние на администрацию. И пока Резван оставалась в университете, наш несчастливый союз не разваливался.

Своим насмешливым тоном она вещала, что мы должны выступить единым фронтом и вырвать литературу из когтей невежд с кафедры, которые совершенно в ней не разбираются. Ты знала, что до тебя роман двадцатого века вела женщина, чья программа состояла всего из двух книг – «Жемчужины» Стейнбека и одного персидского романа? Знала, что профессор университета Аль-Захра думал, что «Большие надежды» написал Джозеф Конрад?

11

«Внимание, внимание! Это не учебная тревога! Красная тревога! Немедленно покиньте свое жилище и отправляйтесь в убежище!» Интересно, наступит ли в моей жизни момент, когда эхо красной сирены – визгливая скрипка, пронизывающая все тело безжалостными мурашками – перестанет звучать в моей памяти. Сколько лет должно пройти? Не могу отделить восемь лет войны от этого пронзительного звука, что врывался в нашу жизнь несколько раз в день в самый неожиданный час. Всего было три вида сирен: красная (опасность), желтая (возможная опасность) и белая (опасности больше нет), но я так и не научилась отличать их друг от друга. И даже когда звучала белая, чувство опасности никуда не уходило. Обычно красную сирену включали слишком поздно, когда бомбу уже сбросили, да и не было на территории университета никаких убежищ.

Воздушная тревога над Тегераном запомнилась мне по многим причинам, но главным образом потому, что во время этих тревог завязывались внезапные дружбы и люди становились друг другу как родные. Знакомые, приходившие на ужины, вынуждены были оставаться ночевать, а их иногда было человек двенадцать, и к утру казалось, что ты знаешь всю историю их жизни. А бессонные ночи? В нашем доме я спала меньше всех. Мне хотелось быть ближе к детям, чтобы если что-то случится, это случилось бы со всеми нами. Муж во время авианалетов спал или хотя бы пытался, но я брала две подушки, свечи и книгу и шла в небольшой коридорчик, отделявший детскую спальню от нашей; там я садилась у них под дверью. Кажется, я думала, что если не усну, мне удастся заговорить бомбу и та не упадет на наш дом.

Однажды я вдруг проснулась часа в три-четыре ночи; в доме стояла кромешная тьма. Я сразу поняла, что отключили электричество – маленький ночник в коридоре не горел. Я выглянула в окно: уличные фонари тоже погасли. Включила фонарик; тот выхватил из темноты маленький круг света. Через несколько минут я уже сидела у стены с подушками, двумя свечами и книгой. Вдруг раздался взрыв. Сердце ухнуло в груди, ладонь невольно прижалась к животу, как во время авианалетов, когда я была беременна. Глаза притворились, что ничего не случилось, уткнулись в страницу «Дейзи Миллер».

Именно в это время моя рука бессознательно потянулась к карандашу и бумаге. Я так и не сумела отказаться от приятной студенческой привычки – подчеркивать строки в книге и делать заметки. Мои заметки о «Гордости и предубеждении», «Вашингтонской площади», «Грозовом перевале», «Мадам Бовари» и «Томе Джонсе» появились этими бессонными ночами, когда, как ни странно, я была очень сосредоточена. Видимо, стремление игнорировать всепоглощающую угрозу бомб и ракет питало мою концентрацию.

Я только что начала «Дейзи Миллер» и читала о европеизированном молодом американце Уинтерборне, который едет в Швейцарию и знакомится с очаровательной и загадочной мисс Дейзи Миллер. Уинтерборн увлечен молодой американкой, которая кому-то кажется поверхностной и вульгарной, а другим – свежей и невинной. Он не может решить, кто она – кокетка или «приличная» девушка. В центре сюжета – сомнения Уинтерборна, который колеблется между Дейзи, не желающей подчиняться законам порядочного общества, своей теткой-аристократкой и ее компанией американских снобов, которые решают игнорировать Дейзи. Я как раз читала сцену, где Дейзи просит Уинтерборна познакомить ее с его теткой. Уинтерборн как можно деликатнее пытается ответить, что тетя не согласится ее принять. «Мисс Дейзи Миллер остановилась и посмотрела на него. Ее красота безошибочно угадывалась даже в темноте; она разворачивала и сворачивала свой громадный веер. „Она не хочет меня знать! – вдруг проговорила она. – Почему вы прямо не скажете?“»

Я снова услышала взрыв. Хотелось пить, но я не могла заставить себя встать и налить воды. Еще два взрыва. Я продолжала читать; глаза иногда отрывались от книги и вглядывались

в темный коридор. Я боюсь темноты, но война и взрывы затмили собой этот страх. В сцене, которую я запомню навсегда – не только потому, что прочла ее той ночью – Дейзи говорит Уинтерборну: «Зря вы боитесь. Я вот не боюсь!» «Она тихо рассмеялась. Уинтерборну послышалась дрожь в ее голосе; это тронуло его, потрясло и ужаснуло. „Дорогая моя, – возразил он, – она никого не хочет принимать. Все из-за ее проклятой болезни“. Девушка прошла несколько шагов, по-прежнему смеясь. „Зря вы боитесь“, – повторила она».

В этих словах было столько мужества, а главная ирония крылась в том, что боялся Уинтерборн не тетки, а самой мисс Дейзи Миллер и ее очарования. На миг я поверила, что отвлеклась от взрывов; слова «зря вы боитесь» оградили меня от страха.

Я продолжила читать, и тут одновременно случились три вещи. Дочь позвала меня из комнаты, зазвонил телефон и в дверь постучали. Я взяла свечу и пошла к телефону, крикнув Негар, что сейчас подойду. В тот момент распахнулась входная дверь и вошла моя мать со свечой в руке; она спросила: ты в порядке? Не бойся! Почти каждую ночь после взрывов мать приходила со свечой; это стало для нас ритуалом. Она пошла в комнату Негар, а я ответила на звонок. Звонила подруга, спрашивала, все ли у нас в порядке. Им показалось, что взрывы слышны в нашей части города. Это тоже стало ритуалом – звонить друзьям и родным и проверять, живы ли они, и знать, что твое облегчение значит, что погиб кто-то другой.

В эти ночи, когда красная сирена сменялась белой, я бессознательно определяла направление своей будущей карьеры. Бесконечными ночами я концентрировалась только на художественной литературе, и когда снова начала преподавать, программа двух курсов по роману уже сложилась в моей голове. Следующие пятнадцать лет я размышляла о художественной литературе, писала о художественной литературе и преподавала художественную литературу. Мои ночные чтения пробудили во мне интерес к истокам романа и его структуре, которая, как я поняла, была довольно демократичной. Мне стало любопытно, почему романы писателей-реалистов в нашей стране никогда не пользовались популярностью. Если бы я могла засушить звук, как лист или бабочку, меж страниц «Дейзи Миллер» или «Гордости и предубеждения» – самого полифонического романа из всех, – я нашла бы там звук красной сирены, сухой, как осенний лист.

12

Звучали сирены, механический голос требовал внимания, на улицах лежали мешки с песком, а бомбы падали рано утром или после полуночи; за бомбежками следовали долгие или короткие периоды затишья, а потом бомбить начинали снова. В то же время у меня были Остин и Джеймс, и разные кабинеты на четвертом этаже здания, где находилась кафедра персидского языка и иностранных языков и литературы. По обе стороны длинного узкого коридора тянулись два ряда аудиторий. С одной стороны окна выходили на горы, раскинувшиеся не так уж далеко, а с другой – на печальный красивый сад, всегда немного неухоженный и заросший, где посреди маленького декоративного водоема застыла потрескавшаяся каменная статуя. Водоем окружали круглые и квадратные клумбы с цветами и кустарниками; вокруг выросли деревья. Цветы, казалось, росли без всякой системы – прекрасные розы, крупные георгины и нарциссы. Мне всегда казалось, что этот сад сошел со страниц романа Готорна и к университету не имеет отношения.

Я разработала целый ритуал по подготовке к выходу на улицу. Я ни в коем случае не красилась; контуры и линии моего тела исчезали под футболкой и мешковатыми черными брюками, удобными, на полразмера больше; я надевала сверху черную накидку и несколько раз обматывала вокруг шеи черный платок. В последнюю очередь собирала книги и конспекты. Моя сумка всегда была набита под завязку; большинство этих книг и тетрадей мне были даже не нужны, но я все равно брала их с собой, как подушку безопасности.

Дорога от дома до университета почему-то вспоминается мне как в тумане. Я попадала на кафедру персидского языка и иностранных языков и литературы внезапно, как по мановению волшебной палочки, минуя зеленые ворота и охрану, стеклянную дверь в здание с табличками, очерняющими западную культуру. В воспоминаниях я сразу переношусь из дома на нижнюю ступеньку лестницы.

Поднимаясь по лестнице, я пытаюсь игнорировать плакаты и лозунги, наклеенные на стены тут и там. В основном это черно-белые кадры войны в Ираке и лозунги с проклятиями в адрес Великого Сатаны, то есть Америки, и ее посланников. Под каждой фотографией – цитаты аятоллы Хомейни – «Убьем ли мы или убьют нас – мы все равно победители! Дашь исламизацию университетов! Эта война – божественное благословение для всех нас!»

Я так и не смогла преодолеть негодование при виде этих выцветших фотографий, которые висели на кремовых стенах, никому не нужные и одинокие. Эти потрепанные плакаты и лозунги мешали моей работе; я забывала, что пришла в университет преподавать литературу. На этих стенах висели предписания по поводу цвета униформы и правил поведения, но ни разу не встретилось ни одного объявления о лекции, кинопоказе, книге.

13

Примерно через две недели после начала второго семестра в Университете Алламе я открыла дверь своего кабинета и увидела на полу конверт, который просунули под дверь. Конверт и пожелтевший листок бумаги, лежавший внутри и сложенный пополам, я храню до сих пор. На конверте значилось мое имя и адрес университета, а на листке была всего одна строчка, выглядевшая глупо и непристойно, как и ее смысл: «Требуем уволить распутницу Нафиси». Такой приветственный подарок я получила, вернувшись в мир высшего образования.

Позднее в тот день я пошла к завкафедрой. Оказалось, президент университета тоже получил записку с таким же текстом. Интересно, зачем мне об этом сообщили. Я знала, и они тоже знали, что слово «распутница», как и прочие присвоенные режимом слова, утратило смысл. Оно стало обычным бранным словом, призванным очернить и принизить женщин. Я также знала, что нечто подобное могло случиться и в другой стране: мало ли в мире озлобленных психопатов, подсовывающих под двери непристойные записки.

Мне было больно – и до сих пор больно – оттого, что эта ментальность теперь управляла нашей жизнью. Те же слова я слышала в официальных газетах, на радио и по телевизору, от священнослужителей на кафедрах, желавших дискредитировать и уничтожить своих врагов. Большинству это удавалось. А я чувствовала себя дешевкой и в некотором роде соучастницей, зная, что многие из-за аналогичных обвинений лишились средств к существованию. А ведь они не делали ничего плохого, только громко смеялись в общественных местах или пожимали руки людям противоположного пола. Стоило ли мне благодарить звезды за то, что я отделалась всего одной строчкой, нацарапанной на дешевой бумаге?

Тогда я поняла, что имелось в виду, когда мне сказали, что этот университет и моя кафедра были «более либеральными». Это отнюдь не означало, что администрация будет делать что-то для предотвращения подобных инцидентов; это значило лишь, что против меня не будут принимать меры после получения таких записок. Руководство не понимало, почему я злюсь; они объяснили это женской истерикой и все мои следующие протесты объясняли тем же. Мне дали понять, что с моими выходками будут мириться; мое неформальное общение со студентами, мои шутки, постоянно сползающий платок, мою «Историю Тома Джонса» и «Дейзи Миллер» – на все это готовы смотреть сквозь пальцы. Они называли это толерантностью. И, что самое странное, в каком-то извращенном смысле это и было толерантностью, и я должна была, наверно, их за это даже благодарить.

14

Вспоминая те дни, я всегда вижу, как поднимаюсь по лестнице; никогда в своих воспоминаниях я не иду по ступеням вниз. Но в тот день я, конечно, спускалась по лестнице, как и в другие дни. Я ненадолго заглянула в свой кабинет, оставила там лишние книги и документы и захватила конспекты для первой лекции. Потом не спеша спустилась на четвертый этаж, повернула налево и вошла в аудиторию, расположенную в самом конце длинного коридора. В этой аудитории проходил мой курс «Роман: знакомство с жанром», вторая ступень. В тот день мы обсуждали Генри Джеймса и его роман «Дейзи Миллер».

В своих воспоминаниях я снова открываю книгу и раскладываю конспекты, окидываю взглядом сорок с лишним лиц – все глаза устремлены на меня; я готова к бою. На некоторых лицах я привыкла отдыхать взглядом; они – мое утешение. В третьем ряду с женской стороны сидит Махшид, а рядом с ней – Нассрин.

В первый день занятий в предыдущем семестре я испытала шок, увидев Нассрин в этой аудитории. Мой взгляд небрежно скользил по рядам и вдруг уперся в нее; она смотрела на меня и улыбалась, точно говоря: ну да, это я. Вы не ошиблись. С тех пор, как я в последний раз видела маленькую Нассрин, исчезающую в солнечном переулке рядом с Тегеранским университетом со стопкой листовок под мышкой, прошло больше семи лет. Я иногда задумывалась, что с ней стало – может, вышла замуж? И вот она сидела здесь рядом с Махшид; лицо ее стало решительнее и одновременно мягче, на щеках играл легкий румянец. Когда я видела ее в прошлый раз, на ней был темно-синий платок и свободная накидка, но сейчас плотная черная чадра укутывала ее с ног до головы. В чадре она казалась еще меньше, ее тело терялось в складках темной бесформенной накидки. Изменилась и ее осанка: раньше она сидела с прямой спиной на краешке стула, словно готовилась в любой момент сбежать; теперь же полулежала на столе почти сонно, и вид у нее был мечтательный и рассеянный; она водила ручкой по бумаге как в замедленной съемке.

После занятия Нассрин задержалась. Я заметила, что она сохранила некоторые свои прежние привычки – например, ее руки беспокойно порхали, и она постоянно переминалась с ноги на ногу. Собирая книги и конспекты, я спросила ее – где же ты была? Помнишь, что так и не сдала мне курсовую по «Великому Гэтсби»? Она улыбнулась и ответила: не волнуйтесь, у меня уважительная причина. В нашей стране в уважительных причинах недостатка нет.

Она коротко пересказала события семи последних лет своей жизни. В общих чертах – я не осмелилась просить ее описывать произошедшее подробнее – она поведала мне, что вскоре после того дня, когда мы с ней в последний раз виделись, ее и нескольких ее товарищей арестовали, когда они раздавали листовки на улице. Помните, в то время власти словно помешались и стали преследовать партию «Муджахидин», сказала она? Мне, можно сказать, повезло. Многих моих друзей казнили, а мне сначала дали всего десять лет. *Всего* десять лет? И это, потвоему, «повезло»? Ну да, ответила она. Помните историю двенадцатилетней девочки, которую застрелили, когда она бегала по тюремному двору и разыскивала маму? Я была там, и мне тоже хотелось позвать маму. Они убивали подростков сотнями, и я могла быть среди них. Но отцовские связи в религиозной среде сыграли мне на руку. У него в комитете были друзья – один хадж-ага⁶⁶ оказался его студентом. Из-за отца меня пощадили. Отнеслись со снисхождением. Через некоторое время десятилетний срок уменьшили до трех лет, и я вышла. После освобождения мне сначала не разрешили учиться, меня же выпустили условно – я до сих пор на испытательном сроке. Только в прошлом году разрешили поступить в университет. Вот я и поступила. С возвращением, ответила я, но помни – ту курсовую по «Гэтсби» ты мне все еще

⁶⁶ Уважаемый мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

должна. Я пыталась отшутиться; Нассрин самой явно хотелось, чтобы ее историю восприняли легко.

Я до сих пор вижу спокойную фарфоровую улыбку Махшид. Нассрин на занятиях всегда выглядела сонной – я подозревала, что она не высыпается, – но в итоге оказалась одной из моих лучших и самых способных студенток.

Справа у стены сидят двое из Мусульманской студенческой ассоциации. Их имена я забыла, поэтому придется им смириться с вымышленными: назовем их Хатеф и Рухи. Они питаются негативным вниманием. Бывает, перешептываются под чадрами – из-под одной торчит острый нос, из-под другой – маленький курносый; иногда даже улыбаются.

Чадру они носят странно. Я замечала подобную манеру за многими женщинами, особенно молодыми. Им самим, их жестам и движениям совсем не свойственно застенчивое стремление оставаться незаметными, которое отличало мою бабушку, чей каждый жест умолял и приказывал смотрящему игнорировать ее, проходить мимо и оставить ее в покое. В детстве и ранней юности чадра моей бабушки много для меня значила. Она была укрытием, миром, существовавшим отдельно от остального мира. Я помню, как она заворачивалась в чадру и ходила по двору, когда цвели гранаты. Сейчас же чадра была навек осквернена политическим смыслом, которым ее наделили. Она стала холодной и угрожающей, а женщины вроде Хатеф и Рухи носили ее с видом дерзкого неповиновения.

Мой взгляд задержался на красивой девушке с по-детски милым личиком, сидевшей на четвертом ряду. Ее звали Митра; она всегда получала лучшие оценки. Тихоня, на занятиях она почти не высказывалась, а если высказывалась, излагала свои мысли так спокойно, что я порой не улавливала их сути. Я узнала настоящую Митру, читая ее экзаменационные работы и позже – литературные дневники, которые я просила девочек вести во время занятий.

С противоположной стороны, на мужской половине, сидит Хамид; вскоре он женится на Митре и будет заниматься компьютерами. Он чисто выбрит, красив, умен, беззаботно улыбается, переговариваясь с друзьями, сидящими справа и слева. За его спиной сидит Форсати. На нем всегда светло-коричневая куртка и темные брюки. Он тоже улыбается, но потом я пойму, что его улыбка на самом деле ничего не значит; это часть его физиологии. Бороду он аккуратно стрижет, не отпускает. Хамид из новой породы студентов-мусульман, он очень отличается от Бахри с его яростной верой в революционные принципы. Форсати – мусульманин, но не особо привержен религиозным идеалам, сформировавшим первое поколение студентов-исламистов. Больше всего он хочет выдвинуться. Близких друзей у него в группе нет, но он, пожалуй, является самым влиятельным в ней человеком, так как возглавляет «Исламский джихад» – одну из двух законных студенческих организаций в Иране. Вторая – Мусульманская студенческая ассоциация – более революционно настроенная и исламистская в своих практиках. Вскоре мне предстоит узнать, что если я захочу показать студентам кино или пригласить лекторов со стороны, мне придется убеждать Форсати стать моим лоббистом, и тот, как правило, будет с удовольствием выступать в мою защиту.

Я продолжаю говорить, а взгляд неосознанно скользит к последней парте в последнем ряду у стены. С начала семестра меня одновременно забавляло и раздражало происходящее в этом углу. Обычно в середине лекции высокий долговязый студент, сидевший на этом месте – назовем его Гоми – привставал и не дожидаясь, пока я разрешу ему заговорить, и не выпрямляясь в полный рост, начинал перечислять свои возражения. Он всегда высказывался против – в этом я уверена.

Рядом с Гоми сидел студент постарше – Нахви. Этот отличался большей сдержанностью, чем его приятель. Говорил спокойно, главным образом потому, что никогда не сомневался в своей правоте. Тень сомнения ни разу не омрачила его уверенность, не вырвалась наружу случайным эмоциональным всплеском. Он говорил четко и монотонно, будто читал телесуфлер. После занятия он часто шел за мной до самого моего кабинета и читал нотации, главным обра-

зом по поводу западного упадничества и того, как отсутствие «абсолюта» вызвало деградацию западной цивилизации. Он обсуждал эти темы с такой непоколебимой решимостью; для него это были не подлежащие оспариванию факты. Когда же заговаривала я, он выдерживал уважительную паузу, но стоило мне закончить, продолжал свою монотонную речь, подхватив ее с того самого места, на котором остановился.

Это был уже второй мой курс, который Гоми решил посещать. В первом семестре он почти не ходил на занятия, оправдывая это тем, что состоял в ополчении и участвовал в войне. В чем именно заключалось его участие, я так и не поняла: он не записывался в армию и на фронте никогда не был. Для ряда мусульманских активистов война стала поводом выбить у кафедры незаслуженные привилегии. Гоми завалил экзамены и прогулял большинство тестов, но все равно ненавидел меня за то, что я поставила ему неудовлетворительную оценку. Возможно, он так часто повторял ложь об участии в войне, что сам в нее поверил и поэтому искренне на меня обижался, а я почему-то чувствовала себя виноватой всякий раз, когда его встречала. Со второго семестра он ходил на занятия более-менее регулярно. Сталкиваясь с такими студентами, я скучала по Бахри, который уважал университет и никогда не злоупотреблял своим положением.

Итак, Гоми теперь с относительным постоянством навещался на мои лекции и каждый раз устраивал дразги. Он почему-то решил докопаться до Генри Джеймса во что бы то ни стало. Он тянул руку вверх при любой возможности и задавал вопросы, точнее, резко возражал. Джеймс был его любимой мишенью. Он никогда не выдвигал ко мне претензий напрямую – он делал это косвенно, оскорбляя Джеймса, словно затаил против него личную вражду.

15

Выбирая для обсуждения в классе «Дейзи Миллер» и «Вашингтонскую площадь», я не могла предположить, что мисс Дейзи Миллер и мисс Кэтрин Слоупер станут столь противоречивой и навязчивой темой обсуждений. Я-то выбрала эти два романа, потому что они показались мне более доступными, чем поздние «длинные» романы Джеймса. До Джеймса мы читали «Грозовой перевал».

Ядром моего вводного курса было понятие романа как новой формы повествования, радикально изменившей базовые представления об отношениях между людьми; вследствие этого изменилось традиционное восприятие отношений человека и общества, человеческих обязанностей и долга. Поступки Клариссы Харлоу⁶⁷ и Софии Уэстерн⁶⁸ – двух благопристойных девушек, послушных дочерей, тем не менее отказавшихся выходить замуж за нелюбимых мужчин, – изменили нарратив и поставили под сомнение фундаментальные общественные институты того времени, прежде всего – институт брака.

У Дейзи и Кэтрин было мало общего, но обе отвергали условности своей эпохи; обе не соглашались, чтобы им диктовали правила. Они происходили из рода литературных бунтарок, к которому принадлежали также Элизабет Беннет, Кэтрин Эрншо и Джейн Эйр. Своим отказом подчиняться эти женщины создавали основные сюжетные перипетии. Не претендуя при этом на звание ниспровергательниц основ, они были сложнее более поздних героинь литературы двадцатого века – те уже откровенно бунтовали.

Многим моим студентам Кэтрин и Дейзи казались слишком придирчивыми; мои практические ученики не понимали, зачем те устраивают много шума из ничего. Почему Кэтрин не подчинилась отцу и отвергла поклонника? Зачем Дейзи дразнила Уинтерборна? Что нужно было этим несносным женщинам от мужчин, сбитых с толку их поведением? С первой минуты своего появления на страницах романа Дейзи с ее зонтиком и в белом муслиновом платье создает вокруг себя атмосферу волнения и будоражит ум и сердце Уинтерборна. Для него она – загадка, манящая тайна, разгадать которую и слишком сложно, и слишком легко.

Мы пускаемся в более подробное обсуждение Дейзи Миллер, и тут Гоми тянет руку. Его протестующий тон раздражает меня и тут же заставляет ошетиниться. Почему эти женщины бунтуют, спрашивает он? Дейзи Миллер, несомненно, порочная женщина; она принадлежит к реакционной упаднической среде. Мы живем в революционном обществе, и наши революционерки бросают вызов упаднической западной культуре своей скромностью. Иранские женщины не строят глазки мужчинам. Он чуть не задыхается от ярости; он полон злобы, которую видеть странно, ведь мы всего лишь обсуждаем художественную литературу. Но он клеймит Дейзи абсолютным злом и твердит, что она заслуживает смерти. И хочет знать, почему Ф. с третьего ряда считает, что смерть для нее – незаслуженная кара.

Гоми произносит свою короткую речь, торжествуя, садится и оглядывается: найдется ли кто-то, способный ему возразить? Никто не возражает. Кроме меня, разумеется; все же ждут, чтобы я это сделала. И поначалу я злюсь на него за эти речи, но постепенно начинаю понимать, что он просто высказывает вслух то, что другие сказать не смеют.

Когда я спрашиваю учеников, что они думают по этому поводу, все молчат. Воодушевленный отсутствием возражений, Гоми снова тянет руку. Мы нравственно превосходим этих героев, потому что столкнулись с настоящим злом, говорит он и добавляет, что имеет в виду войну с внутренними и внешними врагами. Тут вмешивается Махшид. Может, ты забыл, говорит она, но Джеймс пережил две страшные войны. Гражданская война в США пришлась на

⁶⁷ Героиня романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса».

⁶⁸ Героиня романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша».

его юные годы, а перед смертью он стал свидетелем Первой мировой. Гоми лишь едва заметно пожимает плечами; те войны для него, видимо, недостаточно священны.

Я молча сижу на стуле и вижу себя со стороны. Кажется, я нарочно решаю ничего не говорить. После занятия я остаюсь сидеть, застыв в вакууме света, люющего из высоких ненавешенных окон, занимающих всю стену с одной стороны аудитории. Три студентки подходят и выются у моего стола.

– Хотим, чтобы вы знали – большинство из нас не согласны с этими ребятами, – говорит одна из них. – Просто люди боятся высказываться. Тема противоречивая. Если мы скажем правду, они могут донести на нас – поэтому мы их боимся. Если скажем то, что он хочет услышать, вы будете недовольны – поэтому мы боимся вас. Нам очень нравятся ваши занятия.

Да, думала я по дороге домой тем вечером и еще много раз после этого дня, когда наш разговор всплывал в памяти. Вам нравятся мои занятия, но нравится ли вам «Дейзи Миллер»? Нравится?

16

Насчет Дейзи Миллер и подобных ей девушек у Гоми было весьма категоричное мнение, а вот что касается главного героя романа, Уинтерборна, – тут мнения разделились. Не было, пожалуй, ни одного произведения, которое вызвал бы у студентов столь бурную реакцию – разве что «Кукольный дом»⁶⁹. А бурной она была потому, что они сомневались, пребывали в растерянности. Дейзи расстроила их внутренний камертон, заставив усомниться в том, что правильно, а что нет.

Однажды в конце занятия ко мне смущенно подошла одна робкая студентка – она сидела в первом ряду, но почему-то казалось, что она прячется в тени в последних рядах. Она хотела знать: Дейзи – безнравственная? «Вот вы как считаете?» – без обиняков спросила она меня. Что я думала о Дейзи? И почему простой вопрос студентки вызвал у меня такое раздражение? Сейчас я уверена, что мое уклонение от прямого ответа и колебания, мои увертки и заявление, что двусмысленность является центральным элементом структуры романов Джеймса, горько разочаровали ее, и в тот день я утратила для нее авторитет, по крайней мере, отчасти.

Мы открыли книгу на ключевой сцене в Колизее. К недовольству своих «порядочных» соотечественников и соотечественниц Дейзи, презрев осторожность и приличия, пошла любоваться Луной с Джованелли, беспринципным итальянцем, следующим за ней повсюду. Уинтерборн видит их, и его реакция лучше характеризует его самого, чем Дейзи: «Уинтерборн остановился и сначала ужаснулся, а потом, следует сказать, испытал нечто вроде облегчения. Двусмысленность поведения Дейзи ослепила его внезапной яркой вспышкой, и тайну стало легко разгадать. Она была молодой девушкой, к которой джентльмену не стоило больше стремиться относиться с уважением».

Ночь в Колизее оказывается для Дейзи фатальной и в переносном, и в прямом смысле: той ночью она заражается римской лихорадкой⁷⁰, от которой потом умрет. Но ее смерть почти предопределена реакцией Уинтерборна. Только что он заявлял о своем безразличии к ней, но когда она садится в экипаж и готовится уехать, он рекомендует ей принять таблетки от римской лихорадки. «„Мне все равно, – странно тихо отвечала Дейзи, – заболела я римской лихорадкой или нет“». Все в группе согласилось, что отношение юноши к Дейзи символически предопределило ее судьбу. Дейзи плевать на общественное мнение, но не плевать на мнение Уинтерборна; ей важно, чтобы он думал о ней хорошо. Она постоянно интересуется, как он относится к ее поступкам. Вслух она этого не говорит, но на самом деле она отчаянно и вопреки себе хочет, чтобы он доказал свою преданность, не упрекая ее в аморальности, а принимая такой, какая она есть, без дополнительных условий. Как ни парадоксально, в конце романа именно Дейзи оказывается не плевать на чужое мнение; умирая, она доказывает свою преданность Уинтерборну.

Не только Уинтерборн испытал облегчение, увидев истинное лицо Дейзи. Многие мои студенты испытали то же самое. Рухи спросила, почему роман не заканчивается смертью Дейзи. Не лучше ли было на этом остановиться? Ее смерть кажется наилучшей развязкой для всех участников этой ситуации. Гоми злорадствовал, что Дейзи поплатилась жизнью за свои грехи, а большинство других учеников теперь могли сопереживать ей, не испытывая угрызения совести.

Но на этом роман не заканчивается. Он заканчивается так же, как начинается, и главный герой романа – не Дейзи, а Уинтерборн. В начале тетка предупреждает его, что он в опасности и глубоко заблуждается насчет Дейзи. При этом она имеет в виду, что Дейзи может его одурачить.

⁶⁹ Пьеса Генрика Ибсена (1879).

⁷⁰ Малярией.

Теперь, после смерти Дейзи, Уинтерборн с горькой усмешкой напоминает тетке: «Помнишь свое прошлогоднее замечание? Ты была права. Я ошибся, и это было неизбежно. Я слишком долго жил в чужом краю». Он недооценил Дейзи.

В начале романа рассказчик упоминает, что Уинтерборн, по слухам, состоит в романтической связи с иностранкой. Описав полный круг, роман заканчивается тем же утверждением: «Тем не менее, он вернулся в Женеву, и о мотивах его пребывания там продолжают поступать самые противоречивые сведения: сообщают о его усердной „учебе“, намекая при этом, что он питает неподдельный интерес к весьма образованной иностранке».

Читатель, который до самого конца идентифицировал себя с героем, остается не у дел. Выходит, Дейзи, подобно цветку, в честь которого она названа⁷¹, – не более чем прекрасное и краткое увлечение. Но этот вывод не совсем верен. Тон рассказчика в конце заставляет усомниться, что Уинтерборн сможет когда-нибудь воспринимать жизнь, как прежде. Прежнюю жизнь не вернуть – ни Уинтерборну, ни ничего не подозревающему читателю. У меня был шанс убедиться в этом позже, когда мои бывшие студентки пересмотрели свое ошибочное мнение о Дейзи в сочинениях и обсуждениях.

⁷¹ Дейзи – маргаритка (англ.)

17

Моя подруга Мина напомнила определение цели литературы, данное Джеймсом в «Трагической музе»: создать «искусство, которое передает всю сложность человеческой натуры и вызывает недоумение в обществе». Вот почему Джеймс так сложен для восприятия. Мина была специалистом по Джеймсу, и я рассказала ей о сложностях, возникших у студентов с восприятием «Дейзи Миллер». Мина несколько встревоженно добавила: надеюсь, из-за его сложности ты не собираешься бросить его изучать. Я заверила ее, что такого намерения у меня нет; как бы то ни было, дело не в сложности, а в том, что Джеймс вызывал у студентов неловкость.

Я сказала ей, что основная проблема заключалась как раз не в студентах вроде Гоми, не признававших никакой двусмысленности, а в других, павших жертвами недвусмысленного к ним отношения с его стороны. Понимаешь, Мина, у меня такое чувство, что люди вроде Гоми умеют только нападать, боясь всего, что не могут понять. Они говорят «нам не нужен Джеймс», что на самом деле означает «мы боимся Джеймса»; он сбивает нас с толку, запутывает, заставляет чувствовать себя не в своей тарелке.

Мина сказала, что когда она хочет объяснить концепцию двусмысленности в романе, то использует трюк со стулом. На следующем занятии я взяла стул и поставила его перед собой. Что вы видите? – спросила я группу. Стул. Я перевернула стул. А теперь что вы видите? Все еще стул. Тогда я снова перевернула стул и попросила студентов встать в разных углах аудитории и описать стул. Кто-то описывал его из положения сидя, кто-то из положения стоя. Вы все видите, что это стул, но когда беретесь описывать его, делаете это исходя из своего местоположения, с вашей исходной позиции, и нельзя сказать, что со всех углов стул выглядит одинаково, так? Конечно, нельзя. Если нельзя сказать это о таком простом предмете, как стул, как можно с абсолютной уверенностью судить о человеке?

Чтобы побудить молчаливое большинство учеников открыто обсуждать свои мысли, я попросила их записывать свои впечатления о программных произведениях в дневниковой форме в тетради. В этих литературных дневниках они могли писать и о других вещах, имеющих отношение к нашим занятиям и их жизни в целом, но написать что-то о книгах нужно было обязательно. Рухи всегда пересказывала сюжет, что по крайней мере свидетельствовало о том, что книги по программе она читала, а иногда читала не только сами книги, но и критику. Однако она редко выражала свое мнение. Лишь один раз она заметила, что безнравственность «Грозового перевала» поначалу вызвала у нее отторжение, но потом она прочла о мистической интерпретации этого романа. В случае с Джеймсом, впрочем, мистика отсутствовала напрочь – Джеймс был очень приземленным, разве что иногда отличался чрезмерным идеализмом.

Она вела тетради очень аккуратно. Перед началом каждой записи сверху страницы своим красивым почерком выводила: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Она написала, что Дейзи была не просто безнравственной, но и «неблагоразумной». Но ей было приятно узнать, что даже в упадническом американском обществе по-прежнему имелись нормы поведения, некие стандарты, по которым людей оценивали. Она также процитировала другого учителя, выразившего сожаление, что некоторые писатели наделяют своих безнравственных и неблагоразумных персонажей такими привлекательными чертами, что читатель начинает инстинктивно им сочувствовать. Рухи сокрушалась, что добропорядочные миссис Костелло и миссис Уокер выставлены у Джеймса в таком негативном свете. Ее послушать, так писатели вроде Джеймса были кем-то вроде Сатаны: обладали безграничной властью, но использовали ее, чтобы творить зло и вызывать сочувствие к грешницам вроде Дейзи и отвращение к добродетельным людям вроде миссис Уокер. Одним словом, Рухи рассуждала в том же ключе, что мой старый знакомый Ниязи.

Гоми выступал в своем репертуаре. Из его дневников было непонятно, читал ли он вообще заданные романы. Зато он много разглагольствовал и распинался о безнравственности и зле. Он взял в привычку «просвещать» меня, выписывая цитаты имама Хомейни и других деятелей о долге литературы, упадничестве Запада, Салмане Рушди. Он также повадился приклеивать в свою тетрадь газетные вырезки, в которых сообщалось об убийствах и коррупции в Соединенных Штатах. Однажды он, видимо, вконец отчаялся и начал повторять лозунги, которые у нас развешивали на улицах. Один мне особенно нравился: «Женщина в чадре защищена, подобно жемчужине в устричной раковине». Этот лозунг обычно сопровождался рисунком устрицы, хищно открывшей свою раковину, внутри которой сияла глянцеви́тая жемчужина.

Нахви, молчаливый старший товарищ Гоми, писал изящные философские трактаты об опасностях сомнений и неопределенности. Он задавался вопросом, не является ли неопределенность, которой Джеймс был так одержим, главной причиной упадка западной цивилизации. Как и многие другие, Нахви ни капли не сомневался в некоторых вещах, например, в упадке Запада. Из его речей и сочинений следовало, что этот упадок – свершившийся факт, и даже западные неверные не смеют это оспаривать. Иногда он вкладывал в свои тетради памфлеты или книги с названиями вроде «Литература и долг», «Понятие исламской литературы» и тому подобное.

Спустя много лет, когда Махшид и Митра стали приходить ко мне домой по четвергам и мы вернулись к «Дейзи Миллер», обе пожалели о своем прежнем молчании. Митра призналась, что завидовала смелости Дейзи. Помню, меня удивило и глубоко тронуло, что они говорили о Дейзи, как о живом человеке, подруге или родственнице, насчет которой ошибались.

Однажды, выходя из класса, я увидела госпожу Резван; та возвращалась в свой кабинет. Она подошла ко мне и сказала: «О твоих занятиях рассказывают много любопытного». Доносчики у нее имелись под каждым кустом. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я имела в виду, когда говорила, что этих детей нужно научить думать. Революция начисто лишила их способности рассуждать, а наша интеллигенция – лучшие ее представители – ничуть не краше».

Я ответила, что по-прежнему сомневаюсь, что действовать стоит через университеты. Мне казалось, гораздо эффективнее решать эту проблему единым фронтом интеллектуалов за университетскими стенами. Резван покосилась на меня и сказала: да, можно и так, но почему ты думаешь, что это будет эффективнее? Ведь наша интеллектуальная элита показала себя ничуть не лучше духовенства. Ты разве не слышала о разговоре Даваи⁷², нашего именитого писателя, с переводчиком «Дейзи Миллер»? Однажды их представили друг другу; Даваи сказал: ваше имя мне знакомо – не вы ли переводчик Генри Миллера? Нет, я перевел «Дейзи Миллер». Ах да, разумеется; «Дейзи Миллер» Джеймса Джойса, верно? Нет, Генри Джеймса. Ах да, разумеется, Генри Джеймс, точно. И чем он сейчас, кстати, занимается? Генри Джеймс умер, ответил переводчик, еще в 1916 году.

⁷² Вероятно, Парвиз Даваи.

18

Я сказала волшебнику, что мою подругу Мину лучше всего характеризует фраза Ламберта Стрезера, героя романа Джеймса «Послы», которой тот описывает себя своей «подруге сердца» Марии Гостри. «Я – абсолютнейший неудачник». Абсолютнейший неудачник, повторил волшебник? Да, и знаешь, что отвечает ему Мария?

«Ну и хорошо, что вы неудачник – за это я вас уважаю. В наши дни ужасно быть кем-то другим. Оглянитесь вокруг – взгляните на всех этих преуспевающих людей. Вы хотите быть на них похожими, только честно? Взгляните, скажем, на меня, – добавила она.

Их взгляды ненадолго встретились. „Ясно, – ответил Стрезер, – значит, вам тоже все это неинтересно“.

„То, что вы считаете меня лучше окружающих, – продолжала она, – подтверждает мою бесполезность. Ах, если бы вы знали, о чем я мечтала в юности! Но нас с вами свела реальность. Мы с вами поверженные братья по оружию“.

Я сказала ему: когда-нибудь я напишу очерк и назову его «Абсолютнейшие неудачники». Посвящу его значению героя-неудачника в художественной литературе, особенно современной. Неудачник представляется мне фигурой полутрагической – порой он жалок, порой смешон, а бывает, что и то, и другое. На ум приходит Дон Кихот – по сути, современный персонаж, рожденный и созданный в то время, когда неудачники пользовались неявным одобрением. К неудачникам можно отнести и Пнина, и Герцога, и даже, пожалуй, Гэтсби, хотя последний терпит крах не по своей воле. Большинство любимых героев Джеймса и Беллоу подходят под эту категорию. Это люди, осознанно выбравшие неудачу, чтобы сохранить собственное «я». Они не снобы, а, скорее представляют собой особую элиту, так как их стандарты высоки. Полагаю, Джеймс чувствовал себя неудачником во многих отношениях: его романы не понимали, но он продолжал писать, как считал нужным. Моя подруга Мина поступает точно так же, как и твой друг Реза, и, разумеется, ты сам, но ты же не вымышленный герой? Нет, но сейчас я, кажется, не более чем фрагмент твоего воображения.

Я обратила внимание на Мину как на пример абсолютнейшей неудачницы еще в день нашего знакомства. Мы познакомились уже после революции на одном из последних собраний кафедры Тегеранского университета, где я присутствовала. Я опоздала и, войдя в зал, увидела справа от завкафедрой, прямо напротив двери, женщину в черном. Ее глаза и короткие густые волосы тоже были угольно-черными, и она, казалось, не замечала ожесточенного спора вокруг. Она выглядела не столько собранной, сколько закрытой. Мина принадлежала к породе неизлечимо честных людей, которым одновременно присущи отсутствие гибкости и уязвимость. Такой я ее и запомнила: вид у нее был как у потрепанной аристократки, дорогая одежда видала лучшие времена. С первого взгляда и до нашей последней встречи много лет спустя она всегда вызывала у меня две эмоции: глубокое уважение и печаль. В ней чувствовался фатализм, смирение с судьбой, а мне это смирение было ненавистно.

Помню, мы с Фариде и доктором А. часто обсуждали Мину: ее образованность, преданность литературе и работе. Фариде была добра, несмотря на свою фанатичную приверженность идеям революции – точнее, тому, что она вкладывала в понятие революции, – и в силу своей доброты была расположена даже к людям, которых считала своими идеологическими противниками. Бунтарей она видела издали, Мине сочувствовала и пыталась утешить ее, хотя не соглашалась с ней почти ни по одному вопросу.

Мину вызвали в Иран из двухлетнего академического отпуска в Бостонском университете, куда она отправилась писать книгу. Ей выставили ультиматум, и, на мой взгляд, в Иран

она вернулась зря. Книга была посвящена Генри Джеймсу. Она училась у Леона Эделя⁷³, и когда мы с ней только познакомились, от робости она с трудом могла выдавить из себя пару слов. К преподаванию она, разумеется, так и не вернулась: в Иране ее сразу уволили. Она отказалась носить чадру и идти на компромисс; единственным компромиссом было собственно возвращение. А может, то был не компромисс, а необходимость.

Отец Мины был поэтом-лауреатом⁷⁴, а ее семья принадлежала к культурной элите и в деньгах не нуждалась. Когда мы были маленькими, наши семьи вместе выезжали на природу по выходным. На этих семейных сборищах она никогда со мной не разговаривала, но я смутно ее припоминала. Она есть на старых фотографиях моего детства – стоит за спиной отца в их саду, а рядом один из ее дядюшек, мой отец и молодой человек, имени которого я так и не смогла вспомнить. Она выглядит серьезно, на губах тень дежурной улыбки.

Мы с Фариде пытались сказать ей, как ценим ее как преподавателя и как возмутительно, что администрация университета думает иначе. Она слушала нас спокойно, но наша похвала ей, кажется, нравилась. В начале революции арестовали ее любимого брата, президента крупной компании. В отличие от большинства иранских бизнесменов, он отказался мириться с новым режимом. Он поддерживал монархию, хотя не был политическим активистом и, как и его сестра, говорил то, о чем думал, даже после того, как его посадили в тюрьму. Он был дерзок, и этого оказалось достаточно; его казнили. Теперь Мина почти всегда одевалась в черное. Почти все время посвящала вдове брата и их детям.

Она жила одна с матерью в до смешного громадном особняке. Когда мы с Фариде пошли к ней в гости с большими букетами, стоял солнечный день, но солнце померкло, едва мы вошли в коридор ее дворца, мрачный, как мавзолей. Дверь открыла ее мать. Она знала моих родителей, и некоторое время мы говорили о них; когда ее дочь спустилась к нам по винтовой лестнице, она поспешно, но вежливо удалилась. Мы стояли у подножия лестницы с яркими букетами и в платьях пастельных цветов и выглядели слишком ветреными и легкомысленными в мрачной и серьезной обстановке этого дома, где все казалось окутанным тенями.

Мина даже веселилась мрачно-торжественно и так же благодарила нас за визит. Но все же она очень обрадовалась нашему приходу и пригласила нас в свою гостиную, огромную, в форме полукруга. Комната казалась грустной, как вдова, впервые появившаяся на людях без мужа. Она была скудно обставлена, а там, где должны были стоять стулья, столы и пианино, зияли пустоты.

Мать Мины, почтенная женщина под семьдесят, подала нам чай на серебряном подносе в изящных стеклянных чашечках с подстаканниками из филигранного серебра. Ее мать прекрасно готовила, и поход к Мине в гости всегда оборачивался праздником живота. Но этот праздник все равно был грустным: даже вкусная еда не могла оживить этот пустынный особняк. Любезное гостеприимство хозяек, их старания оказать нам хороший прием – все это лишь подчеркивало их плохо скрываемый траур.

Реализм в литературе был Мининым пунктиком, а Джеймс – ее страстью. Свой предмет она знала досконально. Мы хорошо друг друга дополняли: я с моими хаотичными знаниями и импульсивными интересами и она – дотошная и всеведущая. Говорить мы могли часами. Пока Фариде не ушла в подполье и не присоединилась к своей революционной группировке, из-за чего вынуждена была бежать в Курдистан, а потом в Швецию, мы втроем беседовали о литературе и политике часами, порой до глубокой ночи.

В политике Фариде и Мина придерживались противоположных взглядов: первая была предана идеалам марксизма, вторая отличалась твердыми монархистскими убеждениями. Объ-

⁷³ Леон Эдель (1907–1997) – американско-канадский литературный критик, крупнейший авторитет XX века в области жизни и творчества Генри Джеймса, его биограф, лауреат Пулицеровской премии.

⁷⁴ Почетное звание в Великобритании, США и других странах для знаменитых поэтов.

единыло их одно: абсолютная ненависть к текущему режиму. Когда я думаю об этих талантливых женщинах, чьи способности пропали понапрасну, я начинаю еще сильнее презирать систему, физически искоренившую самых увлеченных деятелей образования или вынудившую их уничтожить лучшее в себе, превратив в яростных революционеров, как Фариде, или отшельников, как Мина и мой волшебник. Под осколками своей разрушенной мечты они или удалились от мира, или медленно копили в себе ярость. Без Джеймса от Миной не было никакого толку.

19

В конце зимы и начале весны 1988 года после долгого затишья возобновились воздушные бомбардировки Тегерана. Вспоминая эти месяцы и сто шестьдесят восемь ракет, упавших на город, я не могу не вспоминать весну, ее поразительную нежность. Была суббота, и Ирак разбомбил тегеранский нефтеперерабатывающий завод. Сообщение об этом всколыхнуло старый страх и тревогу, что уже год, с момента последнего налета, таились где-то на периферии. В отместку иранское правительство атаковало Багдад, а в понедельник Ирак выпустил первую партию ракет по Тегерану. Напряженность последовавших событий превратила эту атаку в символ всего, что мне пришлось пережить за предшествующие девять лет, в идеальную поэтическую метафору.

Вскоре после первых ракетных ударов мы решили заклеить оконные стекла скотчем. Сначала мы переселили детей в нашу комнату и завесили окна толстыми одеялами и шальями; потом дети обосновались в маленьком коридорчике без окон, соединявшем детскую и взрослую спальни – том самом, где я коротала бессонные ночи в компании Джеймса и Набокова. Несколько раз мы уже всерьез подумывали уехать из Тегерана, а один раз в панике освободили маленькую комнатку возле гаража, которая потом стала моим кабинетом, и забаррикадировали в ней окна; потом, правда, перебрались обратно в свои спальни. В первые атаки на Тегеран я боялась сильнее всех, зато сейчас была спокойнее остальных, словно компенсируя свое прежнее поведение.

В первую ночь ракетных атак мы с друзьями смотрели по немецкому телевидению документальный фильм – биографию покойного советского режиссера-невозвращенца⁷⁵ Андрея Тарковского. В попытке задобрить интеллигенцию организаторы ежегодного кинофестиваля «Фаджр» (бывшего Тегеранского кинофестиваля) провели ретроспективу фильмов Тарковского. Хотя фильмы подвергли цензуре и демонстрировали на русском без субтитров, очереди в кассы кинотеатра на улице выстраивались еще до их открытия. Билеты продавали на черном рынке втридорога; люди дрались за возможность попасть на сеансы, особенно приехавшие из провинции специально ради такого случая.

Однажды после лекции ко мне подошел Форсати и сказал, что у него есть два лишних билета на «Жертвоприношение» – я как-то говорила, что хотела посмотреть эту картину. Поскольку Форсати возглавлял «Исламский джихад», одну из двух мусульманских студенческих ассоциаций в нашем университете, он сумел раздобыть заветные билеты. По его словам, одержимость-Тарковским проникла так глубоко, что даже министр нефтяной промышленности и его супруга ходили на показы. Людям очень не хватало кинематографа. Смеясь, он заметил, что чем меньше народ понимает, тем большее уважение вызывает у него искусство. В таком случае Джеймс народу понравится, заметила я. Нет, это другое, рассудил Форсати; Джеймса будут уважать, как Тарковского, но едва ли он им понравится. Джеймс на первый взгляд кажется понятным – или, по крайней мере, все считают, что он должен быть понятным, – но когда оказывается, что нет, люди начинают злиться. И к Джеймсу у них в итоге больше претензий, чем к объективно более сложным писателям вроде Джойса. Я спросила Форсати, пойдет ли он сам на Тарковского. Если пойду, ответил он, то разве что для того, чтобы не выделяться; а так-то, знаете, Том Хэнкс мне гораздо больше по душе.

День, когда показывали «Жертвоприношение», выдался погожим – стояла уже не зима, а переходное время между зимой и весной. Но самым удивительным в тот день была не божественная погода и даже не сам фильм, а толпа у входа в кинотеатр. Это напоминало протестный митинг. Интеллигенция, белые воротнички, домохозяйки – некоторые пришли с маленькими

⁷⁵ У Нафиси exiled, то есть изгнанного, но на самом деле Тарковский остался жить в Европе по собственному желанию.

детьми, – молодой мулла, смущенно переминающийся с ноги на ногу в сторонке: в Тегеране редко можно было увидеть столь разношерстную толпу.

Внутри большой экран взорвался сверкающим многоцветьем, и зал погрузился в молчание. Я пять лет не была в кинотеатре: в Иране теперь показывали только старые революционные фильмы, снятые в Восточной Европе, или местное пропагандистское кино. Честно не знаю, какое впечатление на меня произвел сам фильм – меня потряс сам факт, что я сидела в кинозале в глубоком кресле из прохладной кожи, а в ряду передо мной не было ни одного свободного места. Не понимая слов и зная, что если буду думать о цензуре, то слишком рассержусь и не смогу смотреть, я просто отдалась волшебству красок и образов.

Вспоминая то время, я понимаю, что подобная любовь людей к Тарковскому – людей, большинство которых даже не знали, как пишется его имя, и в обычных обстоятельствах никогда не стали бы смотреть его фильмы и, скорее всего, не смогли бы их оценить, – объяснялась нашей сильнейшей сенсорной депривацией. Мы изголодались по красоте в любых ее проявлениях и радовались даже малопонятной, слишком высокоинтеллектуальной и абстрактной картине, до неузнаваемости измененной цензурой и без субтитров. Мы не могли поверить, что впервые за столько лет находимся в общественном месте и не испытываем страха или злости; что мы окружены толпой незнакомых людей, но это не демонстрация, не протестный митинг, не очередь за хлебом и не публичная казнь.

Фильм «Жертвоприношение» о войне; его герой обещает принести обет молчания, если ужасы войны обойдут его семью стороной. Тарковский воссоздает ощущение скрытой угрозы, таящейся за спокойным течением повседневной жизни и безмятежной красотой природы. О том, что идет война, мы узнаем лишь по дребезжанию мебели от пролетающих мимо бомбардировщиков и страшной жертве героя, требуемой, чтобы противостоять этой угрозе. На краткий миг мы коллективно восторгаемся пугающей красотой, которую способен увидеть лишь человек, переживающий чрезвычайные душевные муки, а выразить – лишь высокое искусство.

20

За двадцать четыре часа в Тегеран прилетели четырнадцать ракет. Поскольку мы снова переселили детей в их комнату, той ночью я передвинула туда маленькую кушетку и читала до трех часов ночи. У меня был толстый детектив Дороти Сэйерс, и я чувствовала себя в полной безопасности в компании лорда Питера Уимзи, его преданного слуги и ученой возлюбленной. На рассвете нас с дочерью разбудил взрыв, раздавшийся где-то рядом.

Дело было не только в громком шуме – если можно было назвать это шумом; мы не столько услышали звук, сколько *ощутили* взрыв, словно на дом обрушился массивный груз. Дом затрясся, окна в рамах задребезжали. Когда последний взрыв отгремел, я встала и поднялась на террасу. На фоне розово-голубого неба белели снежные шапки гор; вдали клубился дым над пожарищем в том месте, куда упала ракета.

С того дня мы возобновили привычный распорядок, установившийся в нашей жизни в периоды бомбежек и ракетных ударов. За взрывами следовала череда телефонных звонков; мы звонили друзьям и родственникам и узнавали, живы ли они. Знакомый голос отвечал в трубке, и меня неизбежно охватывало первобытное облегчение, которого я всегда немного стыдилась. Самой частой эмоцией тех дней была смесь паники, злости и беспомощности. Война длилась восемь лет, а иранское правительство не сделало для защиты города практически ничего; оно занималось лишь пропагандой и хвасталось готовностью иранцев стать мучениками.

После первой бомбежки перенаселенный загазованный Тегеран превратился в город-призрак. Многие тегеранцы бежали в безопасные места. Недавно я читала статистику, что город тогда покинули более четверти населения, включая многих правительственных чиновников. Люди шутили, что война стала самой эффективной мерой правительства по борьбе с перенаселением и загрязнением воздуха. Мне же город вдруг стал казаться печальным; бомбежки и массовое бегство жителей словно сорвали с него вульгарную маску, и под ней оказалось порядочное человеческое лицо. Тегеран теперь выглядел так, как, должно быть, чувствовали себя его оставшиеся жители: печальным, брошенным и незащищенным, но исполненным достоинства. Окна, заклеенные скотчем, чтобы при взрыве осколки стекла не разлетелись во все стороны, рассказывали историю страданий – страданий, казавшихся еще острее из-за красоты, вернувшейся в город с весной: город стоял омытый весенними дождями, зеленеющий свежими листочками, цветущий, а заснеженные горы теперь казались совсем близкими, словно их приклеили к небу.

Через два года после начала войны Иран освободил захваченный иракцами портовый город Хорремшехр. Поскольку Ирак терпел и другие крупные поражения, Саддам Хуссейн под давлением соседних арабских стран демонстрировал готовность пойти на мировую. Но аятолла Хомейни и некоторые другие представители правящей элиты отказались подписывать мирный договор. Они теперь хотели захватить священный иракский город Кербелу, где умер мученической смертью имам Хуссейн. Для достижения этой цели были использованы все средства, в том числе так называемый метод «человеческой волны» – когда тысячи иранских солдат, как правило, очень молодых – от десяти до шестнадцати лет, а также мужчины среднего возраста и пожилые – очищали минные поля, проходя по ним стеной. Воюющие дети покупались на государственную пропаганду, сулившую им героическую жизнь на фронте, полную приключений; их призывали вступать в народное ополчение даже вопреки родительской воле.

Я возобновила свои ночные бдения в компании Дэшила Хэммета и других. В результате через четыре года я добавила к своему курсу по роману новый раздел – детективный роман; изучение начинали с Эдгара Аллана По.

21

С возобновлением бомбежек занятия в университете переместились на второй этаж. Когда объявляли тревогу, люди инстинктивно бежали к выходу и вниз по лестнице; внизу вести занятия было безопаснее. Чрезвычайное положение в городе опустошило классы; от прежнего потока осталась половина. Многие студенты вернулись в свои родные города или уехали туда, где не бомбили; кто-то сидел дома и никуда не выходил.

Гоми и подобные ему с началом бомбардировок преисполнились ощущением собственной важности. Они расхаживали по университету с видом людей, занятых срочными делами. Исламские ассоциации срывали занятия при любой возможности, включали военные марши, празднуя очередную победу, или объявляли траур о студенте или педагоге, погибшем мученической смертью. Я читала отрывок из «Вашингтонской площади» или «Больших надежд», и вдруг меня прерывал звук военного марша. Мы пытались продолжать, но все попытки вести дискуссию заглушались маршем.

Эта оглушительная какофония резко контрастировала с молчанием значительного числа студентов и преподавателей. К моему удивлению, большинство студентов не прогуливали занятия и не отлынивали от домашних заданий под предлогом войны. Их кажущееся спокойствие отражало общую атмосферу капитуляции, опустившуюся на город. Война свирепствовала восемь лет, мы терпели поражение, и даже у самых рьяных наблюдались признаки усталости. На улицах и в общественных местах люди высказывались против войны и ругали тех, кто нес за нее ответственность. По телевизору и радио тем временем продолжали транслировать мечты режима. На телеэкране в те дни чаще всего можно было увидеть такую картину: пожилой бородатый мужчина в тюрбане призывает к непрекращающемуся джихаду аудиторию подростков в красных налобных повязках мучеников. То были жалкие остатки некогда многочисленной группы молодых людей, записавшихся в армию за возможность носить настоящее оружие и обещание ключей от рая, где им наконец доведется испытать все удовольствия, от которых в жизни приходилось воздерживаться. В их мире поражение было невозможным, а компромисс бессмысленным.

Муллы скармливали нам истории о неравных битвах, в которых шиитских святых убивали неверные; время от времени эти рассказы прерывались истерическими всхлипами, зрители впадали в раж и рукоплескали идее мученичества во имя Бога и имама. Но по ту сторону телеэкрана большинство зрителей бессловесно сопротивлялись, противопоставляя свое молчание громогласной поддержке, которую требовала от них правящая иерархия; по ту сторону мы уже мысленно капитулировали, и эти настроения были неизбежны и исторически обоснованы.

Жизнь после смерти, одержимость режима смертью и иракские ракеты, готовые удовлетворить это самоубийственное желание в любой момент, – все можно было вытерпеть, только понимая, что ракета достигнет своей цели в минуту, точно predetermined судьбой, и пытаться избежать этого бессмысленно. В те дни я поняла, что значит эта молчаливая капитуляция. Она отражала нашу склонность винить во всех исторических неудачах нашей страны злой рок, по крайней мере отчасти. В те дни я поняла, что смирение в данных обстоятельствах, пожалуй, является единственной возможностью оказать достойное сопротивление тирании. Мы не могли высказать наши желания вслух, но молчанием выражали безразличие к требованиям режима.

22

В моих ушах до сих пор звенят траурные и победные марши, многократно прерывавшие занятия, чтобы объявить о смерти студента или педагога на фронте или очередной победе армии ислама над язычниками. Никто не уточнял, что язычники, с которыми мы воевали в этой войне, – тоже мусульмане. Однажды на лекции включили марш в память о погибшем студенте, одном из лидеров Мусульманской студенческой ассоциации. После занятия мы с группой студентов стояли во дворе. Они насмеялись над погибшим. Шутили, что его смерть – брак, заключенный на небесах, ведь они с товарищами любили повторять, что Бог – их единственная возлюбленная. Девочки ссылались на завещания и последнюю волю мучеников войны, которые часто предавали общественности. Почти все солдаты в этих завещаниях утверждали, что мученическая смерть – их самое заветное желание, ведь она сулит им вечный союз с истинной «возлюбленной» – Богом.

– Богом, как же, – смеялись девушки. – Под «Богом» он, верно, имеет в виду всех тех женщин, которых он пожирал глазами, а потом писал на них доносы за «непристойное поведение». Его это заводило. Все они – сексуальные извращенцы, вся эта братия!

Нассрин стала рассказывать об учительнице религии в школе, куда ходила ее двенадцатилетняя кузина. Она наставляла студенток покрываться и обещала, что в раю они получают свою награду. Там, в раю, их ждут реки вина; их окружают обожанием сильные мускулистые юноши. Когда учительница говорила о сильных мускулистых юношах, ее толстые губы лоснились от слюны; она, кажется, уже представляла свою награду, этих юношей, которые были для нее чем-то вроде хорошо прожаренного ягненка.

Поток их веселья прекратился, когда они увидели потрясенное выражение моего лица. Я не знала юного мученика, и даже если бы знала, наверняка не пришла бы от него в восторг, но их ликование меня шокировало.

Они сочли нужным объясниться. Вы просто его не знаете, сказала Можган. Гоми рядом с ним – ангел. Он был больной, настоящий сексуальный маньяк. Из-за него одну нашу подругу исключили – он углядел под ее платком белую полоску кожи и заявил, что она его сексуально провоцировала. Они как ищейки. Вмешалась Нассрин с длинной тирадой об одной из охранниц. Каждый ее обыск – как изнасилование, говорила она. Однажды она начала тискать и гладить Нилуфер, и у той случилась истерика. Они нас исключают за смех, но знаете, что сделали с той охранницей, когда все открылось? Ей сделали выговор, отстранили от работы на один семестр, а потом вернули как ни в чем ни бывало.

Потом я сказала Нассрин, что глядя, как они смеялись над погибшим студентом, я вспомнила стихотворение Бертольта Брехта. Я не очень хорошо его помнила, но, кажется, там были такие строки: *«Что же это за времена, когда / Разговор о деревьях кажется преступленьем»*. Жаль, что я не смогла вспомнить стихотворение целиком, но оно заканчивалось так: *«Я хотел бы быть мудрецом... / Обойтись без насилья / За зло платить добром... / На все это я неспособен»*⁷⁶.

Нассрин на минуту затихла. «Вы не понимаете, что мы пережили, – наконец произнесла она. – На прошлой неделе бомба упала рядом с нами. Прямо на многоквартирный дом. Соседи сказали, что в одной квартире отмечали день рождения; погибли двадцать с лишним детей».

«Сразу после бомбежки, еще до приезда скорой, откуда ни возьмись явились шесть или семь мотоциклов и начали прочесывать район. Мотоциклисты были в черном с красными повязками на лбу. Они выкрикивали лозунги: „Смерть Америке! Смерть Саддаму! Слава Хомейни!“ Люди вели себя очень тихо и только с ненавистью на них смотрели. Кто-то попы-

⁷⁶ Это стихотворение «К потомкам» (1939), пер. Е. Эткинда.

тался подойти и помочь раненым, но бандиты никому не позволяли приблизиться. Они кричали: „Война! Война до победного конца!“ Как, по-вашему, мы себя чувствовали, стоя там и глядя на них?»

Таков был ритуал: после бомбардировок приезжали посланники смерти и не позволяли людям скорбеть и протестовать. Когда двух моих кузенов казнил исламский режим, некоторые наши родственники, ставшие на сторону правительства, позвонили моему дяде и поздравили его со смертью сына и невестки.

Мы пошли домой пешком и разговорились. Нассрин рассказала о своем тюремном заключении. Все вышло случайно, сказала она. Я помнила, какой маленькой она была тогда – еще даже школу не закончила. Вот вы переживаете, что мы жестоко о них думаем, сказала она, но почти все, что рассказывают о тюрьмах, – правда. Знаете, что было хуже всего? Когда ночью они начинали вызывать людей по имени. Мы знали, что они идут на казнь. Они прощались, а потом мы слышали звуки выстрелов. И знали, скольких казнили, считая контрольные выстрелы, которые неизбежно раздавались после очереди. С нами сидела одна девушка – ее единственным грехом была поразительная красота. Села по выдуманному обвинению в аморальности. Они продержали ее месяц, насиловали каждый день. Передавали от одного охранника к другому. Эта история быстро облетела тюрьму, ведь девушка не была даже политзаключенной; она сидела отдельно. Девственниц выдавали замуж за охранников, а те потом их казнили. Якобы если их убьют девственницами, они попадут в рай. Вот вы говорите – предатели. Они заставляли «принявших» ислам стрелять в голову своим товарищам в доказательство преданности режиму. Если бы ко мне не было особого отношения, с ненавистью произнесла она, если бы мой отец не был с ними одной веры, одному Богу известно, что бы со мной стало. Была бы я в аду с изнасилованными девственницами или с теми, кто в знак преданности исламу приставил револьвер к голове товарища.

23

Четвертого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года Генри Джеймс написал в дневнике: «На время воцарился полный мрак; все затмила собой ужасная ситуация в обществе. Сегодня (в понедельник) августовский банковский выходной, но все пропитано страшным напряжением, а в воздухе витает предчувствие худшего». В последние два года жизни Генри Джеймса сильно изменило участие в Первой мировой войне. Впервые он проявил общественную и политическую активность – человек, который всю жизнь старался держаться подальше от страстей человеческих. Критики Джеймса – например, Герберт Уэллс – обвиняли его в отстраненном отношении к реальности, мешавшем ему вовлекаться в общественные и политические проблемы того времени. Вот что Джеймс писал о Первой мировой: «Она чуть не убила меня. Я жалел, что прожил так долго и стал свидетелем этого ужаса и мерзости».

Джеймс застал еще одну войну, когда был совсем юн – Гражданскую войну в США. Физически его отправка на фронт, где мужественно и достойно сражались оба его младших брата, помешала таинственная боль в спине, якобы последствие тушения пожара в амбаре. Психологически он отгораживался от войны с помощью писательства и книг. Его активная поддержка и помощь британцам в Первой мировой отчасти объяснялась желанием компенсировать свое прежнее бездействие. Кроме того, война не только вызывала в нем ужас, но и завораживала. Он писал другу: «Мое воображение жаждет катастрофы; я вижу мир зловещим и безжалостным».

В юности Джеймс писал отцу, что убежден в «изменчивой организации общественных порядков. Выражать постоянное и полное неудовлетворение обществом – единственная достойная позиция». В своих лучших произведениях Джеймс делал именно это. Центральным элементом почти всех его романов является борьба за власть; она движет сюжетом, она же приводит к разрешению сюжетных конфликтов. Эта борьба рождается из нежелания главного героя соответствовать принятым в обществе нормам и его стремления к честности и признанию. В «Дейзи Миллер» конфликт между старым и новым приводит к смерти Дейзи. В «Послах» центральный конфликт романа создается за счет властной натуры миссис Ньюсем, внушающей окружающим почти благоговейный трепет, и ее давления на своего посланника и родственников⁷⁷. Интересно, что в этом противостоянии антагонист всегда символизирует общество, а протагонистом движет стремление сохранить себя пред лицом внешней агрессии.

Во время Гражданской войны, когда Джеймс еще только обнаруживал в себе писательский талант, он писал, чтобы компенсировать свою неспособность воевать. Но в конце жизни он жаловался, что слова пред лицом подобной бесчеловечности бессильны. В интервью «Нью-Йорк Таймс» от 21 марта 1915 года Джеймс говорил: «В войну слова перевелись; они ослабли, истерлись, как автомобильные покрышки; за последние полгода больше, чем за предшествовавшие им долгие века, словами злоупотребляли и бросались, и, как многое другое, те лишились прежнего счастливого облика. Мы столкнулись с обесцениванием всех понятий, или, другими словами, с потерей красноречия в пользу словесной хромоты. Теперь остается лишь гадать, что за призраки будут ходить по земле, когда все это кончится».

Несмотря на отчаяние, Джеймс снова обратился к словам, но теперь сочинял не романы, а военные памфлеты, призывая Америку вступить в войну и не оставаться равнодушной к страданиям и ужасам, творившимся в Европе. Он также писал очень эмоциональные письма. В некоторых он выражал свой ужас от текущих событий, в других утешал друзей, лишившихся на войне сыновей и супругов.

⁷⁷ В этом романе вдова миссис Ньюсем отправляет своего жениха Стрезера во Францию, чтобы тот уговорил ее сына вернуться в Америку и продолжить семейный бизнес. Но Стрезер приходит к выводу, что во Франции ему нравится, и видит, что сын миссис Ньюсем не рвется домой; в итоге его миссия затягивается до такой степени, что вдова отправляет за ним других родственников.

Он постоянно чем-то себя занимал – навещал в госпиталях бельгийских, а потом и британских солдат, собирал деньги для бельгийских беженцев и раненых и писал военную пропаганду с осени 1914 до декабря 1915 года. Он принял пост почетного главы Американской волонтерской службы скорой помощи и вступил в Фонд помощи бельгийским беженцам в Челси. Для застенчивого писателя-отшельника, прежде проявлявшего активность и эмоции лишь на страницах своих романов, это был чрезвычайно деятельный период. Биограф Джеймса Леон Эдель впоследствии рассказывал: «...мир слишком часто обращался к нему за утешением, и порой желающих поплакаться у него на плече оказывалось так много, что ему приходилось от них защищаться». Навещая больницы, Джеймс сравнивал себя с Уитменом – тот во время Гражданской войны в США тоже навещал раненых. Он говорил, что «в дни, когда я прихожу и пытаюсь развлечь их беседой», он чувствует себя менее «пропащим и бессильным». Какой же ужас и одержимость двигали этим человеком, всю жизнь сторонившимся общественной деятельности? Что побудило его к активному участию в войне?

Одной из причин было кровопролитие, гибель множества совсем юных солдат, разрушения и хаос. Оплакивая урон, нанесенный человеческой цивилизации, Джеймс в то же время бесконечно восхищался простым мужеством, которое наблюдал и в молодых людях, отправившихся на войну, и в тех, кто остался в тылу. В сентябре он переехал в Лондон. «Я не глух, не слеп и хорошо осведомлен, – писал он, – но сердце болит у меня одного». Он призывал американского посла в Британии и прочих высокопоставленных американских чиновников вступить в войну, укорял их за нейтральность. Строчил памфлеты в защиту Британии и союзников.

В своих многочисленных письмах Джеймс не раз упоминал одно важное свойство – единственное, что человек может противопоставить бессмысленности войны. В отличие от многих, он осознавал, как сильно воздействует жестокость на эмоции и как уменьшают подобные события способность человека испытывать сочувствие. Подобная нечувствительность, говорил он, становится для человека способом выжить. Письма Джеймса, как и его романы, подчеркивают значимость важнейшего человеческого свойства – эмоциональности; он жалуется на «паралич своей способности делать что-либо, кроме как испытывать глубокие и сильные чувства».

Много лет спустя на розовой картотечной карточке, привезенной из-за океана в Вашингтон, я обнаружила две цитаты Джеймса, в которых он описывает отношение к войне. Я выписала их для Нассрин, но никогда их ей не показывала. На первой карточке было письмо Джеймса к Клэр Шеридан, подруге, чей муж – они были женаты совсем недолго – отправился на войну и погиб. «Я не могу призывать вас не роптать и не бунтовать, – писал он, – потому что сам могу навоображать себе всякого и за это дорого расплачиваюсь, и потому что не могу сказать вам – не чувствуйте. Нет, я призываю вас чувствовать, чувствовать всем сердцем, и даже если это почти убьет вас, жить можно только так, особенно когда живешь под таким ужасным давлением; только так можно чтить и прославлять тех выдающихся людей, что являются для нас гордостью и вдохновением». В письмах друзьям Джеймс снова и снова призывает их чувствовать. Чувства пробуждают эмпатию и напоминают, что жить стоит.

Одной из особенностей реакции Джеймса на войну было то, что его чувства и эмоции не были связаны с патриотизмом. Ведь его родная страна, Америка, не воевала. Британия, где он прожил сорок лет, вступила в войну, но за сорок лет он ни разу не обращался за британским гражданством. Теперь же он наконец это сделал. В июне 1915 года, за несколько месяцев до смерти Генри Джеймс стал британским подданным. В письме своему племяннику Гарри он сказал, что хочет, чтобы его гражданский статус соответствовал нравственному и физическому. «Если бы не война, я бы и жил себе дальше, воспринимая жизнь как нечто самое простое, легкое и даже приятное, но теперь обстоятельства радикально изменились».

У внезапной смены гражданства были и практические причины: из-за военного положения Джеймса отнесли в категорию «дружественных иностранцев», и на каждую поездку между Лондоном и его домом в Сассексе ему приходилось брать разрешение в полиции. Однако более

важной и символичной причиной стало разочарование в решении США дистанцироваться от войны. В письме приятельнице Лилли Перри он писал, что «непосредственное присутствие Врага переворачивает мир с ног на голову, и странно, когда твоя собственная нация не делает ничего для тех, кто пытается жить с последствиями этого переворота».

Правда же в том, что Джеймс, как и многие великие писатели и художники, решил сам выбрать себе родину и национальность. Его настоящая родина, его дом существовали лишь в его воображении. «Черной и страшной представляется мне трагедия, сгущающаяся над миром, – писал он старой приятельнице Роде Броутон, – и мне бесконечно тошно, что я дожил до того дня, когда стал ее свидетелем. Мы с вами, лучшие люди своего поколения, не должны были видеть крах нашей веры в то, что цивилизация столько лет развивалась на наших глазах, а потом худшее стало возможным». В письмах Эдит Уортон он говорил о «крушении цивилизации». «Единственным проблеском во тьме для меня может стать абсолютно единогласный переход нашего государства к действию». Для Джеймса понятие дома было неразрывно связано с понятием цивилизации. В Сассексе во время войны ему было сложно читать и невозможно работать. Он писал, что живет в «трауре по нашей убитой цивилизации».

Когда в сентябре 1914 года немцы напали на Францию и разрушили Реймский собор, Джеймс написал: «Эту бездну не заполнить никакими словами – ее никак не объять, ничем не утешить сердце, и ни единого проблеска света не увидеть во тьме; и все слова, клеймящие это зло самым чудовищным преступлением против человеческого разума, не способны ослабить душевные муки и ужас разрушения».

Всю жизнь Джеймс боролся за власть – не политическую, ее он презирал, а культурную. Культура и цивилизация были для него всем. Он говорил, что величайшая свобода человека – «независимость мысли», именно благодаря ей люди искусства наслаждаются «агрессией бесконечных способов бытия». Но пред лицом столь страшного кровопролития и разрушений он чувствовал себя беспомощным и бессильным. Его чувство родства с Англией и Европой происходило из любви к цивилизации, культурной традиции и гуманизму. Но теперь ему открылось моральное разложение Европы, ее усталость от собственного прошлого, ее хищническая циничная суть. Неудивительно, что он использовал всю свою власть, особенно силу слов, чтобы помочь тем, кто, как ему казалось, был на стороне правды. Он осознавал целительную силу слов и писал подруге Люси Клиффорд: «Мы должны во что бы то ни стало создать собственную контрреальность».

24

Через несколько дней после нашего с Нассрин разговора перед лекцией я обнаружила у двери своего кабинета двух девочек. Одной была Нассрин; она улыбалась своей обычной бледной улыбкой. Другая была с ног до головы укутана черной чадрой; рассмотрев этот бестелесный призрак получше, я вдруг узнала в нем свою старую студентку Махтаб.

С минуту мы просто стояли молча, не в силах шелохнуться. Нассрин казалась почти равнодушной; равнодушие стало для нее защитой от неприятных воспоминаний и реальности, на которую она не могла повлиять. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сопоставить новую Махтаб и старую, мысленно переключиться и понять, что старая Махтаб, студентка-марксистка в штанах цвета хаки, которую я в прошлый раз видела на территории больницы, где та искала тела своих убитых товарищей, и эта новая Махтаб, стоявшая у моего кабинета с горькой улыбкой и надеждой, что я ее узнаю, – одно и то же лицо. Я неуверенно потянулась к ней, словно желая ее обнять, но остановилась и спросила, что она делала все эти годы. Потом спохватилась и пригласила девочек в кабинет. До начала следующей лекции оставалось очень мало времени.

Махтаб поддерживала связь с Нассрин, а когда услышала, что я снова вышла на работу и преподаю в Университете Алламе Табатабаи, набралась храбрости пришла меня навестить. Можно ли ей сходить ко мне на лекцию? А после занятия, если у меня есть время и я не против, она могла бы немного рассказать о себе. Конечно, ответила я, пусть приходит на лекцию.

Всю двухчасовую лекцию по «Вашингтонской площади» Джеймса мои глаза то и дело тянулись к Махтаб в ее черной чадре. Она сидела очень прямо и слушала с тревожной настроенностью, которую я раньше в ней не замечала. После занятий мы пошли в мой кабинет; Нассрин семенила следом. Я попросила их сесть и предложила выпить чаю; они обе отказались. Я проигнорировала их отказ и пошла попросить Латифа приготовить нам чай, а вернувшись, закрыла дверь, чтобы нам никто не помешал. Махтаб сидела на самом краешке стула, а Нассрин стояла рядом, вперившись взглядом в стену напротив. Я велела ей сесть – она меня нервировала – затем повернулась к Махтаб и спросила как могла спокойно, чем та занималась все эти годы.

Махтаб взглянула на меня сперва с послушным смирением, словно не поняла вопрос. Затем потерела пальцы, наполовину спрятанные под складками чадры, и ответила: я была там же, где Нассрин. Вскоре после того дня, когда мы с вами встретились на демонстрации, меня арестовали. Мне повезло, мне дали всего пять лет – они знали, что в нашей организации я высоких постов не занимала. Потом меня выпустили досрочно. Я вышла через два с половиной года за хорошее поведение. Я могла лишь догадываться, что воспринимали под «хорошим поведением» люди, посадившие ее в тюрьму. В дверь постучали; вошел Латиф и принес чай. Мы молчали, пока он не вышел.

Я думала о вас и о наших занятиях, сказала она, когда он ушел. После первого круга допросов ее посадили в камеру с пятнадцатью девушками. Там она встретилась с еще одной моей бывшей студенткой – Разие. Держа маленькую чашечку чая, которую я ей предложила, в одной руке, и не давая задраться рукаву чадры, она произнесла: «Разие рассказала о ваших лекциях по Хемингуэю и Джеймсу в университете Аль-Захра, а я рассказала о суде над „Гэтсби“. Как мы смеялись! Потом ее казнили. А мне повезло». Меньше чем через год после освобождения из тюрьмы Махтаб вышла замуж и родила; сейчас ждала второго. Она была на третьем месяце беременности. Под чадрой ничего не заметно, сказала она и робко указала на живот.

Я не могла начать расспрашивать ее о моей убитой студентке. Я не хотела знать, как они жили в той камере на пятнадцать человек, какие общие воспоминания у них остались. Мне казалось, если она расскажет мне об этом, я сделаю какую-нибудь глупость и не дотяну до

дневной лекции. Я спросила, сколько лет ее ребенку, но не спросила про мужа. Я не знала, будет ли уместным мой любимый вопрос – были ли вы влюблены? Я слышала много историй про девушек, которые выскочили замуж сразу после выхода из тюрьмы и сделали это, чтобы унять подозрения своих тюремщиков; брак отчего-то казался им противоядием от политической деятельности, а может, таким образом они стремились доказать родителям, что теперь они «хорошие девочки». Или им просто нечем было больше заняться.

«Знаете, я всегда считала, что „Великий Гэтсби“ – прекрасная книга, – сказала Махтаб, встав и собравшись уходить. – И та сцена, которую вы нам читали – где Дейзи снова встречается Гэтсби через пять лет после расставания, и лицо у него мокрое от дождя – она такая красивая. И другая, когда она говорит ему „вы так роскошно выглядите“ – и это означает признание в любви. Знаете, суд над „Гэтсби“ – это было здорово». Я знала. И в других обстоятельствах я бы даже обрадовалась, что они помнили суд над «Великим Гэтсби» и им было интересно на моих занятиях, но я не могла не думать о том, что радость от чтения «Гэтсби» отныне будет навсегда омрачена мыслями о Махтаб и ее тюремном заключении, о казни Разие; одного теперь не существовало без другого.

Когда они ушли, я поняла, что хочу открыть окно и впустить свежий воздух. Окно кабинета выходило во двор; снег падал на кроны деревьев, ласково укутывая их. После ухода Махтаб осталась тяжесть, физически осязаемая взвесь боли и покорности судьбе. Повезло ли ей? Ей, которую отпустили досрочно, ей, которая вышла замуж за неизвестного мне мужчину, ей, которая теперь ежемесячно должна была отчитываться перед тюремщиками, ей, чей родной город был разрушен авиааналетами, а она растила в этом городе двухлетнего ребенка? Ей повезло, ведь Разие казнили. Нассрин тоже часто твердила, что ей повезло; у моих студенток было странное понятие о везении.

Вторая цитата Джеймса с розовой картотечной карточки описывает его реакцию на смерть Руперта Брука, прекрасного юного английского поэта, который умер от сепсиса во время войны. «Я признаю, что никакая философия, никакой долг, никакое терпение и искусство анализа, никакая компенсационная теория не способны оправдать такую мерзость, такое зверство и такое безумие; для меня все это просто невыразимый ужас и непоправимый вред, и я, почти ослепший от ярости, буду смотреть на них с осуждением».

Рядом с последней строчкой карандашом выведено: *Разие*.

25

В каких странных местах встречались мои студенты и из каких темных углов они приносили мне новости! Я не могла отправиться в эти места, даже сейчас не могу, хотя слышала о них много раз. Но должна же была быть хоть какая-то радость у Разие и Махтаб в их камере, где они не знали, предстоит ли им жить или умереть, и говорили о Джеймсе и Фицджеральде. «Радость», наверно, не то слово. Я упоминаю об этом, потому что никак не могла предположить, что мои любимые романы, мои золотые посланники другого мира окажутся в таких местах. Я думаю о Разие в этой тюрьме, о Разие пред лицом расстрельного отряда в какой-то вечер, возможно, в тот самый вечер, когда я читала «Долгое прощание» или «Бостонцев»⁷⁸.

Я помню – да и тогда помнила – что у Разие была удивительная черта: она любила Джеймса. Помню ее курс из университета Аль-Захра и как мне было сложно с этими девочками. Отличие этого так называемого «университета» заключалось в том, что он был единственным чисто женским высшим заведением в Иране. Территория университета была небольшая, с красивым тенистым садиком, и я там отчитала два курса одновременно с преподаванием в Тегеранском университете в первый год после своего возвращения на работу. Проставляя оценки за семестровые письменные экзамены, я была поражена: большинство учениц не отвечали на вопросы, а попросту цитировали то, что я рассказывала на лекциях. Четыре студентки процитировали меня с точностью до последнего междометия. Видимо, они слово в слово записали все, что я сказала о «Прощай, оружие», в том числе все мои «знаете» и лирические отступления о личной жизни Хемингуэя. Читая их экзаменационные работы, я словно видела дурацкую пародию на свои лекции.

Сначала я решила, что они списывали; не верилось, что без шпаргалок можно так точно воссоздать мои слова. Однако коллеги сообщили, что в Аль-Захра такое случалось регулярно; студентки просто заучивали наизусть учительские лекции и потом пересказывали их, не меняя ни слова.

На следующем после экзамена занятии я сорвалась. Это был единственный раз за всю мою карьеру преподавателя, когда я разозлилась и показала это студентам. Я была молода и неопытна и считала, что существуют некие стандарты, все это понимают и я могу рассчитывать, что их будут соблюдать. Помню, я сказала девочкам, что лучше бы они списывали – для этого хотя бы нужно проявить смекалку; но заучить мою лекцию слово в слово, не включив ни капли своего в ответ... Я продолжала в том же духе, и мое праведное негодование все силилось. Я упивалась этим гневом, я готова была рассказывать об этой вопиющей ситуации друзьям и родным.

Девочки притихли – даже те, кто не сделал ничего плохого. В тот день я отпустила класс домой раньше времени, хотя виноватые и еще несколько девочек остались высказаться в свою защиту. Даже их контраргументы были полны смирения: они просили прощения, они не умели по-другому, ведь большинство профессоров ждали от них именно этого. Две студентки расплакались. Что им было делать? Они учились так всю жизнь. С того самого дня, как они переступили порог начальной школы, им велели заучивать наизусть. И внушали, что их личное мнение ничего не значит.

Когда все наконец разошлись, Разие осталась. Сказала, что хочет со мной поговорить. «Они не виноваты, – сказала она. – То есть виноваты, конечно, но мне всегда казалось, что вам не все равно». Я вздрогнула, уловив тень упрека в ее голосе. Будь мне все равно, разве я бы злилась? «Да, они выбрали самый легкий путь, – ответила она. – Но вы не должны забы-

⁷⁸ «Долгое прощание» – детективный роман Рэймонда Чандлера (1953) с участием его постоянного героя Филипа Марлоу; «Бостонцы» – роман Генри Джеймса 1885–1886 гг.

вать, кто мы и откуда. Большинство этих девочек никогда ни за что не хвалили. Им никогда не говорили, что они способные или что они должны самостоятельно мыслить. А вы приходите и накидываетесь на них, обвиняете в предательстве принципов, которые им никогда не прививали. Уж вы-то должны понимать».

Она стояла передо мной, эта хрупкая девочка, моя студентка, и выговаривала мне. Ей было не больше двадцати, но она внушала уважение и при этом не выглядела дерзкой или нахальной. Девочки любят этот курс, сказала она. Они даже полюбили Кэтрин Слоупер⁷⁹, хотя она некрасива, а они привыкли видеть героинь романа совсем не такими. Я сказала: в наше революционное время стоит ли удивляться, что студентам нет дела до проблем невзрачной богатой американки, жившей в конце девятнадцатого века. Но Разие горячо возразила. В наше революционное время, ответила она, такие героини как раз очень интересны. Не знаю, почему люди из высоких кругов всегда считают, что те, кому в жизни повезло меньше, не хотят прикоснуться ко всему хорошему – слушать хорошую музыку, есть вкусную еду или читать Генри Джеймса.

Разие была очень миниатюрной, маленькой и темненькой. Нелегко ей, верно, было – такой серьезной девочке в таком маленьком теле. Впрочем, она не производила впечатление тщедушной; я до сих пор недоумеваю, как человек настолько хрупкий мог выглядеть таким внушительным. Разие. Ее фамилию я не помню, но имя могу упомянуть, не тревожась за ее безопасность, ведь она умерла. Ирония в том, что я могу упоминать настоящие имена лишь тех, кого уже нет в живых. Она уважала своих соучениц, и в те насквозь пронизанные идеологией времена к ней прислушивались девочки с самыми полярными взглядами. Она активно участвовала в деятельности «Муджахидина», но это не мешало ей замечать лицемерие членов этой группировки. Отца у нее не было, а мать работала уборщицей. Разие и ее мать отличались глубокой религиозностью, и в «Муджахидин» ее привела вера; она презирала исламистов, узурпировавших власть.

Разие любила красоту, и любовь эта была безгранична. Она говорила: знаете, я с детства жила в бедности. Мне приходилось красть книги и тайком пробираться в кинотеатры, но как я любила эти книги! Сомневаюсь, что для кого-то из богатых детей «Ребекка» или «Унесенные ветром» были таким сокровищем, как для меня; я брала переводы этих книг из домов, где убиралась мать. Но Джеймс – он не похож ни на одного известного мне писателя; думаю, я влюблена, добавила она, смеясь.

Разие была средоточием противоречий. Полная горечи и решимости, суровая и твердая, она любила книги и пылала к ним истинной страстью. Писателем она быть не хотела; хотела преподавать. Писательским талантом она не обладала. Мы завидуем таким, как вы, сказала она, и хотим быть на вас похожими, но не можем, поэтому решаем вас уничтожить. После ухода из Аль-Захра я видела ее один раз. Думаю, ей казалось, что уволившись из их маленького вуза ради крупного Тегеранского университета, я их бросила. Я предлагала ей ходить на свои занятия, не терять связь. Но она этого не сделала.

Через несколько месяцев после кровавой демонстрации лета 1981 года я шла по широкой солнечной улице рядом с Тегеранским университетом и увидела напротив хрупкую фигурку в черной чадре, двигавшуюся мне навстречу. Я обратила на нее внимание лишь потому, что она на миг остановилась и вздрогнула. Это была Разие. Она не поздоровалась, но в ее глазах я увидела непокорность и скрытую мольбу. Мы обменялись взглядами и разошлись. Никогда не забуду ее взгляд в тот день, ее худенькую миниатюрную фигурку, тонкое лицо и большие глаза – как у совы или чертенка из волшебной сказки.

⁷⁹ Героиня романа Генри Джеймса «Вашингтонская площадь».

26

В память о своей студентке Разие сделаю отступление и расскажу о ее любимом романе. Пусть это будет своего рода эпитафией.

Чем «Вашингтонская площадь» так заинтриговала Разие? Безусловно, она идентифицировала себя с несчастной героиней, у них было довольно много общего, но на деле все обстояло сложнее.

В «Вашингтонской площади» все вроде бы просто и понятно, но главные герои, и в первую очередь Кэтрин Слоупер, ведут себя обманчиво: делают то, чего от них не ждешь. В родном доме Кэтрин живет, как в капкане: ее умный и преуспевающий отец относится к ней с презрением и равнодушием, не сумев простить преданной и робкой дочери смерть любимой жены во время родов. Он разочарован в дочери, которая не выросла ни красивой, ни талантливой. Другая причина несвободы Кэтрин – ее любовь к Моррису Таунсенду, «прекрасному» (ее слова) молодому транжире, который обхаживает ее ради денег. Третьим членом этого злодейского триумвирата является миссис Пенниман, мелочная, сентиментальная тетка-вдовушка Кэтрин, которая везде сует свой нос и пытается выдать Кэтрин замуж, тем самым удовлетворив томление девушки по романтической любви.

Кэтрин – персонаж исключительный даже для Джеймса. Она опровергает все наши стереотипы о том, какой должна быть героиня романа. Кэтрин грузна, здорова, невзрачна, скучна, образованна и честна. Ее зажали в тиски со всех сторон три ярких, умных, эгоцентричных человека, которые недооценивают ее и притесняют, в то время как она остается преданной и доброй. Джеймс последовательно лишает ее всех качеств, которые делают героиню привлекательной, и распределяет эти качества между тремя остальными персонажами. Морриса Таунсенда он наделяет «красотой» и талантом. Миссис Пенниман – макиавеллиевской любовью к интригам. Доктора Слоупера – иронией и рассудительностью. И в то же время он лишает трех оппонентов Кэтрин единственного качества, которое ее от них отличает: эмпатии.

Как и многие другие героини романов, Кэтрин заблуждается в оценке окружающих; у нее талант к самообману. Она верит, что Моррис ее любит, и отказывается верить отцу, утверждающему, что это не так. Джеймс не любил непогрешимых героев и героинь. У него все ошибаются, и ошибки героев вредят в первую очередь им самим. Их ошибки подобны трагическому изъяну⁸⁰ из классической трагедии – они необходимы для развития и взросления персонажа.

Доктор Слоупер, самый отрицательный персонаж из трех, является также самым «правильным». Он безупречен в профессиональной и личной жизни и прав почти во всех своих прогнозах насчет дочери. Так, он верно предсказывает, что миссис Пенниман попытается убедить его дочь, что в нее влюблен некий «усатый юноша». «Это, конечно, неправда, – добавляет он с присущей ему иронией, – ни один юноша с усами или без никогда не полюбит Кэтрин». С самого начала доктор Слоупер сомневается в честных намерениях Таунсенда и делает все возможное, чтобы не допустить их с дочерью союз. Но ее сердце остается для него непостижимым. Она постоянно его удивляет, потому что он совсем ее не знает. Он недооценивает Кэтрин, но это не так страшно, как другой его изъян – отсутствие способности любить. Сердце Кэтрин разбивается дважды – в первый раз его разбивает ее так называемый «возлюбленный», во второй – ее отец. Он виновен в том же преступлении, в котором обвиняет Морриса, – он не любит свою дочь. Доктор Слоупер заставляет вспомнить одну из цитат Флобера: «Понять, что творится в чужом сердце, способен лишь тот, у кого оно есть». Вспомнила я и про бедного

⁸⁰ Трагический изъян, или *гамартия* – понятие из «Поэтики» Аристотеля, изъян характера героя трагедии или его роковая ошибка, которая становится двигателем сюжета и основой всех нравственных терзаний героя.

Гоми, совершенно неспособного уловить нюансы, – точнее, про везунчика Гоми, для которого нюансов не существовало: в его мире дочь должна подчиняться отцу, и точка.

Доктор Слоупер не замечает потребностей своей дочери. Он жалуется, что она ничего не достигла, но не замечает ее скрытой любви к музыке и театру. Он видит ее глупость, но не понимает, как велика ее потребность быть любимой. Неслучайно в первую встречу с Моррисом Таунсендом на свадьбе кузины у Кэтрин «внезапно появляется живой интерес к моде», и она надевает красное атласное платье. Рассказчик сообщает, что «это удивительное расточительство» на самом деле свидетельствовало о «невысказанном желании проявить себя; одеждой она стремилась заменить красноречие и компенсировать скромность своей речи откровенностью костюма». Платье, впрочем, сидит на ней ужасно – цвет ей не идет и старит на десять лет. Она становится объектом отцовских насмешек. В тот же вечер Кэтрин встречает Морриса и влюбляется в него. А отец за один вечер дважды упускает шанс понять ее и помочь ей.

Таким образом, доктор Слоупер совершает самый непростительный грех в художественной литературе – грех слепоты. Жалость – пароль, утверждает поэт Джон Шейд из романа Набокова «Бледный огонь». Уважение к окружающим, эмпатия – вот что лежит в основе романа. Это свойство объединяет Остин и Флобера, Джеймса, Набокова и Беллоу. Оно же – точнее, его отсутствие – порождает злодея современной художественной литературы: злодеем считается существо, лишенное сострадания, не способное к эмпатии. Персонализированное восприятие добра и зла одерживает верх над архетипическими понятиями, такими как мужество или героизм, – понятиями, сформировавшими эпический и романтический жанры; архетипическое становится индивидуальным, а героем – тот, кто готов отстаивать свое индивидуальное «я» почти любой ценой.

Полагаю, большинство моих студентов согласились бы с этим определением зла, так как оно было близко их личному опыту. На мой взгляд, именно отсутствие эмпатии являлось главным грехом режима, за которым следовали уже все остальные. Мое поколение вкусило личной свободы и потеряло ее; несмотря на всю болезненность утраты, воспоминание о былой свободе не давало нам засохнуть в пустыне настоящего. Ну а чем было защищаться нынешнему поколению? Их стремления, томления и потребность в самовыражении проявлялись самым неожиданным образом, как и у Кэтрин.

Игнорируемая отцом, манипулируемая теткой и брошенная своим воздыхателем, Кэтрин учится противостоять каждому из своих мучителей не их же собственными методами, а по-своему, тихо и смиренно. Этот опыт дается ей болезненно, но она ни на минуту не изменяет себе в восприятии событий и взаимодействии с людьми. Она не подчиняется отцу, даже когда тот лежит на смертном одре, и отказывается обещать, что никогда не выйдет за Морриса, хоть и не собирается так поступать. Она отказывается «открыть сердце» тетке и удовлетворить ее сентиментальное любопытство, а на последних страницах книги, в прекрасной в своем тихом величии сцене, отказывает принять предложение руки и сердца своего непостоянного возлюбленного, который через двадцать лет к ней возвращается. Каждый ее поступок вызывает удивление окружающих. И в каждом случае Кэтрин руководствуется не желанием отомстить, а порядочностью и чувством собственного достоинства – двумя старомодными понятиями, которые так любят герои Джеймса.

Лишь Кэтрин в романе обладает способностью меняться и взрослеть, хотя здесь, как во многих других романах Джеймса, она платит за это высокую цену. Впрочем, ей все-таки удастся отомстить отцу и своему поклоннику: она отказывается принимать их условия. В конце концов она одерживает триумф.

Если, конечно, можно назвать это триумфом. Джеймс недаром писал, что его «воображение жаждет катастрофы»: многие его герои в конце оказываются несчастными, и тем не менее их окружает победоносная аура. Победа для них не равнозначна счастью, ведь главное для этих персонажей – остаться верными себе. Их целостность обеспечена не внешними обстоя-

ятельствами, а единением с собой, движением вглубь навстречу себе. Награда им – не счастье: в романах Остин этому слову отдано центральное место, но во вселенной Джеймса оно редко используется. Героев Джеймса в конце ждет не счастье, а самоуважение. И дочитав до конца последней страницы «Вашингтонской площади», где раздосадованный «жених» Кэтрин ее покидает, мы понимаем, что в мире нет ничего труднее, чем обрести самоуважение. «А Кэтрин, оставшись в гостинной, берет рукоделие и снова усаживается за работу – теперь уже на всю жизнь».

27

Я раз за разом звонила в домофон, и снова мне никто не отвечал. Я отошла от двери и заглянула в окно его гостиной: шторы были задернуты, лишь кремовая тишь за стеклом. Мы договорились встретиться после обеда, а потом за мной должен был заехать Биджан и отвезти к подруге на обед. Я уже думала найти телефон и позвонить ему, когда появилась соседка с мешком фруктов, открыла дверь подъезда и с приветливой улыбкой меня впустила. Я поблагодарила ее и поднялась по лестнице. Дверь в его квартиру была открыта, но на мои звонки никто не ответил, и я вошла.

Квартира была в порядке, все стояло на своих местах: кресло-качалка, восточный коврик, аккуратно свернутые на столике сегодняшние газеты, прибранная кровать. Я переходила из комнаты в комнату и искала хоть какие-то приметы беспорядка, хоть какую-то причину, почему он нарушил договоренность. Дверь была открыта. Наверно, он куда-то вышел – за кофе или молоком – и оставил дверь открытой. Как еще объяснить его отсутствие? Что еще это может быть? Могли они прийти и его забрать? Могли увести его? Стоило мне об этом подумать, и я уже не могла думать ни о чем другом. Мысль мантрой повторялась в голове: они его забрали, они его забрали... Это была никакая не редкость – так поступали с другими. Однажды дверь в квартиру одного писателя обнаружили незапертой; друзья нашли на столе на кухне остатки его завтрака, растекшийся по тарелке яичный желток, кусочек тоста, масло, клубничное варенье, полупустой стакан чая. Все комнаты, казалось, кричали о том, что их покинули в процессе действия – в спальне кровать была не застелена, в кабинете по полу и большому мягкому креслу разбросаны стопки книг, на столе лежала открытая книга и очки. Через две недели выяснилось, что писателя увела на допрос тайная полиция. Эти допросы стали частью нашей повседневной жизни.

Но почему? Почему они его забрали? Он не участвовал в политической деятельности, не писал подстрекательские статьи. Друзей, правда, у него было много. Откуда мне было знать, что он втайне не принадлежал к какой-нибудь политической группировке, не был лидером подпольных партизан? Эта мысль казалась абсурдной, но любое объяснение было лучше никакого: я должна была узнать причину внезапной пропажи человека, для которого не было ничего важнее распорядка; на все встречи он являлся за пять минут. Я внезапно поняла, что эта педантичность была частью его образа, дорожкой из хлебных крошек, которая помогала нам сложить о нем представление.

Я подошла к телефону, стоявшему у дивана в гостиной. Может, позвонить его лучшему другу Резе? Но тогда тот тоже начнет беспокоиться; нет, лучше немного подождать, быть может, он вернется. А если придут *они* и обнаружат меня здесь? Да заткнись же ты, заткнись, велела я себе. Наберись терпения; он вернется в любую минуту. Я взглянула на часы. Он опаздывал всего на сорок пять минут. Всего? Я решила подождать еще полчаса и потом уже думать, что делать.

Я подошла к его книжным полкам и стала рассматривать ряды книг, расставленных по темам и по алфавиту. Взяла с полки роман, затем поставила на место. Взяла какую-то критику, но потом заметила «Четыре квартета» Элиота⁸¹. Да, пожалуй, то, что нужно. Я открыла книгу, как мы открывали Хафиза – закрыв глаза, задав вопросы и ткнув пальцем в случайное место. Книга открылась в середине стихотворения «Бёрнт Нортон», на строках: «В спокойной точке вращения мира / Ни сюда, ни отсюда / Ни плоть, ни бесплотность; в спокойной точке ритм, но не задержка и не движение»⁸².

⁸¹ Цикл из четырех поэм Томаса Стернза Элиота (1934–1942).

⁸² Перевод В. Топорова (другие цитаты из этого стихотворения далее в его же переводе).

Я захлопнула книгу, села на диван и ощутила страшную усталость.

Зазвонил телефон. Если это друг, он повесит трубку после третьего звонка. А если нет? Что если это он? Может, он оставил дверь открытой, позвонил мне домой и обнаружил, что меня нет дома, поэтому звонит сюда? Но почему он не оставил записку? Будь я на его месте, я бы забыла оставить записку, я, неорганизованная, но он – нет, он бы не забыл. А если ему было некогда ее написать, если он *не смог* ее написать? Если они пришли его забрать, вряд ли он сказал бы – подождите, мне надо написать записку подруге, чтобы вы потом могли прийти и за ней: *дорогая Азар, извини, я не смог тебя дождаться. Оставайся на месте; скоро они заберут и тебя.*

Я вдруг испугалась. Надо позвонить Резе, подумала я. Лучше уж ему позвонить, чем умереть от тревоги. Одна голова хорошо, а две лучше, и все такое прочее. Я позвонила Резе и объяснила ситуацию. Его голос меня успокоил, но, кажется, за его утешающими словами я расслышала внезапную панику. «Дай мне полчаса, я приеду», – сказал он.

Я повесила трубку и тотчас пожалела, что позвонила ему. Если должно случиться что-то плохое, зачем вовлекать в это еще одного человека? А если с волшебником все в порядке... Я вернулась к «Четырем квартетам» и на этот раз открыла книгу в самом начале, на строках, которые читала себе вслух, когда мы начали изучать Элиота в колледже:

*Настоящее и прошедшее,
Вероятно, наступят в будущем,
Как будущее наступало в прошедшем.
Если время всегда настоящее,
Значит, время не отпускает.*

Как же я упустила эту строчку про «время не отпускает», хотя столько раз читала стихотворение? Я начала читать вслух и ходить по комнате кругами:

*Ненаставшее – отвлеченность,
Остающаяся возможностью
Только в области умозрения.
Ненаставшее и наставшее
Всегда ведут к настоящему.*

Потом я дошла до своего любимого отрывка, и к горлу подкатил комок:

*Шаги откликаются в памяти
До непройденного поворота
К двери в розовый сад,
К неоткрытой двери. Так же
В тебе откликнется речь моя.
Но зачем
Прах тревожить на чаше розы,
Я не знаю.*

Я повторила последние три строчки, чувствуя, к своему ужасу, как по щекам текут слезы. Пришел Реза. Я впустила его; он тут же меня утешил, я выплеснула ему свою тревогу и страх. Он взял меня за руку и похлопал по спине. Не переживайте, сказал он. Он же ненормальный – мог уехать срочно монтировать какой-то материал. Раньше он по несколько дней мог пропадать в монтажной. Но зачем тогда накануне договорился со мной о встрече? Разве не мог оставить

записку? Вскоре мы уже сидели на диване, взявшись за руки; наши страхи и сомнения сблизили нас, и нам казалось, что мы остались одни на всем белом свете.

Мы не заметили, как открылась дверь, но услышали ключ в замке. Он забыл запереть дверь. Он вошел и первым делом выпалил: простите меня, простите. Я вышел погулять с Мальчишкой. Он был очень бледен, и если бы его изогнутые брови умели никнуть, я бы сказала, что они поникли. Усталость в нем боролась с сожалением, с осознанием, какому беспокойству он нас подверг. Вы могли бы быть в тюрьме, а могли бы вернуться со своими похитителями, слабо проговорила я. Значит, вы гуляли с Мальчишкой?

Мальчишка на самом деле был уже взрослым парнем; когда волшебник с ним познакомился – а это случилось в год революции, когда Мальчишка пришел на его лекцию, – тот еще учился в школе, в выпускном классе. Волшебник питал к нему особую симпатию; Мальчишка хотел поступить в медицинскую школу, но его заворожила лекция волшебника об Эсхиле и Чаплине. Он с блеском сдал вступительные экзамены, но в университет его не приняли, так как он признался, что исповедует бахаизм⁸³. При шахе бахаистов защищали, они жили себе и процветали – этот грешок шаху никогда не простили. После революции собственность бахаи конфисковали, их лидеров казнили. Новой исламской конституцией их лишили всех гражданских прав, в том числе права на обучение в школах и вузах и права на работу.

Мальчишка мог бы разместить объявление в газете, как тогда делали многие, публично отрекаясь от принадлежности к упаднической империалистической секте и от родителей – те, к счастью, жили в Европе и им ничего не грозило. Он мог бы соврать, что какой-нибудь аятолла убедил его принять ислам. Для поступления в университет больше ничего было и не нужно. Вместо этого он признал себя бахаистом, хотя даже не практиковал бахаистские ритуалы и вообще особой религиозностью не отличался; это закрыло ему путь в медицину, хотя он, несомненно, мог бы стать прекрасным врачом.

Теперь он жил с бабушкой и перебивался случайными заработками, но ни на одной работе не задерживался надолго. В данный момент он работал в аптеке; фармацевт не врач, конечно, но тоже медицинская профессия. Мы с Мальчишкой не были знакомы, но я много слышала о нем, о его поразительной красоте, его любви к мусульманской девушке, которая вскоре покинет его и выйдет за богатого мужчину сильно ее старше, а потом попытается с ним помириться, будучи уже замужней женщиной.

Мальчишка позвонил перед обедом. Умерла его бабушка, которая долго болела; он звонил из больницы и чуть не плакал. Повторял, что не знает, что делать. Волшебник ушел в спешке. Он думал, что успеет вернуться еще до моего прихода.

Мальчишка стоял у входа в больницу рядом с мягкой бескостной женщиной – своей теткой. Он почти плакал, но плакать при наставнике, которого он боготворил, было невозможно, и он крепился, как взрослый; впрочем, видеть его сухие глаза было хуже, чем слезы. Бахаистов не хоронили на кладбищах: в первые годы революции режим уничтожил бахаистское кладбище – приехал бульдозер и сравнял могилы с землей. Ходили слухи, что на этом месте теперь парк или детская площадка. Потом я узнала, что там открыли культурный центр Бахтаран. Так что же делать, когда твоя бабушка умерла, а кладбища нет?

Я встала и начала ходить по комнате. Да сядьте вы, сказал волшебник и указал на место рядом с собой на диване. Сидите тихо. Не нервничайте – вот молодец. Подождите, сказала я, дальше не рассказывайте, я сначала позвоню. Я позвонила Биджану и велела ему идти в гости без меня; сказала, что приду позже. Когда я вернулась в гостиную, Реза рассуждал: удивительно это их желание подчинить себе не только живых, но и мертвых. В начале революции прокурор приказал сравнять с землей могилу Реза-шаха, уничтожить памятник и открыть на этом месте

⁸³ Религия, провозглашающая единство всех религий и единство Бога; возникла в Иране в XIX веке. Некоторые считают ее направлением ислама, другие – отдельной монотеистической религией.

общественный туалет; он сам первый в него помочился, совершил, так сказать, инаугурацию. Я прервала разговор и спросила, хотят ли они кофе. Принесла три разных кружки и поставила на стол чайник с горячей водой и растворимый кофе. Волшебник встал, подошел к холодильнику и достал коробку конфет; как всегда, его манеры были безупречны.

Итак, Мальчишка взял у друга машину и стоял у входа в больницу с всхлипывающей тетей. Волшебник не мог оставить их с теткой вдвоем, чтобы они сами решали, что делать с бабушкой, и решил поехать с ними несмотря на протесты Мальчишки. Он помнил о нашей встрече и звонил мне домой, но никто не снял трубку. Нет, ему не пришло в голову позвонить Резе или кому-то из друзей. Он сел в машину к Мальчишке, и они уехали.

Они подъехали к больнице с черного хода, и им выдали тело, завернутое в белый саван. Волшебник и Мальчишка подхватили его с двух сторон и положили в багажник. Потом направились в садик в окрестностях Тегерана – Мальчишка слышал, что там хоронили бахаистов. Они волновались, что их остановят – что они скажут дружинникам? Смогут ли помешать им открыть багажник? Мальчишка боялся за машину. Как-никак, та принадлежала его другу, и он не хотел вмешивать в это дело невиновных. Невиновных, в сердцах воскликнул волшебник; можете себе представить, что человек чувствует себя виноватым, потому что хочет похоронить бабушку, просто похоронить, не задумываясь даже о достойных похоронах?

Мне хотелось к нему прикоснуться, но пережитый опыт окружил его аурой недоступности; мысленно он все еще был там, в машине, и ехал за город, в похоронный садик бахаистов. Таких случаев в последнее время было много – когда проявления сочувствия казались неуместными. Что сказать человеку, который рассказывает об изнасилованиях и убийствах девственниц – соболезную, я тебя понимаю? Волшебник и Нассрин принадлежали к тому типу людей, кто в сочувствии не нуждался; они рассчитывали, что мы поймем их горе и наша эмпатия сама подскажет, как себя вести. С волшебником было хуже, чем с Нассрин: он злился и чувствовал себя виноватым.

Они ехали по шоссе, по которому раньше проезжали много раз; оно вело к Каспийскому морю. Земля, деревья, горы проносились за окном; тетя молчала, сидя на заднем сиденье, и иногда до них доносились ее всхлипы и рыдания. Мужчины же не могли говорить ни о чем серьезном и рассеянно обсуждали прошлогоднюю премию «Оскар».

Садик выглядел совершенно непримечательным; за глинобитной стеной высились деревья. Мальчишка посигналил. Старик открыл калитку и проводил их в сад. Он показал им несколько участков с надгробиями; две свежие могилы были готовы к захоронению. Семьи покойных сами должны были выполнить прощальный ритуал омовения и облачения тела в саван. Мальчишка с тетей пошли в небольшое здание, а волшебник сидел у входа с маленьким букетиком нарциссов, купленным по дороге. Дальше все прошло быстро, как во сне: тело опустили в могилу, закидали землей, несколько минут постояли над свежей могилой и оставили цветы. Мальчишка заплатил старику. Они сели в машину, и Мальчишка отвез волшебника домой; «и вот он я, в вашем распоряжении», заключил волшебник. Он взглянул на меня, и в его глазах расцвела нежность. Простите меня, повторил он. Как жестоко я поступил, не подумав, что вы почувствуете.

Мы посидели еще немного. Если и говорили о чем-то, я уже не помню. Потом я встала и сказала: пожалуйста, вызовите мне такси. Он вызвал. Когда в домофон позвонили, я еще долго надевала накидку и платок, искала сумку и прощалась. О цели моего визита мы так и не поговорили: теперь это казалось бессмысленным. Наступит завтра, и я снова позвоню ему, договорюсь о встрече; тогда и поговорим. А пока я поцеловала волшебника и Резу в щеку, поблагодарила Резу и поспешила вниз к машине.

28

За два дня до объявления первого прекращения огня в войне городов к нам в гости пришла компания друзей смотреть «Могамбо» Джона Форда. Форсати подрядился приносить мне фильмы. Однажды ни с того ни с сего он проследовал за мной до кабинета; в руках он нес небольшой сверток. Оказалось, это кассета с фильмом «Большой». С тех пор он стал делиться со мной кассетами – как правило, это были второразрядные и третьеразрядные американские новинки. По слухам, исламисты добывали эти кассеты у моряков, отбывающих службу в Персидском заливе; тем разрешали смотреть запрещенные фильмы, а потом они контрабандой провозили их на берег. Через некоторое время я стала делать заказы. Просила принести мне классику – «Жюль и Джим»⁸⁴, «Новые времена»⁸⁵, фильмы Говарда Хоукса, Джона Форда, Бунюэля и Феллини. Форсати не знал этих режиссеров и поначалу найти их было сложно, вероятно, потому, что для моряков такое кино не представляло интереса. Но потом однажды он принес мне «Могамбо». Сказал, что это подарок. Не думал он, что может с удовольствием смотреть старое кино, но в этот фильм он просто влюбился и решил, что мне должно понравиться.

Тем вечером электричество вырубili на несколько часов; город погрузился во тьму. Мы сидели при свечах, разговаривали и пили вишневку – домашний вишневый самогон. Спокойную беседу иногда прерывали далекие звуки взрывов. На следующий вечер назначили прекращение огня при условии, что сегодня Ирак еще выпустит последнюю ракету. Словно двое детишек играли в игры, и каждому было важно, чтобы последнее слово осталось за ним.

Прекращение огня длилось всего два дня. Многие думали, что оно продлится дольше, и вернулись в Тегеран. Магазины допоздна не закрывались, на улицах толпились люди, не успевшие купить подарки к Новому году. За несколько часов до окончания перемирия мы с подругой заключили пари, сколько оно продлится. Мы с ней регулярно играли в эти игры: делали ставки, когда, куда и сколько ракет упадет. Так мы избавлялись от стресса, хотя некоторые наши победы были печальными.

Атаки возобновились в 22:30 в понедельник. К утру вторника на Тегеран сбросили шесть ракет. Недавно вернувшиеся почти сразу уехали обратно. На город опустилось внезапное затишье, нарушаемое лишь военными маршами, транслируемыми из громкоговорителей мечетей, правительственных зданий, штаб-квартир ревкомов и частных домов. Время от времени их прерывали «важные объявления» о ракетных ударах по Багдаду и новых победах над «вражескими империалистами и сионистами». Мы должны были радоваться этим победам «света над тьмой» и утешаться мыслью, что иракцы терпят все то же самое.

⁸⁴ Фильм Франсуа Трюффо (1962).

⁸⁵ Последний немой фильм Чарли Чаплина (1936).

29

В 1988 году, в канун иранского Нового года, который праздновали двадцать первого марта, закрыли университеты; их не открывали до прекращения огня. Люди устали, на правительственные указы им стало плевать. Народ отмечал свадьбы и праздновал, несмотря на народное ополчение и Стражей Революции. Мотоциклисты в черном – их называли «виночерпиями смерти» – исчезли с мест бомбардировок, где люди в отчаянии и гневe прогоняли их криками, проклиная и Саддама, и действующий режим. В те дни жизнь остановилась, и каждый искал все более изощренные способы сбежать от реальности. Мы начали ходить в горы, опоясывающие Тегеран со всех сторон, или подолгу гулять; во время этих походов завязывались новые, хоть и недолговечные, дружеские отношения.

Иракского диктатора теперь поминали в каждом доме почти так же часто, как Хомейни, ведь от него наши жизни зависели не меньше. Из-за своего огромного влияния на судьбы он навязчиво присутствовал в наших домах. Мы не могли принять ни одного ключевого решения, не учитывая Саддама и его будущие ходы. Его имя упоминали часто и всуе. Он стал главным героем детских игр, и все его поступки – прошлые, настоящие и будущие – были любимой темой разговоров.

Непрекращающиеся точечные бомбардировки крупных городов, особенно Тегерана, вынудили режим ослабить тиски. Впервые с начала революции Стражи и комитеты не маячили на каждом углу; с улиц убрали почти всех блюстителей нравственности. Так вышло, что в период глубочайшего траура Тегеран стал выглядеть весело и нарядно. Все больше женщин пренебрегали предписанием носить только темное и надевали самые яркие свои платки; многие стали краситься, а нейлоновые чулки бесстыдно выглядывали из-под накидок. Люди устраивали вечеринки с музыкой и алкоголем, не боясь налетов блюстителей нравственности и не давая взятки местным комитетам.

Как ни парадоксально, местом, где режим попытался укрепиться взамен, стало наше воображение. По телевизору показывали сплошь документальные фильмы о двух мировых войнах. Почти пустые улицы Тегерана стали более оживленными и пестрели красками, но по телевизору мы видели лондонцев, рыскающих в мусорках в поисках еды или жавшихся друг к другу в подземных бомбоубежищах. Нам рассказывали о том, как жители Сталинграда и Ленинграда выживали в жестокой блокаде, занимаясь каннибализмом. Все это делалось не только для того, чтобы оправдать все более непопулярную и отчаянную войну, об окончании которой режим и думать не хотел, покуда весь Ирак не будет «освобожден»; эти фильмы должны были также запугать строптивое население, суля ему еще большие несчастья и напоминая, что и на западном фронте не всегда все было гладко; так людей было проще контролировать.

Мы начали верить слухам. Той весной распространился новый слух – что Ирак получил в распоряжение новые, гораздо более мощные ракеты, которые могли упасть в любое место в городе, и тревога бы не сработала. Теперь мы убеждали себя, что «обычные» бомбы – это еще ничего, и молились, чтобы в нас не выпустили те, более совершенные ракеты. Наконец в апреле нас атаковали ракетами, которых мы так боялись. Вскоре после этого иракцы применили химическое оружие в курдском городе на территории самого Ирака; мы ужаснулись тому, что нас ждет. Согласно новым слухам, иракцы планировали сбросить химические бомбы на Тегеран и другие крупные города. Режим использовал эти слухи для создания массовой паники. Ежедневные газеты выходили с приложениями: «как выжить при химической атаке». Ввели новый сигнал тревоги – зеленый. Несколько учебных тревог с этим сигналом не только вызвали всеобщую панику, но и убедили нас в том, что в случае, если новая угроза станет реальной, никто не избежит воздействия парализующего газа. Учредили День борьбы с хими-

ческой бомбой; в этот день по улицам маршировали Стражи Революции в противогазах, а из-за их машин останавливалось все движение в городе.

Вскоре ракета попала в пекарню в густонаселенном районе Тегерана. Люди, собравшиеся на месте катастрофы, увидели клубившуюся в воздухе мучную пыль. Кто-то крикнул: «Химическая бомба!» В последовавшей давке многие получили увечья; сталкивались люди и машины. Стражи Революции явились чуть позже с противогазами наготове; спасти, правда, было уже некого.

К тому моменту в Тегеране уже не осталось такого района, на который не упала бы ракета, а те все продолжали падать. В ряду обычных домов и магазинов вдруг появлялись дома с выбитыми окнами; за ними шли несколько домов с более серьезными повреждениями, а потом и руины одного или двух домов, от которых остался лишь голый остов да горы щебня. По пути в гости, в магазин или супермаркет мы проезжали мимо этих мест, словно следуя симметричной кривой. Начинали поездку из нижней точки кривой разрушения, затем достигали пика, где все лежало в руинах, постепенно возвращались к привычным рядам нетронутых домов и наконец добирались до пункта назначения.

30

Я давно не видела Мину и решила, что иранский Новый год и сопутствующие праздничные мероприятия – хороший повод возобновить наши отношения. Помню день, когда я пошла к ней домой, потому что в тот же день случилось два важных события: моя бывшая коллега вышла замуж, а на Тегеран упало семь ракет. Первый взрыв раздался, когда я выходила из цветочной лавки. Мы с продавщицей и прохожим остановились и глядели на облако, поднимавшееся на горизонте в западной части города. Облако казалось белым и невинным, как ребенок, только что совершивший убийство.

Увидев меня, Мина обрадовалась. Я стала единственной ниточкой, связывавшей ее с миром науки. Ее семья продала свой тоскливый особняк, и они переехали в новый дом, поменьше, но такой же мрачный. Мина по-прежнему носила только черное. Она казалась какой-то поблекшей и несчастной. Сказала, что переживает депрессивные эпизоды и начала принимать таблетки.

Проявив некоторую назойливость, я спросила ее про книгу о Джеймсе, которую она так и не закончила писать. Я наивно и тщетно верила, что стоит ей начать работу над книгой, как жизнь ее наладится. Мина ответила, что никогда не вернется к работе. Потом добавила, что ей нужна передышка, чтобы снова сосредоточиться на книге. А пока она перевела на фарси труд Леона Эделя «Современный психологический роман» и приступила к переводу «Подъема романа» Яна Уотта⁸⁶. Эти книги, конечно, сейчас уже не в моде, сказала она. Всем нужна только постмодернистская литература. Сейчас люди не могут даже читать тексты в оригинале – им нужно знать толкование текста каким-нибудь псевдофилософом. Я велела ей не волноваться; мол, Джеймса тоже уже никто не изучает, он тоже стал немодным, что, безусловно, признак того, что мы что-то да делаем правильно.

Мина переводила тщательно и дословно; из-за этого у нее возникали трудности с издателем, который хотел, чтобы она сделала текст более «доступным» для широкой публики. Она презирала существующие переводы Вирджинии Вулф и отказалась использовать имеющийся иранский перевод «Миссис Дэллоуэй» в книге Эделя, чем навлекла на себя еще большие неприятности.

Она расспросила меня про занятия. Я ответила, что моим студентам Джеймс дается нелегко, особенно его длинные романы. Она улыбнулась. Они в хорошей компании, твои студенты, сказала она. У самых известных критиков и именитых авторов были с Джеймсом такие же проблемы. Но у нас здесь проблема в другом, возразила я. В моей программе есть и более сложный материал – Набоков и Джойс, к примеру, – но почему-то именно с Джеймсом им сложнее всего. Поверхностный реализм его романов внушает иллюзию, что понять его будет проще, отсюда и недоумение. И вот еще, сказала я; что у Джеймса за пунктик со словом *fuliginous* – закоптелый? Оно встречается в «Бостонцах» – «закоптелые глаза»; такие же «закоптелые» глаза у Уэймарша в «Послах». Что это вообще значит – «закоптелые глаза»? Ты знала, что этого слова нет даже в словаре «Американское наследие»⁸⁷?

Мина не дала мне договорить; ее преданность Джеймсу этого не позволила. У нее, как у Кэтрин Слоупер, было чистое сердце; несмотря на свой блестящий ум, она порой восприни-

⁸⁶ Ян Уотт (1917–1999) – английский и американский историк литературы; его труд «Подъем романа» написан в 1957 году.

⁸⁷ Словарь, составленный в противовес Вебстеровскому, который критиковали за вульгаризацию языка. В свое время словарь «Webster's Third New International Dictionary of the English Language» был порицаем лингвистами за чрезмерную «фривольность» по отношению к английскому языку, в том числе отказ от традиционного написания некоторых слов и терминов с заглавной буквы, удаления слов, которые не используются в повседневности более двухсот лет, но основной претензией критиков был описательный характер словаря, который не предписывал правила использования языка и задавал стандарт, а исключительно описывал лексику.

мала все буквально. С явным негодованием она произнесла: а как еще, как не использованием столь громких слов, мог он создать иллюзию жизни? Не думаешь ли ты исключить его из программы?

Она спрашивала меня об этом уже давно и время от времени начинала вновь об этом тревожиться. Нет, конечно, не думаю, ответила я. Как можно исключить из программы писателя, который, описывая красивую женщину, называет ее не ослепительной или сияющей, а «незамутненной мисс Б»? Мне бы так уметь. Но детей моих пожалей – вспомни, большинство из них вскормлены «Жемчужиной» Стейнбека.

Я рассказала, как однажды на занятии попросила выбрать любимый и нелюбимый отрывок из Джеймса и как все веселились, выполняя это задание. Махшид привела фразу про «осажденные птицами деревья», а Нассрин прочла отрывок из «Послов» с описанием обеда у воды: «...и то, как мадам де Вионе, сидевшая напротив над ослепительной белой скатертью, омлетом *aux tomates* и бутылкой золотистого шабли, поблагодарила его за все, улыбнувшись невинно, почти как дитя, а ее серые глаза на протяжении всего их разговора то останавливались на нем, то устремлялись в пространство, обдуваемое теплым весенним ветерком, в котором уже пульсировало начало лета, а потом снова возвращались к его лицу и их человеческим вопросам».

Эти беседы с Миной, в которых мы совсем не обсуждали текущие проблемы, служили для нас обеих огромным источником удовлетворения. Лишь теперь, пытаясь собрать картину тех дней из кусочков, я понимаю, как мало мы говорили – и говорили ли вообще – о личной жизни, о любви и браке, о том, каково это – иметь детей или быть бездетной. Казалось, что помимо литературы, есть только одна тема для разговора – политика; политика поглотила нас, уничтожив все личное и тайное.

31

Одна из последних ракет, упавших перед прекращением огня, попала в дом в переулке, где жили двое наших друзей – супружеская пара с младшей дочерью. У них было свое издательство и книжный магазин недалеко от нашего дома; там собирались иранские писатели и интеллектуалы, и споры порой длились до позднего вечера. Накануне несколько моих друзей, в том числе Лале, остались у нас и смотрели кино почти до рассвета. Наутро в уютной суматохе, что неизменно следует за неожиданными ночными гостями, мы соорудили завтрак из хлеба, свежих сливок, домашнего варенья и кофе. Я была на кухне, когда дом содрогнулся. Бомба упала рядом. Скоро мы узнали, насколько рядом.

После бомбежки люди бросились к пострадавшему дому, а десятки его жителей, в основном женщины и дети, обливаясь кровью и крича, плача и изрыгая проклятия, бежали в противоположную сторону. Когда прибыли Стражи Революции и машины скорой помощи, крики стали громче. Стражи осторожно принялись осматривать район. Во дворе дома, куда упала ракета, лежали без сознания двое детей. Стражи вытащили из-под завалов два женских тела; одна погибшая была совсем молода, в ярком домашнем платье. Вторая – средних лет, толстая; юбка прилипла к ее ногам.

Следующим вечером мы пошли утешить друзей. Падal ласковый дождь, воздух пропитался запахом свежей земли и весенних цветов. У полуразрушенных домов собралась небольшая толпа. Наша подруга провела нас внутрь и с неизменной любезностью подала ароматный чай и маленькие вкусные пирожные. На кухне стояли огромные вазы сирени.

Окна были разбиты. Разлетевшиеся осколки стекла порезали ценные хозяйские картины; всю предыдущую ночь наши друзья провели, собирая стекла по всей квартире. Подруга с улыбкой пригласила нас на крышу. За нами высились мои любимые горы, а впереди дымились руины трех разрушенных домов. В том, что пострадал меньше всего, на бывшем втором этаже мужчина и женщина рыскали в обломках, видимо, пытаясь найти какие-то вещи. Дом в середине превратился в груду камней.

32

Война закончилась так же, как началась – неожиданно и незаметно. По крайней мере, так казалось нам. Однако ее последствия остались с нами надолго, а может, и навсегда. Поначалу мы ощутили растерянность, не знали, как вернуться к той жизни, которую до войны считали «обычной». Исламский режим неохотно заключил перемирие, оказавшись не в состоянии отразить иракские атаки. Мы постоянно терпели поражения, и многие в народном ополчении и в рядах Стражей Революции отчаялись и утратили иллюзии. Настроения среди приверженцев режима царили упаднические. Аятолла Хомейни объявил, что, заключив мир, он «испил из чаши с ядом». В университетах все придерживались такого же мнения, особенно народные ополченцы, ветераны войны и их товарищи: для них мир означал поражение.

Война с внешним врагом закончилась, но до окончания войны с внутренним врагом было еще далеко. Вскоре после подписания мирного соглашения аятолла Хомейни учредил в иранских тюрьмах комитеты из трех человек; их целью было определить верность политзаключенных режиму. Тогда массово и тайно казнили несколько тысяч человек, в том числе тех, кто ждал в тюрьме суда или уже отбыл положенный срок и ждал освобождения со дня на день. Жертв массовых казней убивали дважды: сперва казнили, затем убивали молчанием и анонимностью; сам факт их смерти не признавался и оказывался бессмысленным; таким образом, перефразируя Ханну Арендт, режим отрицал сам факт их существования.

Когда занятия наконец возобновились, мы начали почти с того самого места, где закончили в прошлый раз. Парты передвинули, кое-кто из студентов таинственно исчез, а место пропавших заняли любопытные новобранцы, но больше не видно было никаких признаков того, что университет не работал больше двух месяцев. Никто не радовался началу занятий; все чувствовали усталость и облегчение.

Так начался период разочарований и утраченных иллюзий. Мы проиграли войну, экономика была разрушена до основания, работать было негде. Те, кто ушел на фронт и не успел получить даже специального образования, полагались на компенсации, которые им обещали как ветеранам войны, но даже их выплачивали нерегулярно. Большинство исламских фондов, созданных во имя мучеников войны, превратились в источники обогащения для своих коррумпированных лидеров. Впоследствии дети революции раскроют глубину этой коррупции и восстанут против нее. Члены исламских ассоциаций вкусили власти и плодов западной цивилизации и использовали эту власть для приобретения привилегий, в которых другим гражданам было отказано.

После войны студенческая ассоциация «Исламский джихад», к которой принадлежал Форсати, стала более открытой и начала напрямую конфликтовать с членами более консервативной Мусульманской студенческой ассоциации. С возобновлением занятий мы с Форсати стали чаще видеться. Он любил кинематограф и хотел основать свою компанию, связанную с видеофильмами и кино. С его помощью я организовала в университете ряд культурных программ. Сам он не отличался изобретательностью, а те немногие творческие способности, что у него были, направлял на неагрессивное самопродвижение и саморазвитие.

Поначалу я решила, что Гоми исчез из моей жизни, растворился, как постепенно затемняющееся изображение в конце старых фильмов. Но он не исчез: он продолжал являться на занятия и подвергать Джеймса и других программных писателей ожесточенной критике. Казалось, его негодование и злоба даже усилились и дегенерировали до по-детски невоздержанных вспышек ярости. Гоми не изменился, но изменились мы. Теперь мы уже не обращали на него внимания; когда он говорил, другие не молчали. Гоми с товарищами не уставали ежедневно напоминать нам, что хотя мы больше не воюем с Саддамом, угроза в лице Запада, империа-

листов, сионистов и их внутренних агентов никуда не исчезла. Но большинству из нас это так надоело, что мы даже не трудились отвечать.

В предпоследнем ряду у окна, где сидели Гоми и Нахви, появился новый молчаливый юноша – учитель начальных классов. Назовем его Дори и двинемся дальше. Мой взгляд скользит по лицам Форсати и Хамида, потом на другую половину класса, где сидят девочки – Махшид, Нассрин и Саназ. В среднем ряду за партой ближе к проходу сидит Манна. Я на миг задерживаю взгляд на ее смеющемся лице и смотрю на парту напротив, через проход – там должен сидеть Нима.

Перемещая взгляд между Манной и Нимой, я вспоминаю, когда впервые увидела их у себя на занятии. Их глаза одинаково сияли; они напомнили мне моих собственных детей, когда те секретничали, чтобы преподнести мне приятный сюрприз. В то время мои лекции начали посещать заинтересованные молодые люди со стороны: бывшие студенты, продолжавшие ходить на занятия после окончания университета; студенты других вузов, молодые писатели и просто какие-то люди. Им больше негде было обсудить английскую литературу, и они посещали занятия просто так, не ради оценок и диплома. Я разрешала им ходить на занятия при одном условии: они должны были уважать права студентов текущего потока и не участвовать в обсуждении в ходе занятия. Однажды утром я встретила Манну и Ниму у своего кабинета; те улыбались и спрашивали разрешения посетить мой семинар по истории романа. Я согласилась без лишних колебаний.

Постепенно настоящими героями моего курса стали не мои «официальные» студенты, хотя у меня не было к ним серьезных претензий, а эти ребята со стороны, приходившие на лекции из-за любви к книгам, которые мы читали.

Нима попросил меня стать научным консультантом его диссертации, так как на кафедре зарубежной литературы в Тегеранском университете никто не разбирался в Генри Джеймсе. Я поклялась никогда больше не переступать порог Тегеранского университета – слишком много горьких и болезненных воспоминаний было связано у меня с этим местом. Нима стал меня уговаривать, применял разные ухищрения и в конце концов убедил согласиться. После занятия мы втроем обычно вместе шли домой. Манна по большей части молчала, а Нима рассказывал байки обо всяких абсурдных ситуациях, с которыми мы сталкивались каждый день в Исламской Республике.

Обычно он шел со мной в ногу, а Манна шагала чуть медленнее с другой стороны. Он был высокого роста, хорош собой, но внешность у него была еще мальчишеская; пухлый, но не толстый, просто как будто не избавился еще от детского жирка. Глаза искрились добротой и лукавством. Голос у него был удивительно мягкий, не женский, но бархатный и тихий; я не могла представить, как он говорит на повышенных тонах.

Мы стали рассказывать друг другу истории из жизни; без этих историй трудно представить наши отношения. Когда я слушала их истории и заново проживала свои, мне казалось, что мы становились сказочными героями; в этих сказках все добрые феи устроили забастовку, мы остались одни в дремучем лесу, и пряничный домик злой ведьмы стоял где-то неподалеку. Иногда мы что-то рассказывали друг другу, чтобы убедиться, что все это было на самом деле. Лишь когда мы делились, истории становились правдой.

В лекции, посвященной «Мадам Бовари», Набоков говорил, что все великие романы – на самом деле великие сказки. Нима спросил: неужели вы утверждаете, что наши реальные жизни и воображаемые – не что иное, как сказка? Я улыбнулась. Поистине, порой мне казалось, что наши жизни больше похожи на вымысел, чем собственно вымысел.

33

Меньше чем через год после мирного соглашения, третьего июня 1989 года умер аятолла Рухолла Хомейни. О его смерти официально объявили лишь на следующее утро в семь часов, хотя многие иранцы – большинство – к тому времени уже знали или, по крайней мере, подозревали, и у дома аятоллы на окраине Тегерана в ожидании известий собралась многотысячная толпа. Правительство подстраховалось и перед объявлением закрыло все аэропорты и границы, отключило международную телефонную связь.

Я хорошо помню утро, когда мы услышали о смерти Хомейни. Вся наша семья собралась в гостиной, чувствуя глухое потрясение и растерянность, что всегда приносит с собой смерть. И то была не рядовая смерть. Объявляя о ней по радио, ведущий сорвался и зарыдал. С того момента все общественные деятели считали своим долгом рыдать во время публичной траурной церемонии или на интервью; рыдания казались обязательным требованием, словно никак иначе выразить глубину нашего горя мы не могли.

Сидя в гостиной, где витали привычные запахи кофе и чая, и обсуждая эту смерть, мы ощущали единство и близость. Этой смерти хотели многие; многие ее боялись и многие ждали, и теперь, когда она наступила, друзья и враги Хомейни испытали странное разочарование. Первый сердечный приступ с последующей госпитализацией случился у Хомейни еще в начале восьмидесятых, и с тех пор слухи о его ухудшающемся здоровье росли, как сорняки, но их каждый раз вырывали с корнем. Теперь же свершившееся событие казалось уже не таким эпикальным, каким его видели тревожно предрекавшие его сторонники и противники аятоллы. Пышные траурные церемонии прокатились по всей стране, но и они не могли скрыть всеобщего разочарования.

Смерть Хомейни собрала в нашей гостиной странную компанию. Пришел отец – они с матерью уже несколько лет жили отдельно, но так вышло, что именно в это время он временно проживал в пустующей квартире моего брата. Пришла бывшая свекровь моего брата, которая тоже жила в той квартире. Они с моей матерью плохо ладили и не разговаривали уже несколько дней. Но в тот день, поскольку случай был исключительный, решили установить временное перемирие.

У меня на коленях сидел мой сын, раскинув руки и ноги в характерной для малышей позе. Его радость от сидения у меня на коленях передалась и мне; я машинально гладила его тонкие, все еще кудрявые волосики и иногда касалась его мягкой кожи. Пока мы, взрослые, разговаривали и рассуждали, моя пятилетняя дочь внимательно смотрела в окно. Вдруг она повернулась и крикнула: «Мама, мама, он не умер! Женщины все еще в платках». С тех пор смерть Хомейни в моем сознании неразрывно связана с этим простым высказыванием Не-гар, ведь она была права: день, когда женщины перестанут носить платки на улице, будет днем, когда он умрет по-настоящему, и концом его революции. До тех пор нам придется с ним жить.

Правительство объявило пятидневный общенациональный траур и сорок дней официального траура. Отменили занятия, опять закрыли университеты. Но я не знала, куда себя деть, сидя в гостиной и предаваясь навязчивым мыслям, поэтому решила все равно пойти в университет. Все плыло перед глазами, как мираж в сильную жару. Весь день я была как в тумане, все эти траурные дни, когда мы почти все время проводили перед телевизором и смотрели похороны и бесконечные церемонии.

В здании университета почти никого не оказалось. Глубокая тишина заглушала траурные пения и марши из динамиков. Я поднялась в свой кабинет и взяла несколько книг; а выйдя в коридор, встретила Форсати и его друга с факультета персидского языка. Вид у них был мрачный; глаза блестели от слез. Я взглянула на них с неловким сочувствием, не зная, какие

слова будут уместны в данном случае. В руках они держали листовки с портретом Хомейни и собирались наклеить их на стены. Я взяла две листовки и ушла.

Вскоре опубликовали книгу Хомейни с суфийской поэзией; стихи он посвятил своей невестке. После смерти возникла потребность очеловечить его, хотя всю жизнь он этому противился. И оказалось, что в нем действительно было человеческое, хотя мы редко видели эту его сторону; он с глубоким почтением относился к своей красивой юной невестке и записал свои последние стихи в подаренной ей тетради. В предисловии к этим стихам он рассказал, как проводил с ней время за беседами, учил ее философии и мистицизму, и как она подарила ему тетрадь, где он и записал свои сочинения. По слухам, у нее были длинные золотистые волосы; я представила, как они со стариком гуляют по саду вокруг цветочных клумб и кустов и беседуют о философии. Носила ли она платок в его присутствии? Опирался ли он на ее руку, когда они ходили кругами вокруг клумб? Я купила тоненький томик стихов и взяла его с собой в Америку с теми листовками; то были артефакты времени, когда реальность казалась столь призрачной, что без материальных свидетельств мне трудно убедить себя в ее ускользающем существовании.

Я плохо запоминаю даты и цифры – дату смерти Хомейни мне пришлось проверить – но чувства и образы откладываются в моей памяти надолго. Как навязчивые повторяющиеся сны, образы тех дней в моей памяти смешиваются со звуками; я помню все точь-в-точь как было на самом деле, слышу высокий надрывный голос ведущего – он всегда был на грани рыданий; похоронные марши, молитвы, выступления высокопоставленных чиновников и пение скорбящих. Последнее заглушает все звуки: «Сегодня день траура! Хомейни, ниспровергатель идолов, теперь с Богом».

В понедельник на рассвете тело аятоллы Хомейни перенесли из его резиденции в Джама-ране на обширную пустошь в предгорьях к северу от столицы, в место под названием Мосалла, где проводились пятничные молитвы. Тело водрузили на временное возвышение из ящиков. Хомейни лежал в кондиционированном стеклянном гробу в белом саване со стопами, обращенными в сторону Мекки. На его груди покоился черный тюрбан – свидетельство религиозного статуса имама, прямого наследника пророка Мухаммеда.

События того безумного дня вспоминаются урывками. Я хорошо помню стеклянный гроб и разложенные вокруг него цветы – вульгарные яркие гладиолусы. Помню толпы скорбящих – сообщали о сотнях тысяч людей, которые начали стекаться в Тегеран; целая армия в черном, размахивающая черными флагами; мужчины рвали на груди рубашки, женщины в черных чадрах выли и причитали, извиваясь в горестном экстазе.

Теперь я помню и шланги: из-за жары и огромного скопления людей пожарные принесли шланги, нацелили их на людей и время от времени поливали водой, чтобы охладить, но результат был странный – все происходящее казалось какой-то оргией. Воссоздавая картину того дня в памяти, я слышу шум воды и вижу ее потоки на фоне неба. Иногда люди падали в обморок, и несмотря на хаос, с потрясающей организованностью, точно все это было отрепетировано, другие скорбящие поднимали упавшего над головами и передавали по рядам, пока тот не оказывался в безопасном месте.

Когда я услышала, что в тот день многие умерли и десятки тысяч получили ранения, у меня возник глупый вопрос: а каким статусом будут наделены эти погибшие? Мы в Иране привыкли наделять людей статусом и местом в смерти, а не в жизни. Противники режима и бахаисты не имели статуса; их бросали в общую могилу, им нельзя было даже поставить надгробие. Мученикам войны и революции отводилось отдельное место на кладбище; место захоронения помечали искусственными цветами и фотографией. Можно ли счесть погибших в толпе мучениками? Достанется ли им место в раю?

Правительство выделило скорбящим огромный запас продовольствия и воды. Среди лихорадочного битья себя в грудь, обмороков и пения толпы скорбящих сидели на обочинах,

ели бутерброды и пили газировку, словно пришли на пикник. На похороны пришли и те, кто при жизни Хомейни питал к нему активную неприязнь. Недовольство режимом на момент смерти Хомейни было таким высоким, что власти сперва хотели похоронить его ночью, чтобы скрыть, как мало человек пришло на похороны. Но похороны собрали миллионы; люди съезжались со всей страны. Помню, я говорила с одним сотрудником университета, мужчиной средних лет; он жил в бедном традиционном квартале Тегерана. Он рассказывал о целых автобусах, набитых соседями, которые были разочарованы Хомейни и революцией и тем не менее поехали на похороны, как и он сам. Я спросила, зачем он поехал. Его заставили? Нет, он решил, что так будет правильно. Все поехали – что бы люди подумали, если бы он остался дома? Он замолчал и добавил: такое ведь бывает всего раз в жизни.

Когда тело Хомейни понесли по улицам в сторону кладбища на окраине Тегерана, толпа стала так наседать, что организаторы передумали и решили перевезти тело на вертолете. Толпа ринулась к вертолету, и когда тот взлетел, за ним взметнулся шлейф золотой пыли, как задранная ветром юбка. Вертолет улетел, и остались лишь танцующие пылинки; они кружились, как маленькие дервиши в чьем-то странном сне.

На кладбище Бехеште-Захра тело попытались вынести из вертолета, но толпа ринулась вперед и в этот раз завладела своим трофеем. С тела покойника срывали куски белого савана; из-под полотна высунулась нога. Наконец тело отняли у толпы и отвезли на вертолете в Тегеран, где спешно обрядили в новый саван. Через несколько часов его вернули уже в металлическом гробу, в этот раз в сопровождении Стражей Революции и приближенных Хомейни, которые оттесняли толпу. Подруга вспоминает, как видела Али Акбара Натека-Нури – потом он проиграет президентские выборы, и выберут Хатами; он стоял у гроба с хлыстом и стегал всех, кто пытался приблизиться к телу. Так наконец похоронили Рухоллу Хомейни, чье имя означало «душа Бога».

Стремясь превратить Хомейни в священную фигуру, правительство пыталось построить ему мавзолей рядом с кладбищем Бехеште-Захра. Построенный в спешке, он был безвкусным и некрасивым: страна, прославившаяся самыми красивыми в мире мечетями, соорудила самый уродливый в мире мавзолей своему последнему имаму. Монумент воздвигли недалеко от места захоронения мучеников революции: там небольшой фонтан изрыгал струи красной воды, символизируя вечно льющуюся кровь мучеников.

Смерть Хомейни принесла с собой много осознаний. Кто-то – я, например, – почувствовал себя чужаком в своей родной стране. Другие – таксист, с которым я разговорила через несколько недель после похорон, – разочаровались во всей этой «религиозной афере», как он выразился. Теперь я знаю, как тысяча четыреста лет назад создали имамов и пророков – так же, как создали этого. Значит, все ложь.

В начале революции ходил слух, что лицо Хомейни можно увидеть на Луне. Даже многие современные и образованные люди в это верили. Утверждали, что своими глазами видели Хомейни на Луне. Хомейни был сознательным мифотворцем и сам себя превратил в миф. И оплакивая его вполне своевременную кончину – ведь после поражения в войне и всеобщего разочарования ему оставалось только умереть – люди на самом деле оплакивали мечту. Как все великие мифотворцы, Хомейни попытался построить реальность на основе своей мечты, и в конце концов, как Гумберт, уничтожил и реальность, и мечту. Вдобавок к преступлениям, убийствам и пыткам нам предстояло последнее унижение – уничтожение нашей мечты. Впрочем, аятолла убил ее с нашего полного согласия; мы ничуть ему не противились и сами стали соучастниками.

34

Я забрела в антикварную лавку в центре Тегерана, где темно и пахнет плесенью. Я свернула в переулок старьевщиков в поиске старой книги в подарок Ниме; недавно он принес мне редкие записи древнего телесериала, популярного до революции. Хозяин лавки, сидевший за прилавком, был так увлечен утренней газетой, что даже не взглянул в мою сторону.

Оглядываясь по сторонам в тускло освещенной комнате и растерявшись от количества предметов, в беспорядке громоздящихся на старых деревянных столах и полках, я заметила странные ножницы. Сделаны очень красиво, в форме петуха; явно ручная работа, одна ручка намного больше другой⁸⁸. Я спросила у хозяина, для чего они. Тот пожал плечами. Не знаю; возможно, для усов или бороды. Скорее всего, вещь европейская, а может, из России.

Не знаю, чем мне так приглянулись эти ножницы, но я почему-то сочла поразительным, что сто лет назад эти ножницы для усов или чего-то другого привезли из самой Европы, и вот они оказались здесь, на старом столике в самом дальнем углу этой пыльной антикварной лавки. А сколько труда вложено в этот довольно бесполезный предмет! Я решила купить эти ножницы своему волшебнику. У меня была теория, что иногда подарки следует покупать просто так, именно потому, что они бесполезны. Я знала, что он оценит подарок и будет рад получить ненужную вещь, предмет роскоши, впрочем, ничего роскошного собой не представляющий. И вместо книги для Нимы я купила ножницы с петухом для своего волшебника.

Когда я вручила их ему с объяснениями, он варил кофе и, кажется, был так поглощен этим занятием, что ничего не ответил. Он отнес поднос с двумя чашками и коробкой шоколадных конфет к столу и пошел в свою библиотеку. А через несколько секунд вернулся и принес книгу в кожаном переплете благородного зеленого цвета с золотым тиснением. «*Послы*». Поскольку ты должна была купить подарок Ниме, а купила мне, позволь мне подарить ему эту книгу; пусть перечитает сцену в саду Глориани. Твой Нима, судя по описанию, забывчив, как я сам; так попроси его перечитать этот отрывок.

В книге волшебник пометил два параграфа. Один в предисловии – Джеймс пишет, что знаменитая и часто цитируемая сцена в саду является «ядром» его романа; второй – сама сцена. Это случай на приеме, который устраивает знаменитый скульптор Глориани. Ламберт Стрезер, главный герой романа, обращается к юному художнику, Крошке Билхему, которого неофициально назначил своим духовным преемником: «Живите в полную силу; кто живет иначе, ошибается. Неважно, чем вы занимаетесь, лишь бы вы жили своей жизнью. Если этого у вас не было, что было? Я-то в любом случае слишком стар для того, что вижу. Что потеряно, потеряно навек; не заблуждайтесь на этот счет. Но есть у нас иллюзия свободы; так помните же об этой иллюзии каждый день, в отличие от меня, который уже о ней не помнит. Я тоже однажды был слишком глуп или слишком умен, чтобы жить, а теперь вся моя жизнь – реакция на эту ошибку. Ведь я ошибся, сомнений быть не может. Так живите же, живите!»

⁸⁸ Скорее всего, это была гильотина для яиц – очень распространенный в Германии и Австрии столовый прибор, напоминающий ножницы, который обычно делали в форме петуха.

35

*Наша работа во тьме —
Мы делаем, что умеем,
Мы отдаем, что имеем —
Наша работа – во тьме.
Сомнения стали страстью,
А страсть стала судьбой.
Все остальное – искусство
В безумии быть собой.*

ГЕНРИ ДЖЕЙМС

Раннее утро, первая пара; аудитория залита светом. Я подвожу итог по Джеймсу. В прошлый раз мы говорили о некоторых его чертах и о том, как они проявляются в различных персонажах и в разных контекстах; сегодня я хочу поговорить о мужестве, об этом слове, которым мы в нашей культуре так часто бросаемся.

Джеймс описывает несколько видов мужества. Приведете пример? Да, Нассрин? Самый очевидный пример – Дейзи, отвечает Нассрин. Она наклоняется вперед, пытается смахнуть со лба невидимую прядь и продолжает. В начале книги Дейзи велит Уинтерборну не бояться. Она имеет в виду, что не надо бояться условностей и традиций, – это один вид мужества.

Да, одобрительно говорю я. Дейзи – хороший пример, но есть и другие персонажи, те, кого мы никогда не назовем мужественными или храбрыми, потому что привыкли считать, что таким, как они, мужество просто несвойственно; мы думаем о них как о слабых. Тут лицо Махшид вспыхивает, и, не дожидаясь, пока она наберется смелости и поднимет руку, я поворачиваюсь к ней и говорю: да? Взгляд ее тут же гаснет; она колеблется. Отвечай же, Махшид, настаиваю я. Когда вы сказали про «слабых», я сразу подумала о Кэтрин. Она робкая, замкнутая и совсем не похожа на Дейзи, но дает отпор другим героям романа, которые гораздо лучше нее приспособлены к обществу; она дает им отпор, но какой ценой. Это другой тип мужества, не такой, как у Дейзи; но все же Кэтрин тоже можно назвать храброй. Я...

В этот момент в коридоре раздался шум. Я не обратила внимания; за годы я стала воспринимать посторонние шумы как часть занятия. Однажды во время лекции в класс зашли два уборщика, принесли два стула и поставили их в углу. Вышли без лишних слов и через несколько минут принесли еще два стула. Был еще случай, когда уборщик с кривой шеей вошел с метлой и начал подметать, а я просто продолжала лекцию о «Томе Джонсе» и притворялась, что его не замечаю.

Вот и сейчас я продолжала как ни в чем ни бывало – в «Послах», объяснила я, мы видим несколько типов мужества, но самые мужественные герои в этом романе наделены воображением и именно благодаря этому свойству способны испытывать эмпатию к окружающим. В отсутствие этого типа мужества герой не замечает чувств и потребностей других героев.

Мария, подруга Стрезера, с которой тот знакомится в Париже, обладает мужеством, в то время как миссис Ньюсем способна лишь «злорадствовать». Мужество проявляет мадам де Вионе, красивая парижанка, которую миссис Ньюсем хочет изгнать из жизни своего сына; она рискует всеми постоянными величинами своей жизни ради неизвестной величины – любви к Чэду. Но миссис Ньюсем решает не рисковать. Вообразив себе, какими должны быть люди, и мысленно определив их функцию и роль, она отказывается менять свою формулу. Она – такой же тиран, как бездарные писатели, что создают героев в соответствии со своей идеологией

и желаниями и не дают им возможность быть собой. Чтобы умереть за благое дело, нужно мужество, но мужество необходимо, и чтобы жить.

По беспокойному ерзанию студентов и тому, как они поглядывали на дверь, я поняла, что они не могут сосредоточиться на моем интригующем умозаключении, но все же решила вести лекцию до победного, несмотря на шум. Самый авторитарный персонаж этого романа – миссис Ньюсем, которая на всем его протяжении остается невидимой. Анализ этой героини позволяет понять суть диктаторского сознания. Нима, не мог бы ты прочесть отрывок, в котором Стрезер описывает миссис Ньюсем, начиная со слов «вот почему с ней так сложно...»

«Вот почему с ней так сложно, – прочел Нима, – она не терпит неожиданностей. Мне кажется, это описывает и характеризует ее наилучшим образом... она вся, как говорится, тонкий холодный разум. Ей кажется, что она все проработала заранее, продумала все для меня и для себя. И, видите ли, там, где у нее все продумано, не остается места для чего-то другого; никакого запаса для изменений. У нее все забито доверху, все плотно утрамбовано, и на этом она держится... я к ней не прикасаюсь. Она не разрешает к ней прикасаться. Теперь я понимаю, что действительно никогда не касался ее; она держится особняком в своем совершенстве... и кажется неправильным вносить любые изменения в эту композицию».

Шум в коридоре усилился. Люди бежали и кричали. Рухи и Хатеф не скрывали своего волнения и громко перешептывались, бросая на дверь многозначительные взгляды. Я попросила их выйти и посмотреть, в чем дело, а сама между тем попыталась продолжить.

«Вернемся к нашей цитате...» В этот момент меня прервала Рухи и ее запыхавшаяся подруга; они стояли на пороге и явно не собирались заходить. Они доложили, что студент поджег себя в пустом кабинете и начал бегать по коридору, выкрикивая революционные лозунги.

Мы бросились к выходу. По длинному коридору в два ряда бежали студенты, двигаясь в сторону лестницы. Я нашла местечко у лестницы рядом с коллегой. Трое несли носилки, пытаясь протиснуться к лестнице сквозь толпу. Они несли их так, будто их ноша была очень легкой. На носилках под белой простыней розовело лицо, испещренное темно-серыми пятнами. Черные негритянские руки недвижно застыли над белой простыней, словно боясь ее запачкать. Два выпученных черных глаза, казалось, крепились к лицу невидимыми пружинками. Они недвижимо уставились в пространство, будто взирая на нечто невообразимо ужасное, и вместе с тем, как ни парадоксально, казалось, двигались, но лишь из стороны в сторону. В то утро я видела много страшных сцен, но из всего увиденного именно эти бегающие глаза вспоминаются чаще всего.

Голос из динамиков призвал всех возвращаться в классы. Никто не шелохнулся. Все смотрели на розовое лицо, негритянские руки и закоптелые глаза. Носилки спускали вниз по вихляющей спиральной траектории. Когда они приближались, шепот затихал; стоило им удалиться, усиливался. И хотя все разворачивалось на наших глазах, эта сцена казалась сном и даже, пожалуй, воспоминанием об увиденном сне.

Наконец носильщики завершили спуск и скрылись из виду; шепот стал отчетливее и громче. Странное существо на носилках – почти что-то из волшебной сказки – постепенно обрастало телесностью, историей, приобретало имя и личность. Впрочем, личность его оказалась безличной. Он был одним из наиболее активных членов Мусульманской студенческой ассоциации. Под «активным» подразумевалось «фанатичный». Он принадлежал к группе, которая развешивала на стенах плакаты и лозунги, к тем, кто составлял списки с именами нарушивших дресс-код, что вывешивали у входа в университет.

Я подумала, каково ему там сейчас, на носилках; каково спускаться по лестнице мимо теперь уже бессмысленных военных хроник и аятоллы Хомейни, который даже после смерти взирал на процессию суровым непроницаемым взглядом и раздавал ценные указания по поводу войны: «Убьем ли мы или убьют нас – неважно; победа будет за нами! Мы будем сражаться и умрем, но не пойдем на компромисс!»

Сколько таких ребят училось в наших университетах; ребят, кого революция застала совсем юными? Многие приехали из провинций и были родом из традиционных семей. Каждый год в университет принимали все больше «преданных революции»; другие критерии не имели значения. Это были дети и родственники Стражей Революции или мученики революции; так называемая «государственная квота». Дети революции, которые должны были нести ее наследие в массы и в конце концов заменить собой рабочую силу, насквозь пропитанную западным влиянием. Революция много значила для них и много им дала: главным образом власть и возможности. Но они же были и узурпаторами, ведь их приняли в университет и наделили властью не за заслуги или труд, а за идеологическую принадлежность. Об этом не могли забыть ни они, ни мы.

Я спустилась по лестнице – на этот раз медленно, в толпе взволнованно перешептывающихся студентов. Личность пострадавшего уже стала поводом для воспоминаний и легенд. Мои студентки горячо обсуждали унижения, которые им приходилось терпеть от рук членов его организации. Припомнили другого парня из Мусульманской студенческой организации, того самого, что погиб во время войны и жаловался, что его сексуально провоцировала полоска белой кожи, которую он разглядел под платком. Даже смерть не стерла воспоминание об этой полоске и наказании, которому подверглась девушка с полоской.

В открытую об этих унижениях не говорил никто; мы утешались такими вот случайными поводами высказать свое негодование и ненависть, такими вот маленькими историями, эффект которых выветривался сразу, стоило лишь их рассказать. О пострадавшем студенте было известно очень мало, и, похоже, всем было на него плевать. Лишь много лет спустя я поняла, что хотя помнила истории о нем и его товарищей с точностью до последней детали, его имя из памяти стерлось начисто. Он стал революционером, мучеником и ветераном войны, но так и не стал индивидуальностью. Интересно, он когда-нибудь влюблялся? Хотел ли обнять одну из этих девушек, чьи горла под черными платками сверкали ослепительной белизной?

Как многие другие в нашем университете, я ходила по этим лестницам и коридорам, пылая от негодования. Негодование стерло всю двусмысленность в отношениях с людьми, ему подобными; мир поделился на «мы» и «они». В тот день, когда мы пересказывали друг другу истории и случаи из жизни и, как заговорщики, радовались свержению более могущественного противника, ни мне, ни кому-либо из моих студентов и коллег не пришло в голову задуматься, почему именно он, на первый взгляд обладавший такой властью, обладал также сильнейшей тягой к саморазрушению. Быть может, совершив над собой акт саможжения, он тем самым отнял у нас право на месть?

В жизни он был для меня никем, но после смерти превратился в навязчивую идею. О его личной жизни мы смогли выяснить лишь одно: он происходил из очень бедной семьи, и у него была единственная близкая родственница – мать, которую он содержал. Он пошел на войну добровольцем, был контужен и выслан домой прежде срока. Видимо, от контузии он так и не оправился. После «перемирия» с Ираком вернулся в университет. Но мир принес лишь разочарование. Утих военный раж, и с окончанием войны многие молодые революционеры лишились власти.

«Эта война – благословение для нас всех!» Но все мы так до конца и не прониклись ощущением причастности к этой войне. Однако для людей вроде него война, как ни парадоксально, действительно была благословением. Благодаря войне у этих людей появилось чувство принадлежности, цель и влияние. Вернувшись с фронта, он всего этого лишился. Теперь его привилегии и власть ничего для него не значили; товарищи по Мусульманской ассоциации занялись другими делами. О чем он думал, глядя, как его бывшие соратники с интересом смотрят не военные хроники, а церемонию вручения «Оскаров» через запрещенные спутниковые тарелки? С нами он еще мог смириться, но каково ему было жить с такими, как Форсати,

бывшими единомышленниками, которые теперь стали для него чужими и вызывали такое же недоумение, как персонажи Генри Джеймса?

Я представляла, как он приходит в университет пораньше с двумя канистрами бензина; вероятно, его даже обыскивать не стали как уважаемого ветерана войны. Вот он заходит в пустой класс и льет бензин себе на голову. Чиркает спичкой и медленно поджигает себя – удалось ли ему сделать это с первого раза или понадобилось приложить спичку в нескольких местах? Вот он выбегает в коридор, врывается в свой класс и кричит: «Нас предали! Нам солгали! Взгляните, что они с нами сделали!» Это были его последние слова.

Я не соглашалась с ним и не одобряла его действий, но хорошо его понимала. Он вернулся с войны и пошел в университет, где никогда не чувствовал себя на своем месте. Никто не хотел слушать его рассказы о войне. Люди заинтересовались лишь его смертью. Парадоксально, что этот человек, чья жизнь была predetermined доктриной, не терпящей двусмысленностей, после смерти стал такой сложной фигурой.

Вечером он умер. Скорбели ли по нему товарищи? О нем никто ничего не говорил – не было ни поминок, ни цветов, ни речей, хотя в нашей стране похороны и поминки являлись своего рода национальным искусством и всегда проводились с помпой. И я, всегда гордившаяся тем, что не боюсь высказываться против чадры и прочих видов угнетения, тоже помалкивала. Кроме шепотков, на следующий день в университете вообще не было ничего необычного – разве что по громкоговорителям зачем-то объявляли, что занятия проводятся как обычно. Я провела занятие. Оно не прошло как обычно.

Часть IV Остин

1

– «Все знают, что молодой мусульманин, независимо от того, располагает ли он средствами, должен подыскивать себе в жены девятилетнюю девственницу»⁸⁹, – заявила Ясси своим фирменным тоном, бесстрастным и немного ироничным, который в редких случаях – а сейчас был как раз такой случай – граничил с карикатурной издевкой.

– А может, «все знают, что молодой мусульманин должен подыскивать себе не одну, а сразу много жен»? – парировала Манна и заговорщически взглянула на меня, зная, что я отреагирую; ее черные глаза насмешливо искрились. В отличие от Махшид, Манна умела разговаривать без слов и взаимодействовала так с теми немногими, кто ей нравился. Она общалась взглядом: направляла его на собеседника или смотрела мимо. Мы выработали тайный язык, и лишь когда она обижалась – а обидеть ее было легко – она опускала взгляд, отводила его в сторону, а игривые интонации из ее голоса улетучивались.

Стояло холодное и серое декабрьское утро; затянутое облаками небо и холодок в воздухе предвещали снег. Я попросила Биджана зажечь камин перед уходом на работу, и теперь тот уютно потрескивал. *Уют* – Ясси считала это слово банальным, но сейчас оно лучше всего характеризовало наши чувства. В комнате присутствовали все необходимые компоненты уюта: запотевшие окна, чашки с дымящимся кофе, потрескивающий огонь, нежные профитролы, толстые шерстяные свитеры и смесь запахов дыма, кофе и апельсинов. Ясси растянулась на диване на своем обычном месте между Манной и Азин, заставив меня в который раз недоумевать, как такая хрупкая девушка может занимать столько места. Азин смеялась кокетливо и звонко, и даже Махшид смутно нам улыбалась. Нассрин подвинула стул поближе к камину; ее беспокойные руки бросали в огонь апельсиновые корки.

Мы мгновенно переходили от легкой болтовни к серьезным обсуждениям литературы, что свидетельствовало о том, как мы сблизились за эти месяцы. Разговоры о писателях – особенно об Остин – приносили истинную радость. Иногда мы бесились как дети, дразнили друг друга и в целом получали подлинное удовольствие от этих занятий. Ведь именно этого желала своим читателям Остин – любой, кто читал первую же фразу «Гордости и предубеждения», прекрасно это понимал.

Тем утром мы ждали Саназ. Митра улыбнулась, отчего на щеках ее заиграли ямочки, и сообщила, что Саназ просила ее подождать – у нее для нас был сюрприз. Мы бросились выдвигать самые безумные версии, но на все наши предположения Митра отвечала сдержанной улыбкой.

– Одно из двух, – сказала Азин, – или она снова поссорилась с братцем, или все-таки решила съехать из дома и переселиться к своей чудесной тетушке. – Она вытянула руку, звякнув золотыми и серебряными браслетами. – А может, она наконец выходит за своего жениха.

– Скорее третье, – бросила Ясси, чуть приосанившись. – Судя по выражению лица Митры, именно третье.

Ямочки на щеках у Митры углубились, но на нашу провокацию она не поддавалась. Глядя на нее, я подумала об их с Хамидом недавнем бракосочетании; видимо, он ухаживал за ней

⁸⁹ Отсылка к знаменитой первой строчке «Гордости и предубеждения»: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».

прямо у меня перед носом, а я ничего не замечала. Меня пригласили на свадьбу, но до этого Митра никогда не упоминала о своих отношениях с Хамидом.

– Вы влюблены? – обеспокоенно спросила я Митру. Вмешалась Манна:

– Опять вы спрашиваете! – Мои друзья и коллеги уже подшучивали надо мной: мол, я не могу удержаться и всегда задаю супружеским парам один и тот же вопрос. «Вы влюблены?» – спрашивала я горячо и настойчиво, и в ответ почти всегда получала снисходительную улыбку.

Митра покраснела и ответила:

– Да, да, конечно.

– Да кто в наши дни думает о любви? – с притворным благочестием произнесла Азин. Она собрала волосы в хвост, повернула голову, и в ушах вздрогнули гроздя крошечных бирюзовых бусин. – Благодаря Исламской Республике мы перенеслись во времена Джейн Остин. Да здравствует брак по расчету! В наши дни девушки выходят замуж, потому что родители заставили, или ради грин-карты, или ради денег и секса – да по любым причинам, но редко по любви.

Я посмотрела на Махшид; та сидела тихо, но всем своим видом говорила: *ну вот, опять*.

– И я говорю об образованных девушках, – продолжала Азин, потянувшись за чашкой, – о девушках вроде нас, которые учились в колледжах и вроде бы должны иметь какие-то амбиции.

– Не все женщины выходят замуж, – тихо произнесла Махшид, не глядя на Азин. – У нас много независимых женщин. Посмотри, сколько у нас предпринимательниц. А есть женщины, которые просто предпочитают жить одни.

Да, ты одна из них, подумала я; прилежная работающая девушка, которая в тридцать два года по-прежнему живет с родителями.

– Но у большинства просто нет выбора, – заметила Манна. – И от времен Джейн Остин мы безнадежно отстали. – Это был один из тех редких случаев на моей памяти, когда Манна и Азин объединились против Махшид. – Вот моя мать могла выбирать, за кого ей выйти замуж. У меня уже выбор был поменьше, а у моей младшей сестры – еще меньше, – мрачно заключила она.

– А как же временные браки? – сказала Нассрин, раскладывая на тарелке апельсиновые корки, как кусочки головоломки. – Ты, кажется, забыла современную альтернативу, предложенную нашим президентом. – Она имела в виду мусульманский закон, существовавший только в Иране: согласно ему, мужчина мог иметь четырех официальных жен и сколько угодно «временных» супругов. Логика за этим была такая: мужчина должен удовлетворять свои потребности, если жены нет рядом или она не в состоянии его удовлетворить. В такой «брак» мужчинам разрешалось вступать хоть на десять минут, хоть на девяносто девять лет. Президент Рафсаджани, удостоенный звания реформатора, предложил всем молодым людям вступать в подобные временные браки. Это разозлило даже реакционеров, которым казалось, что президент делает хитрый ход с целью завоевать благосклонность молодежи и прогрессивной части населения; последние, впрочем, отнеслись к мотивам президента скептически и сочли закон оскорбительным, особенно по отношению к женщинам. Некоторые даже назвали его освященной формой проституции.

– Я не поддерживаю временные браки, – сказала Махшид. – Но мужчины действительно слабее женщин, и потребность в сексе у них больше. Кроме того, – осторожно добавила она, – это выбор девушки. Никто не заставляет ее вступать во временный брак.

– Выбор девушки? – с неприкрытым отвращением произнесла Нассрин. – Странные у тебя понятия о выборе.

Махшид потупилась и промолчала.

– Некоторые мужчины, даже самые образованные, – с чувством продолжала Нассрин, – считают этот закон прогрессивным. Мне пришлось доказывать другу – мужчине, разумеется, – что закон может считаться прогрессивным, если предоставляет женщинам и мужчинам равные

права. Хотите знать, насколько наши мужчины «современны»? Я имею в виду не глубоко религиозных, нет – вполне себе светских мужчин, – произнесла она и кинула в огонь апельсиновую шкурку. – Спросите их про брак. Сплошное лицемерие!

– Ни мама, ни мои тетки не выходили замуж по любви, – Ясси нахмурила лоб, – но все мои дяди утверждают, что женились по любви. Если задуматься, странно. Какой можно сделать вывод – и какой пример они нам дают? – Минуту подумав, она взбодрилась и добавила: – Полагаю, будь Остин иранкой, она бы написала: «все знают, что молодой мусульманин, независимо от того, располагает ли он средствами, должен подыскивать себе в жены девятилетнюю девственницу». – Так началась наша игра, в которой мы переделывали знаменитую первую фразу из «Гордости и предубеждения» – игра, в которую каждому читателю Остин наверняка хотелось сыграть хотя бы раз.

Веселье прервал звонок в домофон. Махшид сидела ближе всего к двери и вызвалась открыть. Хлопнула дверь подъезда, по лестнице взлетели шаги, последовала пауза. Махшид открыла дверь, и комнату огласили приветствия и смех. Вошла Саназ; она лучисто улыбалась и несла большую коробку с пирожными. Зачем ты принесла пирожные, спросила я? Сегодня не твоя очередь.

– Да, но у меня хорошая новость, – загадочно произнесла она.

– Замуж выходишь? – лениво обронила Ясси из складок мягкого дивана.

– Дай сначала сесть, – ответила Саназ и сняла длинное пальто и шерстяной шарф. Встряхнула головой, перекидывая длинные волосы на одну сторону с легкостью, присущей женщинам с красивыми волосами, и произнесла: – Похоже, снег пойдет.

Извинится ли она за опоздание, подумала я, даже несмотря на то, что у нее уважительная причина и никто ее винить не станет?

– Простите, что опять опоздала, – сказала она с обезоруживающей улыбкой, в которой не было ни капли раскаяния.

– Ты узурпировала мое право, – ответила Азин. – Обычно опаздываю я. Это мой конек.

Саназ хотела подождать с новостями до перерыва; у нас было правило – занятиям не должны мешать личные обсуждения, которые неизбежно смешивались с обсуждениями литературы во время наших встреч по четвергам. Но в этом случае даже я была слишком взбудоражена и ждать не хотела.

– Все случилось очень быстро, – объяснила Саназ, поддавшись нашим уговорам. Ее жених неожиданно позвонил и попросил ее выйти за него – мол, «не может больше ждать». Он уже поговорил со своими родителями, а те поговорили с ее родителями (не сказав ей ни слова, заметила я). Все очень обрадовались, а поскольку ее жених не мог приехать в Иран из-за призыва в армию, он попросил Саназ и ее родных приехать в Турцию. Виза в Турцию иранцам не требовалась, и поездку можно было организовать очень быстро. Саназ была в шоке. Она всегда знала, что рано или поздно это произойдет, но теперь, когда все происходило на самом деле, ей было трудно в это поверить.

– У вас камин почти погас, – сказала она, прервав собственный рассказ. – Я умею разжигать огонь. Сейчас все сделаю. – Она подложила дров в угасающий камин и энергично поворошила угли кочергой. Длинный язык пламени взметнулся вверх и погас.

В начале двадцатого века брачный возраст в Иране составлял девять лет по шариатским законам. Потом его повысили до тринадцати лет, а позже – до восемнадцати. Моя мать сама выбирала себе мужа и была одной из первых шести женщин, выбранных в парламент в 1963 году. В 1960-е, когда я росла, у меня были практически те же права, что у женщин в демократических странах Запада. Тогда никому не приходило в голову считать, что наша культура несовместима с современной демократией, что существует некая «западная» и «исламская» версии демократии и прав человека. Все хотели свободы, все жаждали иметь возможности.

Поэтому мы и поддерживали революционные изменения: мы хотели иметь *больше* прав, а не меньше.

Накануне революции я вышла за мужчину, которого любила. В то время Махшид, Нассрин, Манне и Азин было лет по двенадцать-тринадцать, Саназ и Митра были их на несколько лет младше, а Ясси было два. Когда через пять лет родилась моя дочь, законы откатились на уровень эпохи еще до рождения моей бабушки. Первым законом, который отменили за несколько месяцев до ратификации новой конституции, стал закон «О защите семьи», гарантировавший женщинам права дома и на работе. Брачный возраст вновь снизили до девяти лет, точнее, восьми с половиной лунных лет, так нам сказали; супружеская измена и проституция стали караться забиванием камнями до смерти, а ценность женщины по закону стала вдвое меньше, чем у мужчины. На смену существующей системе юриспруденции пришли законы шариата и стали нормой. В моей юности две женщины занимали посты министров в иранском правительстве⁹⁰. После революции их приговорили к смертной казни за «противостояние Богу» и «пропаганду проституции». Одна из них, министр по делам женщин, находилась за границей, когда грянула революция, и там и осталась, став известной активисткой, выступающей за права женщин и права человека. Другую, министра образования и бывшую директрису моей школы, где я училась в старших классах, посадили в мешок, побили камнями и расстреляли. Со временем девочки – мои девочки – начнут боготворить этих женщин; они станут для них символом надежды. Если такие женщины были у нас в прошлом, почему их не может быть в будущем?

Наше общество находилось на гораздо более высоком уровне развития, чем его новые правители, и женщины независимо от своей религиозной и идеологической принадлежности выходили на улицы и протестовали против новых законов. Они вкусили власти и не собирались отказываться от нее без борьбы. Именно тогда укоренился миф об исламском феминизме – противоречивое понятие, пытавшееся примирить концепцию прав женщин с постулатами ислама. Так у правителей появилась возможность усидеть на двух стульях: они могли назвать себя прогрессивными и остаться верными исламу, а современных женщин можно было обвинить в прозападнических склонностях, упадничестве и неверности. Они нуждались в нас, современных людях, так как мы указывали им путь, но они также хотели, чтобы мы знали свое место.

От других тоталитарных революций двадцатого века Исламскую революцию отличало то, что она вершилась во имя прошлого. В этом была ее сила и слабость. Четыре поколения женщин – моя бабушка, мать, я и моя дочь – жили в настоящем и одновременно в прошлом; мы находились сразу в двух часовых поясах. Любопытно, подумала я, как война и революция обострили наше восприятие личных проблем, особенно проблемы брака, в центре которой всегда находилось понятие индивидуальной свободы. Джейн Остин обнаружила это еще два века тому назад. Она-то обнаружила, подумала я, но понимали ли это мы, сидевшие в этой комнате в другой стране в конце другого века?

Нервный смех Саназ прервал мои размышления.

– Мне так страшно, – сказала она, и ее правая рука взметнулась ко лбу, убирая невидимую прядь волос. – Раньше я мечтала выйти за него и только об этом и думала, когда мы с братом ссорились. Но я не знала и до сих пор не знаю, как все у нас сложится.

Саназ волновалась из-за поездки в Турцию; боялась, что произойдет, когда они с женихом снова увидятся. «Что если я ему не понравлюсь?» – спрашивала она. Вопросов «что если *он* мне не понравится» или «что если мы не найдем общий язык» у нее не возникало. Если ничего у них не выгорит, станет ли ее брат вести себя еще хуже, впадет ли мать в депрессию?

⁹⁰ Министр по делам женщин Махназ Афхами и министр образования Фаррухру Парса. Фаррухру Парса казнили. Махназ Афхами уехала в США и живет там до сих пор.

Станет ли мать ходить с мученическим видом, провоцируя у Саназ чувство вины, будто та подвела ее нарочно? Для Саназ это были серьезные вопросы. Было трудно понять, едет ли она в Турцию, потому что хочет всем угодить или потому что влюблена. Я никогда не могла расшифровать Саназ – никто не мог понять, чего она хотела на самом деле.

– За шесть лет он мог как угодно измениться, – заметила Нассрин, рассеянно вращая в руках кофейную чашку. Я взглянула на нее с некоторой тревогой, как всегда, когда мы заговаривали о мужчинах и браке. Я невольно задумалась, как она справляется с подавленными воспоминаниями. Сравнивает ли она себя с подругами, не пережившими то, что пришлось пережить ей? Хотя откуда мне знать, что они пережили?

Саназ с укором взглянула на Нассрин. Зачем она сейчас ей об этом говорит? Как бы то ни было, поездка в Турцию пойдет ей на пользу, даже если ничего не получится. Она хоть будет знать, что больше надеяться не на что.

– Но ты его любишь? – спросила я, стараясь не обращать внимания на сардонические улыбки девушек. – Решая выйти замуж, всегда рискуешь, но вопрос остается – любишь ли ты его сейчас?

– Я любила его, когда была еще девчонкой, – медленно проговорила Саназ; она слишком волновалась, чтобы смеяться надо мной вместе со всеми. – А теперь уже не знаю. Мне нравилась сама мысль, что у меня есть жених, но мы так долго были порознь... И у него было столько возможностей повстречать других женщин... А у меня? Была ли у меня возможность встретить другого мужчину? Тетя говорит, я не обязана говорить «да» или «нет». И если мы хотим понять, что чувствуем друг к другу, нам надо встречаться в Турции *наедине*. Надо побыть немного вместе без родственников, которые вечно лезут в наши дела.

– Мудрая у тебя тетя; большая редкость в наше время, – заметила я, не сумев сдержаться и прервав ее рассуждения, как спортивный комментатор. – И знаешь, она права.

Взгляд Махшид на долю секунды взметнулся ко мне и опустился снова. Заметив это, Азин произнесла:

– Я согласна с доктором Нафиси. Вам бы пожить немного вместе, прежде чем принимать решения.

Махшид решила не заглядывать наживку и продолжала сидеть молча с серьезным лицом. Мне показалось или перед тем, как опустить взгляд и начать рассматривать невидимое пятно на ковре, она посмотрела на меня с укором?

– Лучшая проверка на совместимость, – заметила Нассрин, – потанцевать с ним.

Мы поначалу удивились ее заявлению, странному даже для Нассрин. Но уже через секунду я поняла, что она имела в виду. Ну конечно! Она намекала на общество «Дорогая Джейн», которое мы придумали в последний год моего преподавания в Университете Алламе Табата-баи. Идея общества, которое, увы, упокоилось, не успев появиться на свет, возникла из-за одного незабываемого танца.

2

Я будто бы смотрю на них в большое окно дома, стоящего посреди пустого сада. Прижавшись лицом к окну, вижу, как они идут: пять женщин в черных накидках и черных платках. Они проходят мимо окна, и я различаю их лица; одна стоит в сторонке и наблюдает за четырьмя подругами. В них нет ни капли грации; они натываются друг на друга и на стулья. Они не шумят, но им весело.

Той весной на семинаре для выпускников я сравнила структуру «Гордости и предубеждения» со строением танца восемнадцатого века. После занятия несколько девочек подошли обсудить, что я имела в виду; они не понимали. И я решила, что лучше всего объяснить, разучив с ними этот танец. Закройте глаза и представьте, что вы танцуете, сказала я. Представьте, что делаете шаг вперед и шаг назад; представьте, что ваш партнер по танцам – несравненный мистер Дарси, а может, кто-то другой; о ком сейчас думаете, того и представьте. Одна девушка захихикала. Окрыленная интересом девочек, я взяла Нассрин за руки – та неохотно подчинилась – и начала танцевать с ней: раз-два, раз-два. Потом попросила остальных выстроиться в шеренгу, и вскоре мы все танцевали; длинные черные накидки кружились, мы натывались друг на друга и на стулья.

Они встают напротив друг друга, отвечают легкий поклон, выходят вперед, берут друг друга за руки и кружатся. Возьмитесь за руки и посмотрите друг другу в глаза, говорю я; хорошо, теперь посмотрим, умеете ли вы вести светскую беседу. Скажите что-нибудь. Они чуть не прыскают со смеху. Можган говорит: проблема в том, что всем нам хочется быть Элизабет и Дарси. А я вот не против побыть Джейн, замечает Нассрин – всегда хотела быть самой красивой. А еще нам нужна миссис Коллинз. Пойдем потанцуем, Махшид, тебе разве не хочется понаступать мне на ноги? Махшид колеблется. Я никогда в жизни не танцевала, смущенно говорит она. Насчет этого танца можешь не беспокоиться, говорю я. Мало того, как твой профессор я приказываю тебе танцевать. Считай, что это домашнее задание. Я не люблю давить авторитетом, но сейчас тот редкий случай, когда мне это нравится. Итак, вперед, назад, стоп; поворот, поворот; все должны двигаться синхронно, в этом смысл, не смотрите только на себя и партнершу – смотрите на всех вокруг, с ними тоже нужно двигаться в ногу. Да, это самое сложное, но у мисс Элизы Беннет все получается само собой.

Танец – это всегда театральное представление, демонстрация, объясняю я, но вы понимаете, что разные танцы означают совершенно разные вещи? О да, отвечает Нассрин. Сравните этот танец и традиционный персидский. Вряд ли британцы умеют так извиваться, как мы... рядом с нами они выглядят очень целомудренно.

А кто умеет танцевать персидские танцы? Все смотрят на Саназ. Та стесняется; танцевать не хочет. Мы начинаем ее дразнить, подначивать, окружаем ее кольцом. Она начинает танцевать – сперва робко и скованно; мы хлопаем и тихо напеваем. Нассрин шикает на нас, чтобы пели тише. Саназ делает несколько робких грациозных шагов, с соблазнительным изяществом крутит талией. Мы смеемся и шутим; все ее тело включается в танец, каждая его часть перетягивает внимание на себя. Ее тело подрагивает; она делает крошечные шажки, танцуют даже ее пальцы и кисти. На лице появляется особое выражение: дерзкое, манящее, оно завлекает, утягивает за собой, но стоит ей перестать танцевать, как оно испаряется, рассыпается на тысячу осколков и теряет свою силу.

Соблазнять можно по-разному, но у персидских танцовщиц своя манера, уникальная, сочетающая в себе деликатность и дерзость; в западном мире нет ничего даже близко похожего. Я видела женщин из самых разных социальных слоев, и все они танцевали с одним и тем же выражением лица: взгляд у них был затуманившийся, томный, кокетливый. То же выражение лица, что у Саназ, я увидела много лет спустя у своей подруги Лейли, утонченной и образован-

ной, учившейся во Франции, когда та вдруг начала танцевать под музыку, в которой имелись и *наз*, и *эшивех*, и *керешмех* – слова, чьи английские эквиваленты – *кокетство*, *заигрывание*, *флирт* – не только казались беднее по смыслу, но и вовсе не передавали исходный смысл.

Соблазнительность персидского танца неочевидна; она выразительна и тактильна. Она извивается и кружит, скручивается в спираль и распрямляется. Она во вращении кистей, в волнообразных изгибах талии. Она просчитана. Ее эффект предсказан на шаг вперед – на каждый маленький шагжок. Мисс Дейзи Миллер и ей подобным и не снилось кокетство такого рода. Оно откровенно соблазняет, но не поддается. Все это есть в танце Саназ. Ее широкая черная накидка, в которой утопает ее очень тонкая и хрупкая фигурка, черный платок, обрамляющий скуластое лицо с огромными глазами, как ни странно, делают ее движения еще более соблазнительными. С каждым жестом она будто сбрасывает с себя слой черной ткани. Накидка кажется иллюзией, ее складки лишь добавляют танцу загадочности.

Нас вывела из забытья студентка, открывшая дверь и вздрогнувшая от изумления. Закончился обеденный перерыв; мы не заметили, как пролетело время. Глядя на студентку, застывшую на пороге – одна нога в коридоре, другая в кабинете – мы рассмеялись.

После этого случая мы заключили секретный пакт. Решили создать тайное общество и назвать его «Дорогая Джейн». Мы будем собираться, танцевать, есть профитроли со взбитыми сливками и делиться новостями. Хотя наше тайное общество так и не заработало, девочки стали называть друг друга «дорогими Джейн», и начало нашему нынешнему кружку по интересам было положено. Я бы и не вспомнила об этом обществе, если бы недавно не стала вспоминать о Нассрин.

Теперь я уверена, что именно в тот день мы с Махшид и Нассрин шли по коридору в мой кабинет, и вдруг, даже не подумав, я попросила их присоединиться к своему тайному кружку. Глядя в их ошеломленные лица, я поспешно объяснила свою идею, импровизируя, но на самом деле излагая то, о чем мечтала уже много лет и что давно уже было спланировано в моей голове. А что от нас требуется, спросила Махшид? Безоговорочная преданность литературе и кружку, горячо и категорично ответила я. Они еще не брали на себя никаких обязательств, а я уже взяла.

3

У меня неисправимо научный ум: слишком много я написала исследований и статей и попросту не умею выражать свои мысли и пересказывать события без лишней помпы. Хотя рассказывать о прошлом и воскрешать себя на бумаге вместе с остальными – моя потребность. Я пишу, и дорожка из желтого кирпича расстилается впереди, Железный Дровосек находит свое сердце, а Трусливый Лев – храбрость, но это не моя история. Я иду по другой дороге, чьего конца не видно. О конечном пункте моего назначения я знаю так же мало, как мало Алиса знала о своем, пускаясь в погоню за Белым Кроликом, тем самым, в жилетке с часами на цепочке, который все твердил: «как же я опаздываю, как же я опаздываю».

Я не придумала, как лучше объяснить структуру «Гордости и предубеждения» своим студентам, чем сравнить ее с танцем восемнадцатого века – танцем, который могли бы танцевать Дарси и Элизабет на одном из многочисленных балов, которые они посещали. Хотя в других романах Остин – в «Мэнсфилд-парке» и «Эмме», к примеру, – балы и танцы тоже становятся двигателями сюжета, ни в одном ее романе танец не играет столь важной роли, как в «Гордости и предубеждении». Как я уже говорила, роман по структуре напоминает танец, являющийся одновременно публичным и приватным действием. Атмосфера «Гордости и предубеждения» похожа на праздничную атмосферу бала.

Итак, структура романа напоминает танец с многочисленными проходками. Несколько сюжетов развиваются параллельно и контрапунктно⁹¹, причем запараллелены не только события и персонажи, но и места. Сначала мы видим Элизабет в знакомой ей обстановке, затем она попадает в незнакомую для себя обстановку, но знакомую для Дарси; затем Дарси оказывается в самой привычной для себя среде, и каждый из этих переходов сближает героев. Дарси предлагает Элизабет руку и сердце параллельно с Коллинзом. Существует также параллель между Дарси и Уикхемом. В первой части Дарси словно наводит на Элизабет объектив камеры и включает постепенное приближение; во второй части они меняются местами, и в объективе оказывается уже Дарси.

В первом танце нам представляют главных героев; тогда же зарождается конфликт, который станет движущей силой романа. Услышав, как Дарси говорит Бингли, что Элизабет недостаточно красива и он не станет с ней танцевать, Элизабет провозглашает Дарси своим врагом. Когда они встречаются на следующем балу, Дарси успевает передумать, но теперь уже Элизабет отказывается с ним танцевать. Они снова встречаются в Незерфилде и на этот раз танцуют. Хотя этот танец выглядит степенным, он пронизан напряжением: Дарси все сильнее тянет к Элизабет, а ее отвращение к нему прямо пропорционально растет. Диссонансные ноты в их диалоге противоречат их выверенным движениям.

Герои Остин – интровертные личности, помещенные в общественное пространство. Их стремление к приватности и созерцанию вынуждено сосуществовать с необходимостью находиться в очень тесном маленьком сообществе, пристально наблюдающем за своими членами. В этом мире нет ничего важнее умения соблюсти баланс между личным и публичным.

Ритму танца – два шага вперед, два шага назад – вторят поступки и развитие главных героев, вокруг которых выстраивается сюжет. Параллельно развивающиеся события сперва сближают их, затем разъединяют. На протяжении всего романа Элизабет и Дарси постоянно движутся то навстречу друг другу, то друг от друга. Стоит им сблизиться, и уже закладывается расстановка для следующего хода. Движение назад сопровождается критической переоценкой предыдущего шага вперед. Это танец взаимных уступок: партнеры постоянно адаптируются к потребностям и шагам друг друга. Обратите внимание, к примеру, как ужасно танцует мистер

⁹¹ Контрапункт – одновременное сочетание двух и более самостоятельных мелодий или голосов (муз.).

Коллинз или увалень Торп из «Нортенгерского аббатства». Их неумение танцевать свидетельствует о неумении подстраиваться под нужды партнера.

Центральную роль в «Гордости и предубеждении» играет диалог; он хорошо вписывается в «танцевальную» структуру романа. Почти каждая сцена представляет собой продолжающийся диалог между Элизабет и Дарси. Диалог этот может быть реальным, а может быть воображаемым, но он не прекращается ни на минуту, а обмен репликами между персонажами в нем чередуется с внутренним диалогом. Центральный диалог – между Элизабет и Дарси и Элизабет и ее внутренним голосом – сопровождается множеством других диалогов.

Одной из самых замечательных черт «Гордости и предубеждения» является многоголосие. Остин использовала в романе множество форм диалога: между несколькими персонажами, между двумя персонажами, диалог внутренний и диалог эпистолярный. В диалоге возникают и решаются все конфликты. То, что Остин смогла создать такую удивительную полифоническую структуру и объединить в стройную единую композицию столь разные голоса и интонации, которые согласуются и противоречат друг другу, свидетельствует о демократичной природе романа. В романах Остин находится место для противоположностей, которые спокойно сосуществуют, не испытывая потребности во взаимном устранении. В них также находится место – не место даже, а необходимость – для самосозерцания и самокритики. Самоанализ становится двигателем изменений. Чтобы доказать это, не нужно выискивать смыслы и открыто призывать к плюрализму. Достаточно начать читать и вслушаться в какофонию голосов; тогда демократический императив Остин сразу становится очевидным. И этим опасна Остин.

Неслучайно самые неприятные персонажи в романах Остин неспособны вести с окружающими искренний диалог. Они брюзжат. Они читают нотации. Они распекают. Неспособность к полноценному диалогу свидетельствует о нетерпимости, неспособности самоанализу и эмпатии. Позже у Набокова эта же черта примет более чудовищные формы в Гумберте из «Лолиты» и Кинботе из «Бледного огня».

«Гордость и предубеждение» – не самый поэтичный роман, но в нем слышны какофония и гармония; голоса приближаются, удаляются и кружат по комнате. Сейчас, пролистывая книгу, я слышу, как они пытаются сбежать со страниц. Я слышу унылый и бесцветный голос Мэри, покашливание Китти и высокомерные инсинуации мисс Бингли; до меня доносятся обрывки фраз любезного сэра Лукаса. Я не слышу мисс Дарси – та очень застенчива и скрытна, но слышу шаги на лестнице, слегка насмешливый голос Элизабет и сдержанный и вкрадчивый голос Дарси. Когда я закрываю книгу, до меня доносится ироничный тон рассказчицы. Книга закрыта, но даже тогда голоса не замолкают – их эхо и отголоски отскакивают от страниц и шаловливо разбегаются во все стороны, звеня в ушах.

4

– Наша Саназ такая образованная, – сказала Азин, внимательно разглядывая свои ногти. – Не нужен ей этот никудышный мальчишка, чье величайшее достижение в том, что он сбежал от армии и переехал в Англию. – Ее голос был без надобности злым, ведь сейчас она ни с кем не спорила. Тогда-то я и обратила внимание на ногти Азин. В последнее время та стала красить их в помидорно-красный, а их форма и цвет, казалось, были единственным, что ее занимало. На занятии она при любой возможности разглядывала их, словно ярко-красный лак переносил ее в другое измерение, тайное место, о существовании которого знала лишь она одна. Когда она вытягивала руку, чтобы взять пирожное или апельсин, глаза внимательно следили за движениями пальцев с ярко-красными кончиками.

У нас был перерыв, и мы обсуждали Саназ. На следующей неделе та должна была вернуться из Турции. Митра – единственная, с кем Саназ общалась, – держала нас в курсе: жених Саназ вел себя очень мило, она была влюблена, они обручились. Вместе поехали на побережье; Саназ привезет много фотографий. Ее тетя не считает его хорошей парой. Говорит, мол, мальчик он славный, но лучше пусть остается просто приятелем; ему нужно, чтобы ему штанишки подтягивали (тут у Митры на щеках заиграли ямочки). Саназ, впрочем, это не смущает.

– Юность не порок, – встревает Ясси. – Мои тетя и дядя тоже поженились очень молодыми; у них к тому же и денег не было. Если подумать, трое моих дядь женились совсем мальчишками. Все, кроме младшего, тот так и не женился – вступил в политическую партию, – добавила она, словно это объясняло, почему он остался холостым.

В последнее время Ясси часто рассказывала о своих дядюшках: старший приехал в Иран в трехнедельный отпуск. Это был ее любимый дядя. Он слушал ее стихи, разглядывал картины ее сестры Мины и комментировал рассказы их застенчивой матери. Он был терпелив, внимателен и поддерживал их в творчестве; если надо, мог и покритиковать, отметить небольшие недостатки и слабые места. Ясси была счастлива, когда он приезжал, когда от него приходили письма, что случалось редко, или когда он звонил из Штатов и звал к телефону именно ее. Только ему позволялось влиять на нее, и только его наставлениям она не противилась. А он пытался на нее влиять: сначала поощрял продолжать занятия музыкой; потом сказал – почему бы тебе не поступить в Тегеранский университет? Теперь он советовал ей ехать учиться в Америку. Он рассказывал ей о жизни в Америке, о событиях, которые казались ему будничными, а в ее глазах все это казалось волшебным. Она регулярно сверяла его рассказы с моими, а я всегда добавляла что-то от себя. Мы с ее дядей стали кем-то вроде сообщников и сбивали юную Ясси с пути истинного. Я волновалась: что если мы подталкиваем ее к жизни, которая ей не подходит? Я замечала, что из-за нашего поощрения Ясси, ласковая и преданная девочка, очень привязанная к своей любящей семье, терзалась противоречиями и по несколько дней ходила подавленная. Она смеялась над собой и признавалась, что постоянно чувствует... Нерешительность, подсказывала я? Нет, нет, как же это назвать... Вдруг ее лицо вспыхивало: досаду! Нет, Ясси, едва ли это досада, говорила я. Да, пожалуй; я чувствую свою нерешительность, неполноценность и, возможно, из-за этого испытываю досаду на себя.

Кажется, тогда все мои девочки хотели уехать из Ирана – все, кроме Махшид, которая была очень увлечена работой. Она хотела, чтобы ее повысили, и жаждала стабильности, но в повышении ей отказывали из-за прежних политических пристрастий и принадлежности к религиозной оппозиции. Митра подала на канадскую визу, хотя они с Хамидом еще не окончательно решились. Его мать была против, и в Канаде их ждала неизвестность, а жизнь в Иране, несмотря на свои недостатки, была им хорошо знакома. Хамид работал на хорошем месте; они были обеспечены. «Его мать постоянно повторяет, что здесь мы „кто-то“, а там...»

– Я тоже думаю уехать, – вдруг произнесла Азин. – И будь у Саназ хоть капля здравого смысла, она бы тоже уехала, вышла за своего жениха, сменила место жительства, а потом могла бы и развестись. Что? – обиженно произнесла она, когда остальные ошарашенно на нее посмотрели. Она нервно выудила сигарету из сумочки. – Что я такого сказала?

Закуривать она не стала – она никогда не курила на занятиях – но зажала сигарету в длинных белых пальцах с помидорно-красными ногтями. Она вдруг заметила наше молчание и, как ребенок, которого поймали на воровстве конфет, взглянула на незажженную сигарету и с обезоруживающей улыбкой раздавила ее в пепельнице.

А как тебе удастся ходить с такими ногтями, спросила я, чтобы сменить тему. Я хожу в перчатках, ответила она. Ношу темные перчатки даже летом. Покрытые лаком ногти, как и макияж, были преступлением, за которое полагалось наказание в виде порки, штрафа и тюремного заключения сроком до года. Разумеется, эти фокусы всем известны, и если им захочется докопаться, они велят снять перчатки. Она продолжала щебетать про ногти и перчатки, а потом внезапно замолчала. Эти ногти так меня радуют, произнесла она тонким голоском, в котором не было ни капли радости. Они такие красные, что ни о чем другом больше думать не хочется.

– А о чем другом ты думаешь? – тихо спросила Нассрин.

– О всяком. Сама знаешь. – И Азин расплакалась. Мы пораженно смотрели на нее. Манна смущенно передала ей коробку с бумажными салфетками – ей явно хотелось, чтобы Азин перестала плакать. Махшид ушла в свою раковину, а Нассрин наклонилась вперед и сжала кулаки так, что костяшки побелели. Ясси, сидевшая ближе всех к Азин, потянулась, положила руку ей на плечо и тихо его сжала.

5

Я никогда не узнаю, какие раны скрывала Азин и были ли настоящими те, о которых она рассказывала. Я пытаюсь найти ответ на общей фотографии, сделанной в мой последний вечер в Тегеране, но взгляд отвлекается на блеск ее круглых золотых сережек. Фотографии часто лгут, разве что вы умеете читать по форме носа, как мой волшебник. Я таким даром не обладаю.

Глядя на этот портрет, трудно представить, что в жизни у Азин есть хоть какие-то тревоги. Она выглядит беспечной; ее светлые волосы идеально гармонируют с бледной кожей и темно-медовыми глазами. Она любила шокировать окружающих; это подтверждается тем фактом, что замужем она была трижды. Первый раз она вышла замуж, когда ей не было еще восемнадцати, и развелась меньше чем через год. Что случилось с ее вторым мужем, она так и не объяснила. Возможно, она так часто меняла мужей, потому что в Иране выйти замуж было проще, чем встречаться с парнем без брака.

Она рассказывала, что мужа раздражали все ее увлечения. Он ревновал ее к книгам, компьютеру и нашим утренним занятиям по четвергам. С застывшей улыбкой она говорила, что он считал ее «свободный дух» унижением для себя и бил ее, а потом пытался задобрить клятвами в вечной любви. Ее рассказы причиняли мне почти физическую боль. Больше всего меня тревожили даже не побои, а словесные издевательства – он кричал, что никто никогда больше на ней не женится, что она «потасканная», как подержанная машина, и ни один мужчина не захочет иметь подержанную жену. Он бахвалился, что может взять в жены восемнадцатилетнюю, жениться на «свеженькой» неиспорченной девственнице в любой момент. Он говорил ей это, но не уходил от нее. Я помню не столько ее слова, сколько ее лицо, когда она рассказывала эти ужасные вещи: она улыбалась, но в глазах блестели слезы. Поведав нам свою историю, она сказала: теперь вы знаете, почему я так часто опаздываю. Позже Манна без особого сочувствия заметила: Азин может обесценить даже собственные проблемы.

Вскоре мы все оказались вовлечены в супружеские дразги Азин. Сначала я рассказала о ее ситуации Биджану после ужина; потом поговорила со своей лучшей подругой, великолепным адвокатом, которая питала слабость к безнадежным делам, и уговорила ее взяться за дело Азин. С тех пор Азин стала постоянной темой наших разговоров – ее колебания, муж, жалобы, ее искренность и притворство.

Я не планировала, что разговоры на личные темы станут частью наших занятий, но мало-помалу те начали просачиваться в литературные обсуждения, а потом и вторглись в них с полной силой. Мы начинали с бесед на абстрактные темы, но постепенно стали приводить в пример личный опыт. Мы обсуждали случаи, когда физического и психологического насилия над женщиной оказывалось недостаточно, чтобы судья вынес решение о разводе. Вспоминали бракоразводные дела, когда судья не только отказывался предоставить женщине развод, но и обвинял ее в том, что она подверглась побоям, и советовал поразмышлять, что она сделала неправильно и чем навлекла на себя недовольство мужа. Мы шутили об одном судье, который сам регулярно избивал жену. Поговорку о слепоте правосудия в нашем случае следовало понимать буквально: в своем несправедливом отношении к женщинам иранское правосудие не знало ни религиозных, ни расовых, ни прочих различий.

6

Говорят, что частная жизнь и политика неразделимы. Это, конечно же, не так. В основе борьбы за политические права – желание защитить себя и сделать так, чтобы политика не вмешивалась в частную жизнь. Частная жизнь и политика взаимосвязаны, но это не одно и то же. Их связывает сфера воображения; именно воображение постоянно заставляет частное подстраиваться под политическое, и наоборот. Об этом знал платоновский «философ на троне»; знал об этом и слепой цензор, так что, пожалуй, неудивительно, что первой задачей Исламской Республики стало размытие граней и пределов между частным и политическим, в результате чего все грани и пределы были уничтожены.

Когда меня просят рассказать о жизни в Исламской Республике Иран, я не могу отделить самые личные и приватные аспекты нашего существования от ока слепого цензора. Я думаю о своих девочках, принадлежавших к разным социальным слоям. Каким бы ни было их происхождение и убеждения, их объединяли общие проблемы, и корнем этих проблем являлась конфискация режимом их самых интимных моментов и личных устремлений. Этот конфликт был ядром парадокса, созданного исламским правлением. Страной управляли муллы; религия стала орудием власти, идеологией. Идеологический подход к вере отличал власть имущих от миллионов простых граждан, простых верующих – Махшид, Манни и Ясси, которые считали Исламскую Республику своим злейшим врагом. Люди вроде меня сопротивлялись угнетению, но другим казалось, что их предали. Однако даже последним противоречия и запреты в частной жизни представлялись важнее глобальных проблем войны и революции. Я прожила в Исламской Республике восемнадцать лет, но в первые годы потрясений, в эпоху публичных казней и кровавых демонстраций, и даже за восемь лет войны, когда красные и белые сирены смешивались с грохотом взрывов и свистом падающих ракет, я до конца этого не понимала. Я поняла это лишь после войны и смерти Хомейни, когда устранились два фактора, насильно объединявшие страну, а голоса несогласных и противоречия наконец прорвались на поверхность.

Погодите, скажете вы – несогласные, противоречия? Разве не был период после смерти Хомейни эпохой надежды, реформ и мира? Разве не уверяли нас, что звезда таких, как Гоми, закатилась, и взошла звезда таких, как Форсати? А как же конец предыдущей части, из которого вроде бы следует, что радикальным революционерам осталось лишь поджечь себя или измениться и зашагать в ногу со временем? А как же Махшид, Нассрин и Манна – они же выжили, скажете вы, им дали второй шанс. Не слишком ли я драматизирую ради более эффектного повествования?

Но нет, я не драматизирую. Жизнь в Исламской Республике всегда была слишком бурной, слишком драматичной и хаотичной; ее нельзя поместить в желаемую структуру «эффектного» повествования. И мирные времена нередко обнаруживают всю величину ущерба; зияющие кратеры, где прежде стояли дома, становятся особенно заметны. Тогда-то голоса, что прежде молчали, и злые джинны из бутылки освобождаются и разлетаются кто куда.

Манна говорила, что есть две Исламские Республики: та, что существует на словах, и та, что есть на самом деле. В первой Исламской Республике девяностые начались с обещаний мира и реформ. Однажды утром мы проснулись и узнали, что Совет стражей конституции после долгих раздумий избрал бывшего президента худжат аль-ислама⁹² Али Хаменеи преемником аятоллы Хомейни. До избрания политический статус Хаменеи был неоднозначным: он тяготел к самым консервативным и реакционным группировкам правящей элиты, но также являлся

⁹² Худжат аль-ислам (араб. «доказательство ислама») – шиитский богословский титул рангом ниже аятоллы, присваивается мусульманским ученым среднего уровня.

покровителем искусств. Он водил знакомство с поэтами и смягчил формулировку фетвы против Салмана Рушди, за что получил от Хомейни суровый выговор.

Но этот человек, наш новый верховный лидер, теперь занимавший самый высокий религиозный и политический пост в стране и требовавший к себе высочайшего почтения, – этот человек был фальшивкой. Он знал об этом, но хуже всего было то, что его коллеги и избравшие его священнослужители тоже об этом знали. СМИ и государственная пропаганда умолчали, что Хаменеи возвысили до ранга аятоллы в одночасье. Однако статус аятоллы нужно заслужить; его не дают просто так, и назначение Хаменеи было явным нарушением религиозных правил и установлений. Хаменеи встал на сторону реакционеров. Это решение объяснялось не только религиозными убеждениями; он сделал это из необходимости, чтобы заручиться политической поддержкой, обеспечить себе защиту и компенсировать недостаток уважения со стороны коллег. Из мягкого либерала он в одночасье превратился в жесткого консерватора. Госпожа Резван как-то разоткровенничалась со мной, что было ей несвойственно, и сказала: я знаю этих людей лучше вас; они отрекаются от своих слов чаще, чем переодеваются. Ислам превратился в бизнес, добавила она; ислам для Ирана – как нефтеторговля для компании «Тексако». Торговцы исламом пытаются продать его в более привлекательной упаковке. А нам никуда от них не деться. Думаете, они когда-нибудь признают, что прожить можно и без нефти? Думаете, кто-то осмелится сказать, что управлять государством можно и без ислама? Нет, но реформаторы умнее; они продадут вам нефть чуть дешевле и пообещают очистить ее от примесей.

Вся надежда была на нашего президента, влиятельного бывшего спикера парламента худжат аль-ислама Рафсанджани; он первым удостоился звания реформатора. Но тот, кто называл себя «генералом реконструкции» и кого прозвали «аятоллой Горбачевым», вскоре заслужил дурную славу: он поощрял финансовую и политическую коррупцию и терроризировал диссидентов в Иране и за рубежом. Он действительно говорил о либерализации законов – как верно заметила Манна, эти реформы означали, что можно было быть «немножко мусульманином», жульничать по мелочам, выпускать прядь волос из-под платка. Все равно что называть себя «немножко фашистом», или «немножко коммунистом», или «умеренным фашистом», заметила я. Или «немножко беременной», смеясь, добавил Нима.

В результате этой умеренной политики Саназ и Митра начали безбоязненно повязывать платки более небрежно и выпускать пряди волос, но у полиции нравов по-прежнему было право арестовать их. А если бы они напомнили полицейским слова президента, Стражи Революции немедленно арестовали бы их и посадили в тюрьму, заодно наградив оскорблениями президента, его мать и любого другого сукина сына, выпускающего такие указы в мусульманской стране. Однако либеральность президента, как впоследствии и его преемника президента Хатами, ровно на этом закончилось. Те, кто воспринял его реформы всерьез, жестоко за это поплатились, некоторые даже жизнью, а их тюремщики остались безнаказанными и продолжали разгуливать на свободе. Когда писатель-диссидент Саиди Сирджани, ошибочно считавший, что президент его поддерживает, попал в тюрьму, где его пытали и убили, никто не пришел ему на помощь – еще один пример постоянного конфликта Исламской Республики на словах и на деле; конфликт, продолжающийся до сих пор. Резван любила напоминать, что Исламская Республика ставит свои собственные интересы превыше всего. Они могут сколько угодно называть себя либералами; от исламского фасада они не откажутся никогда; это их фирменный знак. Кому будет нужен Рафсанджани, если Иран станет демократией?

То время действительно было эпохой надежды, но мы ошибочно полагаем, что такие периоды лишены напряженности и конфликтов. А по моему опыту, именно такие времена представляют наибольшую опасность. Кому надежда, а кому потеря; когда надежда возвращается к утратившим ее, те, кто у власти, – те, кто забрал надежду, – начинают бояться и более ревностно защищать свои оказавшиеся под угрозой интересы, закручивают гайки. Эти времена надежды и большей свободы во многих отношениях оказались не менее тревожными, чем

прежние времена. Жизнь стала еще больше похожа на вымысел бездарного писателя, которому никак не удастся навести порядок и логично выстроить действия персонажей, пустившихся во все тяжкие. Это время должно было стать временем затишья, временем восстановления, временем привычных ритмов и возврата к знакомому течению жизни, но вместо этого нас оглушила какофония голосов, звучащая даже громче мрачных звуков войны.

Война с Ираком закончилась, но государство не прекращало битву с внутренними врагами, с теми, кого считали представителями упаднической культуры и «про-западниками». Кампания по подавлению этих веяний не ослабила их и не устранила, а, напротив, сделала сильнее. Неудобные политические партии запретили, политических врагов посажали, но в культуре – в литературе, музыке, искусстве и философии – звучали светские голоса; исламская элита так и не сумела утвердиться в какой-либо из этих сфер. Культурная борьба ожесточилась, когда радикальная мусульманская молодежь, интеллигенты, журналисты и деятели образования стали уезжать за границу. Разочарованные в Исламской революции и столкнувшиеся с идеологическим вакуумом, образовавшимся с распадом Советского Союза, они не нашли ничего лучше, чем примкнуть к западным демократиям, которым некогда столь яростно противостояли. Оказалось, что тех, кого режим пытался уничтожить или заглушить, обвинив в «прозападничестве», невозможно уничтожить и заглушить; они являлись такой же частью иранской культуры, как и ее самопровозглашенные стражи. Но больше всего исламская элита боялась, что эти самые «элементы» станут примером для подражания все большего числа разочарованных бывших революционеров и молодежи – так называемых «детей революции».

В Министерстве исламской культуры и ориентации многие начали вставать на сторону писателей и художников и допускать к публикации книги, которые прежде сочли бы «немусульманскими». В 1994 году при поддержке ряда просвещенных деятелей этого министерства опубликовали мою книгу о Набокове. Прославленные режиссеры, чьи фильмы после революции запретили, вновь могли демонстрировать свои ленты благодаря прогрессивному начальнику Кинематографического фонда Фараби, которого позже сняли с должности реакционеры. В самом министерстве разворачивались бои между фракциями – реформаторами и теми, кого сейчас мы назвали бы «приверженцами жесткого курса». Многие бывшие революционеры взялись читать и интерпретировать работы западных философов и мыслителей и начали сомневаться в своих ортодоксальных методах. Они менялись под воздействием идей и систем, которые сами некогда желали уничтожить, и это внушало надежду, хотя, конечно, доля иронии в этом имелаась.

Не в силах расшифровать и понять неоднозначность и любое отклонение от курса, чиновники злились на тех, кого считали предателями в своих рядах, и были вынуждены применить свои примитивные формулы к вымыслу так же, как применяли их к жизни. По аналогии с тем, как они цензурировали цвета и оттенки реальности, подстраивая ее под свое черно-белое видение, из литературы убрали все проявления рефлексии; опасными провозглашались все литературные произведения, которые не несли политического посыла, что являлось парадоксом как для самих цензоров, так и для их идеологических противников. Следуя этой логике, в писательнице вроде Остин они, естественно, узрели бы противника, хотя могли об этом и не подозревать.

7

«Хватит винить Исламскую Республику во всех наших проблемах», – сказал мой волшебник. Я нахмурилась и поковыряла снег носом ботинка. Мы проснулись и увидели за окном снег и солнце – прекрасную тегеранскую зиму. Деревья укрыло шелковым покрывалом, а сугробы на тротуарах искрились миллионом маленьких солнц.

В такие дни радуешься, как ребенок, несмотря на все жалобы на загрязнение воздуха и менее явные, но не менее важные проблемы, которые мы носим в уме и сердце. Я пыталась жаловаться, но смутное воспоминание о том, как мама в детстве смешивала домашний вишневый сироп со снегом и делала мороженое, никак не давало мне впасть в угрюмость. Однако сдаваться я не собиралась; мысли о муже Азин и женихе Саназ не давали мне покоя. Я уже пятнадцать минут пыталась рассказать о проблемах моих девочек волшебнику, пересыпая свой рассказ оправданными и неоправданными обвинениями в адрес корня зла – Исламской Республики Иран.

В первую неделю после возвращения из путешествия Саназ явилась на занятия, еле сдерживая восторг, но все же держа себя в рамках приличий. Она разложила на стеклянном столике фотографии: ее семья в лобби отеля; Саназ и юноша с темно-каштановыми волосами и ласковыми карими глазами стоят, облокотившись о балюстраду; на нем джинсы и голубая рубашка. Вечеринка в честь помолвки: Саназ в красном платье, ее великолепные волосы рассыпались по плечам, она стоит и смотрит на того же представительного юношу в темном костюме и бледно-голубой рубашке, и он отвечает ей ласковым взглядом; он надевает ей на палец обручальное кольцо, она разглядывает его задумчиво (жаль, что его родители купили кольцо, сперва не посоветовавшись с ними, говорит она). А вот ее тетя-бунтарка, депрессивная мать и несносный братец. Поездка быстро пролетела – не успела она оглянуться, и ему пора было возвращаться в Лондон, а ей в Тегеран. Она с недовольством сообщает, что им с Али почти не удалось перемолвиться словечком наедине – рядом всегда были родственники.

Прошло две недели. Мы обсуждали книгу, и я заметила, что Саназ ведет себя тихо, что было ей несвойственно. Во время перерыва несчастная Саназ со слезами на глазах, смахивая со лба невидимую прядь волос, сообщила, что все отменяется – свадьба отменяется. Жених ее бросил. Позвонил ей и сказал, что с ним она не сможет быть счастлива. Он был простым студентом; как он будет содержать семью? Когда они смогут воссоединиться и жить вместе? Это несправедливо, твердил он, несправедливо по отношению к ней; он придумывал всякие оправдания. И я его понимаю, сказала она; у меня были те же сомнения, но все же как мне хочется, чтобы он был чуть менее рассудительным! Он сказал, что будет любить ее всегда. А что еще он мог сказать? Чертов трус, подумала я.

В итоге все начали проявлять к Саназ усиленную заботу. Ее родные, само собой, страшно разозлились на жениха. Мать сказала, что годы, проведенные среди холодных бесчувственных англичан, его развратили. Они – западные люди – не чувствуют так тонко, как мы. Он еще передумает, убежденно произнес отец; дай ему время. Родители не понимали, что решиться на этот шаг юношу, вероятно, заставило давление и вмешательство с их стороны.

Все это сочувствие казалось Саназ невыносимым. Даже ее брат к ней подобрел. Поговаривали, что не обошлось без другой женщины – а как же без этого, встряла Азин; мужчины, что с них взять. Нет, отвечала Саназ в ответ на расспросы Махшид, она не иранка, хотя какое это имело значение. Кто-то говорил шведка, другие – англичанка. Ну разумеется; иностранка, это же такая удача, все так говорят. Друзья и родные теперь ходили вокруг Саназ на цыпочках, как на похоронах; это усиливало ее отчаяние. Хоть бы брат закатил скандал, сказала она и натянуто улыбнулась сквозь слезы; хоть бы снова конфисковал ее машину или отчудил еще что-нибудь. Сегодня ей впервые удалось от них вырваться, и она чувствовала себя немного лучше.

Недоступный мужчина всегда кажется более желанным и привлекательным, заметила Манна с горечью, которая меня удивила. А помолчав, загадочно добавила: я говорю это не для того, чтобы утешить Саназ.

Ох уж эти мужчины, сердито воскликнула Нассрин. Ох уж эти мужчины, откликнулась Азин. Ясси, которая вдруг будто бы уменьшилась до своих обычных размеров, сидела прямо, сложив руки на коленях. Только тетя довольна, заметила Саназ. «Слава Богу, он спас тебя от собственной глупости», – то были ее первые слова, когда она узнала. А ты чего ждала? Только дурочка будет надеяться, что парень его возраста – да любого возраста, раз на то пошло – сможет прожить один пять лет и не завести роман. А я надеялась, ответила Саназ. Ну значит, ты дурочка.

В целом Саназ отреагировала спокойно и собранно. Она почти испытала облегчение. В глубине души она всегда понимала, что ничего у них не получится, по крайней мере, при таком раскладе. Но ей все равно было обидно: почему он отверг ее? Может, по сравнению с другими девушками – скажем, англичанками, которые не стеснялись и не боялись оставаться на ночь у мужчины – она выглядела провинциалкой? Сердечная боль универсальна, рассудила я. В Англии и Америке девушек тоже бросают возлюбленные. Мы же с вами читали «Как была брошена бабушка Уэзеролл»⁹³, помните? А «Розу для Эмили»⁹⁴? Позже Саназ пошутила, что думает последовать примеру мисс Хэвишем и тем самым увековечить себя – та теперь стала ее любимой героиней. Вот только свадебное платье я так и не купила, задумчиво добавила она.

Не помню, как мы перешли от несчастий Саназ к обсуждению жизни в Исламской Республике, но в тот день наше обсуждение закончилось байками о режиме. Мы говорили о том, что у многих лидеров мусульманского духовенства и высокопоставленных чиновников были грин-карты; что правящие элиты страдали комплексом неполноценности, сжигали американский флаг и одновременно пресмыкались перед Западом, особенно перед американскими журналистами. А президентская дочка Фаэзе Рафсанджани носила голубые джинсы и кроссовки «Рибок», и из-под чадры у нее выглядывали осветленные пряди волос.

Обо всем этом я подробно рассказала своему волшебнику, нарисовав яркую душещипательную картину горя Саназ и несчастья Азин. Режим, драматично заключила я, так глубоко проник в наши умы и сердца, так крепко оплел своими щупальцами наши дома, шпи-оня за нами даже в наших собственных спальнях, что мы позволили ему сформировать свою личность, хоть нам этого совсем не хотелось. Разве можно, находясь под столь пристальным наблюдением, отделять личные проблемы от политических? И когда есть кого винить в своих проблемах, это так приятно; в этом одно из немногих преимуществ положения жертвы; как писал Беллоу в «Герцоге», «страдание – еще одна плохая привычка».

Волшебник поднял правую бровь и бросил на меня вопросительный ироничный взгляд.

– И все-таки объясните, – насмешливо произнес он, – красивую девушку бросил жених – причем тут Исламская Республика? Думаете, в других странах мужья не бьют жен, а девушек женихи не бросают? – я уперлась и чувствовала себя слишком беспомощной, чтобы отреагировать на это заявление без эмоций, хотя логика его рассуждений была мне ясна; но я все же промолчала.

– Поскольку режим не намерен оставлять вас в покое, планируете ли вы вступить с ним в сговор и позволить ему полностью контролировать вашу жизнь? – продолжал он; он принадлежал к людям, кто любил досконально обосновать свою точку зрения. – Вы, разумеется, правы, – сказал он через некоторое время. – Режиму удалось до такой степени проникнуть во все аспекты нашей жизни, что мы уже не воспринимаем своего существования отдельно от него. Режим настолько вездесущ и всевластен, что объявлять его причастным к нашим неуда-

⁹³ Повесть Кэтрин Энн Портер, американской писательницы-реалистки «южной школы» (1930).

⁹⁴ Рассказ Уильяма Фолкнера (1930).

чам или успехам на личном фронте – не такое уж преувеличение. Позвольте напомнить вам вашего же любимчика мистера Беллоу. – Он подчеркнул слово «любимчик». – Помните его цитату – одну из многих, которыми вы нас осыпали за последние несколько недель: «сначала они вас убивают, потом вынуждают размышлять над их преступлениями».

– Вы меня слушаете? – вдруг спросил он и вопросительно взглянул на меня. – Вы, кажется, думаете о чем-то другом.

– Да, слушаю, – ответила я. – Просто задумалась.

– Ясно, – сказал он, вспомнив о своем британском воспитании.

– Нет, я правда слушала, – сказала я. – Вы кое-что для меня прояснили – в последнее время я много об этом размышляла. – Он не стал меня прерывать. – Я думала о жизни, свободе и поиске счастья, о том, что мои девочки несчастны. Им кажется, что они обречены быть несчастными.

– И что, по-вашему, нужно сделать, чтобы они поняли, что быть счастливыми – их право? – спросил он. – Уж точно для этого не нужно поощрять в них психологию жертв. Им надо научиться бороться за счастье.

Я продолжала пинать снег мыском ботинка, одновременно пытаюсь шагать с ним в ногу. – Но пока мы это не поймем, пока будем сражаться за политические свободы, не понимая, что те зависят от личных свобод – пока не поймем, что вашей Саназ не нужно было ехать в Турцию, чтобы найти парня, который бы за ней поухаживал – мы эти права не заслуживаем.

Выслушав его лекцию, я не нашла, что возразить, и погрузилась в размышления. Некоторое время мы шагали в тишине. – Но разве вы не видите, что, пытаюсь втолковать им это, я, возможно, причиняю этим девочкам больше вреда, чем пользы? – спросила я, пожалуй, чересчур драматично. – Находясь со мной и слушая рассказы о моей прошлой жизни, они выстраивают себе сияющую идеальную картину другого мира, Запада... Не знаю, мне кажется, я...

– Вам кажется, что вы помогаете им увязнуть в другой фантазии, – подсказал он, – противоположной фантазии Исламской Республики о том, какой должна быть жизнь этих девочек.

– Да, именно так! – взволнованно воскликнула я.

– Что ж, во-первых, вы в этом не виноваты. В этой фантазии не может выжить никто – нам приходится творить свой собственный рай, где можно укрыться. Во-вторых, – продолжал он, – в борьбе с этой фантазией вы не бессильны.

– Правда? – с надеждой произнесла я, по-прежнему чувствуя себя удрученно; мне очень хотелось, чтобы он подсказал мне, что делать.

– Да, правда, и вы боретесь с ней своими занятиями – главное, все не испортить. Станьте для них тем, кем являются поэты для царей-философов. Дайте им лучшее, что может предложить другой мир, – дайте им чистый вымысел и верните право распоряжаться своим воображением, – торжествуя заключил он и взглянул на меня так, словно ожидал, что я воскликну «ура» и заплодирую его мудрому совету. – Знаете, вам не мешает не только учить, но и следовать своей философии. Взять ту же Джейн Остин, – произнес он, как мне показалось, со снисходительным великодушием. – Вы говорили, что она не интересовалась политикой, и не потому, что не разбиралась в ней, а потому, что не позволяла обществу вторгаться в свою работу и свое воображение. В то время в мире бушевали наполеоновские войны, а она создала свой собственный независимый мир, мир, который вы спустя двести лет в Исламской Республике Иран демонстрируете как вымышленный идеал демократии. Помните, как вы говорили, что первый шаг в борьбе с тиранией – заниматься своим делом и поступать по совести? – терпеливо продолжал он. – Вы говорили о пространстве, куда не проникнет тирания, о необходимости иметь личное пространство, пространство для творчества. Так создайте их, леди-профессор! Хватит ныть и заикливаться на действиях и словах Исламской Республики; сосредоточьтесь наконец на своей Остин.

Я знала, что он прав, хотя была слишком зла и сердилась на себя за то, что с ним соглашаюсь. Художественная литература не была панацеей, но предлагала нам критический метод оценки и осмысления мира, не только нашего собственного, но и другого мира, ставшего объектом наших желаний. Он был прав. Я не слушала, иначе вынуждена была бы признать, что мои девочки, как и миллионы наших сограждан, сами отказались от права быть счастливыми и тем самым создали пробоину в мире суровых фантазий Исламской Республики.

Когда он снова заговорил, его голос донесся словно издали сквозь туман.

– Когда вы рассказали об этом тайном кружке, я решил, что это хорошая идея отчасти потому, что кружок отвлек бы вас от политики. Но теперь я вижу, что произошло обратное – вы еще сильнее вовлеклись в политику.

Когда я рассказала ему о решении уйти из университета и создать тайную группу для занятий дома, он спросил: а как вы собираетесь выживать? Вы обрубите все общественные связи, преподавание – ваше последнее пристанище. Я сказала, что хочу преподавать литературу на дому лишь тем студентам, которые действительно любят литературу. Вы мне можете? Я-то помогу, ответил он, конечно, помогу, но вы знаете, что это значит? Что, спросила я? Что вы скоро нас покинете. Вы все сильнее замыкаетесь в себе. Постепенно отказались от всей общественной деятельности. Да, но у меня будет моя группа, возразила я. Эта группа будет собираться у вас дома, ответил он. Вы же говорили, что собираетесь написать новую книгу на персидском. А теперь у нас только и разговоров о том, что вы скажете на следующей конференции в США или Европе. Вы пишете для читателей. Но у меня есть вы, возразила я. Я плохой пример для подражания, ответил он. Вы используете меня как часть своего призрачного мира.

Когда мы расстались и я пошла домой, мое настроение изменилось. Я думала о новом романе, который планировала добавить в список чтения – «Декабрь декана» Сола Беллоу, где описаны трудности жизни и на Востоке, и на Западе⁹⁵. Мне стало стыдно, что я жаловалась волшебнику. Я так хотела, чтобы он изменил все здесь и сейчас, потер волшебную лампу и велел Стражам Революции исчезнуть вместе с мужем Азин и начальником Махшид. Я хотела, чтобы он положил конец всему этому, а он велел мне «не вовлекаться». Мне было стыдно, что я отказывалась его понимать и вела себя, как капризное дитя, бьющее кулачками любимого родителя.

Когда я пришла домой, солнце клонилось к закату и забирало с собой искры, рассыпанные на снегу. Войдя в квартиру, я обрадовалась, что в камине трещит огонь. В кресле, придвинутом ближе к огню, с умиротворенным видом сидел Биджан и держал в руках стаканчик с контрабандной водкой. Он читал «Долгое прощание». В окне виднелись заснеженные ветви деревьев и смутные очертания гор, что едва просматривались в дымке.

⁹⁵ Действие этого романа происходит в Чикаго и Бухаресте; герой, американский ученый, отправляется в Румынию со своей женой-румынкой.

8

– Они решили, что это очень современно, – насмешливо проговорила Ясси, растянувшись на своем обычном месте на диване. Она рассказывала о своем последнем приключении с «гостем мужского пола» – так она его назвала. На Ясси со всех сторон давили насчет замужества; все ее лучшие подруги и ближайшие кузины были замужем или помолвлены. – Наши семьи договорились, что мы с ним должны познакомиться, прежде чем они что-то решат. И вот мы пошли в парк и там должны были, видимо, близко познакомиться во время часовой прогулки, – проговорила она тем же насмешливым тоном, однако выражение ее лица указывало, что она искренне наслаждается происходящим.

– Итак, мы с ним идем впереди, сзади – мои родители, старшая сестра и две его сестры. Они притворяются, что говорят о всякой ерунде, и мне прекрасно их слышно; мы вдвоем делаем вид, что их не замечаем. Я расспрашиваю его о его специальности: машиностроение. Спрашиваю, что он сейчас читает. Читать ему некогда, отвечает он. У меня такое чувство, что он хочет посмотреть на меня, но не может. Дома у дяди, куда он пришел просить моей руки, он все время смотрит в пол, и я не могу даже толком его рассмотреть. Мы шагаем рядом и смотрим себе под ноги. А у меня в голове мысли безумные, например: а как жених поймет, что его невеста не лысая?

– Проще простого, – говорит Нассрин. – В прежние времена женщины из семьи жениха осматривали будущую невесту. Даже зубы смотрели.

– Слава Богу, у меня все зубы на месте. В общем, идем и идем, и вдруг мне приходит в голову блестящая идея: я ускоряю шаг, застав их всех врасплох. Они пытаются угнаться за мной, и тут я резко останавливаюсь, а они чуть в нас не врезаются. Он удивлен, но пытается это скрыть и подстраивается под мой темп. Я пытаюсь заглянуть ему в глаза, но напрасно. Вот что я думаю: если он поймет мою задумку и засмеется – дам ему шанс. Если нет, хватит с меня, даже время тратить на него не стану. Будь на его месте мой дядя – любой из них – он сразу включился бы в игру. – Она замолчала.

И что было дальше, спрашиваем мы? – А, – говорит она, точно очнувшись от забытья, – да ничего. – Ничего? – Нет, этот идиот даже не спросил, с чего я вдруг ускорила шаг. Просто из вежливости зашагал быстрее. Через некоторое время мне надоело, мы распрощались, потом я перестала отвечать на их расспросы, и они перестали звонить. Наверняка сейчас он счастливо женат на девушке, которая к тому же меня стройнее, – она весело взглянула на нас. Ясси любила смешные истории, даже если предметом насмешек была она сама.

У Ясси выдалась напряженная неделя – новый поклонник, дядин отъезд в Штаты. Когда ее дядя приезжал в Иран – а это случалось нечасто – у Ясси возникало много сомнений и вопросов, и потом еще несколько недель она испытывала смутное тревожное томление, хотя его причина была ей неясна. Она знала, что должна поехать в Америку, как в двенадцать лет знала, что должна продолжить играть на запрещенном музыкальном инструменте. Занятия музыкой, поступление в Тегеранский университет, на котором она настояла, этот кружок – все готовило ее к конечной цели: воссоединиться со своими дядями и вкусить наконец запретного плода, который вечно висел над жизнями ее матери и теток, манил, но оставался недоступным. Женщины в ее семье образованностью и умом не уступали мужчинам; им не хватало одного – свободы. У Ясси не было выбора, кроме как равняться на своих дядей – не то чтобы она мечтала стать во всем на них похожей, но ей хотелось иметь права, которые у мужчин, как ей казалось, забрать было невозможно.

Я не хотела, чтобы она выходила замуж. Я хотела, чтобы она прошла испытания и преодолела преграды. Шансы были не в ее пользу, начиная от возражений семьи – немыслимо, чтобы иранская девушка поехала учиться за границу – до огромных финансовых сложностей.

Кроме того, ей предстояло собственно поступить в американский колледж и получить визу. Я хотела, чтобы у нее все получилось, не только ради нее самой, но ради нас всех. Мне всегда хотелось, чтобы самые невероятные мечты сбывались.

«Гость мужского пола» в тот день наведлся не только к Ясси; Саназ тоже нашлось что рассказать. После неудачной помолвки Саназ пошла в разнос и стала ходить на свидания с разными поклонниками. Она рассказывала об инженере с американским образованием и грин-картой – символ высокого статуса в Иране; тот увидел ее на семейном портрете и по приезду в Тегеран отыскал и пригласил в швейцарский ресторан. Другой поклонник, богатый коммерсант, радовался мысли, что его жена будет образованной и красивой и обещал купить ей целую библиотеку, чтобы она никогда не выходила из дома. Таких историй было много. После фиаско с женихом Саназ надо было отвести душу.

– Учись на наших ошибках, – сказала Азин. – Зачем тебе замуж? – В ее голос вернулись кокетливые нотки. – Не принимай поклонников всерьез – просто ходи по ресторанам и веселись.

Пытаясь помочь Азин, моя подруга-адвокат столкнулась с большими сложностями. Сначала Азин жаждала развода. Но через десять дней пришла в контору моей подруги с мужем, свекровью и золовкой и заявила, что шанс на примирение есть. Впрочем, вскоре после этого она вломила в контору без предупреждения вся в синяках, заявила, что муж снова ее избил, забрал ее маленькую дочку и отвез в дом свекрови. Вечером он уже стоял на коленях у ее кровати, плакал и умолял ее не бросать его. Когда я упомянула об этом Азин, та снова расплакалась и сказала, что если она с ним разведется, он заберет у нее ребенка. Дочка для нее все, а вы же знаете суды, опеку всегда присуждают отцу. А он хочет забрать ребенка лишь с одной целью – насолить ей, Азин. Он никогда не будет заниматься воспитанием дочери, скорее всего, отправит ее к свекрови, и дело с концом. Азин подала на канадскую визу, но даже если бы ее заявку одобрили, без разрешения мужа она не могла выехать из страны. Без разрешения мужа я могу только покончить с собой, в отчаянии заключила она.

Манна поддерживала Азин, хотя ей трудно было в этом признаться.

– На твоём месте я бы как можно скорее сбежала из страны, – посоветовала она Саназ. – Не оставайся здесь и не выходи ни за кого, кто планирует здесь остаться. Ты тут сгниешь.

Махшид взглянула на нее с укором.

– Это же наша родина, – произнесла она, выпятив губы. – Мы столько можем для нее сделать.

– Да ничего мы не можем – ничего! – уверенно и безапелляционно провозгласила Манна.

– Ты можешь писать, а вы – преподавать, – возразила Махшид и коротко взглянула на меня. – Нам нужны хорошие критики. И хорошие учителя.

– Да, – сказала Манна, – хорошие учителя вроде профессора Нафиси. Она работала не покладая рук столько лет, и что? На днях Нима сказал, что даже уличные торговцы больше зарабатывают; стоило ли тратить столько лет и учиться на магистра английской литературы?

– Если все уедут, – сказала Махшид, упершись взглядом в пол, – кто построит в нашей стране что-то стоящее? Как можно быть такими безответственными?

Я спрашивала себя об этом днем и ночью. Мне и Биджан говорил: не могут все взять и уехать из страны, это наш дом. Мир огромен, сказал волшебник, когда я пришла к нему со своими печалью. Вы можете писать и преподавать в любой точке мира. Там вас будут и больше читать, и лучше слышать. Так уезжать или нет? В конечном итоге это очень личное решение, рассудил волшебник. Я всегда восхищался честностью вашего бывшего коллеги, сказал он. Какого бывшего коллеги, спросила я? Доктора А. – тот сказал, что уезжает по одной причине: чтобы спокойно пить пиво. Надоели уже эти лжепатриоты, которые все свои личные изъезы и желания прикрывают патриотическим пылом. Они остаются в стране, потому что им больше нигде не прожить; за границей они уже не будут большими шишками, как здесь, а сколько

разговоров о «жертве ради родины»! Те же, кто уехал, утверждают, что сделали это, чтобы издалека критиковать и разоблачать режим. Зачем эти отговорки?

В чем-то он был прав, но все было сложнее. Например, я знала, что Биджан хотел остаться в Иране не просто потому, что в Штатах он не нашел бы работу и чувствовал бы себя чужим – вся его семья жила в Америке, да и он сам прожил там больше лет, чем в Иране. Я хочу остаться, потому что люблю эту страну, сказал он мне. Мы должны остаться в знак сопротивления, показать им, что нас не перехитрить. Само наше присутствие здесь – ложка дегтя в их бочке меда. В какой еще стране мира лекция о «Госпоже Бовари» собирает такие толпы и почти провоцирует бунт? Нельзя просто сдать и уехать; мы нужны здесь. Я люблю эту страну, повторил он. А я разве не люблю, спросила я себя?

Биджан с тобой согласен, сказала я Махшид. Его держит здесь идея дома. Он создал этот дом, в буквальном смысле построил эту квартиру своими руками, как и наш домик в горах; он придумал связанные с ними ритуалы вроде просмотра Би-би-си и барбекю с друзьями. Разрушить этот мир, уехать и собрать заново в другом месте намного сложнее. Полагаю, каждый из нас должен сделать выбор с оглядкой на свои возможности и ограничения; произнося эти слова, я понимала, что для них они звучали бессмысленно.

– Лучший повод для переезда в Америку – у меня, – сказала веселушка Ясси. – Потому что я толстушка. Говорят, толстущек в Америке никто не обижает, а американские мужчины любят пухленьких.

– Смотря каких, – заметила Митра и легонько ткнула Ясси в бок. У Митры с ее очаровательными ямочками и большими карими глазами, разумеется, проблем не возникло бы ни в одной стране мира. Они с Хамидом решили поехать на неделю в Сирию, где им предстояло пройти собеседование на получение канадского гражданства – в Иране Канада заявки на эмиграцию не принимала. При этом Митра все еще сомневалась, уезжать или оставаться.

– Здесь, в Иране, мы знаем, кто мы, – неуверенно произнесла она. – Здесь мы можем чего-то в жизни добиться. А там – неизвестно, что там с нами будет.

– Испытание свободой, – задумчиво проговорила Нассрин, цитируя мою любимую строку из Беллоу⁹⁶.

И только Махшид молчала. Я знала, что из всех девочек она одна не сомневается, чего хочет от жизни. Она не хотела замуж. Несмотря на свои традиционные воззрения и моральные императивы, Махшид не была настроена на брак так, как, к примеру, Саназ. Она не одобряла режим, но ее проблемы были скорее практического, чем экзистенциального толка. Она давно не надеялась выйти за идеального мужчину, не питала иллюзий, что ей удастся выжить за границей, и потому посвятила всю себя работе. Сейчас ее главной проблемой были глупость и невежество ее начальства; ее профессиональные заслуги вызывали у них что-то вроде зависти, а политическое прошлое ей припоминали при каждом удобном случае.

Я переживала за Махшид и одинокий путь, который она выбрала. Переживала я и за Ясси и ее неумные фантазии о волшебной стране, где жили ее дяди. Я волновалась за Саназ и ее разбитое сердце, за Нассрин и ее воспоминания, за Азин. Я волновалась за них всех, но сильнее всего тревожилась за Манну. У нее был честный и требовательный ум, а люди, наделенные таким умом, обычно очень к себе строги. В текущей ситуации ее уязвляло абсолютно все, начиная с того, что они с мужем до сих пор зависели от родителей финансово, и заканчивая плачевным состоянием иранской интеллигенции и повседневной жестокостью исламского режима. Нима разделял ее чувства и устремления и способствовал ее добровольной изоляции. В отличие от Ясси, Манна упорно отказывалась как-то менять ситуацию. Осознание, что ее таланты пропадут впустую, приносило ей почти злорадное удовлетворение. Как мой волшеб-

⁹⁶ Беллоу писал, что для людей Востока главное испытание – тоталитаризм, для людей Запада – испытание свободой.

ник, она решила быть критичнее к себе, а не критиковать весь мир. Манна и волшебник винили себя за то, что их жизнями стали управлять люди гораздо более невежественные, чем они сами.

– Почему мы все время говорим о браке, когда должны говорить о литературе? – спросила Митра.

– Нам Нахви не хватает, – смеясь, сказала я, – он бы напомнил, какие мы легкомысленные – читаем Остин и обсуждаем женихов. – Время от времени мы вспоминали Нахви в его пыльном костюме и рубашке, застегнутой на все пуговицы, Нахви с его курчавыми волосами и коровьим взглядом. Он становился объектом наших насмешек. Нахви заслужил мое вечное презрение, заявив, что все легкомысленные профурсетки из романов Остин в подметки не годятся героине «Матери» Горького.

9

Ольга молчала.

– О, – сказал Владимир, – почему ты не можешь любить меня так же, как я люблю тебя?

– Я люблю мою Родину! – ответила она.

– Я тоже! – воскликнул он.

– Но есть что-то, что я люблю еще больше, – продолжала Ольга, высвобождаясь из его объятий.

– И это?.. – поинтересовался он.

Ольга взглянула на него ясными голубыми глазами и быстро ответила: «Партия»⁹⁷.

Все великие романы, которые мы читаем, бросают вызов правящей идеологии. Они становятся потенциальной угрозой и опасностью не столько из-за того, что в них написано, сколько из-за того, *как* они написаны, из-за того, как они интерпретируют реальность и вымысел. В романах Джейн Остин это особенно очевидно.

В Университете Алламе Табатабаи я уделяла очень много времени сравнению Флобера, Остин и Джеймса и идеологической литературы – «Матери» Горького, «Тихого Дона» Шолохова и литературы так называемого «иранского реализма». Отрывок в начале этой главы, процитированный Набоковым в его «Лекциях по русской литературе», порядком развеселил моих студентов на лекции в Университете Алламе. Что происходит, спросила я их, когда мы лишаем героев даже намека на индивидуальность? Кто более человечен – Эмма Бовари или Ольга с ее ясными голубыми глазами?

Однажды после занятий Нахви проводил меня до кабинета. Он пытался втолковать мне, что Остин не просто антимусульманская писательница, она виновна и в другом грехе – она писательница колониальная. Я удивилась, услышав такие речи из уст того, кто до сих пор по большей части лишь цитировал Коран, причем неправильно. Нахви заявил, что в «Мэнсфилд-парке» одобряется рабство, и даже на Западе люди поняли, что рабство – это нехорошо. Я оторопела: я-то была почти уверена, что «Мэнсфилд-парк» Нахви не читал.

Лишь потом, поехав в США, я поняла, откуда Нахви нахватался таких идей – из книги Эдварда Саида «Культура и империализм». Я купила эту книгу, и мне показалось забавным, что мусульманский фундаменталист цитировал Саида, выступая против Остин. Меня также забавляло, что самые жесткие иранские реакционеры идентифицировали себя с трудами и теориями, которые на Западе считались революционными, и брали их на вооружение.

Нахви проследовал за мной до самого моего кабинета, рассыпаясь в перлах мудрости. Он редко высказывался в классе и обычно молчал с невозмутимым и отстраненным выражением лица; всем своим видом он показывал, что делает нам одолжение, согласившись присутствовать на лекции. Нахви был одним из немногих студентов, в ком я так и не смогла отыскать ничего хорошего. Была бы я Элизой Беннет, назвала бы его «неблагоразумным человеком». Однажды после особенно изнурительного спора я сказала ему – Нахви, хочу напомнить вам кое о чем: я не сравниваю вас с Элизабет Беннет. В вас нет ни капли от нее, будьте покойны; вы как мышь и человек, ничего общего. Но помните, как Элизабет одержима Дарси, как она постоянно пытается выискать в нем изъян и каждого нового знакомого подвергает почти что перекрестному допросу, чтобы подтвердить свое нелицеприятное о нем мнение? Помните, как

⁹⁷ Отрывок из романа «Большое сердце» советского писателя Сергея Антонова (1957), упомянутый в набоковских «Лекциях по русской литературе».

она относится к Уикхему? Ее симпатия к нему – не следствие искренних чувств, а следствие антипатии к Дарси. А теперь посмотрите, как вы говорите о странах, которые называете коллективным «Западом». Вы не смеете говорить о Западе без эпитетов – он у вас всегда упаднический, прогнивший, порочный, империалистический. Будьте осторожны, помните, чем это кончилось для Элизабет!

Я до сих пор помню выражение его лица, когда я это сказала; в кои-то веки я воспользовалась своей учительской привилегией, и последнее слово осталось за мной.

Нахви пользовался в университете большим влиянием и однажды донес на Нассрин в дисциплинарный комитет. Его орлиный глаз заметил, как она бежала по лестнице, опаздывая на занятия. Нассрин поначалу отказалась подписать бумагу, в которой обещала больше никогда не бегать по территории университета, даже когда будет опаздывать на занятия. Но в конце концов согласилась – ее уговорила госпожа Резван, рассудив, что из-за упрямства не стоит рисковать исключением из университета.

Когда мы вспоминали Нахви, я заметила, что Митра и Саназ шептались и хихикали. Я спросила, что смешного, и Саназ убедила покрасневшую Митру рассказать ее историю. Та призналась, что они с подругами прозвали Нахви мистером Коллинзом Университета Табатабаи в честь напыщенного священника из романа Остин.

Однажды вечером после занятий Нахви вдруг возник перед Митрой. Он не казался таким... «Грозным, как обычно?» – подсказала Ясси. «Назидательным? Напыщенным? Нудным?» – продолжала угадывать Ясси. Нет. В общем, Нахви был сам на себя не похож. Он протянул Митре конверт; от его надменности не осталось и следа, он нервничал. Саназ толкнула Митру в бок, чтобы та описала конверт. Тот был «отвратительного голубого цвета», сказала она, и вонял. Вонял? Ну да, вонял дешевыми духами или розовой водой.

В конверте Митра обнаружила письмо – одну страницу на бумаге того же ужасного цвета с тем же ужасным запахом; письмо было написано безупречным почерком черными чернилами.

– Скажи им, как начиналось письмо, – подначивала ее Саназ.

– Ну, письмо начиналось со слов... – Митра замялась, словно подыскивая слова.

– *Мой золотой нарцисс!* – воскликнула Саназ и расхохоталась.

Серьезно? *Мой золотой нарцисс*? Ага, и дальше он клялся в вечной любви к Митре, чей каждый шаг и каждое слово навек запечатлелись в его уме и сердце. Мол, ничто, никакая сила на Земле не влияла на него так, как ее улыбка, которая, он надеялся, предназначалась ему и только ему. И так далее и тому подобное.

Как же поступила Митра, хором спросили мы? Саназ напомнила, что все это произошло, когда Хамид уже ухаживал за Митрой; они хранили это в строжайшем секрете. На следующий день Нахви выскочил откуда ни возьмись и подстерег ее на улице; она пыталась объяснить, почему не может ответить ему взаимностью. Он философски покивал и ушел, а через два дня появился снова. Она припарковалась в переулке рядом с университетом и открывала дверь своей маленькой машины, а он подошел со спины. «Как смертная тень», – зловеще прокомментировала Нассрин. Обернувшись, Митра увидела Нахви – волнистые волосы, коровьи глаза, торчащие уши; тот держал в руках книгу, книгу стихов поэта э.э. каммингса⁹⁸. Меж страниц виднелся еще один голубой конверт. Не успела Митра возразить, как он сунул ей книгу и исчез.

– Скажи доктору Нафиси, что он написал, – сказала Саназ. – Ей будет приятно узнать, что ее лекции не прошли даром для Нахви! – В конверте лежало письмо, адресованное «Моей застенчивой розе». А еще? Еще он переписал стихотворение, которое вы с нами анализировали на курсе «Введение в литературу».

где-то, где никогда не бывал, даже сверх охотно

⁹⁸ Каммингс нарочно писал свои инициалы и фамилию с маленькой буквы.

*любого познания, твои глаза обладают безмолвием:
в жесте легчайшем твоём – всё, что меня заточает,
чего невозможно коснуться, ибо слишком близко оно
твой малейший взгляд открывает меня без труда
хоть и как пальцы я сжал себя,
за лепестком лепесток, раскрываешь меня, как раскрывает Весна
(касаясь умело, загадочно) свою первую розу
а пожелаешь закрыть меня, я и
жизнь моя – мы красиво захлопнемся, вдруг,
как когда сердцевина цветка представляет
снег, сверху падающий осторожно
из постижимого в нашем мире не сравнимо ничто
с мощью хрупкости твоей колоссальной: чьё сложение
подчиняет цветом своих государств меня,
смерть и вечность с каждым вздохом рисуя
(не пойму, что такое в тебе что тебя закрывает
и раскрывает; только что-то во мне понимает
голос глаз твоих глубже всех роз вокруг)
ни у кого, у дождя даже, нет таких крохотных рук⁹⁹*

Да так всю охоту преподавать поэзию отбить можно, сказала я, заразившись шутливым настроением девочек.

– Отныне включайте в программу только мрачные стихи вроде «Чайльд-Гарольда» или «Поэмы о старом моряке»¹⁰⁰, – предложила Махшид.

В этот раз Митра решила, что требуются более радикальные меры, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Посоветовавшись с друзьями, она пришла к выводу, что прямой отказ в случае со столь влиятельным человеком, как Нахви, может навлечь на нее неприятности. Лучше солгать ему, но убедительно, что поставит его в невозможное положение.

Когда их пути в очередной раз пересеклись, Митра набралась храбрости и положила конец ухаживаниям Нахви. Краснея и запинаясь, она сообщила, что стеснялась раскрыть истинную причину своего отказа – она была помолвлена и должна была выйти замуж за дальнего родственника. У того была влиятельная и очень традиционная семья, и она боялась их реакции, случись им узнать о признаниях Нахви. Юноша на долю секунды замялся, словно прирос к земле, потом отвернулся без лишних слов и оставил Митру, все еще слегка дрожащую от волнения, посреди широкой улицы.

⁹⁹ Перевод стихотворения Н. Семонифф.

¹⁰⁰ Поэма Сэмюэла Кольриджа.

10

В последний Новый год перед отъездом госпожи Резван из Тегерана она купила мне три маленьких заколки. Такими заколками многие женщины крепили платки, чтобы те не соскальзывали. Я так и не научилась нормально носить платок. Это был наш с Резван ритуал: перед публичными выступлениями или лекциями она проверяла, не сполз ли мой платок и хорошо ли держится на месте. Она сказала: дорогая моя Нафиси, жаль, что на память обо мне тебе останется такой подарок, но я за тебя тревожусь. Обещай, что будешь носить эти заколки, когда я уеду. Хочу, чтобы к моему возвращению ты все еще была здесь.

Госпожа Резван готовилась ехать в Канаду. Наконец, спустя годы труда, она получила заветную стипендию и поступала в аспирантуру. Она мечтала об этом много лет, но сейчас, когда момент наконец настал, от тревоги не могла им насладиться. Она постоянно нервничала, боялась, что у нее ничего не получится, переживала, что не готова взять на себя такую задачу. Я же радовалась, что она уезжала: радовалась и за нее, и за себя. Ее отъезд почти принес облегчение.

Резван казалась мне чересчур амбициозной; я чувствовала, что она использует меня и подобных мне людей для достижения своих целей. Потом я узнала, что амбициями все не ограничивалось. Она не просто стремилась продвинуться и стать завкафедрой, хотя об этом тоже думала. Ей хотелось стать видным персонажем в мире литературы, однако ей не хватало таланта, а тяга к власти и контролю порой превосходила и даже противоречила любви к литературе. Она вызывала у меня очень неоднозначные чувства. Я всегда понимала, что она недоговаривает, что вот-вот да скажет о себе что-то важное, что откроет мне ее истинную суть. Возможно, мне надо было расспросить ее, проявить любопытство. Возможно, если бы я не придавала такого значения ее вмешательству в мою жизнь и требованиям, я бы больше увидела.

В конце лета 1990 года впервые за одиннадцать лет мы с семьей поехали в отпуск на Кипр и встретились с сестрами Биджана, которые никогда не видели наших детей. Мне много лет не разрешали выезжать из страны, а когда наконец разрешили, меня словно парализовало; я не могла себя заставить обратиться за паспортом. Если бы не терпение и настойчивость Биджана, я бы никогда не получила этот паспорт, но в конце концов я это сделала, и мы выехали без всяких проблем. Мы остановились у приятельницы, бывшей студентки госпожи Резван. Она сказала, что госпожа Резван справлялась у нее обо мне, моей работе и семье.

Позже, когда мы вернулись домой, она сказала, что в день нашего отъезда, может быть, даже на том же самолете, на котором мы потом улетели в Тегеран, Резван прилетела на Кипр в отпуск. Она была одна. Позвонила моей подруге, справилась обо мне, и та ответила, что я только что уехала. Подруга рассказала, что Резван попросила отвезти ее во все те же самые места, где мы побывали, пока я была на Кипре. Она спрашивала, что я там делала, куда ходила. Однажды они пошли на пляж, куда мы ходили купаться.

Госпожа Резван стеснялась. Она не хотела раздеваться и оставаться в купальнике, а когда все-таки разделась, попросила подругу отвести ее в пустынную часть пляжа, где ее никто бы не увидел. Она забежала в воду, но вскоре вышла и сказала, что хотя она старается, у нее не получается привыкнуть разгуливать в одном купальнике.

Уехав из Ирана, Резван пропала из моей жизни. Она исчезла совсем, и это ощущалось особенно остро, учитывая, что прежде она вмешивалась в мою жизнь довольно навязчиво. Она не писала писем, а когда приезжала в Иран, не звонила; все новости о ней я узнавала через секретаря отделения английского языка. Дважды она просила продлить ей срок пребывания в Канаде, чтобы дописать диссертацию. Иногда я вспоминала Резван, когда шла по коридору или проходила мимо ее кабинета; ее отсутствие вызывало и облегчение, и грусть.

Через несколько месяцев после приезда в Америку я услышала, что у нее рак. Я ей позвонила; ее не оказалось дома. Потом она перезвонила. В ее голосе слышалась та же любезность и теплота, что в Тегеране. Она расспросила про наших общих студентов, про мою работу. А потом впервые за все время открылась и стала рассказывать про себя. Она не могла больше писать из-за сильной боли, постоянной слабости и усталости. Ей помогала старшая дочь. Она по-прежнему мечтала о будущем, надеялась на лучшее. Открытость чувствовалась даже не в содержании ее рассказа, а в том, как она говорила, в тоне ее голоса, заставлявшего поверить в ее простое признание своей слабости, неспособности писать, зависимости от дочери. Последний курс лечения внушал оптимизм, хотя рак дал много метастаз. Она спросила меня о работе. Я не стала говорить, что здорова, пишу книгу и в целом живу в свое удовольствие.

То был последний раз, когда я с ней разговаривала; вскоре она совсем заболела и уже не могла говорить по телефону. А я постоянно думала о ней, и эти мысли почти превратились в одержимость. Как несправедлива жизнь, думала я; Резван была так близка к цели, и тут рак. Я не хотела говорить с ней и напоминать, что мне снова повезло больше – мне пожаловали дополнительное время на этой Земле, а у нее его несправедливо отняли.

Вскоре после нашего последнего разговора она умерла. Но продолжала вмешиваться в мою жизнь, только теперь уже по-другому. Я иногда воскрешаю и воссоздаю ее в своем воображении. Пытаюсь осмыслить невысказанные чувства и эмоции, повисшие между нами. Она идет мне навстречу в дрожащем свете керосиновой лампы, как в нашу первую встречу, лукаво смотрит на меня искоса и проходит мимо, оставляя меня наедине со своими сомнениями и сожалениями.

11

Весной 1996 года, в начале марта, я впервые заметила преображение Нассрин. Однажды она пришла на занятия, одетая иначе – на ней не было ее обычной накидки и платка. Махшид и Ясси носили платки разных цветов и снимали их сразу, перешагнув порог квартиры. Но Нассрин всегда одевалась одинаково и позволяла себе разнообразить лишь цвет накидки: та была или темно-синей, или черной, или темно-коричневой.

В тот день она пришла позже обычного и как ни в чем ни бывало сняла пальто. Под ним обнаружилась светло-голубая рубашка, темно-синий жакет и джинсы. Свои мягкие черные волосы она заплела в косу и перекинула ее на сторону, взмахнув головой. Манна и Ясси переглянулись, а Азин сделала ей комплимент и сказала, что она хорошо выглядит; наверно, поменяла прическу. Ясси насмешливо произнесла: ты выглядишь такой... такой бесстрашной! Ты выглядишь божественно. К концу занятия мне уже казалось, что Нассрин так одевалась всегда; я не могла представить другую Нассрин.

Когда она ходила в чадре или платке, ее походка была гордой; она двигалась так же, как делала все остальное – с легкой нервозностью, но уверенно. Теперь, без платка, она сутулилась, словно пыталась что-то скрыть. На середине обсуждения героинь Остин я поняла, что она скрывала. Чадра маскировала ее пышную сексуальную фигуру. Мне пришлось сдерживаться, чтобы не приказать ей опустить руки и перестать прикрывать грудь. Теперь, когда на ней не было чадры, я поняла, что та была для нее предлогом скрыть то, от чего она пыталась откреститься, прежде всего потому, что искренне недоумевала, что с этим делать. Походка ее стала неуклюжей, как у малыша, делающего первые шаги, как будто она в любой момент могла упасть.

Через несколько недель она задержалась после занятия и попросила разрешения поговорить со мной наедине. Я пригласила ее домой, но она вдруг стала очень чопорной и спросила, можем ли мы встретиться в кофейне, куда любила ходить и я, и мои студентки. Вспоминая то время, я понимаю, что девочки делились со мной самыми сокровенными историями и признаниями именно в публичных местах: в моем кабинете, в кафе, в такси и на прогулках по петляющим улицам вокруг моего дома.

Когда я вошла, Нассрин сидела за маленьким деревянным столиком, на котором стояла ваза с кроваво-красными гвоздиками. Мы сделали заказ: Нассрин взяла ванильное и шоколадное мороженое, я – кофе-глясе. Оказалось, Нассрин позвала меня, чтобы официально заявить: у нее есть парень. А я его знаю, спросила я? Она безжалостно пронзила ложечкой мороженое. Нет, не знаете. То есть – она замялась – возможно, вы его видели. Он вас точно знает. Мы давно знакомы, продолжала она, словно признаваясь в чем-то постыдном. Уже два года, вздохнула она, но вместе мы пару месяцев.

Меня это известие поразило. Я попыталась скрыть изумление, подыскивала подходящие слова, но Нассрин видела все мои ухищрения насквозь. Я давно хотела вас познакомить, сказала она, но не знала, как. А потом испугалась. Чего, спросила я? Он что, такой страшный, попыталась пошутить я? Нет, я испугалась, что он вам не понравится, ответила она, размешивая тающее мороженое ложечкой и рисуя завитки шоколадным на белом. Нассрин, ответила я, а он и не должен мне нравиться. Главное, чтобы он нравился тебе.

Мне стало ее жалко. Она влюбилась, это должно было быть лучшее время в ее жизни, но она из-за всего нервничала. Разумеется, ей приходилось лгать отцу – она снова соврала, что занимается переводами, якобы их стало больше. Она жила в параллельных мирах, и их было слишком много: так называемый «реальный мир» семьи, работы и общества; тайный мир наших занятий и ее свиданий с молодым человеком, и мир, который она сама сплела из лжи. Я не понимала, чего она хотела от меня. Должна ли я взять на себя роль матери и рассказать

ей о жизни? Или проявить больше любопытства и подробнее расспросить об этом юноше и их отношениях? Я подождала, не без усилия отвела взгляд от гипнотизирующей меня алой гвоздики и сфокусировала его на Нассрин.

– Если вы посмеетесь надо мной, я вас винить не стану, – с несчастным видом произнесла она, размешивая ложечкой лужу растаявшего мороженого.

– Нассрин, я никогда не стану над тобой смеяться, – возразила я, – и зачем мне это? Я очень за тебя рада.

– Это просто смешно, – сказала она, не обратив внимания на мои слова и продолжая цепочку своих размышлений. – Когда моей матери было столько лет, сколько мне, у нее уже был взрослый ребенок. Вы уже преподавали в университете, а я веду себя как десятилетняя девчонка! Вот что надо обсуждать на занятиях!

– Что ты ведешь себя как десятилетняя девчонка? – попыталась пошутить я в неловкой попытке улучшить ей настроение.

– Нет, нет... – Она опустила ложку. – То, что мы – девушки вроде меня, прочитавшие Остин, Набокова и прочих, девушки, которые рассуждают о Деррида, Барте¹⁰¹ и ситуации в мире, – на самом деле мы не знаем ничего, ничегошеньки об отношениях мужчин и женщин, о том, что это значит – встречаться с мужчиной. Моя двенадцатилетняя племянница наверняка знает об этом больше меня; наверняка у нее было больше парней, чем у меня! – Она сердилась, сцепляла и расцепляла пальцы.

В каком-то смысле она была права, и я ощутила нежность и желание защитить ее за то, что она осмелилась заговорить об этом. Нассрин, ответила я, нет никаких женщин, умудренных опытом в этих делах, что бы ты там себе ни думала. Начиная общение с каждым новым мужчиной, я всегда начинаю с нуля. Это происходит на уровне инстинктов. Тебе лишь нужно научиться отбрасывать все, что тебя сдерживает, и вернуться в детство, когда ты играла в шарики с мальчишками и это получалось совершенно естественно.

Нассрин не ответила. Она теребила лепестки восковых цветов, поглаживала их скользкую поверхность.

– Знаешь, – сказала я, – мой первый муж... Да, я была замужем до того, как встретила Биджана – вышла, едва мне исполнилось восемнадцать. Знаешь, почему он на мне женился? Сказал, что ему нравилась моя невинность – я не знала, что такое французский поцелуй. Я родилась и выросла в либеральную эпоху, воспитывалась в либеральной семье – родители отправили меня учиться за границу, едва мне исполнилось тринадцать. И что из этого вышло? Я выскочила замуж за мужчину, которого в глубине души презирала, за того, кто хотел жениться на благонравной девственнице и, к сожалению, выбрал меня. У него было много девушек, и когда я поехала с ним в Оклахому, где он учился в колледже, его друзья удивились, потому что до того самого дня, когда он вернулся в Иран на лето, он жил с американкой и называл ее своей женой. Так что не расстраивайся. Отношения мужчин и женщин – это сложно.

– Но ты счастлива? – озабоченно спросила я. Она надолго замолчала, а я взяла вазу и отодвинула ее к стенке.

– Не знаю, – наконец ответила она. – Меня никогда не учили быть счастливой. Нам внушали, что удовольствие – великий грех, секс нужен только для продолжения рода, и так далее. Я чувствую себя виноватой, но не должна – не должна испытывать угрызения совести, потому что увлечена мужчиной! Увлечена мужчиной в моем-то возрасте! – повторила она. – Проблема в том, что я не знаю, чего хочу, и не уверена, правильно ли поступаю. Мне всегда указывали, что правильно, а что нет, но я вдруг поняла, что ни в чем уже не уверена. Я точно знаю, чего *не* хочу, а вот чего хочу – не имею понятия, – заключила она, глядя на мороженое, к которому почти не притронулась.

¹⁰¹ Имеются в виду Жак Деррида и Ролан Барт – французские философы.

– Что ж, тут я тебе не советчик, – сказала я. Я потянулась через стол, хотела коснуться ее руки и утешить ее, но не смогла. Не осмелилась. Она казалась такой далекой и глубоко ушла в себя. – Я всегда буду рядом и поддержу тебя, но если ты просишь моего совета, я не могу тебе помочь – ты должна сама найти ответ. – Просто радуйся, взмолилась я про себя. Разве можно влюбиться и не позволять себе хоть немного порадоваться?

Молодого человека Нассрин звали Рамин. Я несколько раз его видела – в первый раз на презентации моей книги о Набокове. Он был магистром философии и преподавал в университете на полставки. Они с Нассрин познакомились на конференции; он выступал с докладом, и после конференции они разговорились. Мне хотелось спросить, была ли это любовь с первого взгляда, сколько времени прошло, прежде чем они признались друг другу в своих чувствах. Целовались ли они? Мне хотелось выяснить все эти подробности, но я, разумеется, спрашивать не стала.

Когда мы выходили из кафе, Нассрин неуверенно произнесла: а вы согласитесь сходить с нами на концерт? Какой концерт, спросила я? Выступают студенты Рамина. Мы можем достать билеты для вас и вашей семьи.

12

«Концерт» надо было бы поставить в кавычки: в Иране подобные культурные мероприятия являлись пародией на настоящие концерты и проходили или на дому, или в культурном центре, недавно построенном муниципалитетом на юге Тегерана. Концерты были предметом ожесточенных споров: их проводили с соблюдением многочисленных ограничений, но несмотря на это, в правительстве многие считали их порочной практикой. За ними пристально следили и разрешали выступать в основном самодеятельным коллективам вроде того, который мы пришли послушать тем вечером. Но зал всегда был полон, билеты распроданы, а сам концерт неизменно начинался с опозданием.

Биджан не хотел идти. Он предпочитал слушать хорошую музыку дома в уютной и приватной обстановке, а не мучить слух посредственными живыми выступлениями, которые неизменно сопровождались длинными речами и оскорблениями в адрес пришедших. Но в конце концов дети заразили его своим энтузиазмом, да и я его уговорила. После революции почти все публичные мероприятия – кино, концерты, дружеские посиделки в кафе и ресторанах – переместились в дома и квартиры. Выбираться из дома было приятно всегда, даже на такие несурзные мероприятия.

Мы встретились у входа. Нассрин нервничала, а Рамин стеснялся. Он был высоким и худощавым, на вид тридцати с небольшим лет, похож на вечного студента-аспиранта: красивый начитанный мальчик. Я помнила его уверенным и разговорчивым, но сейчас, когда его представили нам в новой роли, он словно лишился своего обычного красноречия и желания говорить. Я поблагодарила его за приглашение, и мы встали в длинную очередь, состоявшую в основном из молодых мужчин и женщин. Нассрин занялась детьми, а я внезапно оробела и стала расспрашивать Рамина о его занятиях. Лишь Биджан не ощущал неловкости момента. Он пожертвовал своим комфортом, покинув свой уютный дом в будний вечер, и не считал себя обязанным общаться.

Когда мы наконец вошли в зал, там было полно людей: они сидели в проходах на полу и стояли, прижавшись к стене. Мы были почетными гостями, нам достались билеты во втором ряду и сидячие места. Концерт начался с опозданием. Нас поприветствовал мужчина, который добрых пятнадцать-двадцать минут оскорблял собравшихся, заявляя, что руководство культурного центра не намерено развлекать «богатых империалистов», зараженных упаднической западной культурой. Это вызвало улыбку на лицах зрителей, которые тем вечером пришли послушать песни группы «Джипси кингз»¹⁰². Выступавший также предупредил, что если кто-либо из собравшихся будет вести себя «не по-мусульмански», их выставят из зала. Он напомнил женщинам о необходимости соблюдать правила ношения платка.

Очень трудно описать, что творилось на этом концерте. Группа, состоявшая из четырех молодых иранцев – ни одного профессионального музыканта среди них не было – развлекала нас каверами хитов «Джипси кингз». Вот только петь было запрещено; можно было только играть на музыкальных инструментах. Нельзя было также демонстрировать энтузиазм по поводу происходящего – мусульманам не подобало проявлять эмоции. Сидя там, в набитом битком зрительном зале, я решила, что смогу воспринимать все происходящее как развлечение, только если представлю себя сторонним наблюдателем, пришедшим сюда не веселиться, а писать репортаж о том, как выглядит культурный досуг в Исламской Республике Иран.

Но несмотря на эти ограничения и качество выступления, нигде в мире наши молодые музыканты не нашли бы столь восприимчивую аудиторию, которая прощала им все их огрехи и была так благодарна возможности послушать их музыку. Когда зрители, особенно молодые

¹⁰² «Цыганские короли».

и необязательно богатые, начинали двигаться или хлопать в ладоши, двое мужчин в костюмах, стоявшие по обе стороны от сцены, подавали им знак – мол, прекращайте хлопать, подпевать и танцевать под музыку. Даже когда мы пытались просто слушать музыку и не думать об этих акробатах, они умудрялись маячить у нас перед глазами и всегда были начеку, в любой момент готовые сорваться с места и вмешаться. Как всегда, мы были виноваты.

Музыканты играли с серьезными лицами. Исполнять музыку совсем без эмоций невозможно, поэтому они изобразили скорбные мины. Соло-гитарист, казалось, сердился на зрителей; он хмурился, пытаясь не двигаться – задача непростая, учитывая, что исполнял он «Джипси кингз».

Биджан предложил уйти пораньше, не то нас затопчет толпа; поскольку во время концерта зрителям запрещали выражать эмоции, они могли отыграться и выместить накопившееся, затоптав своих соседей. Мы вышли на улицу и несколько минут постояли у входа. Биджан, обычно неразговорчивый, был очень тронут увиденным.

– Жалко этих ребят, – сказал он. – Талант у них, безусловно, имеется, но качество их исполнения никого не интересует – и никогда не будет интересовать. Режим критикует их за упадничество и прозападные наклонности, а зрители даже не думают критиковать, только хвалят – и не потому, что они играют хорошо, а потому, что играют запрещенную музыку. И как в таких условиях научиться играть? – добавил он, обращаясь к нам всем.

– Ты прав, – ответила я, ощутив необходимость заполнить последовавшую паузу. – Никого здесь не будут оценивать по достоинству. И те, кто ничего не смыслит в музыке, будут выступать и называть себя музыкантами. – Нассрин насупилась; Рамин притих и, кажется, обиделся. Я поразились этой метаморфозе и решила не усугублять его смущение и не просить его ответить.

Нассрин вдруг оживилась. – Набоков не стал бы это терпеть, – взволнованно проговорила она. – Взгляните на нас – мы смешные и жалкие, раз считаем это за развлечение. – Она размахивала руками и тараторила, пытаясь скрыть неловкость за нервной тирадой. – Набокову бы было о чем писать, окажись он здесь – это же такая пошлость!

– Что? – спросила Негар, которой понравилась не столько музыка, сколько вечер вне дома.

– Пошлость, – повторила Нассрин и вопреки себе продолжать не стала.

13

Рассеянно расставляя тарелки перед ужином, я бурчала себе под нос. Биджан повернулся ко мне и спросил: ты чем недовольна? Тебя это вряд ли заинтересует, ответила я без надобности резко. А вдруг, ответил он. Хорошо, я думала о менопаузе. Он вернулся к своему Би-би-си: ты права, меня это не интересует, сказал он. А с чего это тебя это не интересует, взъелась я? Разве тебе не хочется узнать о том, что происходило с твоей матерью, будет происходить с твоей женой, сестрами, дочерью и даже любовницей, мрачно добавила я, случись тебе когда-нибудь завести роман? Я была к нему несправедлива. Он не был равнодушен к тяготам женщин в Исламской Республике, но в последнее время злился, когда я жаловалась. Я же возмущалась, будто он был виноват во всех бедствиях, навлеченных на нас режимом, и это, в свою очередь, заставляло его замыкаться в себе и вести себя так, будто ему были безразличны проблемы, которые на самом деле искренне его волновали.

Последнее занятие с девочками закончилось на странной ноте: мы обсуждали наших матерей, их проблемы и их полное невежество в том, что касалось менопаузы. Обсуждение началось с Манны. Накануне они с Нимой в третий раз смотрели «Модельершу» Винсента Миннелли – поймали канал по спутниковой тарелке. Манну очень расстроил этот фильм. Она поняла, что репрезентация любви в кино и литературе не соответствует иранскому контексту. Любовь есть любовь, но описать ее можно множеством способов. Когда она читала «Госпожу Бовари» или смотрела «Касабланку», все ее органы чувств вовлекались в работу; она слышала, видела, касалась, ощущала запахи. Но когда она слушала песни о любви, читала романы и смотрела фильмы, ей никогда не казалось, что все это может ее коснуться. А в персидских фильмах, когда герои влюблены, по их виду и жестам нельзя было об этом догадаться. Любовь в Иране была запрещена, вычеркнута из публичного пространства. И как прикажете любить, если выражать это чувство незаконно?

Мы стали обсуждать эту тему и сделали несколько открытий. Я обнаружила, что почти все девочки мысленно проводят черту между любовью, которую они описывали как «интеллектуальную» или «духовную» («хорошая» любовь), и сексом («плохая» любовь). И важнее для них была более возвышенная духовная близость. Даже Митра, поигрывая ямочками, рассудила, что секс в отношениях не так уж важен и она никогда не придавала особого значения сексуальному удовлетворению. Но сильнее всего нас поразила Азин. Кокетливым тоном, свидетельствовавшим о том, что она вернулась в норму – у них с мужем установилось временное перемирие – Азин заявила, что в жизни важнее всего мистическое единение человека со вселенной. Она философски добавила, что мужчина – лишь сосуд для этой высшей духовной любви. Сосуд? Все ее прежние заявления о том, как важно для нее сексуальное наслаждение и физическая совместимость, вылетели в трубу. Даже Махшид удивилась; они с Манной коротко переглянулись.

– Так значит, – сказала Нассрин, до этого сидевшая тихо, – когда твой муж тебя бьет, ты можешь притвориться, что все это происходит не на самом деле: ведь он всего лишь пустой сосуд, который ты наполняешь своими фантазиями? И ведь не только Азин это утверждает, – фыркнула она. – Вы все говорите примерно то же самое.

– А как у вас с Нимой? – спросила Митра у Манны. – Мне кажется, у вас гармоничные отношения.

– Он нравится мне, потому что я больше ни с кем на свете не могу поговорить по душам так, как с ним, – пожала плечами Манна.

– Бедный Нима, – усмехнулась Ясси.

– Не такой уж он и бедный. – Манна в тот день была на взводе. – Ему тоже не с кем поговорить. Мы с ним товарищи по несчастью, а несчастье объединяет не меньше любви.

– Вы все меня разочаровали, – сказала Ясси. – Я надеялась, вы скажете, что физическое влечение между мужчиной и женщиной имеет значение, а любовь не ограничивается духовной и интеллектуальной сферой. Что я еще научусь физической любви и пойму, что ошибалась. Вы меня поразили, – она спряталась в диванных подушках. – Да что уж там: я обескуражена, – с торжествующей улыбкой заключила она.

– Ой! – вскрикнула я. Биджан оторвался от телеэкрана и спросил: что случилось? Ничего страшного, просто порезалась. Я резала огурцы к его любимому куриному кебабу. Он пошел в ванну и принес пластырь, бережно заклеил мне палец. Не говоря ни слова и снисходительно улыбаясь, подошел к шкафчику, плеснул себе самогон в маленький стаканчик, поставил стакан на маленький столик рядом с тарелкой фисташек и снова уселся смотреть Би-би-си. Я же шныряла между гостиной и кухней и ворчала себе под нос. Биджан жил в свое удовольствие; если бы мы жили в Штатах, для него ничего бы не изменилось. Это мне тяжело, ворчала я, обращаясь к невидимому собеседнику, который высмеивал и ставил под сомнение все мои жалобы. Мне очень тяжело, повторила я, игнорируя совесть, шептавшую мне, что Биджан-то переживает все тяготы, не жалуясь, и заслужил свой самогон и Би-би-си.

Нарубив огурец и зелень и добавив их к йогурту, я пришла к заключению: наша культура чуждается секса, потому что слишком на нем заиклена. Ей приходится усиленно подавлять все, связанное с сексом, по той же причине, почему импотент запирает дома красивую жену. Мы всегда разделяли секс и чувства, секс и любовь «интеллектуальную», а людей, как однажды сказал дядя Нассрин, делили на «чистых» и добродетельных и порочных, но веселых. Нашей культуре был совершенно чужд эрос, истинная чувственность. Эти девочки – мои девочки – хорошо разбирались в творчестве Джейн Остин и могли поддержать разговор о Джойсе и Вулф, но почти ничего не знали о своих телах, о том, чего ждать от этих тел, являющихся, как им внушили, источником всех соблазнов.

Как объяснить девушке, что она должна научиться любить себя и свое тело, прежде чем полюбить другого человека и прежде чем полюбят ее? Ответ на этот вопрос пришел ко мне, когда я приправляла соус солью и перцем. На следующее занятие я пришла подготовленной: в одной руке – «Гордость и предубеждение», в другой – «Наши тела, мы сами»¹⁰³, единственная книга о сексуальности, которая нашлась в моей библиотеке.

¹⁰³ Культовая книга о женском теле и сексуальности, написанная в 1969 году группой женщин и пережившая огромное количество переизданий. Оригинальное название – *Our Bodies, Ourselves*.

14

Шарлотта Бронте не любила Джейн Остин. «Ей неведомы Страсти, – жаловалась Бронте в письме подруге, – и даже Чувствам она изредка отвешивает изящный, но холодный кивок, видимо, считая, что слишком частое взаимодействие с ними потревожит элегантность ее прозы». Зная Бронте и ее манеру, можно понять, как одна талантливая писательница могла недолюбливать другую так сильно, как Бронте недолюбливала Остин. Она критиковала ее сурово и настойчиво и в 1848 году писала Джорджу Генри Льюису¹⁰⁴: «Почему вам так нравится мисс Остин? Вы меня озадачили... Я не читала „Гордость и предубеждение“ до этой вашей фразы, но тут прочитала. И что же я увидела? Застывший дагерротип невзрачного лица; старательно огороженный, очень ухоженный сад с аккуратными бордюрами и нежными цветами; но ни намек на яркую живую мимику, простор, свежий воздух, голубые холмы и прелестные ручьи. Не хотела бы я жить рядом с ее леди и джентльменами в их душных элегантных домах».

В ее словах есть доля правды, но все же обвинения Бронте не совсем справедливы. Я бы не сказала, что романы Остин начисто лишены страсти. Им, безусловно, не хватает зрелой чувственности, тяготения к беспредельному романтическому экстазу, которому подвержены, к примеру, Джейн Эйр и Рочестер. В романах Остин чувственность есть, но более приглушенная; есть желание, но более опосредованное.

Прошу, откройте страницу сто сорок восемь, прочитайте отрывок и попытайтесь представить эту сцену. Дарси и Элизабет одни в доме мистера Коллинза. Дарси приходит к осознанию, что жить не может без Элизабет. Они беседуют о том, как важно, чтобы дом супругов и дом родителей жены находились друг от друга на почтительном расстоянии.

Мистер Дарси придвинул стул чуть ближе и произнес:

– *Вы не можете быть так привязаны к месту. Вы же не всегда жили в Лонгборне.*

Элизабет удивилась. Дарси заметил в ней небольшую перемену, отодвинул стул, взял со стола газету и, просмотрев заголовки, более прохладным тоном произнес:

– Вам нравится в Кенте?

Вернемся к указанной сцене. Настойчивость в голосе Дарси свидетельствует о его страсти к Элизабет; она проявляется даже в самом будничном их взаимодействии. По его тону можно проследить, как менялись его чувства к Элизабет. Они достигают кульминации в сцене, когда он делает ей предложение. Его фиксация на отрицательном в этой сцене становится почти фанатичной; он начинает свою речь со слов: «Напрасно я страдал. Ничего не выйдет», и слова эти звучат горячо, потому что сам по себе роман очень сдержанный, а Дарси – самый сдержанный его персонаж.

А теперь прислушайтесь внимательно к этому «вы». Дарси редко обращается к Элизабет по имени (на самом деле, практически никогда); обращаясь к ней, он особым образом акцентирует «вы», и безличное местоимение приобретает оттенок глубокой интимности. Люди нашей культуры могут оценить такие нюансы: нас призывают преувеличенно демонстрировать любовь к имаму, но запрещают публичные проявления личных чувств, особенно романтической любви.

В «Гордости и предубеждении» физические описания персонажей и сцен встречаются редко, но создается ощущение, что мы видели персонажей вблизи и заглядывали в мир их самых интимных переживаний; мы чувствуем, что знаем их, и хорошо ориентируемся в их

¹⁰⁴ Английский философ, литературный и театральный критик (1817–1878).

среде. Мы видим реакцию Элизабет, когда Дарси называет ее некрасивой, когда миссис Беннет судачит за обеденным столом, а Элизабет с Дарси гуляют под сенью поместья Пемберли. Поразительно, что Остин описывает чувства героев главным образом посредством тона – различных тонов голоса, слов, которые звучат надменно или кокетливо, мягко, грубо, вкрадчиво, льстиво, черство, самодовольно.

В романах Остин нет прикосновений, но есть напряжение, эротическая текстура, сотканная звуками и паузами. Остин создает атмосферу томления, противопоставляя персонажей, испытывающих притяжение друг к другу. Элизабет и Дарси оказываются рядом в нескольких сценах, но в общественных местах не могут общаться на интимные темы. Остин помещает героев в одну комнату, но не дает им сблизиться, и это приводит к фрустрации и напряжению. Напряжение усугубляется в силу того, что все думают, будто Джейн и Бингли влюблены, а Элизабет и Дарси терпеть друг друга не могут.

Вспомните сцену приема в доме Элизабет ближе к концу романа, когда она в отчаянии пытается улучшить минутку и поговорить с Дарси наедине. Весь вечер она в крайнем напряжении. Она стоит рядом с сестрой, помогает той разливать чай и кофе и твердит про себя: «Если он ко мне не подойдет, я навсегда о нем забуду». Он подходит, но одна из девушек встает рядом с Элизабет и говорит: «Я не позволю ни одному мужчине разлучить нас. Они нам ни к чему, верно?» Дарси уходит, а Элизабет провожает его взглядом. Она «завидовала всем, с кем он говорил; ей едва хватало терпения разливать кофе, а как она злилась на себя за глупость!» Эта игра продолжается весь вечер. Дарси снова подходит к ее столу, приносит чашку, остается ненадолго, они обмениваются парой вежливых слов, и приходит пора ему уходить.

Остин заставляет читателя почувствовать самый волнующий аспект романтических отношений – томление, желание быть рядом с объектом притяжения, который находится так близко и одновременно так далеко. Это томление будет удовлетворено; нарастание закончится воссоединением влюбленных и счастьем. Сцены физических ласк в романах Остин практически отсутствуют; она излагает историю долгих и замысловатых ухаживаний. Ее, несомненно, больше интересует счастье, а не институт брака; любовь и взаимопонимание, а не супружеские отношения. Стоит лишь взглянуть на странные союзы из ее романов, и это становится очевидным: сэр Томас и леди Бертрам, мистер и миссис Беннет, Мэри и Чарльз Масгроув – все это весьма своеобразные парочки. Остин, как и Шахерезада в своих сказках, описывает бесконечное разнообразие хороших и плохих браков, порочных и добродетельных женщин и мужчин.

Неверно и утверждение Бронте, что сад Остин «старательно огорожен». Героини Остин постоянно стремятся вырваться за ограничения; наедине с собой им гораздо уютнее, чем в обществе, а в своем внутреннем мире они ориентируются гораздо лучше, чем в делах сердечных или сложных личных отношениях. В центре сюжета романа девятнадцатого века – индивидуальность, личное счастье, испытания и права человека. Вот почему самой важной темой романа девятнадцатого века является брак. От несчастной Клариссы Ричардсона до кроткой и послушной Софии Филдинга и Элизабет Беннет – перипетии сюжета и конфликты, являющиеся его движущей силой, всегда создавали героини. Героини Остин олицетворяют основную идею ее романов: важен не брак, а чувства и взаимопонимание в браке; не первичность условностей, а неприятие условностей. Эти женщины, прекрасные и воспитанные, – на самом деле бунтарки, противящиеся выбору, сделанному за них бестолковыми матерями, никчемными отцами (редкий отец в романах Остин отличается умом) и закоснелым традиционным обществом. Рискую подвергнуться остракизму и лишиться достатка, они стремятся к любви и взаимопониманию в браке и рвутся к труднодостижимой цели, являющейся основой демократии: праву выбора.

15

Представьте летний вечер. Мы приглашены на вечеринку и сидим на улице в благоуханном саду. На большой террасе с видом на бассейн наш хозяин, человек с тонким вкусом, поставил тонкие свечи на маленьких столиках. В углу у стены на персидском ковре разбросаны яркие подушки. Часть гостей сидит там. Мы пьем домашнее вино и самогон, на вид неотличимые от магазинных. В воздухе звенит смех и болтовня. Здесь собралась хорошая компания – люди культурные, остроумные, образованные, каждому есть что рассказать.

Чем же мы так увлечены – те, кто сидит на ковре и вращает в стакане вино, откинувшись на подушки? Хозяин дома рассказывает историю о случае с автобусом. История новая. В последние два дня мы кое-что об этом слышали, но случай кажется невероятным даже нам – нам, слышавшим столько невероятных историй. Хозяину можно верить; мало того, он слышал эту историю от непосредственного участника инцидента.

Примерно два месяца назад совет директоров иранского Союза писателей получил приглашение на конференцию в Армении. Приглашение распространялось на всех членов Союза. Сначала многим звонили из разведки, угрожали и велели даже не думать о поездке на конференцию. Но потом режим пошел на уступки и вроде бы даже поддержал идею конференции. В конце концов приглашение приняли двадцать с лишним человек. Решили арендовать автобус. Дальше сведения разнятся – кто-то говорит, что с самого начала заподозрил неладное; другие обвиняют друг друга в причастности к инциденту. Однако все сходится в одном: в утро, когда должна была состояться поездка, писатели в количестве двадцати одного человека собрались на автостанции. Кому-то показалось странным, что автобус не приехал вовремя и водителя заменили. Другие заметили, что некоторые их коллеги пошли на попятную и передумали в утро поездки.

Наконец делегация выехала. Все шло хорошо до полуночи, по другим сведениям – до двух часов утра. Пассажиры спали, но один, страдавший бессонницей, заметил, что автобус остановился, а водитель пропал. Он выглянул в окно и увидел, что автобус стоит на краю очень высокого обрыва. Он немедленно бросился в кабину, по пути перебудив своим криком спящих пассажиров, сел за руль и развернул автобус. Пассажиры, испуганные резким пробуждением, в суматохе выбежали из автобуса и наткнулись на службу безопасности, окружившую автобус на «мерседес-бенцах» и вертолетах. Пассажиров развели по разным комнатам, допросили, задержали, посоветовали молчать и отпустили. На следующий день новость разнеслась по всему Тегерану. Предполагали заговор: мол, кто-то хотел столкнуть автобус с утеса и списать все на несчастный случай.

Теперь об этом происшествии ходило много шуток, как и о других подобных событиях. Тем вечером по пути домой мы с Биджаном обсудили ужасное потрясение, которое пришлось пережить писателям. Как странно, сказал он. Обычно эти писатели возникают в наших разговорах, когда мы критикуем их идеологический взгляд на литературу, но подобные происшествия отодвигают наши разногласия на второй план. Даже если мы с ними в чем-то не согласны или считаем их бездарными писателями, сочувствие берет верх над другими соображениями.

Вскоре после этого рано утром нас разбудил звонок подруги, жены одного из основателей Союза писателей. Голос у нее был испуганный. Она спрашивала, можем ли мы позвонить в Би-би-си и сообщить им, что происходит. Их с мужем вынудили уехать из Тегерана, пока ситуация не утрясется, и она спрашивала, может ли их сын несколько дней побыть у нас.

Случай с автобусом не был единичным: до этого было нападение на дом немецкого консула, который устроил небольшой прием для писателей и интеллектуалов – их всех арестовали; исчезновение известного левого журналиста, редактора популярного журнала, которого арестовали с группой других журналистов, но не выпустили, когда освободили остальных. Потом

сообщили, что он уехал в Германию, где жила его жена и другие родственники, но он так там и не объявился. По словам иранского правительства, он покинул Иран и его держали у себя немцы. Правительство Германии все отрицало. Вокруг его исчезновения начался международный скандал; дело привлекло внимание общественности. Потом однажды журналист объявился в аэропорту Тегерана и рассказал странную историю: мол, он уехал в Германию, а оттуда выехал в третью страну. А через несколько дней он написал открытое письмо и рассказал о пытках, которым подвергся в иранской тюрьме; его опять арестовали. Наконец его освободили благодаря сильному давлению со стороны международных организаций. Вскоре после этого иранский издатель, помогавший этому журналисту, и еще несколько писателей-диссидентов побывали у него в гостях, ушли из его дома, и больше их никто никогда не видел. Тело издателя впоследствии нашли на пустыре в окрестностях Тегерана; там же позднее обнаружили тела других диссидентов.

В середине девяностых в попытке наладить контакты с Европой в Иран стали приглашать западных интеллектуалов. Приехал Поль Рикёр и выступил с лекциями. Всего было три лекции, и каждая собирала толпы: слушатели стояли в коридоре и на лестнице. После Рикёра в Иран приехал В. С. Найпол. Его гидом по Исфахану стал известный иранский переводчик и издатель Ахмад Мир Алаи. Я помню Мира Алаи в его книжном магазине в Исфахане, ставшем местом встреч интеллектуалов и писателей. У него была бледная кожа, казавшаяся странно выпцветшей. Он был полным и носил очки в круглой коричневой оправе. Это сочетание полноты и бледности почему-то вызывало доверие; с ним хотелось делиться сокровенным. Он был умен и умел слушать и сочувствовать. Отчасти это объяснялось тем, что, в отличие от своих более воинственно настроенных друзей, он не любил конфликты. Я могла бы назвать его жертвой, потому что политикой он не интересовался – он попал под перекрестный огонь и порой был вынужден занимать радикальную политическую позицию вопреки своей природе. У него был превосходный литературный вкус; он сам выбирал, кого переводить, и выбрал Найпола, Кундеру и нескольких других писателей.

Через несколько месяцев после отъезда Найпола из Ирана тело Мира Алаи нашли на улице у реки. Он ушел из дома утром и не вернулся. Вечером семье сообщили о его смерти. В его кармане нашли маленькую бутылку водки. Водкой облили его рубашку, пытаясь представить все так, будто он посреди бела дня напился и умер от сердечного приступа на улице. В это никто не поверил. На его груди обнаружили большой кровоподтек, а на руке – след от укола. Его допрашивали, а потом убили – случайно или намеренно.

Вскоре после этого случая был найден убитым известный эксперт по древнему Ирану Джахангир Тафазоли. Я хорошо его знала. Он был очень застенчив, хрупкого телосложения, с копной черных волос и большими глазами, которые под стеклами очков казались огромными. Тафазоли не вовлекался в политику, хотя писал статьи для «Иранской энциклопедии» – проекта, которым руководил известный иранский ученый из Колумбийского университета, пользовавшийся сильной неприязнью иранского правительства. Исламский режим терпеть не мог специальность Тафазоли – история Ирана до установления ислама. В день своей смерти он ушел из Тегеранского университета и направился домой, но по пути сделал подозрительный звонок из машины своей дочери. Его тело нашли у дороги вдали от дома и от университета. По официальной версии, он менял покрышку, и его сбила машина.

Мы много раз обсуждали эти смерти с друзьями и коллегами на поминках, вечеринках и собраниях. Фанатично, во всех подробностях мы воскрешали в памяти и воссоздавали обстоятельства смерти из официальных отчетов и в своем воображении убивали жертв снова, пытаясь представить, как те умерли на самом деле. Я до сих пор представляю Тафазоли в машине, зажатого в тисках между двумя головорезами, которые вынуждают его позвонить дочери; я понимаю, что ничего не знаю наверняка, и спрашиваю себя: когда и где они его убили? Ударили

по голове в машине? Или отвезли в один из своих «безопасных» домов и убили там, а потом выкинули на пустынной дороге?

16

У меня для вас приятный сюрприз, сказал волшебник по телефону, но только если пообещаете, что будете себя хорошо вести. Мы условились встретиться в популярном кафе, смежном с рестораном; на выходе была фирменная кондитерская. Название я забыла, хотя оно наверняка изменилось после революции, как у большинства заведений.

Явившись на место с сумкой книг, я обнаружила волшебника за столиком в углу; он рассматривал книги, которые принес с собой. Вы искали издание «Тысячи и одной ночи» на английском, сказал он. Я нашел оксфордское издание. Мы сделали заказ: я заказала капучино, он – эспresso, а еще мы взяли два «наполеона», в этом кафе они были особенно хороши. Я принес вам стихотворение Одена, которое вы искали, хотя не понимаю, зачем оно вам, сказал он и протянул мне листок с напечатанным стихотворением Одена – «Письмо лорду Байрону».

На днях у нас с девочками случилось очень интересное обсуждение, ответила я. Обсуждали «Декабрь декана», «Лолиту» и другие книги из нашей программы. И одна из девочек, Манна – вы же помните Манну? Да, Манну я помню, ответил он; ваша поэтесса. Да, так вот, Манна спросила, как эти авторы соотносятся с Джейн Остин, которую отличает гораздо более оптимистичный взгляд на мир и людей.

Большинство людей точно так же заблуждаются насчет Остин, сказал он. Нужно читать ее внимательно.

Да, именно так я ей и ответила – Остин пишет о жестокости не в чрезвычайных обстоятельствах, а в обычных, о жестокости, совершаемой обычными людьми вроде нас с вами. Это ли не страшно? По той же причине мне нравится Беллоу, гордо провозгласила я, вспомнив своего нового любимчика.

Как вы непостоянны, сказал волшебник. А как же Набоков? Всего одна книга, и вы уже списали его со счетов! Но послушайте, ответила я, пытаюсь не обращать внимания на его насмешливый тон. Беллоу пишет о бытовой жестокости, об испытании свободой, о тяготах выбора – и об этом же пишет Джеймс, раз на то пошло. Страшно быть свободным и брать на себя ответственность за свои решения. Да, ответил он, страшно, когда нельзя во всем обвинить Исламскую Республику. Я не говорю, что она ни в чем не виновата, добавил он после короткой паузы, – как раз наоборот.

Послушайте, сказала я и пролистала «Многие умирают от разбитого сердца»; я принесла книгу с собой с единственной целью – зачитать ему свои любимые цитаты. «Смысл революции заключался в том, что Россия пыталась изолировать от испытания современным сознанием. Она запечатала свои границы. И внутри этой запечатанной страны Сталин рассеял *старую смерть*. На Западе же испытанием стала *новая смерть*. Словами не объяснить, что творится с душой в свободном мире. „Больше прав“, высокий „уровень жизни“ – забудьте об этом. Мы похоронили голос разума, но он знает лучше. Далекие центры сознания, борющиеся с полным пробуждением, видят все. А достигнув полного пробуждения, мы вынуждены взглянуть в лицо *новой смерти*, характерному испытанию, которому подвержена наша часть мира. Когда реальность открывается истинному сознанию, мы попадаем в чистилище».

Мне нравится это выражение – «рассеял *старую смерть*». Еще Беллоу пишет об «атрофии чувств» – Запад охватила «атрофия чувств»...

Да, ответил волшебник, мистера Беллоу – Сола, как его называют ваши студенты, – можно растащить на цитаты. Не знаю, достоинство это или недостаток.

А кто меня на него подсадил? Кто дал мне почитать «В связи с Белларозой», укоризненно спросила я? Мне кажется, это очень важная для моих девочек цитата. Слишком не критично они воспринимают Запад; в сравнении с Исламской Республикой у них складывается радужная картинка. Все хорошее, по их мнению, происходит из Америки или Европы – от шоколадных

конфет и жвачки до Остин и Декларации независимости. Но Беллоу рисует более реалистичную картину этого мира. Он показывает и проблемы Запада, и его страхи.

Смотрите, сказала я. В этом же весь смысл. Это то, что мы сейчас переживаем... Но он не смотрел на меня. Вы не слушаете, нетерпеливо сказала я. Он смотрел мне за спину. Подозвал официанта; тот подошел к нашему столику. Что происходит, спросил волшебник? Что там за шум? Расписывая достоинства Беллоу, я не заметила, что за нашими спинами началась суматоха.

Официант объяснил, что это проверка. У входа стояли охранники и проверяли всех, кто выходил из кафе. Официант деликатно намекнул, что если мы не родственники, волшебнику следует пересесть за другой столик, а мне, если меня спросят, что я делаю в кафе одна, ответить, что я жду заказа из кондитерской.

Но мы не делаем ничего плохого, сказали мы, и я никуда не буду пересаживаться; я повернулась к волшебнику и добавила: вы тоже оставайтесь на месте. Не говорите глупости, ответил он, вы же не хотите устроить скандал? Сейчас я позвоню Биджану, сказала я. Зачем? ответил он. Вы правда думаете, что они его послушают? Для них он человек, который даже свою жену не может приструнить. Он встал, держа в руках чашку кофе. Вы кое-что забыли, сказала я и протянула ему «Тысячу и одну ночь». Ну что за детский сад, ответил он по-английски. Мне кажется, вам нужно чем-то себя занять, ответила я; к тому же, я уже сделала ксерокс с того экземпляра, который вы мне давали. Он ушел за другой столик с кофе и книгами, а я сидела одна, ковыряла наполеон и сердито пролистывала «Многие умирают от разбитого сердца», словно готовясь к завтрашним экзаменам.

В кафе вошли Стражи Революции и стали ходить от столика к столику. Несколько молодых людей вовремя вышли; другим повезло меньше. В кафе осталась семья из четырех человек, мой волшебник, две женщины средних лет и трое молодых людей. Когда принесли мой заказ, я встала, оставила официанту щедрые чаевые, уронила пакет с книгами – тот порвался, и книги рассыпались по полу; подождала, пока официант принесет мне новый пакет и ушла, даже не взглянув на своего волшебника.

В такси я почувствовала смятение, злость и легкое раскаяние. Надо уезжать, сказала я себе. Я больше так жить не могу. Каждый раз, когда случалось нечто подобное, я, как и многие другие, думала об отъезде; я думала отправиться туда, где повседневная жизнь меньше похожа на поле боя. В последнее время мысль об отъезде из Ирана стала не просто защитным механизмом, а случаи, подобные этому, медленно перевешивали чашу весов. Среди друзей и коллег некоторые попытались приспособиться. В сердцах и умах мы против режима, говорили они, но что мы можем сделать? Остается лишь подчиниться. Прикажешь мне сесть в тюрьму ради двух прядей волос, выбившихся из-под платка? Резван однажды сказала: давно пора к этому привыкнуть; эти девочки такие избалованные, слишком многого хотят. Взгляни, что творится в Сомали и Афганистане. Да по сравнению с ними мы живем как королевы.

«А я не могу привыкнуть», – сказала однажды Манна. И я ее не винила. Мы были несчастны. Мы сравнивали наше положение с тем, что могло бы быть, с тем, что мы могли бы иметь, и нас совсем не утешал тот факт, что миллионам людей жилось еще хуже. С какой стати чужое несчастье должно нас осчастливить или сделать жизнь более сносной?

Когда я приехала, Биджан с детьми были внизу, в квартире матери. Я поставила в холодильник пирожные, которые им купила, и достала морковный торт, чтобы отнести его матери. Потом полезла в морозилку и положила себе большую порцию мороженого, полила его кофе и посыпала грецкими орехами; когда пришли дети с Биджаном, я была в ванной, меня стошнило. Позвонил волшебник; мне очень жаль, что так вышло, сказал он. Хочется отмыться после всего этого. Мне тоже жаль, ответила я. Нам всем жаль – не забудьте подписать мне книгу и поставить сегодняшнее число.

Весь вечер меня тошнило – я даже воду пить не могла, – а наутро, когда я открыла глаза, комната начала вращаться перед глазами. Светящиеся искорки разрастались в яркие остроконечные короны и плясали в воздухе, от которого кружилась голова. Я закрыла глаза и снова их открыла; короны со смертельно острыми краями никуда не делись. Схватившись за живот, я побежала в ванную; меня вырвало желчью. Весь день я провалялась в кровати; от прикосновения простыней саднило кожу.

17

*Она всегда умела удивлять.
Джойс рядом с ней – невинен, как овца.
Мне страшно надоело наблюдать,
Как средний класс от первого лица
Твердит о пользе медного сырца,
Решив лишь после трезвых размышлений
Проблему социальных отношений¹⁰⁵.*

Девушку насилуют, бросают в багажник машины и убивают. Юношу, студента, убивают и отрезают ему уши. Беллоу пишет о тюремных лагерях, смерти и разрушении; у Набокова мы встречаемся с чудовищами, насилующими двенадцатилетних девочек; даже у Флобера сплошь боль и предательство – а у Остин что, однажды спросила Манна?

И правда – у Остин что? Принято считать, что Остин была чопорной старой девой, жила в мире со всем миром и не замечала его жестокости. Мои студентки, глядя на ее юмор и великодушные, приходили к тому же мнению. Мне пришлось напомнить им о «Письме лорду Байрону» Одена, в котором Оден просил Байрона передать Джейн Остин, «что здесь, внизу, она неповторима / и верными потомками любима».

Героини Остин не прощают обид, хотя суровость характера проявляется у них по-своему. В ее романах немало предательства, жадности и лжи, неверных друзей, эгоистичных матерей, отцов-тиранов, тщеславия, жестокости и боли. К своим злодеям Остин великодушна, но это не значит, что она легко спускает их с крючка – она не проявляет мягкости даже к своим положительным героиням. Ее любимая и наименее симпатичная героиня Фэнни Прайс страдает больше всех.

Современная литература разоблачает зло в быту, в обычных отношениях, в обычных людях вроде нас с вами – недаром Гумберт писал: «читатель! *Брудер!*», называя читателя своим братом. У Остин, как и в большинстве великих литературных произведений, зло кроется в неспособности *видеть* окружающих и, следовательно, им сопереживать. Страшнее всего то, что эта слепота может существовать как в лучших из нас (Элиза Беннет), так и в худших (Гумберт). В нас всех живет слепой цензор; мы все способны насадить свое видение и желания окружающим.

Когда зло персонализируется и становится частью повседневной жизни, сопротивление злу также переходит на индивидуальный уровень. Естественно, возникает вопрос – как выживает душа? Ответ прост: ей помогает выжить любовь и воображение. Сталин лишил души Россию, «рассеяв старую смерть». Мандельштам и Синявский воскресили эту душу, читая стихи сокамерникам и описывая пережитое в своих дневниках. «Вероятно, оставаясь поэтом в подобных обстоятельствах, мы проникаем в самое сердце политики, – писал Беллоу. – Человеческие чувства и опыт, фигуры и лица вновь выходят туда, где им самое место – на первый план».

¹⁰⁵ Из стихотворения Уистена Хью Одена «Письмо Лорду Байрону», пер. И. Бродского. Этот отрывок посвящен Джейн Остин.

18

Мы решили уехать из Ирана почти случайно – по крайней мере, так нам тогда казалось. Такие решения, хоть и кажутся важными, редко бывают продуманными. Недовольство и гнев копятся годами, как в неудачном браке, внезапно оборачиваясь самоубийственным концом. Идея отъезда, как и возможность развода, всегда витала где-то на периферии ума, темная и зловещая, готовая пробиться наружу при малейшей провокации. Если меня спрашивали, я перечисляла обычные причины отъезда: моя работа, ощущение себя угнетенной женщиной, будущее детей, мои поездки в Штаты, снова напомнившие, какой у нас есть выбор, какие возможности.

Впервые за нашу совместную жизнь мы с Биджаном начали сильно ссориться и одно время не могли говорить больше ни о чем, лишь обсуждали, уехать или остаться. Когда Биджан понял, что я действительно хочу уехать, он надолго погрузился в обиженное молчание; потом последовал период долгих мучительных споров, в которых также участвовали наши родственники и друзья. Биджан говорил, что сейчас переезжать не надо, что лучше подождать, пока дети станут старше и будут готовы к поступлению в колледж. Волшебник считал, что меня спасет только переезд, а мнения друзей разделились. Мои студентки не хотели, чтобы я уезжала, хотя многие из них сами собрались уезжать. Родители считали, что лучше нам уехать, хоть это и означало бы, что они останутся в одиночестве. Перспектива лучшей жизни для детей, даже иллюзорная, очень заманчива для большинства родителей.

В конце концов Биджан, всегда стоявший на стороне здравомыслия и рассудка, согласился, что надо уезжать – по крайней мере, на несколько лет. Смирившись с нашей новой судьбой, он тут же перешел к действию. Он подошел к грядущему переезду практически – принялся разбирать восемнадцать лет жизни и работы и пытаться уместить их в восемь чемоданов, которые разрешалось взять с собой. Я же избегала сборов и словно ушла в отрицание. Мне вдруг стало стыдно, что Биджан так легко со мной согласился, я начала сомневаться. Откладывала сборы и отказывалась говорить об отъезде всерьез. На занятиях я вела себя беззаботно, делала вид, что ничего не происходит, а девочки не знали, как реагировать.

Мы с девочками так толком и не обсудили мое решение уехать из страны. Я понимала, что эти занятия не могут продолжаться вечно, надеялась, что девочки откроют собственные литературные кружки и позовут друзей. В молчании Манны, в косвенных намеках Махшид на «долг перед родиной и страной» я ощущала напряжение. Другие девочки тревожились и грустили при мысли, что нашему кружку пришел конец. Ваше место за столом опустеет, сказала Ясси, процитировав персидскую поговорку. Но и девочки вскоре начали строить планы отъезда.

Когда мы приняли окончательное решение, все перестали об этом говорить. Взгляд отца стал рассеянным, точно, разговаривая со мной, он смотрел вдаль, где наши фигуры уже скрылись за горизонтом. Мать вдруг стала злиться и обижаться, намекать, что мое решение подтвердило ее худшие подозрения о том, что я неспособна на преданность. Моя лучшая подруга потащила меня покупать подарки и радостно болтала о чем угодно, кроме моего отъезда, а для студенток как будто ничего не изменилось. Только мои дети говорили о скором отъезде со смесью волнения и грусти.

19

В персидском языке есть выражение «терпеливый камень»; мы часто вспоминаем его во времена тревог и нестабильности. Представьте, что изливаете все свои тревоги и горести камню. Камень слушает, впитывает тайны и боль, а вам становится легче. Но бывает, камень больше не может терпеть этот натиск и трескается. Мой волшебник не был моим «терпеливым камнем», и я для него таким камнем не была – он никогда не рассказывал мне свою историю, мол, кому это интересно. Но все же он провел немало бессонных ночей, слушая и впитывая чужие тревоги и печали, и мне советовал уехать: уехать, написать книгу, продолжить преподавать.

Возможно, он явственнее, чем я сама, понимал, что со мной происходило. Теперь я понимаю, что, как ни парадоксально, чем сильнее я привязывалась к своим занятиям и своим студенткам, тем больше отдалялась от Ирана. Чем больше я замечала печальную лиричность наших жизней, тем сильнее моя собственная жизнь становилась похожа на вымысел. Теперь я могу выразить это словами и говорить обо всем с определенной долей ясности, но тогда это было не так ясно. Тогда все казалось сложнее.

Вспоминая дорогу до его квартиры и все изгибы и повороты, встречавшиеся мне на пути, я снова прохожу мимо старого дерева напротив его дома, и меня поражает внезапное осознание: бывает, воспоминания начинают жить своей жизнью, никак не связанной с реальностью, которая их породила. В воспоминаниях мы начинаем мягче относиться к тем, кто когда-то нас сильно обидел, а можем начать ненавидеть тех, кто некогда любил нас и всецело принимал.

Мы снова сидим с Резой за круглым обеденным столом под картиной с зелеными деревьями; мы разговариваем и обедаем бутербродами с сыром и запрещенной ветчиной. Волшебник не пьет алкоголь: не хочет довольствоваться подделками, поэтому ни пиратские видео не смотрит, ни домашнее вино не пьет; книг и фильмов, подвергнувшихся цензуре, для него не существует. Он не смотрит телевизор и не ходит в кино. Он считает неприемлемым смотреть любимые фильмы на видео, хотя для нас достает кассеты со своими любимыми кинокартинами. Сегодня он принес нам домашнего вина греховного бледно-розового цвета; оно разлито по пяти бутылкам из-под уксуса. Я забираю его домой и пью. Что-то пошло не так в процессе брожения, и вино на вкус как уксус, но я не говорю об этом волшебнику.

В тот день мы обсуждали Мохаммада Хатами и его кандидатуру в президенты. До этого интеллектуалы знали Хатами как министра исламской культуры и ориентации – он занимал этот пост совсем недолго, – но в последние несколько недель его имя было у всех на устах. О Хатами говорили в автобусах и такси, на вечеринках и на работе; мы считали, что голосовать за него – наш моральный долг. Семнадцать лет религиозные деятели твердили, что голосовать – не просто долг каждого гражданина, а долг каждого мусульманина; теперь мы с ними соглашались. Люди из-за Хатами ссорились и разрывали отношения с друзьями.

В тот день я шла к своему волшебнику, мучаясь с платком – тот все время развязывался; на стене висел плакат с изображением Хатами – его лицо крупным планом и огромные буквы: «Иран снова влюблен». О нет, в отчаянии произнесла я про себя; только не это.

Мы сидели за столом в квартире волшебника – сколько историй, реальных и придуманных, слышали эти стены! – и я рассказывала про плакаты. Можно любить свою семью, любовников, друзей, но почему мы должны влюбляться в политиков? Даже на занятиях с девочками мы ссорились из-за Хатами. Манна не понимала, как можно за него голосовать; мол, ей все равно, можно ли будет носить платок чуть более светлого оттенка или повязывать его так, чтобы волосы были видны. Саназ сказала, что выбирая между двух зол, мы выбираем меньшее, а Манна ответила, что ей нужны не вежливые тюремщики, а освобождение из тюрьмы. Азин заявила: Хатами выступает за «главенство закона». Того самого закона, который позволяет

мужу меня бить и позволит ему отнять у меня дочь? Ясси была растеряна, а Митра сказала: ходят слухи, что на выборах будут проверять паспорта и тем, кто не проголосовал, не разрешат потом уехать из страны. А еще ходят слухи, что не надо верить слухам, саркастически ответила Махшид.

– Люди обычно получают по заслугам, – сказал Реза и откусил от бутерброда с сыром и ветчиной. Я укоризненно взглянула на него. – Я серьезно, – сказал он. – Если мы даем себя одурачить так называемыми «выборами» – мы же знаем, что это ненастоящие выборы, раз на них допускают только мусульман с идеальным послужным списком, и отбирает кандидатов Совет стражей конституции, а одобряет верховный лидер? Так вот, до тех пор, пока мы миримся с этим цирком под названием «выборы» и надеемся, что Рафсанджани или Хатами нас спасет, разочарование, что настигает нас после, вполне заслуженное.

– Но не только мы разочарованы, – добавил волшебник. – Как, по-вашему, чувствует себя Хаменеи, – он взглянул на меня и поднял бровь, – глядя, как ваши Митра или Саназ живут в свое удовольствие и развращают хороших мусульманских девочек вроде Ясси или Махшид? Что он чувствует, когда слышит, что бывшие радикальные революционеры цитируют Канта и Спинозу, а не исламские тексты? А дочка нашего президента тем временем пытается завоевать голоса, обещая разрешить женщинам кататься на велосипедах в городских парках.

– Но это же абсурд, – сказала я.

– Для вас – может быть, – сказал он, – но президент и его последователи не видят в этом ничего смешного, ведь им нужно завладеть сердцами и умами детей революции, пообещав им – пусть и неявно – доступ ко всему западному. И все же, – с удовлетворением заметил он, – эти молодые люди слушают Майкла Джексона; они читают Набокова с гораздо большим удовольствием и энтузиазмом, чем читали мы с вами в нашей упаднической юности. Впрочем, почему это должно вас беспокоить? Вы скоро уедете и оставите нас с нашими проблемами.

– Не оставляю я ни вас, ни ваши проблемы, – возразила я. – И надеюсь, вы будете держать меня в курсе.

– Не буду, – ответил он. – Когда вы уедете, мы перестанем общаться.

Увидев мое ошеломленное лицо, он добавил:

– Называйте это как хотите – самозащитой или трусостью, но я не хочу общаться с друзьями, которым повезло уехать из страны.

– Но вы сами подталкивали меня к этому, – ответила я, ушам своим не веря.

– Да, но это другое. Как бы то ни было, такие у меня правила. С глаз долой, из сердца вон – знаете поговорку? Я должен себя защитить.

Он сделал все, что было в его силах, подталкивая меня к отъезду, но когда понял, что я все-таки уезжаю, когда все для меня сложилось хорошо, не смог за меня порадоваться. Не разочаровался ли он во мне? Не считал ли мой отъезд своего рода ремаркой в сторону тех, кто оставался?

20

Когда Нассрин пришла, я говорила по телефону. Негар открыла дверь и закричала, хотя кричать было совершенно не нужно – *мама, мама, Нассрин пришла!* Через несколько минут вошла робкая Нассрин; она стояла на пороге и выглядела так, будто уже сожалела о своем визите. Я велела ей ждать меня в гостиной. Потом перезвоню, сказала я подруге. Пришла одна из моих девочек. Девочек? спросила подруга, хотя прекрасно знала, кого я имела в виду. Студенток, ответила я. Студенток? Да что с тобой такое, женщина, сказала она. Почему ты не вернешься к преподаванию? Но я преподаю, возразила я. Ты знаешь, о чем я, сказала она. Кстати, твои рассказы об этих девочках и эта твоя Азин сведут меня с ума. Эта девчонка совсем без царя в голове – или так, или она играет в какие-то игры, которых я не понимаю. Она за дочку боится, поспешно ответила я. Но слушай, мне правда пора. Потом перезвоню.

В гостиной Нассрин разглядывала мою картину с райскими птичками и грызла ногти с сосредоточением человека, привыкшего грызть ногти с раннего детства. Помню, я подумала – и как я раньше не догадалась, что она из тех, кто грызет ногти; должно быть, ей стоило больших усилий сдерживаться и не делать этого на занятиях.

Услышав мой голос, она резко обернулась и инстинктивно спрятала руки за спину. Чтобы развеять неловкость, возникшую в комнате с ее появлением, я спросила ее, что она будет пить. Спасибо, ничего, ответила она. Она не сняла накидку, лишь расстегнула ее; под накидкой на ней была белая блузка, заправленная в черные вельветовые брюки. Она была в кроссовках, волосы стянуты в хвост. Красивая девочка, юная и хрупкая, она ничем не отличалась от других таких же девочек в любом другом городе мира. Она тревожно переминалась с ноги на ногу, и я вспомнила день, когда увидела ее впервые – это было почти шестнадцать лет назад. Нассрин, постой-ка немножко здесь, тихо сказала я. А лучше сядь. Сядь, пожалуйста – хотя нет, давай спустимся вниз, в мой кабинет; там нас никто не потревожит.

Я пыталась отсрочить наш предстоящий разговор. Мы зашли на кухню. Я протянула ей вазу с фруктами, поставила на поднос кувшин с водой, два стакана и тарелки. Спускаясь по лестнице, она наконец выпалила: я уезжаю. По опыту общения с Нассрин я знала, что не стоит демонстрировать излишнее удивление, это еще сильнее выбьет ее из колеи. Куда ты едешь, спросила я? В Лондон, поживу немного с сестрой. А как же Рамин? Мы стояли у двери кабинета. Она подождала, пока я открою, по привычке переминаясь с ноги на ногу, точно ни одна из ее ног не хотела брать на себя ответственность и нести груз ее тела. По ее бледности и удивленному выражению лица я поняла, что задала неправильный вопрос. У нас все кончено, пробормотала она, и мы вошли в кабинет.

Но как ты покинешь страну, спросила я, когда мы сели – она спиной к окну, а я – на диван у стены, где висела большая картина, слишком большая для такой маленькой комнаты – пейзаж с изображением Тегеранских гор. Незаконно, ответила она. Загранпаспорт мне по-прежнему не выдают. Придется добраться до Турции по суше, а там уж ждать зятя, он меня заберет.

И когда? Через неделю, ответила она. Точный день не знаю; мне не говорят. Махшид потом вам скажет, добавила она. Из девочек знает только она.

А с тобой кто-то поедет, спросила я? Нет. Отец против. Но он согласился частично оплатить поездку. Об остальном позаботится сестра – она называет это «спасательной операцией». Отец говорит, что раз я решила осуществить эту безумную затею, пусть сама со всем и разбираюсь. Для него эти люди, что бы мы о них ни думали, – наш народ. Он потерял одну дочь, теперь теряет другую. Говорит, сначала этот кружок, потом ты уезжаешь. Я думала, он не знал про наш кружок, а он, оказывается, знал, просто притворялся, что не знает.

Она нервно растерла ладони; на меня она не смотрела. Но, по правде говоря, с Нассрин всегда было так, мы с ней всегда так общались – делились самым сокровенным и притво-

рялись, что это так, ничего особенного. Подобное безразличие к сильной боли и привычка воспринимать ее «походя» не были проявлением храбрости, а свидетельствовали о трусости особого рода, разрушительном защитном механизме, когда пострадавший заставлял окружающих выслушивать рассказ о пережитом им кошмаре, не позволяя себе сопереживать: мол, не жалейте меня, мало ли что в жизни бывает, переживем. Ничего страшного, так, ерунда.

Нассрин призналась, что за все годы тюрьмы и войны ей не было так трудно, как сейчас, когда она пыталась свыкнуться с мыслью об отъезде. Поначалу ей казалось, что она должна уехать на время. Но постепенно она осознала, что просто не хочет здесь оставаться. Загранпаспорт ей не давали, и она поняла, что придется выехать незаконно; это ее вполне устраивало.

Я вела себя так, будто речь шла об обычном путешествии, рядовой поездке в Лондон в гости к старшей сестре. В это время года в Лондоне всегда дожди; обязательно попроси сводить тебя в «Глобус»¹⁰⁶... А почему ты рассталась с Рамином, не удержавшись, спросила я? Он был против переезда или поддерживал тебя? Нет, он, он... он знал, как я хотела уехать, из-за болезни, знаете, которая у меня после тюрьмы. Мы – я имею в виду маму, сестру и себя – мы давно уже думали, что, может, в Англии есть врачи получше. Я никогда не спрашивала Нассрин, чем она болела.

Сначала Рамин, как и полагается настоящему джентльмену – тут Нассрин улыбнулась и ненадолго вновь стала девчонкой, какой я ее помнила, – сначала он согласился, что я должна уехать, но решил, что им нужно обручиться. Я не стала комментировать, ждала, пока она договорит. Вот тогда-то я с ним и порвала, сказала она. Нассрин? Она замолчала, опустила голову и принялась разглядывать свои ладони. Потом торопливо произнесла: он был... он был не лучше других. Помните ту цитату из Беллоу про людей, которые сливают на окружающих весь свой мысленный мусор? Она опять улыбнулась. Эта цитата очень хорошо описывает Рамина и его друзей-интеллектуалов.

Это оказалось слишком даже для меня с моей способностью обходить острые углы. Я отпила воды; хороший способ потянуть время, известный нам по книгам. Что ты имеешь в виду – он не лучше других? Кого «других»?

Мой дядя был еще хуже, ответила она. Он как Нахви. Рамин хоть немного отличался. Читал Деррида, смотрел Бергмана и Киаростами¹⁰⁷. Нет, он меня не трогал; он был очень осторожен, чтобы не дай Бог ко мне не прикоснуться. Дело не в этом. Не могу объяснить; дело в его глазах. В его глазах? Да, в том, как он смотрел на окружающих, на других женщин. Я все понимала, сказала она и понурилась с несчастным видом, сложив ладони домиком. Рамин считал, что есть девушки, к которым испытываешь сексуальное влечение, а есть те, на которых мужчины женятся, – те, с кем можно общаться интеллектуально, кого можно уважать. И эти два типа не смешиваются. *Уважать*, сердито повторила она. Да, именно это слово. Он меня *уважал*. Я была его Симоной де Бовуар, и мыслей о сексе со мной он даже не допускал. Мало того, трусость не позволяла ему пойти и заняться сексом с кем-то еще. Поэтому он просто *смотрел* на других женщин. Дошло до того, что он разговаривал со мной и пялился на мою старшую сестру. Просто пялился. Он смотрел на женщин так... так, как дядя меня трогал.

Мне стало жаль Нассрин и, как ни странно, Рамина тоже. Мне казалось, он тоже нуждался в помощи; ему тоже нужно было лучше узнать себя, разобраться в своих потребностях и желаниях. Неужели она не понимала, что он совсем не такой, как ее дядя? Возможно, я не имела права требовать от нее сочувствия к Рамину; я слишком много от нее хотела. Она обошлась с ним жестоко, убедила себя, что испытывать к нему чувства непозволительно. Она сказала, что у них все кончено, и ясно дала понять, что в ее глазах он ничем не лучше мужчин,

¹⁰⁶ Знаменитый шекспировский театр в Лондоне, берущий начало от 1599 года.

¹⁰⁷ Аббас Киаростами – иранский кинорежиссер, один из лидеров иранской «новой волны», обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1997 года.

которых он критиковал и презирал. С аятоллой Хаменеи хотя бы все понятно, но другие – люди с политкорректными идеалами, которые обещают нам всякое, – те еще хуже Хаменеи. Ты хочешь спасти человечество, сказала она Рамину, ты и твоя проклятая Ханна Арендт. Так начни с себя и спаси себя от своих проблем с сексом! Найди проститутку. Прекрати пялиться на мою сестру!

Все мои воспоминания о Нассрин неизбежно возвращаются к тому дню в моем кабинете, когда она сказала, что уезжает. Небо окрасилось в сумеречные цвета – оно не было ни темным, ни светлым, ни серым. Дождь падал тяжелой пеленой, с сухих коричневых листьев груши под окном свисали капли.

«Я уезжаю», – сказала она. Ей было двадцать семь лет, а она даже не знала, как это – жить. Ей всегда казалось, что хуже тюрьмы ничего быть не может, но оказалось, может. Она убрала со лба выбившиеся пряди волос и проговорила: там, в тюрьме, я, как и все, думала, что нас убьют и этим все кончится; а может, мы выживем – выживем, выйдем на свободу и начнем с начала. Там, в тюрьме, мы мечтали лишь об одном – оказаться снаружи, на свободе, но когда я вышла, я поняла, что скучаю по чувству солидарности, которое объединяло нас там, за решеткой, по чувству, что у меня есть цель, по нашим разговорам и посиделкам, когда мы делились воспоминаниями и едой. Но больше всего я скучаю по надежде. В тюрьме мы надеялись, что однажды выйдем на свободу, поступим в колледж и будем веселиться, ходить в кино. Мне двадцать семь лет. Я не знаю, каково это – любить. Я не хочу таиться, не хочу спрятаться ото всех навсегда. Я хочу *знать* – знать, какая она, Нассрин. Наверно, это и есть испытание свободой, с улыбкой добавила она.

21

Нассрин попросила меня рассказать остальным об ее отъезде. Сама она не сумела встретиться с девочками – слишком это было невыносимо. Лучше уехать, не попрощавшись, решила она. Но как сообщить такую новость? «Нассрин больше не будет ходить на занятия». Вроде бы такая простая фраза, но все зависело от манеры произношения, от того, как расставлены акценты. Я произнесла ее отрывисто и довольно грубо; последовала пораженная тишина. Нервно хихикнула Ясси; Азин испуганно взглянула на меня, а Саназ с Митрой коротко переглянулись.

– И где она сейчас? – спросила Митра после долгого молчания.

– Не знаю, – ответила я. – Махшид должна знать.

– Два дня назад она уехала в сторону границы, – тихо сообщила Махшид. – Там она ждет проводников, которые должны с ней связаться, так что примерно на следующей неделе она будет ехать по пустыне на верблюде, ослике или джипе.

– «Без дочери – никогда»¹⁰⁸, – с нервным смешком произнесла Ясси. – Ой, простите, – она зажала рот рукой, – мне просто очень плохо.

Мы принялись обсуждать путешествие Нассрин, опасности перехода иранско-турецкой границы, ее одиночество и будущее.

– Давайте не будем говорить о ней так, как будто она умерла, – сказала Азин. – Там, куда она отправилась, ей будет намного лучше; давайте порадуемся за нее. – Махшид резко взглянула на нее. Но Азин была права. Разве можно было мечтать о лучшей доле для Нассрин?

Резче всего отреагировала Манна – и не на отъезд Нассрин, а на мой, поскольку с внезапным исчезновением Нассрин угроза нашего расставания стала реальной, а Манна была сильнее всех ко мне привязана.

– Все равно скоро наша группа распадется, – сказала она, ни на кого не глядя. – Нассрин правильно поняла намек доктора Нафиси. – Какой намек? – Что всем нам надо уезжать.

Меня шокировала злость ее обвинения. Я и так чувствовала себя виноватой, будто мое решение уехать нарушало данное им обещание. (Вина стала вашим постоянным спутником, сказал волшебник, когда я ему пожаловалась. Вы мучились угрызениями совести, даже когда не собирались уезжать.)

– Не говори глупости, – укоризненно произнесла Азин, повернувшись к Манне. – Она не виновата, что ты чувствуешь себя в ловушке.

– Никакие это не глупости, – зло огрызнулась Манна, – и да, я правда чувствую себя в ловушке. С чего бы мне чувствовать себя иначе?

Азин полезла в сумочку, видимо, за сигаретой, но ничего не достала. – Как ты можешь так говорить? Как будто госпожа Нафиси виновата в твоих проблемах, – сказала она Манне. Ее рука дрожала.

– Нет, пусть Манна объяснит, что имеет в виду, – вмешалась я.

– Мне кажется, она имеет в виду... – робко произнесла Саназ.

– Я сама могу объяснить, спасибо, – сердито проговорила Манна. – Я имею в виду, что вы своим примером, – она повернулась мне, – показали нам, что оставаться здесь бессмысленно и нам всем надо уехать, если мы хотим чего-то добиться.

– Неправда, – с некоторым раздражением отвечала я. – Я никогда не намекала, что вы должны повторить мой опыт. Не надо брать с меня пример во всем, Манна. Пусть каждая из нас поступит так, как лучше для нее. Это все, что я могу вам посоветовать.

¹⁰⁸ Оригинальное название – *Not without my daughter*; американский фильм 1991 года об американке, которая бежит от иранского мужа через границу, пользуясь услугами контрабандистов. Основан на реальной истории.

– Единственное, чем я могу оправдать то, что вы здесь нас бросаете, – сказала Манна (она так и сказала – *«вы здесь нас бросаете»*, я помню это очень хорошо), – тем, что если бы у меня была возможность, я бы поступила так же. Я бы тоже все бросила, – произнесла она после некоторого раздумья. Даже Ниму, спросила я? – Особенно Ниму, – ответила она с жестокой улыбкой. – Я не Махшид. Я не считаю, что оставаться здесь – мой долг. Жизнь у меня одна, другой не будет.

Я столько лет была их исповедником. Мне они изливали свою сердечную боль, свои горести, как будто у меня самой этого не было, как будто я жила под действием магического заклинания, ограждавшего меня от подводных камней и тягот жизни не только в Исламской Республике, но жизни в целом. А теперь они хотели, чтобы я взвалила на себя еще и их выбор. Но каждый человек делает выбор сам. Я могла помочь им только в одном случае – зная, чего они хотели. Разве можно диктовать человеку, чего хотеть? (Вечером позвонил Нима. «Манна боится, что вы больше ее не любите, – полусхотел сказал он. – Попросила вас позвонить».)

Чужие печали и радости напоминают нам о наших собственных; мы сопереживаем им отчасти потому, что спрашиваем себя: а как же я? Что это говорит о моей жизни, моих проблемах, моих душевных терзаниях? Когда уехала Нассрин, мы искренне тревожились за нее, волновались, какая жизнь ее ждет, но и надеялись на лучшее. Но еще, по крайней мере на миг, мы с потрясением осознали, какую сильную боль причинил нам ее отъезд и попытка представить наш тесный кружок без Нассрин. А потом мы вернулись к себе и вспомнили о собственных надеждах и тревогах, всколыхнувшихся после того, как мы узнали о ее решении уехать.

Митра первой их высказала. В последнее время я замечала за ней злость и горечь, которые тревожили меня потому, что ей это было несвойственно. Я чувствовала ее негодование, читая ее дневники и заметки. Все началось с их с мужем поездки в Сирию. Ее поразило, как смиренно иранцы переносят унижения в аэропорту Дамаска, где их поставили в отдельную очередь и обыскивали, как преступников. Но больше всего ее потрясли ощущения, испытанные на улицах Дамаска, где она ходила свободно в футболке и джинсах, держа Хамида за руку. Она вспоминала ветер в волосах, солнце, греющее волосы и кожу, – все мы описывали одно и то же незнакомое ощущение. Я тоже помню эти ветер и солнце; позднее о них расскажут и Ясси, и Манна.

В аэропорту Дамаска Митра испытала унижение оттого, кем ее считали; вернувшись домой, разозлилась оттого, какой жизни была лишена. Она злилась за упущенные годы, за упущенные солнце и ветер, за прогулки за руку с Хамидом, которых у нее не было. Самое странное, удивленно призналась она, что, гуляя с ним за руку, она вдруг поняла, что совсем его не знает. Их отношения перенесли в совершенно новый контекст; Митра казалась чужой даже сама себе. Была ли эта женщина в джинсах и оранжевой футболке, гуляющая на солнце за руку с симпатичным мужчиной, той же самой Митрой? Кем была эта женщина и сможет ли она, Митра настоящая, сродниться с ней, случись им переехать в Канаду?

– Неужели ты совсем не чувствуешь родства со своей страной? – Махшид с вызовом взглянула на Митру. – Похоже, мне одной кажется, что я чем-то обязана нашей родине.

– Невыносимо жить в постоянном страхе, – ответила Митра, – волноваться, как я одета, как хожу. Все, что кажется мне естественным, здесь грех; и что же мне делать?

– Но ты же знаешь, чего от тебя ждут, знаешь законы, – рассудила Махшид. – Ничего нового. Что изменилось? Почему именно сейчас тебя это стало беспокоить?

– Тебе может и проще, – заметила Саназ, но Махшид не дала ей договорить.

– Думаешь, мне проще? – она резко повернулась к ней. – По-твоему, только такие, как ты, страдают в этой стране? Ты даже не знаешь, что такое страх. Думаешь, из-за того, что я верю в Бога и ношу чадру, мне ничего не угрожает? По-твоему, я не боюсь? Глупо думать, что страх может быть только одного вида – такой, как у тебя, – выпалила она с несвойственной ей злобой.

– Я не об этом, – голос Саназ смягчился. – Да, мы знаем об этих законах, и они нам хорошо знакомы, но это не значит, что они справедливы. Это не значит, что мы не чувствуем давление и страх. Просто для тебя носить чадру естественно; это твоя вера, твой выбор.

– Мой выбор? – рассмеялась Махшид. – А что еще у меня есть, кроме веры? И если я и ее потеряю... – Она не договорила, снова потупилась и пробормотала: – Простите. Я разгорячилась.

– Я понимаю, о чем ты говоришь, Махшид, – вмешалась Ясси. – Нет страха сильнее, чем страх потерять веру. Тогда ты окажешься изгоем для всех: и для тех, кто считает себя светскими людьми, и для приверженцев твоей веры. И это ужасно. Мы с Махшид говорили именно об этом страхе, о том, как с самого детства все наши поступки диктовались религией. Если я однажды перестану верить, это будет как смерть; мне придется начинать с нуля в мире, где никто ничего не гарантирует.

Сердце мое болело за Махшид, которая сидела, пытаясь держать себя в руках. Она краснела, сильные эмоции как тонкие венки пульсировали под бледной кожей. По сравнению с девочками, которые особой религиозностью не отличались, Махшид волновали самые сложные вопросы веры. В дневнике, который я задала девочкам вести, и в своих сочинениях Махшид препарировала и подвергала сомнениям мельчайшие аспекты жизни по мусульманским законам. Ее ярость была такой же сдержанной, как и ее улыбка. Позже она написала в дневнике: «Мы с Ясси обе знаем, что теряем веру. Каждый шаг заставляет нас в ней сомневаться. При шахе все было иначе; я чувствовала себя меньшинством, мне приходилось охранять свою веру вопреки всему. Теперь моя религия у власти, но я никогда еще не ощущала такую беспомощность и одиночество». С самого детства ей твердили, что жизнь в краю неверных – чистый ад. Ей обещали, что, когда к власти придут исламисты, все будет иначе. Исламское правление! Оно оказалось лицемерным позорным спектаклем. Она писала, что на работе начальники не смотрят ей в глаза, а в кино даже шестилетняя девочка должна носить платок, и даже шестилетним не позволено играть с мальчиками. Она носила платок, но называла его маской, за которой женщин вынудили прятаться; ей было больно, что его носили по принуждению. Обо всем этом она рассуждала холодно и яростно, всегда заканчивая свои фразы вопросительным знаком.

– Мне нелегко далось решение уехать, – сказала я и впервые ощутила, что готова честно обсудить с ними свои поступки и их смысл. – Я долго и мучительно размышляла. Даже думала уйти от Биджана. («Серьезно? – спросил Биджан, когда я пересказала ему этот разговор. – Я об этом не знал».) – Это признание ненадолго отвлекло девочек от их гнева и разочарований. Я поведала им о своих страхах, о том, как просыпалась по ночам и чувствовала, что задыхаюсь; о страхе, что мне никогда не вырваться из страны, о приступах головокружения и тошноты, о том, как ночью ходила по квартире. Впервые я им открылась и заговорила о своих чувствах и эмоциях; как ни странно, это их успокоило. Когда Азин внезапно вскочила, вспомнив, что сегодня ее черед навещать дочку – она назвала ее Негар в честь моей Негар, и сейчас дочка временно жила у родственников мужа – нам стало намного легче. Мы принялись шутить о поклонниках Саназ и попытках Ясси сбросить вес.

Перед уходом Махшид взяла небольшой сверток, который принесла с собой.

– У меня для вас подарок. Нассрин передала. Попросила отдать вам. – Она протянула мне толстую папку с бумагами. Она и сейчас у меня, лежит на другом столе в другом кабинете. Папка раскрашена всеми цветами радуги: на белом красуются розово-оранжевые полосы и целых три мультяшных персонажа. Яркими зелено-фиолетовыми буквами на ней написано: «До встречи в прекрасной Флориде. Хорошо там, где всегда солнечно!» В папке – конспекты всех моих лекций за три последних семестра в Университете Алламе; листы исписаны аккуратным почерком Нассрин с заголовками и подзаголовками. Она записала все до последнего слова – все фразы, все мои истории. Джеймс, Остин, Филдинг, Бронте, По, Твен – все они были

там. Больше она ничего не оставила – ни фотографии, ни личной записки; только одна строчка на последней странице в папке: *«Я все еще должна вам курсовую по Гэтсби»*.

22

Жизнь в Исламской Республике похожа на секс с нелюбимым человеком, призналась я Биджану тем вечером после занятия в четверг. Когда он пришел, я сидела в своем кресле в гостиной; на коленях лежала папка Нассрин, на столе – сочинения девочек, а рядом стояла тарелка с тающим кофейным мороженым. Биджан сел напротив и произнес: и что это значит? Объясни.

Что ж, сказала я, представь: когда ты вынуждена заниматься сексом с кем-то, кто тебе не нравится, ум отключается. Ты представляешь, что находишься в другом месте, отстраняешься от своего тела; начинаешь ненавидеть его. Вот это здесь с нами происходит. Мы постоянно притворяемся, что мы где-то еще; или планируем оказаться в другом месте, или мечтаем об этом. С тех пор, как девочки днем ушли, я все время об этом думаю.

Что удивительно, после периода сильных ссор, причинивших нам много боли, мы с Биджаном стали ближе друг к другу. Он умел многозначительно молчать. За годы жизни с ним я узнала, что молчание бывает разным и научилась угадывать его окраску и нюансы: бывало молчание сердитое и осуждающее, бывало одобрительное и любящее. Иногда он долго молчал, а потом изливался потоками слов, но в последнее время мы меньше молчали и больше говорили долгими монологами. Все началось, когда мы решили описать друг другу свои чувства насчет Ирана. Мы впервые взглянули на эту ситуацию глазами друг друга. Биджан стал готовиться к переезду и ощутил необходимость выразить свои мысли и чувства и ими со мной поделиться. Мы подолгу обсуждали наши чувства и понятие «дома» – для меня дом не был привязан к месту; Биджан понимал его более традиционно, как ощущение «корней».

Я подробно пересказала наш сегодняшний спор с девочками. Когда они ушли, у меня возникло сравнение с сексуальной агрессией, и я никак не могла от него отделаться. Вот так, должно быть, чувствует себя Манна, и эта мысль терзает меня, призналась я.

Биджан не ответил – кажется, он ждал, что я продолжу, но я вдруг поняла, что добавить мне нечего. Сбросив груз с души, я потянулась и взяла горстку фисташек. А ты когда-нибудь замечал, сказала я, раскалывая орех, как странно смотреть в это зеркало напротив и видеть не себя, а деревья и горы? А тебя как будто нет.

Да, замечал, ответил он и пошел на кухню налить себе самогона; замечал, но не заикливался на этом. А вот ты, видимо, думаешь об этом днем и ночью, добавил он и поставил на столик стакан и тарелку с новой порцией фисташек. Что до твоей живописной аналогии, твоим девочкам, наверно, просто не хочется бросать этого парня, хоть и нелюбимого; им хочется продолжать с ним спать – по крайней мере, некоторым из них, сказал он и глотнул самогона. А потом задумчиво взглянул на содержимое своего стакана и произнес: знаешь, я буду скучать. У нас лучший самогон в мире.

Прервав его рассуждения о достоинствах иранского самогона, я ответила: отъезд не решит все проблемы. Память же останется, и осадок. Нельзя так просто от этого отмыться; отъезд ничего не решит.

Скажу две вещи, ответил он. Во-первых, зло этого мира всем нам отравляет жизнь, этого никак не избежать; важно, как мы это воспринимаем. Во-вторых, вечно ты говоришь о том, как «эти люди» на тебя влияют. А ты задумывалась хоть раз, как *ты* на них влияешь? Я скептически взглянула на него. Наши отношения неравны, но это и плохо, и хорошо. Они могут нас убить или выпороть плетью, но это лишь напоминает им об их слабости. Представь, как им страшно, когда они видят, что творится с их бывшими товарищами и с их детьми.

23

Стоял теплый летний день; дело было примерно через две недели после нашего с Биджаном разговора. Я сидела в кафе одна. На самом деле это была кондитерская, одна из немногих старых кондитерских моего детства, которые еще не закрылись. За здешними пирожками люди простаивали в длинных очередях, а у входа, рядом с большими стеклянными распашными дверями стояли уличные столики. За одним из этих столиком я и сидела; передо мной стоял стакан кофе-глясе. Я достала лист бумаги и ручку и, рассеянно глядя перед собой, начала писать. Рассеянно глядеть перед собой и писать – в последние месяцы в Тегеране это стало моим любимым занятием.

В очереди за пирожками я вдруг увидела смутно знакомое лицо; правда, я так и не смогла вспомнить, где именно его видела. Женщина смотрела на меня, скорее, даже, меня разглядывала. Улыбнувшись и бросив драгоценное место в очереди, она подошла. Доктор Нафиси, произнесла она, вы меня не помните? Видимо, то была моя бывшая студентка. Ее голос показался знакомым, но я все еще не помнила ее имя. При взгляде на нее вспомнились лекции по Джеймсу и Остин, и наконец призрак обрел очертания, а воспоминание совместилось с ее нынешним обликом, и я узнала Рухи, с которой мы не виделись несколько лет. Я узнала бы ее быстрее, если бы на ней была чадра, подчеркивающая маленький курносый носик и дерзкую улыбку.

Она была в черном, но не в чадре; она обернула черный платок вокруг шеи и заколола его серебряной булавкой; та паутинкой трепетала поверх черной ткани. Она была слегка накрашена, из-под платка выбивались пряди темно-каштановых волос. Я помнила ее другой, суровой, чопорной; она как будто все время поджимала губы. Сейчас я заметила, что она не невзрачна, как я раньше думала, а даже привлекательна.

Она стояла рядом с моим столиком. Я пригласила ее сесть и выпить кофе со мной за компанию, раз уж она упустила заветное место в очереди. После окончания университета Рухи вступила в народное ополчение, но вскоре ушла. Там никому не было дела до английской литературы, с улыбкой сказала она. Два года назад она вышла замуж. Сказала, что скучает по университету. Раньше она недоумевала, зачем продолжает изучать английскую литературу, почему не займется чем-то более полезным – тут она улыбнулась. А теперь вот рада, что закончила образование. Ведь теперь у нее есть то, чего нет больше ни у кого. Помните, как мы спорили из-за «Грозового перевала»?

Да, помню, ответила я; мы стали вспоминать, и этот спор предстал передо мной очень четко. Нынешнее незнакомое лицо Рухи растворилось и заменилось ее прежним лицом; впрочем, то теперь тоже казалось мне незнакомым. Я мысленно вернулась в аудиторию на четвертом этаже; Рухи сидела у прохода в третьем ряду, а может, в четвертом. Два лица, почти неотличимых друг от друга, с навек застывшей миной легкого неодобрения; две подружки, сидят и записывают. Они сидели там, когда я вошла, и останутся сидеть, когда я уйду. Большинство студентов смотрели на них с подозрением. Активные участницы Мусульманской студенческой ассоциации были на ножах даже с либеральными членами «Исламского джихада» вроде Форсати.

Я ее помнила. И помнила спор из-за «Грозового перевала», ведь именно в тот день Рухи оторвалась от своей подружки, с которой они всегда ходили парой, и проследовала за мной, когда я вышла в коридор. Она почти затолкала меня в угол, набросилась на меня и, брызжа слюной, высказала свое неодобрение безнравственностью Кэтрин и Хитклиффа. Она говорила с таким пылом, что я оторопела. О чем речь?

Я не собиралась опять устраивать суд над книгой. Я сказала, что безнравственно другое – рассуждать о великом романе в таком ключе. Герои романа не должны быть проводниками

строгих нравственных императивов, а читаем мы не для того, чтобы поупражняться в цензуре. Она стала говорить что-то про других профессоров, про их деликатность – мол, они вычеркивают даже слово «вино» из программных произведений, чтобы не оскорбить чувства студентов-мусульман. Да уж, подумала я; поэтому с другими профессорами вы и не проходите ничего, кроме «Жемчужины» Стейнбека. Я сказала, что она может не ходить на мои занятия; может донести на меня вышестоящему руководству, но я преподаю так, это мой метод, и я буду продолжать преподавать, как меня учили. Я оставила ее в темном углу очень длинного коридора. Хотя потом мы еще не раз виделись, для меня она осталась там навсегда. А теперь явилась ко мне снова и напомнила о себе.

Она возражала и против «Дейзи Миллер»: Дейзи казалась ей не просто безнравственной, а еще и глупой и «неблагоразумной». Но несмотря на наши разногласия и ее очевидное неодобрение моей программы, в следующем году она снова записалась ко мне на курс. Ходили слухи, что у нее роман с большой шишкой в Мусульманской студенческой ассоциации. Нассрин была главным поставщиком этих слухов и вечно пыталась доказать, насколько лицемерны «эти люди».

Теперь Рухи заявляла, что скучает по университету. Мол, раньше ей казалось, что она скучать не будет; только потом она поняла, как не хватает ей наших занятий. Она скучала по фильмам, которые мы смотрели, по нашим дискуссиям. Помните ваше общество «дорогая Джейн»? Я удивилась – как она о нем узнала? Ведь это была наша с девочками тайна, о ней никто не знал, кроме меня и нескольких студенток. А она, оказывается, всегда хотела попасть в это общество. Думала, мы там веселимся. Мне очень нравилась Джейн Остин – знали бы вы, сколько наших девочек обожали Дарси! Я ответила: вот уж не знала, что вам в вашей группе разрешалось иметь сердце. Верьте или нет, ответила она, мы влюблялись постоянно.

Закончив университет, она пыталась учить арабский, перевела с персидского на английский несколько рассказов и стихов – чисто для себя, добавила она. Точнее, она сказала «для моего сердца» – в персидском есть такое выражение. Помолчав, она добавила: а потом я вышла замуж, теперь у меня дочка. Мне стало любопытно, вышла ли она за того самого человека, о котором говорила Нассрин; я не помнила о нем ничего хорошего.

Я спросила, сколько ее дочке. Одиннадцать месяцев, ответила она и с лукавой тенью улыбки добавила: я назвала ее в вашу честь. В мою честь? Да, правда, в свидетельстве о рождении у нее прописано другое имя, но я называю ее тайным прозвищем. Я называю ее Дейзи. Она выбирала между Дейзи и Лиззи, но в конце концов выбрала Дейзи. Она сама мечтала стать Лиззи, но выйти за мистера Дарси ей было не суждено. А почему Дейзи, спросила я? Разве вы не помните Дейзи Миллер? Говорят, если ребенка назвать в чью-то честь, он вырастет похожим на тезку. А я хочу, чтобы моя дочка была похожа на Дейзи, ответила она; чтобы она стала такой, какой я никогда не была. Храброй.

Из всех литературных героинь мои студентки сильнее всего сопереживали Дейзи. Некоторые буквально на ней помешались. Позже на обсуждениях они снова и снова ее вспоминали, твердили о ее храбрости – им казалось, что им самим этого качества не хватает. Махшид и Митра в сочинениях писали о ней с сожалением; им казалось, что их, как и Уинтерборна, ждет разочарование. Когда Рухи встала и начала прощаться, я взглянула на нее с сомнением и произнесла: можно личный вопрос? Ты сказала, что вышла замуж. А за кого? Он не из университета, ответила она. Занимается компьютерами. Человек широких взглядов, с улыбкой добавила она.

Ей надо было спешить, дома ее ждала одиннадцатимесячная дочка, втайне названная Дейзи. Знаете, сказала она, когда я у вас училась, мне так не казалось, но теперь я понимаю: нам было весело. И как же горячо мы спорили из-за Джеймса и Бронте, Набокова и Остин – как будто от их слов зависело, будем мы жить или умрем.

24

Из глубин того, что мы зовем памятью, всплывают воспоминания. Я помню, как Ясси держала в тонких руках воображаемые воздушные шарики, когда радовалась; воспоминания похожи на эти шарики – такие же легкие, светлые и безвозвратные, хоть их и окружает «воздушная печаль» (термин Беллоу). В последние недели моего пребывания в Иране мы с девочками встречались не только по четвергам, но и в другие дни, и не только у меня дома, но и в разных местах. Мы даже отправились вместе за покупками – я решила купить подарки друзьям и родственникам из Америки.

Однажды днем я пошла в свое любимое кафе, искала девочек, но их нигде не было. Я остановила официанта, дряхлого старика в черных брюках, слегка коротковатых; он нес поднос с пирожными и двумя чашками с горячим кофе. Я спросила, не видел ли он компанию девушек. Они пришли без сопровождения, спросил он? Я удивленно посмотрела на него. Да, полагаю, они пришли одни. Тогда они внутри, сказал он и показал влево, на основной зал. Вы же знаете правила, добавил он. Одиноким женщинам здесь сидеть нельзя.

Девочки сидели у окна. В просторном зале были заняты всего два столика – за другим сидели две женщины и пили кофе. «Нет мужчин – нет и привилегий, – весело воскликнула Манна. – Нима сейчас нам пригодился бы». В последние недели, собираясь вместе, мы особенно отчетливо ощущали отсутствие Нассрин. Я спросила Махшид, есть ли новости. Новостей не было. Впрочем, отсутствие новостей – тоже новости, и хорошие, печально добавила она.

Манна и Азин принесли фотоаппараты. Фото из кафе на память, сказала Манна. С приближением даты моего отъезда я стала одержима идеей запечатлеть нашу жизнь, все ее подробности. А когда забывала камеру, сама становилась камерой и лихорадочно описывала птичьи стаи в Полуре, горном курорте близ Тегерана, воздух, который в Иране был почти осязаемым, особенно по утрам в рассветный час, и любимые лица, что окружали нас в эти последние недели.

Митра сегодня была притихшая. Перед моим приходом она рассказывала о своих проблемах и теперь заговорила снова. Мать Хамид категорически не поддерживала их отъезд в Канаду; из-за нее Хамид никак не мог принять окончательное решение. Меня раздражает не то, что она против нашего отъезда, а то, что она постоянно вмешивается в наши дела, сказала Митра. До этого она наседала на нас с внуками – мол, родите мне внука, а то я буду слишком старая и не смогу его нянчить. Теперь это. Митра с Хамидом тоже колебались. У Хамиды здесь была хорошая работа и средства; в Канаде им пришлось бы начинать с нуля. Митра чувствовала, что меняется – она стала более тревожной и чувствительной, ей начали сниться кошмары. Однажды она проснулась с ощущением, что трясется весь дом, но оказалось, тряслась она, схватившись за прикроватный столик. Мне иногда кажется, что мужчины совсем не понимают, как трудно приходится женщинам в этой стране, с досадой выпалила она. Конечно, им проще, сказала Ясси. Здесь же в некотором смысле рай для мужчин. Хамид говорит, что если он будет хорошо зарабатывать, мы всегда можем ездить в отпуск за границу, добавила Митра.

Мужчинам здесь определенно лучше, сказала Азин. Взять хотя бы брачное и бракоразводное законодательство: взгляните, сколько так называемых «светских» взяли себе вторых жен. Особенно интеллектуалы, добавила Манна – те самые, что громче всех кричат о свободе в газетных заголовках.

Не все мужчины такие, возразила Саназ.

Азин, встрепenuвшись, повернулась к ней. Ну конечно, не все. Есть совсем другие, например, твой новый возлюбленный...

Никакой он не возлюбленный, возразила Саназ и захихикала. После долгой депрессии Саназ наконец снова радовалась жизни. Он просто друг Али. Приехал в гости из Англии, сооб-

щила она, видимо, чувствуя необходимость объясниться. Мы и раньше были знакомы, даже дружили через Али. Он должен был стать шафером. А сейчас пришел меня навестить просто из вежливости.

Ямочки Митры и многозначительная улыбка Азин указывали, что одной вежливостью там дело не ограничилось. Что, спросила Саназ? Он даже некрасивый. Можно сказать, даже страшенький, добавила она, прищурившись. Увалень, что ли, спросила Ясси? Да нет, просто не очень хорош собой, но как человек очень приятный, добрый и учтивый. Брат все смеется над ним, а мне, знаете, иногда даже хочется встать на его сторону. На днях он сказал, что тут, в Иране, нельзя носить футболки или пойти поплавать. Когда он ушел, братец стал его передразнивать и говорить: какой ловкий новый метод соблазнения, а моя глупая сестрица как раз из тех, кто клюнет на эту удочку.

Подошел официант. Я заказала кофе-глясе, взглянула на Манну и добавила: а попозже принесите нам всем кофе по-турецки. С тех пор, как моя мать повелась угощать нас этим кофе, мы полюбили гадать на гуще. Манна и Азин соперничали за право предсказывать наши судьбы. В прошлый раз мне гадала Азин, и я обещала Манне, что в следующий раз будет ее черед.

Официант ушел, и Азин прошептала: хочу его сфотографировать. Отвлеките его, девочки, а я быстро его щелкну. И как это сделать, спросила Манна? Хочешь, чтобы мы в тюрьму пошли за флирт с этим дряхлым старикашкой?

Официант принес заказ, Азин подняла камеру и стала подавать знаки Ясси, сидевшей рядом; она делала вид, что наводит камеру на меня и на стену. А можно мне кофе без сахара, сказала Ясси? Не знаю, обычно мы сахар добавляем сразу, недовольно ответил официант. Щелкнул затвор; он резко обернулся на звук, с подозрением взглянул на наши невинные лица и ушел. Не знаю, что получится, сказала Азин; увидим. На фотографии он стоит надо мной, но его лицо повернуто к Ясси; мы видим только его подбородок. Безголовый торс слегка согнут, в одной руке у него пустой поднос; мы с Ясси смотрим на него, а я вцепилась в запотевший стакан, словно боясь, что его в любой момент у меня отнимут.

Позже я показала отснятые за несколько недель фотографии своему волшебнику. Когда уезжаешь, возникает странное чувство, призналась я. Как будто ты будешь скучать не только по людям, которых любишь, но и по себе, той себе, какой являешься сейчас, в этой точке во времени и пространстве; ведь прежней ты уже не будешь никогда.

Официант принес кофе в маленьких разноцветных чашечках. Мы пили и рассуждали о том, как сложно быть писателем в Иране – так много хочется сказать, а нельзя. Я посмотрела на часы; я опаздывала. Пусть Манна погадает мне на гуще, и я пойду, сказала я. Запишу каждое слово, добавила я, взяв карандаш и дневник и приготовившись писать; вся ответственность за мою судьбу на тебе. Помнишь, что Кэри Грант сказал в том прекрасном фильме – слово как упущенный шанс, улетит – не поймает.

Манна взяла мою чашку и начала описывать, что видит: «Я вижу птицу... вроде петуха, значит, хорошие новости; кажется, вы будете им очень рады. Вижу дорогу, хорошо освещенную. Вы делаете первый шаг. В вашей голове сотни мыслей одновременно. Две дороги: одна узкая и темная; другая – широкая и залитая светом. Вы можете ступить на любую из них; выбор за вами. Вижу ключ; проблеме найдется решение. Денег не вижу. Вижу маленький корабль, стоящий в гавани; он еще не отплыл».

25

Может, это свойство всех волшебников – пробуждать в нас магические способности, выявлять скрытые возможности и потенциал, о существовании которых мы сами не подозревали? Вот он сидит на стуле, который я придумываю в процессе. Я пишу, и стул рождается на бумаге: стул из грецкого ореха с коричневой подушкой, немного неудобный, на таком не уснешь. Я вижу этот стул, но он на нем не сидит; сижу я. Волшебник сидит на диване с такими же коричневыми подушками, хотя те, пожалуй, мягче, чем на стуле; волшебник кажется более расслабленным, чем я; это его диван. Он сидит на нем, как всегда, посередине, оставив свободное место справа и слева. На спинку дивана он не откидывается, а сидит прямо, сложив руки на коленях; его узкое лицо все внимание.

Прежде чем он заговорит, пусть пойдет на кухню, ведь он очень гостеприимен и не может допустить, чтобы я сидела у него так долго и не выпила кофе или чаю или не съела мороженого. Сегодня пусть будет чай; он приносит его в двух разных чашках – себе коричневую, мне зеленую. О его изящная аристократичная бедность, его футболки, вечные его шоколадные конфеты. Пока он на кухне, я помолчу и поразмышляю о тщательной продуманности его ритуалов: газету он читает всегда в одно и то же время после завтрака, утром и вечером идет на прогулку, трубку снимает после второго звонка. Меня охватывает внезапная нежность к волшебнику: он кажется нам таким сильным, но насколько же хрупка его жизнь.

Он приносит две чашки, а я говорю: знаете, у меня такое чувство, что вся моя жизнь состоит из отъездов. Он вскидывает брови, ставит чашки на стол и смотрит на меня так, будто ждал увидеть царевну, а увидел лягушку. Мы смеемся. Он говорит, по-прежнему стоя, – в этих четырех стенах можете нести любую ерунду, я ваш друг, я все вам прощу, но не вздумайте написать это в своей книге. Но это правда, возражаю я. Леди-профессор, отвечает он, нам не правда нужна, а вымысел, и как хороший писатель вы, конечно, можете добавить немного правды, но свои истинные чувства, прошу, оставьте при себе.

Он идет на кухню и что-то ищет в холодильнике. Возвращается и приносит пять шоколадных конфет на маленьком блюде. Садится напротив почти на краешек дивана. Боюсь, у нас все кончилось. Остались только эти пять конфет.

Я говорю, что хочу написать книгу и в ней поблагодарить Исламскую Республику за все, чему она меня научила. А научила она меня любить Остин и Джеймса, мороженое и свободу. Мне мало просто это ценить; я хочу об этом написать. А он отвечает: вы не сможете писать об Остин и не писать об Исламской Республике, где Остин открылась вам снова. Вы не сможете забыть о нас. Попробуйте и сами поймете. Ваша Остин теперь неразрывно связана с этой страной, с этой землей и этими деревьями. Думаете, это та же Остин, которую вы читали с доктором Френчем – так, кажется, звали вашего профессора? Думаете, это она? Нет, здесь вы читали совсем другую Остин – здесь, где фильмы отбирает почти слепой цензор, где людей вешают на улицах, а в море устанавливают ширму, отгораживая женщин от мужчин. Когда я буду об этом писать, ответила я, я уже не буду так сильно злиться; я стану более великодушной.

Так мы и сидим и рассказываем бесконечные истории – он на диване, я на стуле; а на полу у кресла-качалки за нашей спиной овальный солнечный блик постепенно сужается, уменьшается и наконец исчезает. Волшебник включает лампу, и мы продолжаем разговор.

26

«Есть у меня навязчивая фантазия, что к Биллю о правах добавили еще один пункт: право на свободу воображения. Я убедилась, что существование истинной демократии невозможно без свободы воображения и права использовать продукты нашего воображения без всяких ограничений. Полноценная жизнь невозможна без права выносить на всеобщее обозрение наши частные миры, мечты, мысли и устремления, без постоянного диалога между внутренним и внешним мирами. Как еще мы поймем, что существовали в этом мире, чувствовали, желали, ненавидели, боялись?»

«Мы твердим о „фактах“, но даже факты существуют лишь условно, если не пропускать их сквозь призму эмоций, мыслей и чувств, не повторять и не перерабатывать таким образом. В Иране мне казалось, как будто мы и не жили вовсе, или жили, но только наполовину; ведь что это за жизнь без возможности свободно фантазировать и общаться с миром; что это за жизнь, когда даже продукты воображения обслуживают политическую повестку».

В день, когда я вышла от волшебника, я села на ступени его дома и записала в блокноте эти слова. Я поставила дату – двадцать третье июня тысяча девятьсот девяносто седьмого года – и рядом написала: «Для моей новой книги». Лишь через год я снова вспомнила о книге, и еще через год наконец заставила себя взяться за перо – метафорическое перо, само собой, – и начать писать об Остин, Набокове и тех, кто читал и проживал их вместе со мной.

В день, когда я вышла от волшебника, солнце садилось и воздух был теплый, зеленели пышные кроны деревьев, и у меня было много причин грустить. Все предметы и лица утратили осязаемость и казались светлым воспоминанием: мои родители, друзья, студенты, эта улица, эти деревья, меркнувший свет на горных вершинах, отраженных в зеркале. Но я также ощущала смутный восторг и, перефразируя слова героини Мюриэл Спарк из чудесного романа «Умышленная задержка», шла своей дорогой, радуясь и думая о том, как это здорово – быть женщиной и писательницей в конце двадцатого века.

Эпилог

Я уехала из Тегерана 24 июня 1997 года – отплыла навстречу зеленому свету, в существование которого когда-то верил Гэтсби. Я снова пишу, снова преподаю и живу на седьмом этаже дома в городе, где нет гор, но есть красивые водопады и источники. Я по-прежнему преподаю Набокова, Джеймса, Фицджеральда, Конрада, Ираджа Пезешк-зода, автора одного из моих любимых иранских романов «Дядюшка Наполеон», и других авторов, чье творчество открывала для себя уже после приезда в Соединенные Штаты – Зору Нил Херстон, Орхана Памука. Я знаю, что теперь мой мир, как у Пнина, всегда будет «портативным».

Я оставила Иран, но Иран не оставил меня. Со времен нашего с Биджаном отъезда внешне в Иране изменилось многое. В походке Манн и других иранских женщин появилась уверенность; платки стали ярче, накидки – намного короче; теперь женщинам можно краситься и свободно ходить по улице с мужчинами, которые им даже не братья, отцы или мужья. Но проверки, аресты и публичные казни никуда не делись. И все же спрос на свободу в Иране вырос; я пишу эти строки, и передо мной лежит газета с заметкой о недавних студенческих демонстрациях в поддержку диссидента, приговоренного к смерти за призывы не следовать духовенству, слепо за ними повторяя, и внести поправки в конституцию. Я читаю, что пишут студенты и бывшие революционеры, слышу лозунги и призывы к демократии и знаю со всей уверенностью, что упрямое стремление нынешних молодых иранцев, детей революции, к жизни, свободе и счастью, а также жесткая самокритика бывших революционеров определяют наше будущее.

Я с уважением отнеслась к просьбе моего волшебника и после своего отъезда из Ирана не говорила с ним и ни разу ему не писала. Но его магия была такой важной частью моей жизни, что я порой спрашиваю себя: а существовал ли он на самом деле? Может, я его придумала? Или он придумал меня?

Иногда мне на компьютер, как светлячки, прилетают электронные письма, а бывает, и бумажные с марками Тегерана и Сиднея. Это письма от бывших студенток; они рассказывают о том, как им сейчас живется, и делятся воспоминаниями.

Я узнала, что Нассрин добралась до Англии, но что с ней было потом – неизвестно.

Митра уехала в Канаду через несколько месяцев после нашего отъезда в США. Раньше она регулярно писала и звонила, но потом пропала, и от нее уже долго нет вестей. Ясси рассказывала, что она поступила в колледж и родила сына.

Саназ тоже на первых порах присылала весточки. Звонила из Европы, сообщала, что вышла замуж и планирует поступить в университет. Но Азин потом рассказала, что она передумала и сидит дома, как говорится, «ведет хозяйство».

Когда мы только переехали в Америку, Азин редко мне писала и звонила; обычно только поздравляла с днем рождения. Бывшая студентка рассказала, что Азин преподает в Университете Алламе и ведет те же курсы, что когда-то вела я, по тем же книгам. Последнее, что она про нее слышала, добавила она лукаво, – что Азин переехала в кабинет рядом с моим старым кабинетом на пятом этаже. Я часто вспоминала Азин и ее красивую маленькую дочку Негар. А через несколько месяцев Азин внезапно позвонила, как оказалось, из Калифорнии. Ее голос был веселым и кокетливым, как прежде; точно таким я его и запомнила. Она снова вышла замуж; новый муж жил в Калифорнии. Бывший муж отнял у нее дочь, и оставаться в Тегеране ей было незачем. Она рассказывала о своих планах – хотела поступить в университет и начать новую жизнь.

Махшид, Манна и Ясси продолжали встречаться после моего отъезда. Они читали Вирджинию Вулф, Кундеру и других писателей; писали о кино, поэзии и своей женской судьбе.

Махшид получила заслуженное повышение и сейчас работает главным редактором в издательстве, где в том числе выходят и ее собственные книги.

В последний год пребывания в Иране Ясси вела частные занятия; студентки ее любили, вместе они занимались альпинизмом, и обо всем об этом она писала мне восторженные письма. Она старательно готовилась, надеясь поступить в американскую аспирантуру. В конце концов в 2000 году ее приняли в Университет Райса в Техасе; там она работает над диссертацией¹⁰⁹.

Нима преподает. Я всегда считала его учителем от Бога. Он также пишет блестящие очерки о Джеймсе, Набокове и своих любимых персидских писателях, но еще ни один не дописал. Он все еще радуется моим байкам и анекдотами. Манна пишет стихи, а когда я недавно сказала, что хочу написать эпилог к своей книге и не знаю, что про нее сказать, они прислали мне это сообщение:

Прошло пять лет с тех пор, как началась эта история; каждый четверг по утрам мы сидели в пасмурной гостиной, читали «Госпожу Бовари» и ели шоколад с винно-красной тарелки. С тех пор в бесконечном однообразии нашей повседневной жизни почти ничего не изменилось. Но где-то там, в другом месте, изменилась я. Каждое утро с восходом ставшего привычным солнца я просыпаюсь и, надевая перед зеркалом платок, становлюсь частью того, что называется реальностью. Но я также знаю, что есть другая «я» – та, что раскрылась вам на страницах этой книги; и в вымышленном мире я навсегда застыну в камне, как статуя Родена. Такой я и останусь, пока вы меня помните, дорогие читатели.

¹⁰⁹ Мемуары Нафиси вышли в 2003.

Благодарности

На страницах этой книги оживают реальные «я», призраки и тени множества людей. Кого-то я знала давно и все описанное в этих главах мы переживали вместе; других как будто знаю всю жизнь, хотя в период, описанный в книге, их со мной рядом не было. И нескольких слов не хватит, чтобы отблагодарить их за их вклад. Подобно добрым феям и джиннам, оберегавшим набоковского Пнина, они стали ангелами-хранителями моей книги. Мою благодарность не выразить словами.

Второго января 2003 года умерла моя мать Незхат Нафиси. В последние месяцы болезни и в смерти я не могла быть рядом. К этому горю всегда будет примешиваться ненависть к злым тоталитарным режимам, которые Набоков презирал за то, что они держат граждан в заложниках, хватая их за сердечные струны. Моя мать разделяла эту ненависть. Для нее борьба с тиранией была не политической, а экзистенциальной. Как ее дочь и личность я так и не смогла соответствовать планке совершенства, которую она для меня установила, но она искренне гордилась моей работой, и верили мы в одни идеалы и ценности. Она так ждала эту книгу, и я посвящаю ее ей в память о ее храбрости и честности, ставших главной причиной ее жизненных неудач. Они с отцом были первыми, самыми преданными и бескорыстными моими читателями.

Отец стал первым в моей жизни рассказчиком: он придумывал для меня сказки, а бывало, мы придумывали их вместе. Он многому меня научил, в том числе верить в идеалы и противостоять реальному миру с помощью возможностей, созданных мирами вымышленными. С братом Мохаммадом я делилась детскими мечтами и историями (сейчас я продолжаю делиться ими со своей любимой племянницей Санам Бану Нафиси); хотя в период написания этой книги мы жили далеко друг от друга, я постоянно ощущала на себе его критичный и сочувственный взгляд. Мой муж Биджан, с которым мы вместе пережили многие события из этой книги, в ходе этого и многих других испытаний был моей лучшей половиной в буквальном смысле этого слова. Он был единственным человеком, кроме моего редактора, кому я дала прочесть готовую рукопись; его бесстрастное суждение, нравственная чистота и любовь очень мне помогли. Мои дети Дара и Негар дарили мне столько любви и поддержки, что порой мне казалось, что мы с ними поменялись ролями.

Другие члены моей семьи и друзья всячески поддерживали и подбадривали меня, отчего писать эту книгу было намного легче. Манидже и Ку Агазадех; Таране и Мо Шамзад; Парвин, чью бесценную дружбу и безоговорочную поддержку не описать словами; Джоанн Лидом Акерман, Хосроу, Тахмине Джун, Голи, Карим, Нахид и Зари; Пол (помимо всего прочего, спасибо, что рассказал мне про книгу «Преследование и искусство письма»¹¹⁰); Карл Гершман, Хиллель Фрадкин и мои прекрасные коллеги и сотрудники Университета Фридония; Бернард Льюис (открывший дверь); Хайеде Дарагахи, Фреште Шапхар, Фаривар Фарзан, Шахран Табари и Зиама (спасибо, что объяснила мне связь Бетховена со свободой) – спасибо вам всем. Спасибо Леа Кениг за дружбу, поддержку и любовь к книгам, которой та щедро со мной поделилась; моим новообретенным подругам детства Фаре Эбрахими и Иссе Х. Роуд; моим голосам совести и сердечным друзьям Ладан Боруманд, Ройе Боруманд и Абди Нафиси. Я также хочу поблагодарить и упомянуть мою хорошую подругу Махназ Афхами. В темные и одинокие времена, когда я ушла с преподавательской должности и думала начать преподавать частно, а практически никто в моей семье меня не поддерживал и не одобрял, она одна это сделала и щедро помогла с моим новым предприятием.

Я всегда буду в долгу у своих студентов – ведь именно благодаря им я иначе взглянула на жизнь и литературу. Но особенно я благодарна Азин, Ясси, Саназ, Митре, Махшид, Манне,

¹¹⁰ Социологический трактат философа Лео Штрауса.

Аве, Можган, Нассрин и Ниме. Страницы этой книги дышат воспоминаниями о моем учительском опыте, и каждая страница посвящена моим студентам.

С момента отъезда из Ирана в 1997 году моей академической и интеллектуальной альма-матер стала Школа перспективных международных исследований им. Пола Г. Нитце при Университете Джона Хопкинса. Открытость, любознательность и интеллектуальная свобода моих коллег и сотрудников Школы, прежних и нынешних, способствовали моей плодотворной работе. Я хочу поблагодарить их за интересную и стимулирующую рабочую атмосферу и отсутствие интеллектуального давления и ограничений. Особая благодарность сотрудникам и моим коллегам из Института зарубежной политики и его директору доктору Тому Кини.

Возможность работать над этой книгой и заниматься собственными проектами в Школе перспективных международных исследований появилась у меня благодаря щедрому гранту Фонда Смита Ричардсона. Отдельно хочу поблагодарить Марин Штрмерки и Саманту Равич за веру в право всех людей на жизнь, свободу и счастье, в каком бы уголке нашей планеты они ни жили. Цитаты аятоллы Хомейни и факты о его жизни я взяла из биографии Бакера Мойна «Хомейни: жизнь аятоллы» (I. B. Taurus, 1999).

Благодарю за поддержку, проявленный энтузиазм и профессионализм сотрудников издательства Random House. Веронику Уиндхольц за внимательную редактуру и неприятие тирании, Робин Ролевиц за улыбки, щедрую и своевременную поддержку, которая порой выходила за пределы служебных обязанностей; со временем я поняла, что могу на нее рассчитывать. Я часто недоумевала, зачем писатели пишут такие дифирамбы своим редакторам, пока не начала работать с Джой де Менил. Джой, хоть и очень молода, стала для этой книги кем-то вроде феи-крестной. Я благодарна ей за дружбу, которая сложилась, пока я писала эту книгу, за интересные мысли и предложения, дотошную редактуру и, что немаловажно, за то, что она тоже является страстным поклонником великой литературы и умеет ее ценить.

И остается, конечно же, неподражаемый и неисправимый Р. – где бы он ни был сейчас, какие бы истории ни рассказывал, в чем бы ни участвовал, я очень ему благодарна.

Разговор с Азар Нафиси¹¹¹

Материалы для читателей подготовлены читательским клубом Random House

Читательский клуб Random House: В «Читая „Лолиту“ в Тегеране» вы пишете, что лишь вернувшись на родину, в Иран, вы осознали истинное значение слова «изгнание». Можете объяснить этот кажущийся парадокс и чувствуете ли вы то же самое сейчас, через десять лет после переезда в США? Является ли «изгнание» многослойным и многоуровневым понятием, как и понятие «дом»?

Азар Нафиси: Безусловно, я считаю изгнание многоуровневым понятием. Ясно, что есть физическое или географическое изгнание, но самым мучительным для человека является ощущение себя не на месте или в изгнании у себя дома, на родине. К примеру, перед тем, как вернуться в Иран, я с тринадцати лет мечтала вернуться домой, то есть выстраивала у себя в голове Иран воображаемый, который очень отличался от того, который существовал на самом деле. Кроме того, я вернулась в революционный Иран, где изменилось все, что было мне знакомо, – улицы моего детства, их названия. Сожгли кинотеатры, куда мы в детстве ходили с мамой и папой. Новый режим бросил вызов всему, что я считала частью своей жизни, своей личности, он все это подверг сомнению. Даже мою веру, традиции и религию моих родителей и предков у меня забрали и переосмыслили. У меня отняли привычный мир. Я словно попала в кино про пришельцев.

Немецкий философ Теодор Адорно говорил, что высшая форма морали – даже в моменты полной уверенности в своей правоте не переставать сомневаться. Исламская Революция научила меня никогда не расслабляться, никогда не верить до конца, что дом тебя не предаст. Дом можно потерять в войну или революцию или, как здесь, в Америке, во время землетрясения, пожара или торнадо. Дом могут просто забрать. И единственный способ сохранить ощущение дома, сделать его постоянным – поддерживать его внутри, постоянно анализировать и переосмысливать для себя «дом». Дом можно сохранить в памяти. Кстати, это одна из причин, почему я написала эту книгу, – я хотела вернуть себе дом, который потеряла, и сделать это через нарратив, рассказав свою историю.

Читательский клуб Random House: Как красиво вы объяснили. А можете подробнее рассказать, как чтение и особенно совместное чтение в женском кругу облегчало вам жизнь в изгнании?

Азар Нафиси: Знаете, впервые я почувствовала себя в изгнании, когда в тринадцать лет покинула Иран. Когда закрылся выход в самолете, я поняла следующее: что бы я ни делала, я уже не вернусь в тот Иран, на свою родину, к моим родителям и родственникам. Я поняла, что есть только один способ сохранить мой дом: это память, ведь никто не может забрать у нас воспоминания. Другим способом стали родной язык и литература. Я взяла с собой несколько книг иранских поэтов и каждый вечер открывала их на любой странице. Я читала Хафиза, Руми и современную персидскую поэтессу Форуг Фаррохзад; я просто читала их слова и вспоминала все, что любила в своей стране. Кстати, тот же метод помог мне почувствовать себя как дома сначала в Англии, а потом в Америке. Я читала Диккенса, Остин, Марка Твена и Вирджинию Вулф, и их книги становились посланниками нового мира – мира, куда мне предстояло отправиться.

¹¹¹ Это интервью Азар Нафиси 2008 года (через пять лет после выхода первого издания «Читая „Лолиту“ в Тегеране») – прим. пер.

Язык и литература имели для меня очень большое значение, но когда я вернулась в Иран во время революции, из-за цензуры, из-за того, что нам многое запрещалось, мне было очень трудно публично высказать то, что я хотела сказать. Так и вышло, что способом коммуникации для меня стали книги, которые мы читали со студентами; с помощью этих книг мы сообщали друг другу то, что хотели выразить. Книги стали нашим миром, нашим домом и способом познать себя. Вы спрашиваете, чувствую ли я то же самое по-прежнему, через десять лет после переезда в США? Да, чувствую; думаю, эта связь с домом и с собой через литературу является в моей жизни одной из главных констант, это то, что будет со мной всегда. Я не потеряла Иран; у меня остались Фирдоуси, Хафиз и Руми, а теперь, благодаря литературе, я и в Штатах чувствую себя как дома. По сути, я совсем не изменилась: в Иране я преподавала, писала книги, меня заботили права женщин и права человека; первая книга, которую я там опубликовала, была посвящена Владимиру Набокову. Здесь, в США, я тоже преподаю и пишу книги, меня заботят те же общественные проблемы, и первая книга, которая вышла у меня здесь, также посвящена Набокову и другим писателям, которых мы читали в Тегеране. Единственное отличие, что сейчас я читаю «Лолиту» в Вашингтоне – точнее, пока не читала!

Вспоминается случай: когда в 1997 году мы с семьей переехали в Штаты, мои дети были подростками, и им, конечно, поначалу было здесь неуютно, они тосковали по Ирану и хотели вернуться. Но моя дочь, как я, любит читать, а в школе они проходили Шекспира, «Ромео и Джульетту». Это произведение очень ее взволновало, она пришла домой и сказала: «Мама, послушай!» – и процитировала мне отрывок о Розалине, где Ромео говорит: «Она такая строгая святая / Что я надежд на счастье не питаю»¹¹². И когда я услышала, с каким восторгом моя дочь говорит о Шекспире, то поняла, что у нее все будет в порядке: она нашла свой дом. Понятие «дома» существует за пределами этноса и национальности, гендера, пола и религии. Это универсальное место, где могут жить все.

Читательский клуб Random House: Мемуары «Читая „Лолиту“ в Тегеране» вышли пять лет назад. Если воспринимать эту книгу как призму, сквозь которую западные читатели могут взглянуть на Иран и себя, как изменился этот взгляд спустя годы с учетом всего случившегося за это время? Как изменилось ваше восприятие книги и Ирана?

Азар Нафиси: Это сложный вопрос, ведь книга – как ребенок. Когда она уходит в мир, становится самостоятельной сущностью и начинает сама взаимодействовать с миром, я уже, по сути, мало на что могу повлиять. Но что касается моего собственного восприятия книги и обстановки в Иране – изменилась ли она? – могу сказать две вещи. Во-первых, я писала «„Лолиту“ в Тегеране» не только для того, чтобы поговорить о политике. В центре моего исследования было поведение людей, живущих в условиях тирании, то, как они приспособляются к тираническому режиму. Как люди создают для себя «кармашки» свободы с помощью воображения? Это и есть главная тема книги – роль воображения в создании внутренних островков свободы и противостоянии тирании, как политической, так и тирании времени.

Это была моя первая задача, а еще я хотела изучить вопрос слома границ. Я хотела показать, как девушка, которая никогда не выезжала за пределы Исламской Республики Иран и не была в США, во Франции или Англии, может ощутить связь с незнакомыми странами, читая зарубежную литературу. Причем не просто ощутить связь, но и интерпретировать эти книги иначе, предложить свежее восприятие. Трактую и представляя то, чего никогда не видели, люди оказываются примерно на одном уровне, на равных. И в этом главная задача моей книги. Политика и политические преобразования в ней вторичны.

¹¹² Пер. Б. Пастернака.

Что касается изменений в Иране, система не изменилась. В книге я пишу, что Исламская Республика – как погода в апреле: то солнечно, то дождь и гроза. Бывают периоды открытости и либерализации, за которыми следуют новые ограничения и «закручивание гаек» – то, что мы наблюдаем прямо сейчас. Но основная структура не меняется. Законы не меняются, а значит, остается неизменной и реакция людей на эти законы и на систему. Самое главное изменение, думаю, состоит в том, что все больше людей в Иране сопротивляются угнетению ненасильственными, демократическими методами. Некоторые студенты, которых я упоминаю в книге, стали учителями; они пытаются изменить систему изнутри и уже повлияли на общество. Некоторые революционеры, которые в начале стремились выгнать из университетов таких, как я, впоследствии сами подверглись увольнению и теперь выступают за светскость и демократию. Кого-то посадили в тюрьму, кто-то, как я, живет в изгнании. Они тоже пишут книги на темы свободы и демократии. Безусловно, что-то меняется.

Читательский клуб Random House: В названии вашей книги упомянут роман, который здесь, в США, по-прежнему вызывает много противоречий. Вынести его в название – смелый шаг, ведь «Лолита» – очень откровенный роман. Преследование Гумбертом нимфетки Лолиты и сексуальное насилие над ней в романе сталкивается с западным восприятием исламского фундаментализма, характеризующего иранское государство. Но дальше вы показываете, что в Иране противостоянием режиму могли считать не только чтение Набокова, но и чтение Остин, Джеймса, Беллоу и других западных писателей. Можете немного подробнее рассказать об этом конфликте Исламской Республики и так называемой «Республики Воображения», о которой вы пишете; где грань между ними?

Азар Нафиси: Конфликт между Исламской Республикой и Республикой Воображения оказывается в центре моего внимания, потому что я описываю конкретный момент во времени и пространстве. А вообще конфликт с Республикой Воображения может существовать не только в Иране. История знает массу примеров проявления этого конфликта в тиранических обществах Востока и Запада. Самый очевидный пример – европейский фашизм, диктатуры Восточной Европы и то, что происходит сейчас в Китае или на Кубе. Но гораздо важнее помнить, что подобное тираническое абсолютистское восприятие также может существовать и в демократическом обществе, у нас, в США. Здесь, к примеру, есть «Неделя запрещенных книг», многие книги в США запрещены: их не найдешь на полках библиотек в некоторых штатах, они исключены из школьной программы. Идея в том, что воображение *всегда* противостоит режиму и представляет угрозу для абсолютистского или ограниченного восприятия. Вы верно заметили, что с «Лолитой» все более-менее ясно, но даже произведения таких писателей, как Джейн Остин, Сол Беллоу и Генри Джеймс – писателей, которых мы привыкли считать социальными и политическими консерваторами – даже в них есть доля бунтарства. Каждое великое литературное произведение не только описывает темы и события, которым оно посвящено, но одновременно подвергает их сомнению и сопротивляется им. Художественная литература не просто фиксирует текущую реальность, она исследует все возможные варианты ее развития и показывает, какой эта реальность *могла бы* быть и какой она *должна* быть. Роман – жанр с демократичной структурой. Мне кажется, в основе художественной литературы лежит так называемый принцип «демократического воображения», ведь художественной литературе свойственно многоголосие. Возьмем, к примеру, «Гордость и предубеждение» или любой другой роман Джейн Остин – во всех ее романах звучит множество голосов разных персонажей, которые непрерывно общаются между собой и, как правило, не сходятся во мнениях. Поскольку Остин – не диктатор, она не навязывает персонажам свой голос и позицию, а позволяет им дискутировать и спорить, высказывая разные точки зрения. Эта полифония, эта литературная демократия представляет большую угрозу автократическому мышлению. Джейн

Остин, дочь священника, по всем признакам должна была стать чопорной и благовоспитанной дамой. Но в своих романах она над всеми смеется, в том числе над священнослужителями. Мне как-то сказали, что Остин была против религии, это доказывает персонаж мистера Коллинза, но в книгах Остин есть нелепые священники, а есть честные и симпатичные. Остин показывает нам многогранность человеческой природы. Свойство великой литературы в том, что та обычно не подвержена не только предрассудкам своего времени, но и предрассудкам самого автора. Скажем, Фицджеральд любил богатство и обеспеченный класс и в некотором роде пал жертвой своей одержимости, но в «Великом Гэтсби» он резче всего критикует именно богачей Тома и Дейзи и их беспечное отношение к окружающим, которых они используют. Поэтому судить произведение искусства по принадлежности автора к той или иной среде неверно и ограничено. Текст – живая сущность, продукт ума писателя, но в то же время он существует независимо от автора.

Роман также является угрозой автократическому мышлению из-за свойственных этому жанру юмора и иронии. Самый печальный пример – фетва против Салмана Рушди. Рушди судили не потому, что он оскорбил ислам – он его не оскорблял – а потому что в его романах столько юмора. Они не попадают ни в одну категорию, не подчиняются нормам и правилам. Для воображения нет ничего святого, воображение дает его обладателю право на богохульство. В романе автор должен быть честным, смешным, критичным и самокритичным; он должен давать возможность высказаться даже злодеям. Полагаю, именно поэтому воображение становится такой угрозой абсолютистскому мышлению, причем обладатель этого мышления может находиться как в Иране, так и в США. Абсолютисты всегда реагируют одинаково, где бы они ни были.

Есть еще одна особенность романа, которую я хотела бы упомянуть, – проблема неоднозначности. Ум абсолютиста хочет все делить на черное и белое, и не надо быть правителем Исламской Республики, чтобы видеть мир таким. Мы сталкиваемся с этим каждый день и в нашем обществе здесь, в Америке; здесь общество так же политизировано и поляризовано, мы постоянно демонизируем друг друга и верим, что всегда поступаем во благо, потому что «хорошие парни» – это мы. Переложить ответственность очень просто, спросить с кого-то за все плохое очень легко. Лицемерие любого рода – худший порок великих литературных произведений, и неважно, кого оно характеризует, какую точку зрения, «правых» или «левых». Роман полон двусмысленности, парадоксов и противоречий, он ничего никому не спускает с рук, ведь все персонажи отвечают за свои действия. Элизабет Беннет находит счастье и выходит за Дарси лишь потому, что в «Гордости и предубеждении» она обладает самой развитой способностью к эмпатии. Она нравится читателю своей самокритичностью; она понимает, что была слепа и это принесло ей страдания. Романы учат нас самоанализу, самокритике, тому, что не бывает черного и белого, поэтому роман представляет большую опасность для людей, мыслящих черно-белыми категориями – а подобное мышление, политизированное и упрощенное, в наши дни очень распространено, причем не только в политических кругах.

Читательский клуб Random House: Способен ли западный читатель, для которого личные свободы – нечто само собой разумеющееся, понять Набокова и других авторов, которые писали на схожие темы? Центральная тема романов Набокова – жизнь в тоталитарном государстве, где все подчинено идеологии. И сможет ли западный читатель понять, что чувствует женщина, живущая в стране, подобной современному Ирану?

Азар Нафиси: Мне кажется, люди обращаются к книгам не для того, чтобы читать о знакомых вещах, о том, отчего нам хорошо и спокойно. А воспринимая личные свободы как нечто «само собой разумеющееся», западный читатель совершает большую ошибку. С тех пор, как я приехала в США, меня очень тревожит одна идея, популярная и продвигаемая во многих

колледжах и университетах, даже в старших классах школ – что всем нравится читать и говорить только о себе. Если ты афроамериканка, ты должна преподавать афроамериканскую литературу, читать афроамериканскую литературу и писать книги про афроамериканцев. Но я считаю, что мы пишем и читаем для того, чтобы исследовать незнакомые предметы и незнакомых людей. Как писатель я всегда начинаю с темы, которую, как мне кажется, знаю, и я, конечно, *отчасти* ее знаю, но для меня процесс написания книги – всегда исследование и открытие. Я открываю в себе незнакомые грани, а читатель, открыв книгу, активизирует в себе два свойства, два чудесных свойства, на которых зиждется чтение и создание текста, – они же лежали в основе воображения. Первое свойство – любопытство. Мы читаем, потому что хотим познать неизведанное. Это волшебное свойство, эта тяга к открытиям объединяет науку и литературу. Другим замечательным свойством является способность к эмпатии, которая раскрывается в читателе, как только он входит в мир одновременно знакомый и незнакомый и ступает на путь открытий. Эмпатия – такой же важный элемент литературного творчества, как любопытство, потому что для людей эмпатия является единственным способом коммуникации. Много ли мы знаем друг о друге, вы и я? Литература заставляет проживать чужой опыт, чувствовать и видеть то, что мы прежде не видели и не чувствовали. В результате мы испытываем шок узнавания и понимаем, что человеческий опыт универсален. Именно поэтому даже западные читатели, читая Набокова, испытывают шок узнавания – они понимают, что худшие и лучшие качества набоковских героев вполне могут существовать и внутри их самих. Каждый читатель может быть и Гумбертом, и Лолитой. Он может быть Пнином и его ужасной женой Лизой. Читатели могут сопереживать иранским женщинам, потому что читают про иранских женщин и понимают, что те не очень-то и отличаются от американок – и те, и другие мечтают о лучшем будущем для себя и своего народа; и те, и другие влюбляются, ревнуют, переживают предательство; и те, и другие любят музыку, поэзию, любят держаться за руки. Я думаю, что чтение Набокова и Руми, чтение любых великих литературных произведений сближает. Поэтому это просто замечательно, что в Иране так много читающих, что все больше людей читают и интересуются писателями и философами из других стран, и то же самое должно быть здесь, в США. Когда британец Дик Дэвис, преподаватель Университета штата Огайо, переводит величайших персидских поэтов и писателей и исследует их творчество, я, персиянка, которая всю жизнь прожила с этими текстами, нахожу в его работах интересные мысли о своей культуре и о себе, которые прежде не приходили мне в голову. Вот как выглядит настоящий культурный обмен: как постоянный диалог между «я» и окружающими, постоянное критическое наблюдение и осмысление «я» и его восхваление глазами других людей.

И еще одно замечание по поводу западных читателей: в книге я привожу цитату Сола Беллоу о героях, переживших Холокост: «Но переживут ли они испытание свободой?» В своих романах Беллоу пишет о «спящем сознании», являющемся главной угрозой Западу. А мне кажется, что главная опасность, подстерегающая западного читателя, – его склонность принимать личные свободы как должное; западный читатель чувствует себя слишком уютно, слишком «как дома», и не способен посмотреть на себя со стороны. Поэтому я очень рекомендую западным людям скорее начать читать Набокова, чтобы почувствовать себя немного *неуютно*. С момента моего приезда в США это стало моей навязчивой идеей: мы стали пренебрегать воображением в пользу упрощений и выжимок, а политизация, поляризация и культ селебрити заняли место оригинального мышления и воображения. Разве может культура процветать, быть динамичной и развиваться без поэтического восприятия, без способности примиряться с парадоксами и противоречиями, которые неизбежно возникают у думающей, наделенной воображением личности? Я опасаюсь, что преуменьшая значение гуманитарных предметов в системе образования и политизируя все сферы до такой степени, что чтение ради чистого чувственного и интеллектуального удовольствия становится редкостью, мы попадем в ловушку

«атрофии чувств», пользуясь выражением Беллоу. И именно это должно нас волновать – угроза утратить способность чувствовать и мыслить.

Читательский клуб Random House: В книге вы пишете об «американском мифе». А существует ли в Америке «миф об Иране» и есть ли у этих двух мифов точки соприкосновения?

Азар Нафиси: Могу сказать одно: когда я приехала в США, я удивилась, насколько политизировано восприятие Ирана американцами. Поначалу меня это очень раздражало, потому что когда я жила в Иране, мне казалось, что правительство конфисковало все наши представления о себе и заменило их одним-единственным представлением. Я надеялась, что когда приеду в США, окажется, что люди здесь имеют свободный доступ к информации и знаниям и потому видят все разнообразие иранской действительности, все противоречия и парадоксы. Но, к сожалению, главенствующим представлением об Иране оказалось то самое, что было навязано нам нашим правительством. Миф об Иране оказался очень примитивным, он сводился к самому базовому набору представлений. Во-первых, меня смутило то, что со времен Иранской Революции 1979 года очень разные страны с совершенно разной средой, историей и традициями – Малайзия, Иран, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия – все они вдруг свелись к одному компоненту – религии. Их стали называть «мусульманским миром». Разве мы говорим так о Европе и Америке? Во Франции, Германии, Великобритании и США живет преобладающее число христиан, но мы же не называем эти страны «христианским миром». Однако страны, которые я перечислила, хотя у них гораздо меньше общего, чем у Европы и США, мы называем «мусульманским миром», а религию сводим к ее самой экстремальной разновидности. Это все равно что сказать, что вся Америка такая, какой ее описал Джерри Фалуэлл¹¹³, потому что это христианская страна, не отдавая себе отчет, что религия всегда должна оставлять простор для интерпретации, иначе она не сможет быть динамичной и процветать. Религия не может быть делом государственным. А государство не может указывать, что религия может быть только одна, идеология – только одна, и требовать от граждан соответствующего поведения.

Когда я приехала в США, стоило мне начать рассказывать о себе или своей стране, как люди говорили: «Но вы же человек западных взглядов!» Как будто «жизнь, свободу и стремление к счастью» придумали американцы, а женщинам Ирана или Афганистана стремление к счастью и свободе было совсем несвойственно. Они удивлялись, почему я так одеваюсь, почему так разговариваю, ведь это «по-западному». А ведь сто лет назад женщины, жившие во времена молодости моей бабушки, требовали тех же свобод, которых сейчас требуют женщины на Западе. Они боролись за свои свободы. В Иране прошла конституционная революция, у нас были две женщины-министра – одна из них занимала пост министра по делам женщин. И эти свободы нам дало не правительство, не шах – мы сами их отвоевали в ходе борьбы, длившейся десятилетиями.

Так что да, в США существует миф об Иране, и эта мифология очень политизирована и искажена. К моему Ирану и его истории этот миф не имеет никакого отношения. История Ирана насчитывает 2500 лет. Половину этого срока мы не были мусульманской страной, мы были зороастрийцами. И даже если речь об исламе – о каком исламе? В моей книге показана лишь малая часть иранского общества, некоторые ее герои – ортодоксальные мусульмане и даже они очень отличаются друг от друга. Моя студентка Разие, верующая, ортодоксальная мусульманка, никогда не снимавшая чадры, казнена режимом, называющим себя «исламским». Мой студент Бахри принадлежал к Мусульманской студенческой ассоциации и защи-

¹¹³ Американский религиозный фундаменталист, основатель организации «Моральное большинство», продвигал в Америке патриархальные взгляды на семью и общество.

щал меня, пытался препятствовать моему увольнению из университета, которого добивались мои светские коллеги. Так о каком исламе речь? Кто сказал, что я меньше мусульманка, чем жены иранских лидеров, чем женщины, занимающие в Иране государственные посты? Мои предки жили в Иране шестьсот лет и служили этой стране. Вот такие вопросы у меня возникают, когда я думаю о существующем в Америке «мифе об Иране». Эти вопросы очень меня беспокоят, и мне кажется, избавиться от этих предрассудков можно только одним способом – начать изучать культуру и историю народа. Вот почему так важно рассказывать истории.

Читательский клуб Random House: Давайте перейдем от мифов к мечтам: вы описали Иранскую революцию – точнее, Исламскую Республику, установившуюся в результате революции 1979 года – как ужасную и прекрасную мечту. Мне это напомнило американскую мечту, к которой стремится Гэтсби и в итоге ее воплощает – Гэтсби из романа, над которым в «Читая „Лолиту“ в Тегеране» устроили тот самый памятный суд.

Азар Нафиси: Да, это замечательное сравнение. Помню, в «Великом Гэтсби» есть одна прекрасная сцена: Ник говорит, как реальность запятнала мечту Гэтсби. Реальность уничтожила и мечту, и самого Гэтсби. Мечты тем и опасны: мечтать нужно осторожно. Замечательно, если мечта есть и человек ей следует. Но навязывать мечту реальности очень опасно. И хотя я высоко ценю воображение и считаю, что без воображения реальности не существует, я в то же время полагаю, что мы должны быть осторожными и не навязывать свои мечты реальности, особенно чужой. (Хороший пример того, что происходит, когда мы это делаем – Гумберт.) Революция была прекрасным начинанием, ведь люди стремились изменить свою жизнь. Они стремились улучшить ее, иметь больше прав, активнее участвовать в политической жизни. Но группа людей конфисковала эту мечту и попыталась навязать свое представление целой стране – и это ужасно. Мечта стала разрушительной и потому опасной. В главе «Гэтсби» я рассказываю, что тоже жила внутри этой мечты, когда была студенткой и диссиденткой. К счастью, я пережила крушение мечты. А кто-то не пережил.

Читательский клуб Random House: Меня поразило почти шизофреническое отношение к западной и особенно американской культуре, о котором вы пишете в книге. Например, в период самых сильных репрессий в Иране вы все равно продолжали преподавать английскую и американскую литературу. Причем вы преподавали молодым людям, мужчинам и женщинам, которым отчаянно не хватало такой литературы, даже если в то время они этого не понимали, как ваша студентка Рухи. Чем объясняется такое отношение любви и ненависти?

Азар Нафиси: Вот вы заговорили о шизофрении – выдающийся иранский философ Дариуш Шайеган написал целую книгу об этом шизофреническом восприятии, и тут мне нечего даже добавить. Если коротко, эта ситуация лишь показывает, что иранское общество не принимало то, что правительство пыталось ему навязать. У Ирана было прошлое, и в этом прошлом девушки и юноши учились в университетах вместе. Они сидели вместе за одной партой, вместе учились, изучали английскую, французскую и немецкую, а также персидскую литературу. Иран был страной, где женщины активно участвовали во всех сферах жизни и боролись за право работать и равенство с мужчинами на протяжении почти ста лет. Эти ценности так глубоко укоренились в обществе, что правительство не могло просто взять и изменить их. Оно могло их исказить, но было вынуждено также под них подстраиваться. Например, правительство пыталось провести сегрегацию в университетах, как в Саудовской Аравии. Но ничего не вышло, пришлось оставить все, как есть, и студенты обоих полов учились в одной группе, но девочки сидели на задних рядах или с противоположной стороны от мальчиков. Просто

взять и убрать все западное оказалось невозможным. Английскую литературу преподавали в иранских университетах много десятков лет.

Это, пожалуй, самый важный аспект идей и воображения: люди, которые в начале революции пытались их искоренить, со временем заразились теми же идеями. Рухи и многие мои студенты, которые поначалу воспринимали западную литературу в штыки, читая книги в классе, приходили к выводу, что те на многое проливают свет и открывают глаза. За это нужно поблагодарить Исламскую Республику: многие иранцы традиционных взглядов, которые не собирались отправлять своих детей учиться в вузы, после революции сделали это, и дети открылись новым мыслям и идеям. Но мы видим, что люди хотели одного, а правительство – другого. Отсюда репрессивные меры, цензура западной литературы, преподаватели, которые вычеркивали слово «вино» из рассказов Хемингуэя; и в то же время споры о великих произведениях западной литературы никогда не прекращались. Впрочем, как и об иранской литературе. Ведь наших великих иранских писателей, особенно современных, тоже запрещали и подвергали цензуре, причем даже в большей степени, чем западных авторов. И чем сильнее их притесняли, тем сильнее было стремление читать их книги – особенно у молодежи.

Читательский клуб Random House: Западным читателям и читательницам, пожалуй, сложнее всего смириться с враждебным и пренебрежительным отношением Исламской Республики к женщинам. Был ли этот аспект революции неизбежным и улучшилось ли положение женщин в последние годы?

Азар Нафиси: У Исламской Республики было одно свойство – во имя религии она конфисковала у нас саму религию и превратила ее в идеологию. Женщины в Иране, как и в других преимущественно мусульманских обществах, стали, что называется, «канарейками в угольной шахте» – то есть поводом для беспокойства. Степень свободы общества можно определить по степени свободы женщин (а в Америке так же, как в Иране, женщины, геи и меньшинства – канарейки в угольной шахте). Именно женщины символизируют индивидуальные права, а для тоталитарного государства это самая большая угроза. Если помните, в советское время применялись примерно такие же меры. Макияж в Советском Союзе считался «западным» и «упадническим». Женская одежда должна была напоминать униформу и не иметь излишеств. Определенная униформа одно время была и в Китае, причем как для мужчин, так и для женщин. В СССР были запрещены книги некоторых европейских и американских писателей, которых считали «буржуазными» – Хемингуэя, Фолкнера, Сартра, Камю. Аналогичный механизм действует сейчас в Исламской Республике. Женщины стали символами демократии и открытости.

Думаю, стоит также отметить, что раньше ношение чадры в Иране никогда не воспринимали как что-то «правильное» или «неправильное». Проблема с чадрой в том, что чадра должна быть символом веры. Следовательно, у каждой женщины должно быть право выбирать, хочет она носить чадру или нет. Правительство и государство не может указывать людям, как правильно верить в Бога; раз на то пошло, правительство и государство не должно диктовать гражданам, верить им в Бога или нет. В вопросах веры каждый человек должен быть свободен, это его личное дело. Поэтому проблема чадры в Иране – это проблема свободы выбора. Моя бабушка никогда не снимала чадру, до самой своей смерти, а она прожила долгую жизнь. Чадру она носила всегда. Но ей очень не нравилось, что правительство навязывало чадру не только евреям и христианам, но и мусульманкам вроде моей матери, которая не хотела ее носить. Для бабушки чадра была символом веры, но если всех женщин принудить носить чадру независимо от веры, чадра станет символом принуждения и политическим символом государства. Многие мусульманские студентки, которые носили чадру до революции, после революции стали противиться обязательному ношению чадры. Уже тридцать лет иранское правительство пускает в ход все методы, чтобы заставить женщин подчиниться правилам, но женщины все время

находят способы увильнуть от правил. Они красят губы и выпускают пряди волос на улице, носят яркую одежду и слушают запрещенную музыку, держатся за руки. Они сопротивляются ненасильственно, без всяких политических протестов. Они просто отказываются подчиниться. Надеюсь, вы поняли, что все люди хотят быть свободными, и неважно, откуда они родом? Что идея свободы не родилась на Западе? Касательно этого мифа, мифа об Америке, я хотела бы упомянуть еще одну вещь. Некоторые рассуждают о так называемых «мусульманских обществах», представляя нас в ловушке культуры и религии, и считают, что это невозможно изменить. Но это двойные стандарты: не забывайте, что и на Западе в середине девятнадцатого века у женщин не было права голоса и многие люди в США и Европе утверждали, что место женщины – дома; то же написано в Библии. В Америке было рабство, в автобусах и ресторанах существовали отдельные места для черных и белых вплоть до конца 1950-х – начала 1960-х годов, и для того, чтобы афроамериканцы добились равных прав, пролилось много крови. Те же аргументы, что когда-то применяли на Западе против женщин и против отмены рабства, сейчас применяют, чтобы обосновать отказ что-то менять в правах женщин в странах мусульманского большинства. Если считать шариат исламской культурой, с таким же успехом можно назвать сожжение ведьм в Салеме американской культурой – сожжение ведьм, а не Эмерсона, не Торо и не Мартина Лютера Кинга. С таким же успехом можно назвать европейской культурой инквизиторские суды, а не Фому Аквинского, Данте и Кортеса. Люди должны понимать, что у нас, иранцев, есть Хафиз, есть Руми и другие великие поэты и мыслители, но есть отсталые и деспотические традиции, которые нужно изменить. Апологетов подобного мышления очень много – они утверждают, что люди в «таких» странах, «примитивные аборигены», заслуживают то, что имеют. Мол, такая у них культура, и Запад не должен ее критиковать, потому что это оскорбительно для культуры. Эти люди не видят разницы между государством и людьми, для них существует только один взгляд на религию, традиции, историю и культуру – господствующая государственная идеология. Вот некоторые и считают, что критика Исламской Республики – то же самое, что критика ислама и Ирана.

Читательский клуб Random House: Описывая иранок, вы замечаете: «Нашей культуре был совершенно чужд эрос, истинная чувственность». Виновна ли в этом традиция покрывать голову, чадра и поведение, символом и воплощением которого они являются, или есть другие причины? Относится ли это наблюдение и к западным женщинам?

Азар Нафиси: Мне кажется, проблемы с эросом и сексуальностью есть во всех культурах, хотя в персидской это особенно чувствуется. Женщин всегда воспринимали как одну из двух крайностей, их или боготворили и возводили на пьедестал, или объявляли проститутками и сексуальным объектом. Женщины всегда боролись за право проявлять свою сексуальность, и это всегда было трудной задачей. Полное равенство возможно лишь тогда, когда человек имеет право на полное самовыражение и может высказать свои желания – физические, интеллектуальные и эмоциональные. В Иране женщинам в этом недвусмысленно отказано. На Западе женская сексуальность иногда подвергается искажениям, иногда чрезмерно подчеркивается, но мне все равно кажется, что и здесь с этим сложности. Преимущество Запада в том, что если людям кажется, что к какому-то аспекту их жизни относятся с пренебрежением, игнорируют его или запрещают, об этом можно говорить. В Иране все, что связано с проявлениями чувственности, по-прежнему является проблемой.

Читательский клуб Random House: В эпилоге «Читая „Лолиту“» вы рассказываете, что случилось с вашими студентками и друзьями. А как у них дела сейчас? Известно ли что-то о судьбе Бахри? А что стало с волшебником? И с Махшид, которая верила, что сможет изменить систему изнутри, продолжая носить чадру?

Азар Нафиси: Прелесть книги в том, что она прокладывает ниточки между людьми, с которыми у вас есть что-то общее. Говоря о своей книге, я уже не раз об этом упоминала. Книжки сближают нас с совершенно незнакомыми людьми, которые вдруг становятся гостями в нашем доме, а потом и близкими друзьями. Особенность «Читая „Лолиту“» в том, что эта книга сблизила меня с моим прошлым. Когда книга вышла, бывшие студенты стали звонить и писать, напоминая о себе. Кто-то сейчас живет в Иране, кто-то – в других странах. Иногда я иду на встречу или выступаю с лекцией и вижу в толпе лицо из прошлого – человека, который когда-то у меня учился. Такой случай был в Университете Рутгерса и в Сан-Франциско, где я рассказывала о своей книге, а на первом ряду сидела моя студентка Азин. И это было потрясающе. Что до Бахри, он не давал о себе знать; я не знаю, что с ним стало. Надеюсь, когда-нибудь узнаю. Волшебник так и остался волшебником и живет в уединении, не желая участвовать в жизни иранского общества. Когда я в последний раз разговаривала с Махшид, у нее все было хорошо – раньше она звонила мне и поздравляла с днем рождения и Новым годом. Она замечательная женщина. Насколько я знаю, у моих девочек все в порядке.

Читательский клуб Random House: Вы когда-нибудь жалели о решении уехать из Ирана? Думаете, вы когда-нибудь вернетесь на родину?

Азар Нафиси: Конечно, я все время думаю, что вернусь. Не знаю, останусь ли я в Иране или нет, но право вернуться за собой оставляю. В конце книги я писала – и я не преувеличивала и не сказала это ради красного словца – что Иран не покинул меня. В начале этого интервью я говорила, что уехала из Ирана еще в детстве, когда мне было тринадцать. С тех пор вся моя жизнь крутится вокруг мысли о возвращении. Но я поняла, что нельзя привязываться к географическому положению. Я искренне верю в портативный мир. В Америке я чувствую себя как дома. Америка отнеслась ко мне очень великодушно; пусть это прозвучит как клише, но мне кажется, такое великодушие возможно, потому что Америка по-прежнему уникальна, это по-прежнему страна эмигрантов. Один из признаков дома для меня – некоторое неудобство, недовольство окружающей действительностью. Я понимаю, что я дома, когда начинаю критиковать свою страну и сомневаться, все ли в ней правильно, а я сомневаюсь и хочу изменений. Например, я хочу организовать марш протеста в Вашингтоне и потребовать поддержки гуманитарных дисциплин и чтения в нашей системе образования, и хотя я ненавижу лозунги, для этого марша выбрала бы такой: «Читатели всех стран, объединяйтесь!» Так что в Америке я тоже хорошо себя чувствую. Но я никогда не покидала Иран навсегда; он по-прежнему со мной.

Читательский клуб Random House: А как же Иран? Каким вы видите будущее своей родины и поколения мужчин и женщин, которые сейчас только достигли совершеннолетия?

Азар Нафиси: Знаете, я не люблю безосновательный оптимизм; такой оптимизм недорого стоит, а осторожность и осмотрительность не повредит. Но надеяться нужно; надежда важна и ценна. Я очень надеюсь на лучшее будущее для Ирана главным образом из-за нового поколения. Мое поколение многие вещи принимало как должное. В молодости я была слишком увлечена идеологией и многого в мире не замечала, а сейчас об этом жалею. Но новому поколению пришлось бороться за все права и свободы, и надеюсь, что в будущем этих прав и свобод у них будет больше. Что касается индивидуальных прав, они выстрадали их кровью. Их били плетями, сажали в тюрьму, штрафовали и наказывали просто за то, что они хотели одеваться, во что хотят, смотреть кино, которое хотят, свободно выражать свою любовь друг к другу. Молодое поколение не понаслышке знает, как драгоценны индивидуальные права, оно дорого за них заплатило; я думаю, они будут ценить свои права.

Есть еще одна иранская особенность – к сожалению, здесь я этого не увидела: то, как новое поколение налаживает контакт с миром. Когда я преподавала в иранском университете, я не чувствовала разделения на запад и восток; у нас был лишь мир воображения и идей. В Иране нет ограниченности, нет предрассудков, не ведутся узколобые споры и дебаты, как здесь, в США, в некоторых кругах. Иранцы уважают Ханну Арендт и Карла Поппера, как будто это их сограждане. Они читают Беллоу и Набокова и относятся к ним, как к близким людям. У иранцев есть искреннее желание общаться с миром, и для этого общения они выбирают лучшее в мировой культуре. Именно по этой причине я не теряю надежды на светлое будущее Ирана. Если вы читаете новости о происходящем в Иране, вы должны знать, что там сейчас есть две тенденции: бывшие революционеры отделились от прежних идеалов и теперь призывают к демократии, открытости и светскому обществу; они подвергают сомнению ту самую систему, частью которой являлись. Так называемые «дети революции» тоже отошли от революционных идеалов, подвергают их сомнению и хотят построить более открытое общество. На передовой этой борьбы – женщины. Иранские женщины проводят потрясающую работу, пытаясь вернуть себе утраченные права; они не только налаживают связь со внешним миром, но и не забывают о своей истории. Они понимают, что в своем стремлении к свободе и свободному выбору им не нужно копировать западных женщин. У иранок уже была свобода – в прошлом. Мне очень нравится этот здоровый диалог с собственным прошлым. Я возлагаю на него большие надежды. Я всегда надеялась, что перемены придут в Иран демократическим путем. Нас ждет много плохого, но и много хорошего. Поэтому я хотела бы завершить это интервью надеждой. Ведь этого я и добивалась, когда писала «Читая „Лолиту“ в Тегеране» – я хотела показать, что мы жили в обществе, где наши права угнетали, но возлагали надежды на этих молодых людей, которые иначе смотрели на мир, и из-за этого другого взгляда менялись сами и меняли мир вокруг. Они никогда не были жертвами; иранские женщины никогда не вели себя как жертвы. Первый шаг к избавлению от позиции жертвы – понять, что ты не жертва, что ты обладаешь силой. Я пишу об этом в первой главе, в обсуждении «Приглашения на казнь» – там первым шагом к освобождению становится отказ танцевать с тюремщиком и поиск собственного уникального способа самовыражения. Не будь иранские женщины такими сильными, стало бы правительство тратить столько энергии и применять насильственные методы, пытаясь их изменить? Иранские женщины опасны, потому что сильны, и в этом кроется надежда.

Когда Набокова попросили умерить критику Советского Союза во время Второй мировой войны, он написал: «Правители приходят и уходят; лишь след гения остается». Рассказывая свою историю, мы возвращаем себе контроль над реальностью. В Иране реальность доминирует над нами, и избавиться от этого контроля можно, лишь поделившись своей историей. История, рассказанная с нашей собственной точки зрения, лишает угнетателей власти. Это сделала Шахерезада в «Тысяча и одной ночи»: рассказав сказку, она изменила царя. В этом весь смысл «„Лолиты“ в Тегеране».

Полную аудиоверсию интервью можно послушать на www.azarnafisi.com.

Вопросы для обсуждения

1) На первом занятии в Тегеранском университете Азар Нафиси спросила студентов: «В чем смысл художественной литературы? Зачем люди вообще читают?» Как бы вы ответили на эти вопросы? Согласны ли вы, что литература заставляет нас усомниться в том, что мы принимаем как должное?

2) Ясси любит играть со словами – особенно ей нравится вымышленное набоковское слово «эпсилямба». А какое значение этого слова придумаете вы?

3) Нафиси пишет, что аятолла Хомейни «превратил себя в миф» для иранского народа. Как это произошло? Порассуждайте на тему соучастия, которая является в книге повторяющейся темой: идея, что аятолла, суровый царь-философ, который ограничил свободы и терроризировал невиновных, «поступал с нами так, как мы ему позволяли». Ответственны ли люди, поддерживающие революцию, за ее результат, оказавшийся для них неожиданным? Если да, в какой степени?

4) Сравните отношение к хиджабу мужчин, женщин и правительства Исламской Республики Иран. Почему бабушка Нафиси, носившая чадру добровольно, чувствовала, что политизация чадры «запятнала» эту традицию? Опишите противоречивые чувства Махшид, мусульманки, всегда носившей чадру, которая, тем не менее, возражала против ее обязательного ношения.

5) Обсуждая рамочный сюжет «Тысячи и одной ночи» и царя-убийцу, Нафиси говорит о трех типах женщин, павших жертвами несправедливого правления. Какое значение имеет эта история для студенток из группы Нафиси?

6) Объясните, что имеет в виду Нафиси, когда говорит, что считает себя «лишней» в Исламской Республике Иран. Как она пытается справиться с этим ощущением и как это делает человек, которого она называет волшебником, отправившимся в добровольное изгнание? Что делают люди, «потерявшие место в мире», чтобы выжить физически и интеллектуально?

7) Во время суда над «Великим Гэтсби» Заррин обвиняет Ниязи в том, что он не в силах отличить вымысел от реальности. Что общего между восприятием Ниязи вымысла и реальности и поступками слепого цензора, который может запрещать фильмы, хотя даже их не видит? Обсудите роль цензуры в авторитарных и демократических государствах. Можете ли вы привести примеры, когда в США искусство подвергали цензуре, сочтя его воздействие на общество «опасным»?

8) Нафиси пишет: «Лишь вернувшись на родину, я поняла, что такое изгнание». В чем разница между ее понятием «дома» и тем, как дом воспринимает Биджан, ее муж, который не хочет уезжать из Тегерана? Сравните чувства Махшид, которая говорит, что она в долгу у Тегерана, и стремление Митры и Нассрин сбежать и вырваться на свободу. Обсудите, как изменчивые и порой противоречащие друг другу влияния памяти, семьи, стремления к свободе и безопасности, чувство долга и жажда возможностей определяют наше понятие о доме и принадлежности к определенному месту.

9) Гоми, Ниязи, Бахри и прочие фанатичные последователи ислама постоянно удивляли Нафиси своей ненавистью к западной литературе – Нафиси говорит об этой реакции: «он полон злобы, которую видеть странно, ведь мы всего лишь обсуждаем художественную литературу». Что движет этими людьми? Согласны ли вы с Нафиси, что люди, подобные Гоми, агрессивны, потому что боятся непонятного? Почему неоднозначность кажется им опасной?

10) Корень зла Гумберта в «Лолите» – конфискация чужой жизни и замена ее жизнью придуманной. Обсудите, как Хомейни совершил такую же конфискацию, лишив граждан индивидуальности с целью обеспечить полную покорность. Что имеет в виду Нафиси, когда гово-

рит, что Саназ, Нассрин, Азин и другие девочки из ее группы принадлежат к поколению «без прошлого»?

11) Нафиси говорит, что роман – чувственное познание другого мира; роман также пробуждает в читателе способность к эмпатии. Согласны ли вы, что «эмпатия лежит в основе романа»? Изменила ли эта книга ваше представление о романе?

12) Нафиси пишет о жизни в Исламской Республике, но описанные ей проблемы не имеют национальности и могут существовать в любой точке мира. Проблемы цензуры, фундаментализма и прав человека, как и желание наслаждаться литературой и стремление к индивидуальным свободам, характерны для всех тоталитарных обществ и для демократических обществ. Порассуждайте на эту тему.

Список рекомендуемой литературы

Невозможно включить в этот список все мои любимые книги, поэтому я перечислила лишь те, что упоминаются в «Читая „Лолиту“» – я чаще всего ссылаюсь на эти произведения, когда преподавала английскую литературу в Тегеране. Я не стала включать книги, которые обсуждаются в тексте; считайте, что они тоже в этом списке.

Джейн Остин «Доводы рассудка»
Сол Беллоу «Декабрь декана», «Герцог», «Многие умирают от разбитого сердца»
Генрих Белль «Клоун»
Эмили Бронте «Грозовой перевал»
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник»
Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»
Рэймонд Чандлер «Глубокий сон»
Джозеф Конрад «На взгляд Запада»
Дидро «Жак-фаталист и его хозяин»
Генри Филдинг «История Тома Джонса, найденыша», «Шамела»
Гюстав Флобер «Госпожа Бовари»
Садег Хедаят «Слепая сова»
Генри Джеймс «Послы»
Франц Кафка «Процесс», «В исправительной колонии»
Герман Мелвилл «Маскарад, или Искуситель»
Владимир Набоков «Пнин»
Ирадж Пезешк-зод «Дядюшка Наполеон»
Джин Рис «Широкое Саргассово море» («Антуанетта»)
Шахерезада «Тысяча и одна ночь»
Мюриэл Спарк «Лучшие годы мисс Джин Броди», «Умышленная задержка»
Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
Итало Свево «Признания Зенона»
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
Вирджиния Вулф «На маяк»

Об авторе

Азар Нафиси (1946) – внештатный профессор и директор проекта «Диалог» Института зарубежной политики университета Джона Хопкинса. Преподавала западную литературу в Тегеранском университете, Свободном исламском университете и Университете Алламе Табатабаи в Иране. В 1981 году уволена из Тегеранского университета за отказ покрывать голову. В 1994 году победила в конкурсе на преподавательскую должность Окфордского университета; в 1997 Нафиси и ее семья уехали из Ирана в США. Статьи ее авторства публиковали в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл-стрит Джорнал», «Нью Репаблик»; она частый гость на радио и телевидении. Живет в Вашингтоне с мужем и двумя детьми.

www.azarnafisi.com